ДЖЕК ЛОНДОН

ДЖЕРРИ-ОСТРОВИТЯНИН

*

МАЙКЛ, БРАТ ДЖЕРРИ



Джерри-островитянин. Майкл, брат Джерри

Джек Лондон

Аннотация
Джек Лондон
ДЖЕРРИ-ОСТРОВИТЯНИН
- Предисловие
- Глава I
- Глава II
- Глава III
- Глава IV
- Глава V
- Глава VI
- Глава VII
- Глава VIII
- Глава IX
- Глава X
- Глава XI
- Глава XII
- Глава XIII
- Глава XIV
- Глава XV
- Глава XVI
- Глава XVII

Глава XVIII
Глава XIX
Глава XX
Глава XXI
Глава XXII
Глава XXIII
Глава XXIV
МАЙКЛ, БРАТ ДЖЕРРИ
Предисловие
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII

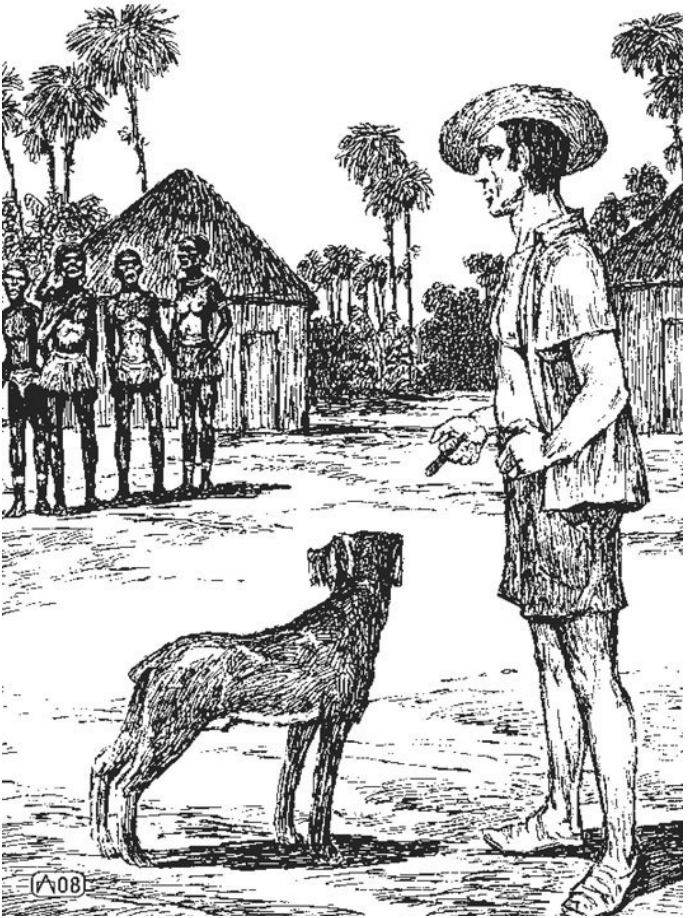
Глава XVIII
Глава XIX
Глава XX
Глава XXI
Глава XXII
Глава XXIII
Глава XXIV
Глава XXV
Глава XXVI
Глава XXVII
Глава XXVIII
Глава XXIX
Глава XXX
Глава XXXI
Глава XXXII
Глава XXXIII
Глава XXXIV
Глава XXXV
Глава XXXVI
КОММЕНТАРИИ

Аннотация

Герои двух произведений этой книги — ирландские терьеры, братья Джерри и Майкл. Через все повествование проходит параллель между животными и людьми. Увлекательно описывая необыкновенные приключения этих удивительно умных, смелых, сообразительных псов, писатель воссоздает яркие человеческие характеры, в частности людей, чьи судьбы тесно связаны с морем; показывает быт, нравы, традиции туземцев с Соломоновых островов.

Джек Лондон

ДЖЕРРИ-ОСТРОВИТЯНИН



Предисловие

Несчастье некоторых беллетристов заключается в том, что средний человек полагает, будто вымысел и ложь — одно и то же. Несколько лет назад я опубликовал «Рассказы Южных морей». Действие разыгрывалось на Соломоновых островах. Сборник удостоился похвалы критиков, признавших в нем весьма почтенный плод фантазии. Что же касается реализма, такового, по их мнению, не имелось. Ведь всякому известно, что волосатые каннибалы исчезли с лица земли, а следовательно, не разгуливают нагишом и друг другу, а иной раз и белому человеку не отрубывают голов.

Ну, так слушайте! Эти строки я пишу в Гонолулу, на острове Гавайи. Вчера на берегу Вайкики со мной заговорил один незнакомец. Он упомянул о нашем общем друге, капитане Келларе. Когда я на «Миноте» — судне, вербовавшем чернокожих рабочих, — потерпел крушение у Соломоновых островов, спас меня этот самый капитан Келлар, шкипер вербовщика «Эжени». Незнакомец сообщил мне, что чернокожие завладели головой капитана Келлара. Ему это было известно. Он

был уполномочен матерью капитана Келлара ликвидировать его имущество.

Слушайте дальше! На днях я получил письмо от полномочного резидента британских Соломоновых островов, мистера К. М. Вудфорда. Он вернулся на свой пост после длительного отпуска, проведенного им в Англии, где он устраивал сына в Оксфордский университет. Порывшись на полках любой общественной библиотеки, можно извлечь на свет книгу «Натуралист среди охотников за головами». Мистер К. М. Вудфорд — естествоиспытатель и автор этой книги.

Вернемся к письму. Повествуя о своих повседневных заботах, мистер Вудфорд мимоходом упоминает о только что выполненном специальном задании. Его отъезд в Англию послужил причиной отсрочки. То была карательная экспедиция на соседний остров, между прочим и для поисков голов некоторых наших общих друзей-белых: негоцианта, его жены, детей и клерка. Экспедиция прошла успешно, и мистер Вудфорд заканчивает свое повествование об этом эпизоде такими словами: «Особенно поразило меня отсутствие страдания и ужаса в их лицах, выражавших скорее безмятежное спокойствие». Заметьте — это он пишет о людях своей же расы,

о людях, хорошо ему знакомых и частенько обедавших с ним в его собственном доме.

И другие друзья, с которыми я сиживал за обедом в те удалые, веселые дни на Соломоновых островах, погибли таким же образом. Боже мой! Я отплыл на кече[1] «Минота», шедшем на Малаиту вербовать рабочих, и взял с собой жену. Следы топора еще не изгладились на двери нашей крохотной каюты, свидетельствуя о событии, происшедшем несколько месяцев назад, когда отрубили голову капитану Маккензи, бывшему в то время шкипером «Миноты». Подходя к Ланга-Ланга, мы увидели британский крейсер «Кэмбриен», удалявшийся после обстрела одной из деревень.

Не имеет смысла обременять введение к моему рассказу дальнейшими деталями, каковых, утверждаю, я могу привести множество. Надеюсь, мне удалось до известной степени заверить, что приключения собаки — героя моего романа — являются подлинными приключениями в весьма реальном мире каннибалов. Когда я с женой отплыл на «Миноте», мы нашли на борту очаровательного щенка — ирландского

---

[1] notes: 1
Кеч — маленькое двухмачтовое береговое судно.

терьера, охотника за неграми; то была такая же гладкошёрстная собака, как и Джерри, а звали ее Пегги. Хозяином ее был великолепный шкипер «Миноты». Миссис Лондон и я так сильно к ней привязались, что миссис Лондон после крушения «Миноты» бесстыдно украла ее у шкипера «Миноты». Признаюсь: я столь же бесстыдно потворствовал преступлению жены. Мы так любили Пегги! Милая, славная собачка, погребенная в море у восточного берега Австралии!

Мне остается прибавить, что Пегги, как и Джерри, родилась у лагуны Мериндж на плантации Мериндж, находящейся на острове Изабелла. Этот остров лежит сейчас же к северу от Флориды, где находится правительство и где обитает полномочный резидент мистер К. М. Вудфорд. Я хорошо знал отца и мать Пегги и частенько с любовью следил, как эта верная пара бегала бок о бок вдоль берега. Отца действительно звали Терренс, а мать — Бидди.

Джек Лондон

Глава I

Пока мистер Хаггин не подхватил его неожиданно под мышку и не спустился на корму поджидавшего вельбота, Джерри и не подозревал, что ему грозит какая-нибудь неприятность. Мистер Хаггин был его любимым господином в течение всех шести месяцев жизни Джерри. Джерри не знал мистера Хаггина под именем «господина», ибо слову «господин» не нашлось места в словаре Джерри. А Джерри был гладкошёрстным золотисто-рыжим ирландским терьером.

Но в сознании Джерри «мистер Хаггин» значит то же самое, что в наших словарях значит для собаки слово «господин». Слова «мистер Хаггин» Джерри слышал постоянно: так называли его господина многие — Боб, клерк и Дерби, надсмотрщик на плантации. И редкие посетители, двуногие человеческие существа, вроде тех, кто приехал на «Эренджи», обращались к его господину «мистер Хаггин».

Но собаки в своем смутном, неясном, переоценивающем людей сознании возносят своих господ и любят их больше, чем те заслуживают. «Господин» значит для них то же, что значил «ми-

стер Хаггин» для Джерри, — больше, значительно больше, чем для людей. Человек считает себя «господином» своей собаки, но собака считает своего господина «богом».

Однако слова «бог» не было в словаре Джерри, хотя он уже успел приобрести определенный и довольно пространный словарь. «Мистер Хаггин» значило то же, что и «бог». Для Джерри слова «мистер Хаггин» звучали так же, как звучит слово «бог» для людей, ему поклоняющихся. Короче — мистер Хаггин был богом Джерри.

Итак, когда мистер Хаггин, или бог, или называйте его, как хотите, пользуясь нашим ограниченным языком, властно и резко поднял Джерри, сунул его под мышку и спустился в вельбот, а черная команда сейчас же склонилась к веслам, Джерри немедленно всем своим существом ощутил, что началась полоса необычайного. Раньше он никогда не бывал на борту «Эренджи», вырастившего перед ним с каждым свистящим ударом весел, на которых сидели чернокожие.

Всего час назад Джерри пришел из дому на берег посмотреть на отплытие «Эренджи». Уже дважды за полгода своей жизни испытывал он это удовольствие. А удовольствие было незаурядное — бегать вверх и вниз по белому берегу из

коралла, раздробленного в песок, и под мудрым руководством Бидди и Терренса не только принимать участие в суматохе, царившей на берегу, но и самому подбавлять жару.

Здесь шла охота на негров. Джерри родился, уже ненавидя негров. Еще пискливым щенком он на опыте убедился, что Бидди, его мать, и его отец Терренс ненавидят негров. На негра следовало рычать. На негра, если только он не был домашним слугой, нужно было кидаться, кусать его и рвать всякий раз, когда он появлялся во дворе фактории[2]. Так поступала Бидди. Так поступал Терренс. Этим они служили своему богу — мистеру Хаггину. Негры были низшими двуногими созданиями, которые, как невольники, работали на своих двуногих белых господ, жили в рабочих бараках далеко в стороне и, как существа низшие и ничтожные, не смели приближаться к жилищу своих господ.

А охота на негров была отважным предприятием. Об этом Джерри узнал вскоре после того, как научился ползать. Приходилось идти на риск. Пока мистер Хаггин, Дерби или Боб находились поблизости, негры переносили преследования.

---

[2] notes: 2
Фактория — торговое поселение со складами для товаров.

Но случалось, что белых господ поблизости не было. Тогда правило гласило: «Берегись негров!» На охоту можно было отважиться, только приняв все меры предосторожности. В отсутствие белого господина негры имели привычку не только хмуриться и ворчать, но и нападать на четвероногих собак, пуская в ход камни и палки. Джерри видел, как обижали его мать; да и его самого, пока он не научился уму-разуму, отколотил однажды в высокой траве негр Годарми, который носил на шее китайскую дверную ручку, висевшую на веревке, свитой из кокосовых волокон. Джерри помнил еще одно приключение в высокой траве, когда он и его брат Майкл сразились с негром Оуми, замечательным тем, что он носил на груди зубчатые колеса от будильника. Майкл получил такой удар по голове, что левое ухо у него навсегда осталось поврежденным; оно высохло, странно скрючилось и стояло твердо, торчком.

Мало того. У Джерри был брат Пэтси и сестра Кэтлин; два месяца тому назад они исчезли — перестали существовать. Великий бог мистер Хаггин бесновался, бегая по плантации. Обыскали заросли кустарника. Высекли с полдюжины негров. Мистеру Хаггину не удалось открыть тайну исчезновения Пэтси и Кэтлин. Но Бидди и

Терренс знали. Знали и Майкл и Джерри. Четырехмесячные Пэтси и Кэтлин попали в кухонный котел в бараках, а их нежные щенячьи шкурки были уничтожены в огне. Джерри это знал не хуже, чем его отец, мать и брат; все они почуяли запах горелого мяса, а Терренс, придя в бешенство, даже напал на Могома, слугу, за что получил выговор и тумак от мистера Хаггина, ничего не почуявшего и не понявшего. А мистер Хаггин всегда внедрял дисциплину для всех существ, обитавших под его крышей.

Однако на берегу, где столпились со своими сундуками на головах все чернокожие, у которых окончился срок службы, готовясь отплыть на «Эренджи», охота на негров не грозила опасностью. Здесь можно было свести старые счеты, а другого случая уж не представилось бы, так как чернокожие, отплывшие на «Эренджи», назад никогда не возвращались. Так, например, в то самое утро Бидди, вспомнив удар, полученный некогда от Леруми, впилась зубами в его голую икру и сбросила его в воду вместе с сундучком и всем его земным имуществом, а затем радостно скалила зубы, глядя на него, уверенная в защите мистера Хаггина, который, ухмыляясь, взирал на эту картину.

Кроме того, на борту «Эренджи» обычно находилась хоть одна дикая лесная собака, и Джерри и Майкл могли в полное удовольствие лаять на нее с берега. Однажды Терренс, который был немногим меньше эрдельтерьера и отличался такой же львиной храбростью, — Терренс Великолепный, как называл его Том Хаггин, — поймал дикую собаку, оскорбившую своим присутствием берег, и задал ей чудесную трепку. Джерри и Майкл, и Пэтси и Кэтлин, в то время еще здравствовавшие, со звонким лаем приняли участие в битве. Джерри никогда не мог забыть экстаз, охвативший его, когда рот его наполнился волосами, по запаху, несомненно, собачьими. Дикие лесные собаки были собаками — он признавал в них свою породу, но от его собственного высокого рода они чем-то отличались, были существами низшими, как негры в сравнении с мистером Хаггином, Дерби и Бобом.

Но Джерри перестал глядеть на приближавшийся «Эренджи». Бидди, умудренная прежними горькими разлуками, села у самого края песка, опустив передние лапы в воду, и горестно завыла. Джерри знал, что этот вой вызван его участью, и скорбь эта остро, хотя и смутно, терзала его чувствительное, горячее сердце. Он не знал, что

предвещает ее вой, и ощущал надвигающиеся на него несчастье и катастрофу. Он глядел на нее — мохнатую, удрученную горем, и видел, как Терренс заботливо вертится вокруг. Терренс и Майкл тоже были мохнатыми, как и Пэтси и Кэтлин, а Джерри являлся единственным гладкошёрстным членом семьи.

Далее — хотя об этом знал Том Хаггин, а не Джерри, — Терренс был любящим и преданным супругом. Джерри с раннего детства помнил, как Терренс имел обыкновение много миль бегать с Бидди вдоль зарослей кустарника или по аллеям, обсаженным кокосовыми деревьями; они бежали бок о бок, у обоих были радостно смеющиеся морды. Поскольку он знал только их, своих братьев и сестер да немногих забегавших к ним диких лесных собак, то и считал это обычаем всех собак, женатых и верных. Но Том Хаггин понимал всю необычность такого поведения.

— Славная порода, — не раз одобрительно заявлял он, и глаза его увлажнялись от умиления. — Настоящий джентльмен, этот Терренс, четвероногий честный мужчина. Пес-мужчина на четырех ногах, и не знаю, есть ли еще такой на свете. Высшая порода! Ей-богу! Его кровь скажется в тысяче поколений, и голова у него умная,

и сердце мужественное.

Терренс если и горевал, то скорби своей вслух не проявлял; но его беспокойство о Бидди выражалось в том, что он кружился вокруг нее. Майкл, однако, заразился горем матери и, усевшись подле нее, гневно залаял на все увеличивавшуюся полосу воды, как стал бы лаять на всякую опасность, таящуюся в джунглях. Этот лай также сдавил сердце Джерри, и его предчувствие усилилось, что неведомая злая судьба на него надвигается.

Для своих шести месяцев Джерри знал и слишком много, и слишком мало. Он знал, не думая, однако, об этом, почему Бидди — мудрая и храбрая Бидди — не послушалась влечения своего сердца и не бросилась в воду, чтобы плыть вслед за ним. Она защищала его, как львица, когда большая пуарка (такова была в словаре Джерри — вместе с хрюканьем и визгом — комбинация звуков для слова «свинья») пыталась его сожрать, загнав на плантации в угол под домом на высоких сваях. Как львица, прыгнула Бидди на поваренка-негра, когда тот ударил его палкой, выгоняя из кухни. Она, не поморщившись, встретила сильный удар палки, затем повалила его на пол среди горшков и сковород и кусала, пока ее не оттащил мистер

Хаггин. Мистер Хаггин не сделал ей ни малейшего замечания, но поваренок, осмелившийся поднять руку на четвероногую собаку, принадлежащую богу, получил резкий выговор.

Джерри знал, почему его мать не бросилась вслед за ним в воду. Соленое море, как и лагуны, ведущие к нему, было табу. Слово «табу» не имело места в словаре Джерри. Но смысл или значение его он отчетливо сознавал. Он знал смутно, неясно, но твердо, что входить в воду для собак в высшей степени опасно и такая смелость может повлечь за собой прекращение собачьего существования; в воде скользили и бесшумно двигались, иногда на поверхности, иногда выплывая со дна, большие чешуйчатые чудовища с огромными зубастыми челюстями; они утаскивали в глубину и глотали собаку с такой же быстротой, как куры мистера Хаггина клевали и глотали зерна.

Часто он слыхал, как его отец и мать, сидя в безопасности на берегу, с ненавистью лаяли на этих страшных обитателей морей, когда те появлялись на поверхности воды у самого берега, напоминая плавучие бревна. Слова «крокодил» не было в словаре Джерри. Крокодил был образом — образом плавучего бревна, отличавшегося

от всякого другого бревна тем, что оно было живое. Джерри слышал, запоминал и узнавал много слов, и ему они служили тем же орудием мысли, как и человеку, хотя он, не наделенный даром членораздельной речи, не мог этих слов выговорить. Тем не менее в процессе мышления он пользовался образами так же, как люди пользуются словами. В конце концов и человек в процессе мышления поневоле прибегает к образам, которые соответствуют словам и их дополняют.

Быть может, в мозгу Джерри возникавший в сознании образ плавучего бревна был теснее и полнее связан с самым предметом, чем слово «крокодил» и сопутствующий ему образ в сознании человека. Джерри действительно знал о крокодилах больше, чем знают люди. Он мог почуять запах крокодила на большем расстоянии и более отчетливо, чем любой человек, даже негр-островитянин или бушмен. Он мог сказать, когда крокодил, вылезший из лагуны, лежит неподвижно и, быть может, спит в тростнике джунглей на расстоянии сотни футов.

О языке крокодилов он знал больше, чем знает любой человек. У него было больше способов и возможностей изучить его. Он знал разнообраз-

ные издаваемые им звуки, похожие на хрюканье и потрескивание. Он узнавал по этим звукам, когда крокодилы сердятся или испуганы, голодны или ищут любви. И звуки в его словаре занимали такое же определенное место, как слова в словаре человека. Они служили ему орудием мысли. По ним он взвешивал, решал и определял свое собственное дальнейшее поведение, как это делает каждый человек, или подобно человеку лениво отказывался от какого-либо действия и только отмечал и запоминал, что вокруг него происходило и не требовало с его стороны никакого соответствующего поступка.

И все же очень многого Джерри не знал. Он не знал величины земного шара. Он не знал, что эта лагуна Мериндж, окаймленная сзади высокими лесистыми горами, а спереди защищенная коралловыми островками, отнюдь не была всей вселенной. Он не знал, что она являлась лишь отрезком большого острова Изабеллы. А Изабелла была лишь одним — и даже не самым большим — островом из тысячи, образующих группу Соломоновых островов, которую люди обозначили на картах скоплением пятнышек на юго-западе Тихого океана.

Правда, он смутно подозревал о существовании

чего-то иного за пределами лагуны Мериндж. Но это «что-то» было окутано тайной. Оттуда внезапно появлялись вещи, которых раньше не было. Куры, пуарки и кошки, никогда им раньше не виденные, имели обыкновение вдруг появляться на плантации Мериндж. Однажды произошло даже вторжение странных четвероногих, рогатых и волосатых существ, образы которых запечатлелись в его мозгу. В человеческом словаре им соответствовало слово «козы».

То же происходило и с неграми. Они, всегда взрослые, появлялись внезапно, неведомо откуда и разгуливали по плантации Мериндж с повязками на бедрах и с костяными палочками, продетыми в носу. Мистер Хаггин, Дерби и Боб назначали им работу. Что их появление совпадало с прибытием «Эренджи», казалось Джерри само собою разумеющимся. Далее он над этим не задумывался, отметив только, что их случайное исчезновение за пределы плантации подобным же образом совпадало с отплытием «Эренджи».

Джерри не допытывался о причине этих появлений и исчезновений. В его золотисто-рыжей голове никогда не возникало желания полюбопытствовать и постараться разрешить тайну. Он принимал ее точно так же, как принимал сырую

погоду и жар солнечных лучей. Так делалось в той жизни и в том мире, какой он знал. Он смутно о чем-то подозревал — кстати, это подозрение точно соответствует неясному знанию человека о тайнах рождения, смерти и потустороннего, — о тайнах, каких человек до конца раскрыть не может.

Быть может, кеч «Эренджи», торговое судно, набиравшее негров-рабочих на Соломоновых островах, был для Джерри такой же таинственной лодкой, путешествующей между двумя мирами, какой в былые времена казалась людям лодка Харона[3], перевозившая через Стикс. Из ничего приходили люди. В ничто они уходили. А приходили и уходили они всегда на «Эренджи».

И в то тропическое утро, добела раскаленное, к «Эренджи» направлялся Джерри в вельботе, сидя под мышкой у своего мистера Хаггина; на берегу Бидди выплакивала свое горе, а непосредственный Майкл своим лаем посылал в Неизвестное вечный вызов юности.

---

[3] notes: 3

Харон — по верованию древних греков, перевозчик в подземном мире, перевозивший в лодке тени умерших через реку Стикс.

Глава II

Чтобы перейти с вельбота на низкий борт «Эренджи», нужно было сделать только шаг; Том Хаггин, все еще держа под мышкой Джерри, легко переступил на палубу через шестидюймовые перила из тикового дерева. На палубе толпились люди. Эта оживленная толпа заинтересовала бы всякого человека, не привыкшего к путешествиям, как заинтересовала Джерри, но для Хаггина и капитана Ван Хорна она являлась лишь банальным атрибутом[4] повседневной жизни.

Палуба была маленькая, так как и «Эренджи» был маленьким судном. Первоначально это была барская яхта из тикового дерева, с латунными украшениями, скрепленная по углам медью и железом, с медной обшивкой военного судна и бронзовым килем. Позже ее продали на Соломоновы острова для охоты «за черной птицей», или ловли негров. На наречии закона эта ловля удостоилась названия вербовки.

«Эренджи» занимался вербовкой негров и отвозил захваченных каннибалов с отдаленных

---

[4] notes: 4
Банальный атрибут — обычная принадлежность.

островов на новые плантации, где белые люди превращали туманные и ядовитые болота и джунгли в густые рощи стройных кокосовых пальм. Две мачты «Эренджи» из орегонского кедра были так выскоблены и напарафинены[5], что сияли на солнце, как коричневые опалы. Под парусами «Эренджи» шел великолепно и подчас с такой скоростью, что капитан Ван Хорн, его белый помощник и команда из пятнадцати негров едва могли справиться с работой. В длину судно имело шестьдесят футов, а палубные надстройки не ослабляли поперечных бимсов его верхней палубы. Единственными отверстиями, для которых, однако, не пришлось распиливать бимсы, были: люк в главную и капитанскую каюты, люк на носу, над крохотным баком, и маленький люк на корме, ведущий в кладовую.

И на такой маленькой палубе находились, помимо команды, «обратные» негры с трех отдаленных плантаций. Под словом «обратные» подразумевалось, что их три года работы истекли, и, согласно контракту, их отвозили в родные деревни на диком острове Малаита. Из них двадцать человек — все знакомые Джерри — были из

---

[5] notes: 5

Парафин — белое вещество, вроде воска, смесь твердых и жидких углеводородов.

Меринджа; тридцать прибыли из Бухты Тысячи Кораблей, с островов Руссель; остальные двенадцать ехали из Пендерфрина на восточном берегу Гвадалканара. Кроме чернокожих, болтающих и чирикающих на палубе странным мальчишеским фальцетом, тут же находились и двое белых: капитан Ван Хорн и его помощник датчанин Боркман, — всего семьдесят девять человек.

— А я уж думал, что в последний момент у вас не хватит мужества, — приветствовал Хаггина капитал Ван Хорн. Глаза его радостно вспыхнули при виде Джерри.

— Похоже было на то, — ответил Том Хаггин. — Только для вас я мог это сделать. Джерри — лучший из всех щенят, не считая, конечно, Майкла. Только эти двое и остались, а пропавшие были ничуть не хуже. Кэтлин была славная собака, вылитая Бидди, если б осталась жива… Вот, берите его.

Он торопливо передал Джерри в руки Ван Хорна и, отвернувшись, зашагал по палубе.

— А если с ним приключится беда, я вам никогда не прощу, шкипер, — резко бросил он через плечо.

— Раньше им придется голову с меня снять, — усмехнулся шкипер.

— И это, паренек, может случиться, — проворчал Хаггин. — Мериндж в долгу перед Сомо; четыре головы остались здесь: трое умерли от дизентерии, а четвертого на прошлой неделе придавило дерево. К тому же он был сыном вождя.

— Да. И «Эренджи» ответит перед Сомо еще за две головы, — кивнул Ван Хорн. — Помните, в прошлом году на юге один парень по имени Гаукинс погиб со своим вельботом в проливе Арли? — Хаггин, ходивший по палубе, вернулся. — Двое из его команды были из Сомо. Я их завербовал для плантации Уги. С вашими ребятами это выходит шесть голов. Но что за беда? В одной приморской деревне на подветренном берегу за «Эренджи» числится восемнадцать. Я их завербовал для Аоло; а так как они морское дело знают, то их и посадили на «Москита», а «Москит» погиб на пути в Санта-Крус. Они там на подветренном берегу котел приготовили… Ей-богу, парень, который сможет добыть мою голову, будет вторым Карнеги[6]! Деревня собрала сто пятьдесят свиней и несметное количество раковин для того, кто меня поймает и выдаст.

— Пока что не поймали, — фыркнул Хаггин.

---

[6] notes: 6
Карнеги — один из миллиардеров.

— Не страшно, — беззаботно откликнулся тот.

— Вы говорите, как Арбекл, бывало, говаривал, — заявил Хаггин. — Я не раз слышал его разглагольствования. Бедный старина Арбекл!.. Самый надежный и самый осторожный парень, который когда-либо имел дело с неграми. Он никогда спать не ложился, не разбросав по полу гвоздей или смятых газет. Помню, жили мы с ним на Флориде под одной крышей; ночью большой кот погнался за тараканом и загнал его в бумагу. А Арбекл сейчас же — пиф-паф, пиф-паф, — шесть раз выстрелил из своих двух больших пистолетов. Дом продырявил, как решето. И кота убил! Он умел стрелять в темноте без прицела: собачку спускал указательным пальцем, а большой палец держал на дуле. Э, нет, приятель! На что уж был молодчина… Казалось, не родился еще негр, который ухитрился бы снять с него голову. А все-таки они его заполучили. Да, заполучили. На четырнадцать лет его хватило. А прикончил его повар. Ударил топором перед самым завтраком. Я хорошо помню наше второе путешествие в джунгли за его останками.

— Я видел его голову после того, как вы ее передали комиссару с Тулаги, — добавил Ван Хорн.

— И такое спокойное, мирное лицо у него было,

и та же старая улыбка, какую я видел тысячу раз. Голова высохла над костром… А все же они его заполучили, хоть им и понадобилось для этого четырнадцать лет. Многие отправляются на Малаиту и некоторое время удерживают голову на плечах; но… повадился кувшин по воду ходить — там ему и голову сломить.

— Но козыри на руках-то у меня, — настаивал капитан. — Чуть запахнет бедой, я пойду прямо к ним и объясню, как и что. Со мной они не справятся. Думают, что я заполучил какое-нибудь чертовски сильное зелье.

Том Хаггин неожиданно протянул руку и попрощался, благоразумно стараясь не смотреть на Джерри, которого держал Ван Хорн.

— Следите за моими «обратными», — предостерег он, спускаясь в вельбот, — следите, пока не высадите на берег последнего из них. У них нет основания любить Джерри или его породу, а я не потерплю, если он погибнет от руки чернокожего. А ночью, в темноте, его могут отправить за борт, не спускайте с них глаз, пока не разделаетесь с последним.

Видя, что мистер Хаггин покидает его и отплывает в вельботе, Джерри беспокойно завертелся и тихонько заскулил. Капитан Ван Хорн теснее

прижал его к себе и погладил свободной рукой.

— Не забудьте об условии! — крикнул Том Хаггин. — Что бы с вами ни случилось, Джерри должен вернуться ко мне.

— Я напишу распоряжение и спрячу его вместе с судовыми документами, — отозвался Ван Хорн.

Джерри знал много слов; знал он и свое собственное имя. В разговоре двух белых оно повторялось несколько раз, и он понял, что речь идет о чем-то туманном и ужасном, надвигающемся на него. Он еще энергичнее заерзал, и Ван Хорн опустил его на палубу. Он прыгнул к перилам с такой быстротой, какую трудно было ожидать от неуклюжего шестимесячного щенка, и попытка Ван Хорна его остановить не увенчалась бы успехом, если бы Джерри не отступил перед водой, лизавшей борт «Эренджи». Он вспомнил о табу. Его остановил образ плавучего бревна, какое было вовсе не бревном, а чем-то живым. Не рассудок заговорил в нем, а запрет, вошедший в его плоть и кровь.

Он присел на свой обрубленный хвостик, поднял к небу золотистую мордочку и в отчаянии залился протяжным щенячьим воем.

— Все в порядке, Джерри, старина! Возьми себя в руки и будь мужчиной! — успокаивал его Ван

Хорн.

Но утешить Джерри было не так-то легко. Хотя Ван Хорн, несомненно, был белокожим, но это был не его бог. Его богом был мистер Хаггин, и к тому же — высшим богом. Это ощущал Джерри, даже совершенно о том не думая. Его мистер Хаггин носил штаны и ботинки. А бог, стоявший подле него на палубе, больше походил на чернокожего. Штанов он не носил и ходил босиком. Мало того: вокруг бедер у него, как и у всякого чернокожего, была обмотана яркая набедренная повязка, которая спускалась, как юбка, почти до самых его колен.

Капитан Ван Хорн был красив, хотя этого Джерри не знал. Он походил на голландца, выступившего из рамы рембрандтовского[7] портрета, несмотря на то что родился в Нью-Йорке. И предки его родились там же еще в те времена, когда Нью-Йорк был не Нью-Йорком, а Новым Амстердамом. Костюм его завершала рембрандтовская шляпа с опущенными полями, надетая набекрень; шестипенсовая белая бумажная рубашка, прикрывавшая торс и пояс, на котором болтались кисет с табаком, нож в ножнах, лента с

---

[7] notes: 7
Рембрандт (1606–1669) — знаменитый голландский живописец.

патронами и большой автоматический пистолет в кожаной кобуре.

Бидди, притихшая было на берегу, услышала визг Джерри и снова подняла вой. А Джерри примолк на секунду, чтобы прислушаться, и услыхал, как Майкл бешено лает подле нее; и увидел Джерри, что высохшее его ухо по обыкновению упорно стоит торчком. Затем, когда капитан Ван Хорн и помощник Боркман отдали распоряжение оснастить грот- и контр-бизань[8], Джерри излил всю свою скорбь в отчаянном вое. На берегу Боб заявил Дерби, что это — «величайшее вокальное упражнение», какое он когда-либо слышал от собаки, и будь голос чуточку ниже, Карузо[9] нечем было бы похвалиться перед Джерри. Но Хаггин не мог вынести этого пения: едва высадившись на берег, он свистнул Бидди и быстро зашагал к фактории.

При виде удалявшейся матери Джерри еще более уподобился Карузо, чем доставил величайшее удовольствие негру из Пендефрина, стоявшему рядом с ним. Он захохотал, поддразнивая Джерри пискливым фальцетом, напоминавшим скорее

---

[8] notes: 8

Контр-бизань — косой парус, привязывающийся к гафелю и мачте.

[9] notes: 9

Энрико Карузо — знаменитый итальянский певец.

птичьи звуки обитателей джунглей, чем голос человека, — человека настоящего и, следовательно, бога. Это подействовало, как превосходное противоядие. Джерри был охвачен негодованием — какой-то чернокожий смеется над ним, — и через секунду его щенячьи зубы, острые, как иглы, оставили на голой икре пораженного негра длинные параллельные царапины, откуда сейчас же брызнула кровь. Чернокожий поспешно отскочил, но в Джерри была кровь Терренса Великолепного, и, подобно своему отцу, он прыгнул вперед и расцветил другую икру красноватым узором.

Якорь был поднят, передние паруса поставлены. Капитан Ван Хор, зоркие глаза которого не упустили ни одной детали инцидента, отдал распоряжение чернокожему рулевому и повернулся, чтобы похвалить Джерри.

— Валяй, Джерри! — поощрял он. — Хватай его! Тащи вниз! Кусай его! Хватай!

Чернокожий, защищаясь, лягнул Джерри, но тот прыгнул вперед, вместо того чтобы отскочить в сторону, — еще один прием, унаследованный им от Терренса, — ускользнул от голой пятки и отпечатал новую серию красных линий на черной ноге. Это было уже слишком, и негр, боясь скорее

Ван Хорна, чем Джерри, повернулся и побежал на нос, ища спасения на куче ли-энфильдских ружей, сложенных на люке каюты и охранявшихся одним из матросов. Джерри бушевал вокруг люка, прыгая и крутясь вокруг, пока капитан Ван Хорн не отозвал его.

— Этот щенок — славный охотник за неграми, славный охотник! — сообщил Ван Хорн Боркману, наклонившись, чтобы погладить Джерри и выразить ему свое одобрение.

А Джерри под ласкающей рукой бога, правда, не носившего штанов, забыл на секунду постигшую его судьбу.

— Лев, а не собака, прямо эрдельской породы, — говорил Ван Хорн своему помощнику, продолжая гладить Джерри. — Посмотрите, какой он крупный. Посмотрите, какая у него кость. Вот это грудь! А какая выносливость! Из него выйдет славная собака, когда он подрастет. По лапам видно.

Джерри внезапно вспомнил о своем горе и бросился через палубу к перилам, чтобы в последний раз взглянуть на Меринджа, уменьшавшийся с каждой секундой. В эту минуту порыв юго-восточного муссона надул паруса, и «Эренджи» накренился. Джерри, тщетно цепляясь за глад-

кую поверхность, чтобы удержаться, скользя, покатился по палубе, наклонившейся под углом в сорок пять градусов. Он долетел до подножия бизань-мачты, а капитан Ван Хорн, зорким глазом моряка заметив у носа коралловый риф, скомандовал:

— Руль под ветер!

Боркман и чернокожий рулевой повторили его слова, и с поворотом колеса «Эренджи» быстро повернулся по ветру и выровнялся.

Джерри, все еще поглощенный Мериндже́м, воспользовался пришедшим в горизонтальное положение полом и, оправившись, пополз к перилам. Но ему не удалось добраться до цели: раздался треск блоков грот-шкота[10] на крепком бугеле, и грот, не надуваемый ветром, бешено пронесся над головой Джерри. Он избег опасности, сделав дикий прыжок, — такой же прыжок сделал и Ван Хорн, бросившийся к нему на помощь, — и очутился как раз под грот-реей, а огромный парус высился над ним и словно готовился упасть на него и сокрушить.

Это было первое знакомство Джерри с какими

---

[10] notes: 10

Грот-шкот — снасть для вытягивания и укрепления нижнего угла грота (прямого паруса на средней мачте). Бугель — железное кольцо на мачтах и реях.

бы то ни было парусами. Со зверями и птицами он не был знаком, привычек их не знал, но, когда был еще крохотным щенком, в памяти его запечатлелся яркий образ ястреба, свалившегося на него с неба. Теперь, под угрозой этого колоссального чудовища, он припал к палубе. Над ним, падая, как стрела, из синевы навис крылатый ястреб, неизмеримо больше того, с каким ему пришлось раньше встретиться. Но, припадая к земле, Джерри отнюдь не пытался спрятаться. Съежившись и собирая все силы, он готовился к прыжку, чтобы встретиться на полпути с этим грозным чудовищем.

Через секунду вторично раздался треск блоков на бугеле, и грот пролетел мимо. Джерри прыгнул, но не увидел даже тени паруса.

Ван Хорн не пропустил ни одной детали этого эпизода. Раньше ему приходилось видеть, как молодые собаки буквально до безумия пугались при первой встрече с парусами, затемняющими небо и свисающими вниз. Джерри был первой собакой, бесстрашно прыгнувшей с оскаленными зубами, чтобы вступить в рукопашный бой с великим Неизвестным.

С неподдельным восхищением Ван Хорн поднял Джерри с палубы и прижал к себе.

Глава III

Джерри на время совсем позабыл о Мериндже. Он хорошо помнил, что у ястреба были острые когти и клюв. За этим грохочущим в воздухе чудовищем следовало наблюдать. И Джерри, приседая для прыжка и упорно стараясь удержаться на скользкой накреняющейся палубе, не спускал глаз с грота и тихонько ворчал при каждом намеке на движение с его стороны.

«Эренджи» шел между коралловыми рифами, в узком канале, против свежего пассатного ветра. Это вызывало необходимость лавировать, и наверху грот то и дело перелетал с левого галса на правый и обратно, производя шум, напоминающий взмах крыльев; рифы его стучали, а блоки громко трещали на бугеле. Несколько раз, когда грот проносился над головой, Джерри бросался на него, готовый вцепиться; его чистые щенячьи зубы были оскалены и блестели на солнце, как драгоценные безделушки из слоновой кости.

Каждый прыжок кончался неудачей, и Джерри пришел к определенному выводу. Следует, между прочим, отметить, что этот вывод, несомненно, являлся результатом мыслительного процесса.

Из наблюдений над предметом, все время ему угрожавшим, из ряда своих нападений он вывел заключение, что этот предмет ему не вредит и даже не приходит с ним в соприкосновение. На своем мыслительном процессе он не останавливался, но понял, что это не столь опасная вещь, какой она сначала ему показалась. Быть может, не мешает ее остерегаться, хотя в его классификации она уже заняла свое место в ряде предметов, которые казались страшными, но в действительности таковыми не были. Таким же путем он научился не бояться рева ветра среди пальм, когда лежал на веранде дома, и атаки волн, с шипением разбивавшихся в кипящую пену и брызги на берегу, у самых его ног.

Не раз в течение дня Джерри весело, небрежно, чуть ли не юмористически поглядывал на грот, когда тот проносился мимо. Но больше он уже не припадал к палубе и не прыгал. Это был первый урок, и он быстро его осилил.

Покончив с гротом, Джерри мысленно вернулся к Меринджу. Но никакого Меринджа не было; не было Бидди, Терренса и Майкла на берегу; не было ни мистера Хаггина, ни Дерби, ни Боба; не было ни берега, ни земли с пальмами на переднем плане и далекими горами, вечно вздымающими

к небу свои зеленые вершины. Где бы он ни стоял, положив передние лапы на шестидюймовые перила, на правом или на левом борту, на носу или на корме, — всюду он видел только океан, неровный и волнующийся. И все же этот океан под напором пассатного ветра мирно и ритмично гнал свои волны, увенчанные белыми гребнями.

Будь Джерри ярда на два выше и имей он глаза опытного моряка, он мог бы разглядеть на севере низкую полосу Флориды. Очертания ее обрисовывались все яснее по мере того, как «Эренджи», сильно накреняясь, с натянутыми шкотами, полным ходом шел на левом галсе навстречу юго-восточному пассату. А имей Джерри возможность воспользоваться морским биноклем, которым усиливал зрение капитан Ван Хорн, он увидел бы на востоке далекие вершины Малаиты, вознося-щие над поверхностью моря резко очерченные розовые клубы облаков.

Но и настоящее обладало для Джерри притяга-тельной силой. Он рано усвоил железный закон необходимости и научился принимать то, что есть, а не гнаться за далекими вещами. Море — было; это — реальность. Земли больше не бы-ло. «Эренджи» — тоже реальность, как и живые существа, толпившиеся на его палубе. И он стал

знакомиться с тем, что было, — короче, узнавать новую обстановку и приспособляться к ней.

Первое его открытие оказалось восхитительным. Это была туземная собака — щенок из зарослей Изабеллы; ее вез на Малаиту один из чернокожих с плантации Мериндж. По возрасту они были одинаковы, но разной породы. Туземная собака была собакой дикой, подлой и раболепной. Уши у нее вечно были опущены, хвост болтался между ногами; она всегда опасалась нового несчастья и новой обиды; трусливая и мстительная, под угрозой удара злобно кривила зубы, обнажая щенячьи клыки; припадала к земле, когда ее били, выла от страха и боли и всегда была готова на предательский укус, если представлялся удобный случай.

Дикая собака была физически более развита, чем Джерри, сильнее и злее его; но в жилах Джерри текла голубая кровь, он был храбр и чистокровен. Дикая собака тоже появилась на свет в результате не менее сурового отбора, но здесь отбор носил иной характер. Из лесных предков, от которых она происходила, выживали самые трусливые. По своей охоте они никогда не вступали в бой с сильнейшим противником. Они никогда не нападали на открытом месте, за исключением

тех случаев, когда добыча была слаба или беззащитна. Храбрость они заменили пресмыканием и ускользали, прятались от опасности. Это был слепой отбор природы. Они выжили в жестокой и подлой среде, где жизнь покупалась главным образом ценой трусливой хитрости, а иногда отчаянной защитой от нападения из-за угла.

Однако отбором предков Джерри руководили любовно. Только смелые выжили из них. Его предки были сознательно и разумно отобраны людьми, которые в далеком прошлом занялись дикой собакой и сделали ее такой, какой она представлялась им в мечтах и какой они желали ее видеть. Она никогда не должна была сражаться, как крыса, в углу, так как не должна была походить на крысу и забиваться в угол. Об отступлении нельзя было думать. Собаки, которые отступали, не нужны были людям. Не они сделались предками Джерри. Его предки, отобранные людьми, были храбрыми псами, стойкими и дерзкими, они кидались навстречу опасности, сражались и умирали, но никогда не оставляли поля битвы. А так как каждый рождает себе подобного, то Джерри был таков, каким был до него Терренс и какими сотни лет назад были праотцы Терренса.

Поэтому Джерри, случайно заметив дикую собаку, забившуюся в защищенный от ветра уголок между гротом и люком каюты, не стал размышлять о том, что противник крупнее и сильнее, чем он. Знал он только, что перед ним древний враг — дикая собака, далеко обходившая костры человека. С радостным лаем, привлекшим внимание всевидящего и всеслышащего капитана Ван Хорна, Джерри бросился в атаку. Дикий щенок с невероятной быстротой обратился в бегство, но был настигнут Джерри и кубарем покатился по наклонной палубе. Катясь и ощущая острые зубы, впивающиеся в него, он то огрызался и щелкал зубами, то взвизгивал и хныкал, и в этом визге слышался ужас, боль и подлое смирение.

А Джерри был джентльменом, иными словами, благородным псом. Раз враг не сопротивлялся, гнусно визжал и беспомощно съежился под ним, Джерри перестал нападать и выбрался из шпигата, куда они скатились. Он не размышлял о своем поступке. Он это сделал, ибо таким был создан. Он выпрямился на качающейся палубе и с удовольствием ощутил во рту восхитительный вкус собачьих волос, а в ушах его звучал одобрительный возглас капитана Ван Хорна:

— Умник, Джерри! Ты, Джерри, — молодчина!

Славный пес!

Отходя от места сражения, Джерри как будто возгордился и важно перебирал лапами. Он оглянулся через плечо на пищавшую собаку, словно говоря: «Ну, думаю, на этот раз тебе хватит. Теперь не попадайся мне на пути!»

Джерри продолжал обследовать свой новый крохотный мирок, который никогда не пребывал в покое, вечно вздымаясь и опускаясь на волнующейся поверхности моря. Тут находились рабочие, возвращавшиеся с Меринджа. Он решил осмотреть каждого из них: его встречали воркотней и бранью, а он отвечал грозным рычанием. Он был выдрессирован так, что хоть и разгуливал на четырех ногах, но считал себя выше этих двуногих, ибо всегда жил под эгидой[11] великого двуногого бога, носившего штаны, — мистера Хаггина.

Затем тут были чужие рабочие из Пендефрина и из Бухты Тысячи Кораблей. Джерри хотел узнать их всех. В будущем это знание могло ему понадобиться. Об этом он не думал. Он просто

---

[11] notes: 11

Под эгидой — под покровительством. Эгидой в греческой мифологии назывался щит греческой богини Афины-Паллады с изображением Медузы на нем, приводивший в состояние окаменелости все, против чего он поднимался.

знакомился с окружающей средой, не заботясь о будущем и не сознавая, что принимает меры предосторожности.

Обогащаясь опытом, Джерри быстро обнаружил, что на «Эренджи», так же как и на плантации, где домашние слуги отличались от работавших в поле, существует класс людей, отличный от возвращавшихся рабочих. Это была судовая команда. Пятнадцать чернокожих, составлявших ее, были ближе к капитану Ван Хорну, чем все остальные. Они, казалось, более непосредственно принадлежали «Эренджи» и Ван Хорну. Они исполняли его приказания, правили рулем, натягивали веревки, втаскивали из-за борта ведра с водой и скребли палубу щетками.

От мистера Хаггина Джерри узнал, что должен снисходительно относиться к домашней прислуге; теперь капитан Ван Хорн научил его быть более снисходительным к судовой команде, чем к возвращавшимся рабочим. С командой он мог позволять себе меньше вольностей, чем с остальными. Пока капитан Ван Хорн не хотел, чтобы он охотился за его командой, Джерри считал своим долгом не охотиться. С другой стороны, он всегда помнил, что он собака белого бога. Хотя этих негров он и не преследовал, но от фамильярности

с ними воздерживался. Он наблюдал за ними. Ему приходилось видеть, как мистер Хаггин стегал хлыстом своих чернокожих слуг. Они являлись промежуточным звеном в мировой схеме, и за ними требовалось следить, чтобы они не забыли своего места. Джерри им предоставлял место, но равенства не допускал. В лучшем случае он мог свысока удостаивать их своим вниманием.

Джерри основательно обследовал кухню. Это было неуклюжее помещение на палубе, открытое ветрам, дождю и буре, где два чернокожих в облаках дыма ухитрялись готовить на маленькой печке еду для восьмидесяти человек, находившихся на борту.

Затем Джерри заинтересовался странным поведением судовой команды. Чернокожие ввинтили в поручни «Эренджи» прямые трубы, служившие подпорками для рядов колючей проволоки, которая обегала все судно. Единственный узкий прорыв в пятнадцать дюймов был сделан у шкафута. Что это была мера предосторожности против опасности, Джерри почувствовал, совершенно о том не думая. Всю свою жизнь, с самого первого дня, он провел, окруженный опасностью, вечно грозившей со стороны чернокожих. В доме на плантации Мериндж белые всегда косо погля-

дывали на многочисленных негров, работавших на них и им принадлежавших. В жилой комнате, где был обеденный стол, бильярд и фонограф, стояли козлы для ружей, а в каждой спальне, у каждой кровати лежали под рукой револьверы и винтовки. Мистер Хаггин, Дерби и Боб, уходя из дому к своим чернокожим, всегда носили у пояса револьверы.

Джерри знал, для какой цели служат эти производящие шум предметы, — то были орудия разрушения и смерти. Ему приходилось видеть, как они уничтожали живые существа — свиней, птиц и крокодилов. С помощью этих предметов белые боги по воле своей преодолевали пространство, не трогаясь с места, и убивали живые вещи. А он, Джерри, чтобы причинить кому-нибудь вред, должен был перейти пространство и приблизиться к своему противнику. Он был иначе устроен. Он был ограничен. Все невозможное становилось возможным для совершенных двуногих белых богов. Отчасти их способность уничтожать вещи, отделенные расстоянием, являлась как бы дальнейшим развитием когтей и клыков. Не задумываясь и не сознавая, он принимал это так же, как принимал весь окружающий его таинственный мир.

Однажды, в прошлом, Джерри пришлось даже увидеть, как мистер Хаггин посеял смерть на расстоянии, но на другой манер. С веранды он видел, как тот бросил палочки взрывчатого динамита в галдевшую толпу чернокожих, которые вторгались из внешнего мира. Свои длинные черные военные лодки, остроносые, резные и инкрустированные перламутром, они втащили на берег у плантации Меринджа.

Джерри видел немало мер предосторожности, принимаемых белыми богами, и теперь бессознательно увидел в этой ограде из колючей проволоки на плавучем мирке знак неотступной опасности. Гибель и смерть бродили вокруг, поджидая удобного случая напасть на жизнь и задушить ее. Чтобы жить, следовало быть начеку, — этот закон Джерри вывел из того немногого, что знал о жизни.

Пока натягивали колючую проволоку, у Джерри произошло еще одно приключение с Леруми, рабочим из Меринджа, которого в то утро Бидди столкнула в воду со всеми его пожитками. Они встретились на штир-борте у люка; Леруми разглядывал себя в дешевенькое зеркальце и расчесывал жесткие волосы деревянным гребнем ручной работы.

Джерри, не обращая внимания на присутствие Леруми, рысью бежал на корму, где помощник Боркман следил, как команда натягивает на подпорки колючую проволоку. А Леруми огляделся по сторонам, убедился, что его ноги скрыты от наблюдателя, прицелился и лягнул Терренса-сына — своего четвероногого врага. Голая нога больно ударила Джерри по копчику недавно обрубленного хвоста, и Джерри, оскорбленный таким святотатством, немедленно пришел в бешенство.

Капитан Ван Хорн стоял на корме на левом борту, определяя по парусам направление ветра и следя за чернокожим рулевым, и не видел Джерри, заслоненного люком. Но он заметил, как Леруми дернул плечом, пока, балансируя на одной ноге, другой наносил удар. И следующие события помогли ему догадаться о том, что произошло.

Вой Джерри, когда он упал, перевернулся, прыгнул и укусил, был поистине щенячьим воплем негодования. Он вцепился в лодыжку и, получив второй удар, скатился по палубе в водосточный желоб, но на черной коже остались красные следы его острых, как игла, зубов. Все еще визжа от негодования, он пополз, цепляясь когтями, по

крутому деревянному холму.

Леруми, снова бросив взгляд по сторонам, убедился, что за ним следят и через край хватать нельзя. Он бросился бегом вдоль люка, пытаясь ускользнуть вниз, но острые зубы Джерри впились в его икру. Джерри, слепо кинувшись в атаку, попал чернокожему под ноги. Как раз в эту минуту внезапный порыв ветра надул паруса, и Леруми растянулся во всю длину. Тщетно стараясь подняться на ноги, он налетел на колючую проволоку с подветренной стороны.

Чернокожие, толпившиеся на палубе, завизжали от удовольствия, а Джерри, видя своего противника выбитым из строя и ошибочно считая себя объектом насмешек, с не меньшим бешенством накинулся на негров, хватая и кусая пролетавшие мимо него ноги. Они попрыгали вниз в каюту и коридор на баке, обежали бушприт, влезли на снасти и повисли в воздухе, как чудовищные птицы. В конце концов палуба осталась за Джерри, если не считать судовой команды; но Джерри уже научился делать различие. Капитан Ван Хорн подозвал Джерри, приласкал его и со смехом осыпал похвалами; затем повернулся к своим многочисленным пассажирам и произнес речь на невероятном морском жаргоне

англичан.

— Эй вы, ребята! Я вам говорю. Этот пес принадлежит мне. Если кто из вас, парней, этого пса тронет, тому придется плохо. Ей-богу, я из него семь склянок выбью! Вы своим ногам воли не давайте. А я придержу свою собаку. Поняли?

И пассажиры, все еще висевшие в воздухе, поблескивая черными глазами и жалобно чирикая между собой, приняли закон белого. Даже Леруми, порядком поцарапанный колючей проволокой, не ругался и не грозил. Потирая пальцами свои царапины, он прошептал: «Ей-богу здоровый парень этот пес! Здоровый парень!», чем вызвал усмешку шкипера и оглушительный хохот товарищей.

Но Джерри нельзя было назвать злым. Как Бидди и Терренс, он был буйным и бесстрашным; эти качества он получил по наследству. И, как Бидди и Терренс, он наслаждался охотой на негров. Это был результат дрессировки; так дрессировали его, когда он был еще крохотным щенком. Негры были неграми, а белые люди были богами, и белые боги научили его преследовать негров и следить, чтобы они занимали подобающее им ничтожное место в мире. Весь мир держали белые в своих руках. Негры… разве не знал он, что они

всегда вынуждены оставаться в своем жалком положении? Разве не видел он, как на плантации Мериндж их привязывали иногда к пальмам и хлестали по спине, вырывая клочья мяса? Не удивительно, что породистый ирландский терьер, окруженный любовью белого бога, стал смотреть на негров глазами белого бога и вести себя с ними так, чтобы заслужить его похвалу.

Для Джерри выдался хлопотливый денек. На «Эренджи» все было ново и странно, и здесь то и дело случались любопытные вещи. У Джерри произошла еще одна встреча с дикой собакой, которая предательски напала на него с фланга из засады. Сундуки с имуществом чернокожих были сложены в беспорядке, и между двумя ящиками в нижнем ряду осталось небольшое пространство. Из этой дыры дикая собака прыгнула на Джерри, пробегавшего мимо на зов шкипера, вонзила острые зубы в желтую бархатную шкуру Джерри и поспешно отступила назад, в свою нору.

Снова чувства Джерри были оскорблены. Атаку с фланга он понимал. Часто он играл так с Майклом, хотя у них это была только игра. Но отступать, не сражаясь, когда бой уже начался, было чуждо привычкам и характеру Джерри. Со справедливым негодованием он бросился в

дыру за своим врагом. Но здесь все преимущества были на стороне дикой собаки — она лучше всего сражалась в углу. Когда Джерри прыгнул в узкое пространство, он ударился головой о верхний ящик и через секунду почувствовал у самой своей морды оскаленную пасть врага.

Не было никакой возможности добраться до дикой собаки, налететь на нее всей тяжестью, как это делается в открытой атаке. Джерри оставалось только ползти, вертеться и рваться вперед, и всякий раз его встречали оскаленные зубы. И все же в конце концов он одолел бы его, если бы проходивший мимо Боркман не наклонился и не вытянул Джерри за заднюю лапу. Снова раздался зов капитана Ван Хорна, и Джерри послушно пустился рысцой на корму.

Обедали на палубе в тени контр-бизани, и Джерри, сидевший между двумя мужчинами, получил свою порцию. Он уже успел вывести заключение, что из двух белых капитан был высшим богом, отдававшим приказания, которым повиновался помощник. Помощник же, в свою очередь, командовал чернокожими, но никогда не отдавал приказаний капитану. Затем Джерри почувствовал влечение к капитану и ближе к нему придвинулся. Когда он сунул нос в тарелку

капитана, ему ласково сделали выговор. Но когда он только понюхал дымящуюся чашку чая помощника, тот щелкнул его по носу грязным пальцем. И помощник ни разу не дал ему есть.

Капитан Ван Хорн дал ему прежде всего миску овсяной каши, щедро полив ее сгущенными сливками и подсластив сахаром; сахару он высыпал ложку с верхом. Затем он то и дело давал ему ломтики хлеба с маслом и кусочки жареной рыбы, откуда раньше заботливо вытащил мелкие кости.

Его любимый мистер Хаггин никогда не кормил его во время обеда, и теперь Джерри был вне себя от радости. Он был еще молоденьким щенком и до того увлекся, что вскоре стал настойчиво приставать к капитану, требуя еще рыбы и хлеба с маслом. Один раз он даже пролаял свою просьбу. Это навело капитана на мысль научить его «говорить», и он сейчас же принялся за дело.

Через пять минут Джерри научился говорить, тихо и только один раз — мягким, ласкающим, односложным лаем. И тут же он усвоил слово «сядь», отличающееся от «ляг», и узнал, что должен садиться всякий раз, когда говорят, а затем ждать пока не дадут куска.

Далее его словарь обогатился тремя словами.

Отныне «говори» — стало означать для него «говори», а «сядь» — означать «сядь» и отнюдь не «ляг». Третье слово было «шкипер». Он слышал, как помощник несколько раз называл этим именем капитана Ван Хорна. Если человеческое существо кричало «Майкл», зов относился к Майклу, а не к Бидди, или Терренсу, или к нему самому; Джерри это было известно, а теперь он узнал, что «шкипер» было имя двуногого белого господина этого нового плавучего мира.

— Право же, это не простая собака, — объявил Ван Хорн своему помощнику. — За этими карими глазами видишь настоящий человеческий мозг. Ему шесть месяцев. Всякий шестилетний мальчишка считался бы феноменом, если бы выучил в пять минут все, что выучил он. Да, черт меня побери! Собачий мозг, должно быть, похож на человеческий. Если пес действует, как человек, ему и думать приходится по-человечьи.

Глава IV

В главную каюту вела крутая лестница, и по ней капитан после обеда снес Джерри на руках. Это была большая комната во всю ширину «Эренджи»; на корме был лазарет, а на носу — крохотная каютка. Дальше, за толстой переборкой, находился бак, где жила судовая команда. В крохотной каютке помещались Ван Хорн и Боркман, а главную каюту занимали шестьдесят рабочих. Они сидели на корточках, валялись на полу и на длинных скамьях, тянувшихся по обеим сторонам каюты.

Войдя в маленькую каюту, капитан бросил в угол одеяло и дал понять Джерри, что это его постель. Джерри, плотно пообедавший и утомленный после такого суетливого дня, немедленно заснул.

Час спустя его разбудил вошедший Боркман. Джерри приветливо завилял обрубком хвоста и улыбнулся, но помощник нахмурился и сердито проворчал что-то сквозь зубы. Тогда Джерри перестал улыбаться и только спокойно за ним следил. Помощник пришел глотнуть спиртного. Он таскал спирт из запасов Ван Хорна. Джерри

этого не знал. На плантации ему часто приходилось видеть, как выпивают белые. Но в манерах Боркмана было что-то необычное. Он пил как будто исподтишка, украдкой, и Джерри смутно это сознавал. В чем тут было дело, он не знал, но, почуяв что-то неладное, подозрительно к нему присматривался.

После ухода помощника Джерри мог бы еще поспать, но неплотно прикрытая дверь с шумом распахнулась. Открыв глаза, он приготовился встретить неведомого врага, но никого не было, и он стал следить за тараканом, ползущим по стене. Когда Джерри встал и осторожно направился к нему, таракан удрал и, шелестя, скрылся в щели. С тараканами Джерри был знаком всю свою жизнь, но на «Эренджи» обитала особая порода, и, столкнувшись с ней, ему еще суждено было узнать много нового.

Наскоро обследовав комнату, он вышел в большую каюту. Здесь повсюду валялись чернокожие. Джерри решил каждого освидетельствовать, видя в этом свой долг перед шкипером. Они хмурились и потихоньку ругались, когда он к ним принюхивался. Один осмелился пригрозить ему кулаком, но Джерри, вместо того чтобы увернуться в сторону, оскалил зубы и приготовился

к прыжку. Чернокожий поспешно опустил руку и стал тихо и ласково бормотать, что, конечно, говорило о раскаянии; товарищи его захихикали, а Джерри прошел мимо. В этом не было ничего нового. От чернокожих всегда следовало ждать удара, если поблизости не было белых. Помощник и капитан находились на палубе, и Джерри, хотя и не трусил, но продолжал свои исследования осторожно.

Однако у входа в лазарет, на корме, он позабыл обо всякой осторожности и ринулся навстречу новому запаху, донесшемуся до его ноздрей. В низкой темной комнате находилось какое-то странное существо; его он еще ни разу не обнюхивал. На грубой циновке, разостланной на ящиках с табаком и пятидесятифунтовых жестянках с мукой, лежала в одной сорочке молоденькая чернокожая девушка.

Казалось, она притаилась или пряталась, и Джерри это почувствовал, а ему с давних пор было известно, что дело неладно, если какой-нибудь чернокожий пытается спрятаться или улизнуть. Она с ужасом вскрикнула, когда он тревожно залаял и устремился к ней. Но она не ударила, хотя его зубы оцарапали ее голую руку. И больше она не кричала. Она съежилась на своей циновке,

дрожала и не защищалась. Вцепившись зубами в ее реденькую сорочку, он тряс ее и тянул, сердито рыча и время от времени лая, чтобы призвать шкипера или помощника.

В процессе борьбы равновесие ящиков и жестянок нарушилось, и вся груда рухнула на пол. Тут Джерри залаял еще неистовее, а чернокожие, выглядывая из каюты, безжалостно хохотали. Когда явился шкипер, Джерри завилял своим обрубленным хвостом и, прижав уши, еще сильнее задергал тонкую бумажную ткань сорочки. Он ждал похвалы за свое поведение, но когда шкипер велел ему отпустить девушку, он повиновался и понял, что это притаившееся, пораженное ужасом существо чем-то отличается от других таких же существ и обращаться с ним нужно иначе.

А страх девушка перенесла такой, какой мало кто может вынести. Ван Хорн называл ее своей докучной кладью и рад был бы от этой клади отделаться, однако не уничтожая ее. От этого-то уничтожения он и спас ее, когда купил, дав в обмен жирную свинью.

Она была глупым, бездушным, больным созданием; молодые люди из ее деревни не обращали на нее никакого внимания, и, когда ей исполнилось двенадцать лег, разочарованные родители

предназначили ее для кухонного котла. Когда капитан Ван Хорн впервые ее встретил, она была центральной фигурой в траурной процессии на берегах реки Балебули.

Отнюдь не красавица, — таков был его приговор, когда он задержал процессию. Тощая, с шелудивой кожей, покрытой засохшими струпьями, — следы болезни, называемой «букуа», — она была связана по рукам и по ногам и, как свинья, свешивалась с толстого шеста, который покоился на плечах носильщиков, намеревавшихся ею пообедать. Все еще надеясь получить пощаду, она не молила о помощи, но в ее вытаращенных глазах застыл безграничный ужас.

Разговорившись на универсальном английском морском жаргоне, капитан Вал Хорн узнал, что любовью своих спутников она не пользовалась, и сейчас они несли ее к реке Балебули, чтобы вбить там кол и погрузить по самую шею в текучую воду. Но прежде чем вбить кол, они думали вывихнуть ей суставы и перерубить кости рук и ног. Это не было ни религиозным обрядом, ни умилостивляющей жертвой зверским богам джунглей. Вопрос был чисто гастрономического свойства. Живое мясо, приготовленное таким образом, делалось мягким и вкусным. А девушка,

как указали ее спутники, несомненно, нуждалась в такой манипуляции. Два дня пребывания в воде, сказали они капитану, сделают свое дело. Затем они убьют ее, разложат костер и созовут друзей.

Капитан Ван Хорн торговался около получаса, доказывая, что девушка никакой цены не имеет, затем купил свинью стоимостью в пять долларов и отдал в обмен на нее. Поскольку он расплатился за свинью товаром, а товары были расценены на сто процентов выше себестоимости, то в действительности девушка обошлась ему в два доллара пятьдесят центов.

И тут-то начались затруднения капитана Ван Хорна. Он не мог отделаться от девушки. Слишком хорошо знал он туземцев Малаиты, чтобы вручить ее кому-нибудь из обитателей этого острова. Вождь племени Суу — Ишикола — предложил за нее сотню кокосовых орехов, а на берегу Малу вождь Бау давал двух цыплят. Но это последнее предложение сопровождалось усмешкой и свидетельствовало о презрении старого негодяя к худобе девушки. Капитану Ван Хорну не удалось связаться с миссионерским бригом «Западный Крест» — на нем она была бы в безопасности, — и он вынужден был держать ее в тесном помеще-

нии на «Эренджи» до того проблематического момента, когда удалось бы препроводить ее к миссионерам.

Но девушка к нему никакой благодарности не чувствовала, ибо была слишком глупа. Она, которую продали за жирную свинью, считала, что ее плачевная роль в этом мире не изменилась. Ее обрекали на съедение, и обреченной на съедение она осталась. Изменилось только ее назначение, и теперь ее несомненно съест большой белый господин «Эренджи», когда она в достаточной мере потолстеет. Его виды на нее обнаружились с самого начала, когда он пробовал ее откормить. А она его перехитрила и упорно ела столько, сколько нужно, чтобы остаться в живых.

В результате девушка, проведя всю жизнь в лесах и ни разу не опустив ноги в лодку, теперь бесконечно носилась по поверхности океана, в тумане кошмарного ужаса. На морском жаргоне, распространенном среди чернокожих тысячи островов, пассажиры «Эренджи» подтвердили ее страх. «Я тебе говорю, парень Мэри, — заявлял один, — скоро этот большой парень, белый господин, тебя кай-кай». А другой подхватывал: «Большой парень, белый господин, тебя кай-кай, я тебе говорю — у него живот разгулялся».

«Кай-кай» на морском жаргоне значило «есть». Даже Джерри это знал. Слова «есть» не было в его словаре, а «кай-кай» было, и означало оно больше, чем «есть», так как служило и существительным и глаголом.

Но девушка никогда не отвечала на поддразнивание чернокожих. Она вообще все время молчала, не говорила даже с капитаном Ван Хорном, который и имени ее не знал.

К концу дня, после приключения с девушкой в лазарете, Джерри снова вышел на палубу. Шкипер, держа его на руках, поднялся по трапу и едва опустил на палубу, как Джерри сделал новое открытие: земля! Он не видел ее, но обонял, высоко задрав нос. Джерри расположился с наветренной стороны и стал внюхиваться в воздух, который принес весть о земле; и носом он словно читал в воздухе, как человек читает газету. Он почуял соленые запахи морского берега и влажной грязи мангиферовых болот, благовонный аромат тропической растительности и очень слабый, едкий запах дыма тлеющих костров.

Пассатный ветер, который пригнал «Эренджи» в воды, защищенные выступающим мысом Малаиты, теперь спадал, и судно стало покачиваться на невысоких волнах; слышался треск шкотов и

блоков и грохот спускаемых парусов. Джерри с насмешливым презрением поглядывал на грот, прыгающий над его головой. Он понял уже пустую ветреность его угроз, но блоков грот-шкота остерегался и обходил бугель.

Капитан Ван Хорн, пользуясь затишьем, вздумал обучать команду ружейной стрельбе и приказал достать с люка ли-энфильдские ружья. Вдруг Джерри припал к палубе и неслышно пополз вперед. Но дикая собака, удалившаяся на три фута от своей норы под сундуками, не зевала. Она заметила Джерри и грозно зарычала. Рычание было злобным, как и вся ее жизнь. Мелкие животные страшились этого рычания, но оно не испугало Джерри, который настойчиво крался вперед. Когда дикая собака прыгнула в нору под ящиками, Джерри бросился за ней, но враг ускользнул. Бросив за борт куски дерева, бутылки и пустые жестянки, капитан Ван Хорн приказал восьми матросам из своей команды стрелять. Джерри пришел в восторг от ружейной стрельбы, и к грохоту присоединился его возбужденный лай. Пустые медные гильзы выбрасывались, а чернокожие пассажиры ползали по палубе и подбирали; для них это были ценные предметы, и они немедленно совали их еще горячими в свои

продырявленные уши. В их ушах было просверлено множество отверстий; самое маленькое могло вместить гильзу, в других торчали глиняные трубки, палочки табаку и даже коробки спичек. А были и такие отверстия, что в них держались деревянные цилиндры в три дюйма толщиной.

Помощник и капитан носили у пояса автоматические пистолеты. Они стали расстреливать обойму за обоймой, к большому удивлению чернокожих, которые, затаив дыхание, следили за стрельбой. Судовая команда стреляла неважно, но капитан Ван Хорн, как и каждый капитан Соломоновых островов, знал, что туземцы — жители лесов и приморских берегов — стреляли еще хуже, и на стрельбу судовой команды можно было положиться, если ей не вздумается в минуту опасности перейти на сторону врага.

Сначала автоматический пистолет Боркмана дал осечку, и капитан Ван Хорн сделал замечание своему помощнику за то, что тот не чистит и не смазывает своего оружия. Затем Ван Хорн с упреком спросил Боркмана, сколько стаканчиков тот сегодня пропустил и не этим ли объясняется его неудачная стрельба. Боркман объяснил, что у него был приступ лихорадки, а Ван Хорн удержал сомнения при себе, но несколько минут

спустя, усевшись в тени контр-бизани и взяв на руки Джерри, поделился с ним своими соображениями.

— Прямо беда с ним, Джерри… И все из-за шнапса[12], — объяснял капитан Ван Хорн. — Черт побери, я из-за этого должен нести свои вахты и добрую половину его. А он говорит — лихорадка. Поверь, Джерри! Все это шнапс — самый обыкновенный ш-на-пс! А он хороший моряк, Джерри, когда трезв. Но когда напьется, становится полоумным. Голова у него идет кругом, человек ходит дурак дураком; в бурю храпит, в мертвый штиль страдает от бессонницы. Джерри, ты еще только вступаешь в мир на своих четырех бархатных лапках; так послушайся совета опытного моряка и не прикасайся к шнапсу. Верь мне, Джерри, мой мальчик, послушайся своего отца — от водки добра не увидишь.

Затем капитан Ван Хорн оставил Джерри на палубе выслеживать дикую собаку, а сам спустился в крохотную каюту и глотнул из бутылки, к которой прикладывался Боркман.

Выслеживание дикой собаки превратилось в забаву, во всяком случае, для Джерри; он ни-

---

[12] notes: 12
Шнапс — водка.

когда не злобствовал и сейчас наслаждался от души. Кроме того, эта игра преисполнила его восхитительным сознанием собственной силы, так как дикая собака все время от него удирала. Поскольку дело касалось собак, Джерри был героем на палубе «Эренджи». Ему не пришло в голову осведомиться, приятно ли его поведение дикой собаке, а, по правде сказать, эта особа, по его вине, влачила жалкое существование. Когда Джерри находился на палубе, дикарка не смела отойти дальше чем на несколько футов от своего логовища и пребывала в страхе и трепете перед толстым щенком, который не боялся ее рычания. Под вечер Джерри, еще разок проучив дикую собаку, рысцой пробежал на корму и нашел там шкипера. Тот сидел, поджав ноги, на палубе, прислонившись спиной к низким перилам, и рассеянно глядел на море. Джерри понюхал его голую икру — не то чтобы он хотел проверить, его ли это нога, а просто ему нравился запах, и, кроме того, он видел в этом своего рода дружеское приветствие. Но Ван Хорн не обратил на него внимания и по-прежнему глядел вдаль. Он даже не заметил щенка.

Джерри опустил морду на колени шкипера и долго пристально смотрел ему в лицо. Тут уже

шкипер его заметил и был приятно растроган, но не подал вида и продолжал сидеть неподвижно, Джерри решил попробовать новый способ. Шкипер опирался локтем о другое колено, а рука его лениво свешивалась вниз; в полураскрытую руку Джерри по самые глаза засунул свою мягкую золотистую мордочку и застыл в такой позе. Ему не видно было, как вспыхнули у шкипера глаза; взгляд его оторвался от моря и обратился на щенка. Джерри еще минутку стоял, не шевелясь, а затем громко засопел.

Шкипер не выдержал и от души расхохотался, а Джерри в приливе любви прижал свои шелковистые уши, греясь в лучах улыбки бога. И смех шкипера заставил Джерри бешено завилять хвостом. Полураскрытая рука сомкнулась в твердом пожатии. Затем рука стала его качать из стороны в сторону с такой силой, что Джерри едва устоял на ногах.

Джерри блаженствовал. Нет, мало того, — он был в экстазе. Он знал, что в грубом пожатии не было гнева и оно не грозило опасностью; это была та же игра, какою он, бывало, забавлялся с Майклом. Иногда он играл так и с Бидди и любовно возился с ней. А в исключительных случаях сам мистер Хаггин ласково его тормошил. Для

Джерри эта игра была полна глубокого смысла.

Когда Ван Хорн стал сильнее его раскачивать, Джерри сердито зарычал и рычал все громче и громче по мере того, как усиливалась встряска. Но это была игра, он только притворялся, будто хочет укусить того, кого любил слишком горячо. Он дергался, стараясь вытащить голову и ухватить складку кожи, льнувшую к его щеке.

Когда шкипер, сильно тряхнув его, освободил и отпихнул в сторону, Джерри подбежал к плечу, ворча и скаля зубы, и снова рука сомкнулась вокруг его морды и стала ее раскачивать. Игра продолжалась, а возбуждение Джерри росло. Один раз шкипер замешкался, и Джерри поймал его руку, но зубов не стиснул. Зубы оставили на коже отпечаток, но это был не укус.

Игра становилась все грубее, и Джерри забылся. По-прежнему играя, он до того увлекся, что принял игру за подлинное событие. Это было сражение, борьба с рукой, которая его хватала, трясла и отпихивала. Он больше уже не притворялся и рычал по-настоящему. А когда его отшвыривали назад и он снова бросался в атаку, из груди его вырывался истерически звонкий щенячий лай. И капитан Ван Хорн, внезапно поняв, протянул раскрытую руку, как символ мира — символ

столь же древний, как человеческая рука. И в то же время он произнес только одно слово: «Джерри!» В этом слове было все — и властный упрек, и приказание, и вся настойчивость любви.

Джерри понял и сразу пришел в себя. Он сейчас же раскаялся, смирился, уши откинул назад, моля о прощении, а сердце его затрепетало в приливе любви. Нападающий пес с оскаленными клыками превратился в мягкий, шелковистый комочек; он рысцой подбежал к протянутой руке и лизнул ее; розово-красный язык блеснул, как драгоценный камень между двумя рядами ослепительно-белых зубов. А через секунду Джерри блаженствовал в объятиях шкипера и прижимался мордой к его щеке и лизал его, словно хотел поцелуями заменить членораздельную речь. Это был подлинный праздник, и оба от души им наслаждались.

— Черт бы меня побрал! — забормотал капитан Ван Хорн. — Ты весь клубочек натянутых нервов с золотым сердцем, и все это обернуто снаружи в золотую шкурку. Джерри, ты золото, чистое золото, и во всем мире нет второй такой собаки. Сердце у тебя золотое, золотой мой пес. Люби меня, и я буду добр к тебе и буду тебя любить, всегда, вовеки веков.

И капитан Ван Хорн вдруг заморгал, глаза его

затуманились, и секунду он не видел щенка, который в приливе любви весь затрепетал в его объятиях и слизнул соленую влагу с его глаз. А ведь Ван Хорн, шкипер «Эренджи», босой, в шестипенсовой рубахе и набедренной повязке, торговал «черной птицей», развозя чернокожих каннибалов, никогда не расставался со своим автоматическим револьвером, и голова его была оценена в десятках приморских деревень и лесных крепостей. Он считался самым крутым шкипером Соломоновых островов, где выживает только тот, кто жесток.

Глава V

Стремительная тропическая ночь поглотила «Эренджи». Судно то затихало в штиле, то накренялось и ныряло под ударами ветра и дождя со стороны Малаиты, острова каннибалов. Здесь прекратился юго-восточный пассатный ветер, и погода переменилась. Стряпать в камбузе на открытой палубе стало сущим наказанием, а чернокожие рабочие, ходившие нагишом, должны были уйти вниз.

Первую вахту, с восьми до двенадцати, нес помощник; а капитан Ван Хорн, не желая мокнуть под ливнем, спустился в крохотную каюту, прихватив с собой Джерри. Джерри устал от бесконечных приключений этого дня — самого беспокойного во всей его жизни; он заснул, а во сне рычал и перебирал лапами; шкипер последний раз взглянул на него, убавил свет лампы и, усмехнувшись, пробормотал:

— Это дикая собака, Джерри. Хватай ее! Кусай! Задай ей трепку!

Джерри спал так крепко, что ничего не слышал. Дождь прекратился, унеся с собой последнее дыхание ветра и превратив каюту в удушли-

вую паровую баню, а задыхающийся шкипер, в мокрой от пота рубахе и набедренной повязке, поднялся, сунул под мышку подушку и одеяло и вышел на палубу.

Джерри разбудил огромный трехдюймовый таракан, укусивший его за чувствительное местечко между пальцами, где кожа не покрыта волосами. Джерри проснулся, тряхнул пострадавшей лапой и поглядел на таракана, который удирать не стал, а с достоинством отполз в сторону. Джерри следил, как тот присоединился к другим тараканам, маршировавшим по полу. Он никогда не видел их в таком количестве. Все они были огромные и ползали повсюду. Длинные вереницы ползли из щелей и спускались по стене, чтобы присоединиться к своим товарищам, разгуливавшим по полу.

По мнению Джерри, это было совершенно недопустимо. Мистер Хаггин, Дерби и Боб не переносили тараканов, а их мнение было и его мнением. Таракан был вечным врагом тропиков. Джерри прыгнул на ближайшего, намереваясь раздавить его лапой. Но насекомое сделало то, чего он никак не ожидал от таракана. Оно поднялось в воздух и полетело, как птица. И, словно по сигналу, вся масса тараканов поднялась в воз-

дух и заполнила комнату, кружась и взмахивая крыльями.

Джерри атаковал крылатое войско; он прыгал, щелкая зубами и стараясь лапой сбросить летающую гадину. Иногда это ему удавалось, и таким путем он нескольких уничтожил. Сражение не прекращалось до тех пор, пока все тараканы, словно опять по сигналу, не исчезли в многочисленных щелях, и поле битвы осталось за ним.

И сейчас же у Джерри мелькнула мысль: где шкипер? Он знал, что в каюте его не было, но все же встал на задние лапы и исследовал низкую койку. Чуткие ноздри его затрепетали, и он засопел от удовольствия, почуяв запах недавно лежавшего здесь шкипера. А обрубок хвоста замотался направо и налево.

Но *где же был шкипер*? Эта мысль сверлила его мозг так же, как если бы это был мозг человеческий. И подобным же образом мысль предшествовала у него действию. Дверь была открыта настежь и укреплена крюком, и Джерри выбежал в большую каюту, где с полсотни чернокожих стонали, вздыхали и храпели во сне. Они лежали тесно друг подле друга на полу и на длинных скамьях, и Джерри вынужден был перелезать через их голые ноги. А поблизости

не было белого бога, чтобы защитить его. Он это знал, но не боялся.

Убедившись, что шкипера в каюте не было, Джерри приготовился было к опасному подъему по крутым ступенькам, напоминавшим приставленную лестницу, но тут вспомнил о лазарете. Он вбежал туда и понюхал спящую девушку в бумажной сорочке, думавшую, что Ван Хорн ее съест, если ему удастся ее как следует откормить.

Вернувшись к трапу, Джерри посмотрел наверх и стал ждать в надежде, что появится шкипер и отнесет его на палубу. Шкипер здесь проходил; Джерри это знал по двум причинам. Только этим путем он и мог пройти, а обоняние подсказало Джерри, что он действительно здесь прошел. Его первая попытка подняться по трапу началась хорошо. Он миновал треть ступеней, но тут «Эренджи» нырнул и резко выпрямился, а Джерри поскользнулся и упал. Два-три чернокожих проснулись и следили за ним, приготовляя себе жвачку из бетеля и зеленых листьев.

Два раза Джерри соскальзывал с первых же ступенек, а чернокожие, разбуженные своими товарищами, сидели и потешались над ним. Четвертый раз Джерри ухитрился добраться до половины трапа, а оттуда тяжело грохнулся на

бок. Его падение было встречено тихим смехом и ругательствами, напоминавшими чириканье огромных птиц. Джерри поднялся на ноги, нелепо ощетинился и презрительно зарычал на эти низшие двуногие существа, которые приходили и уходили и подчинялись воле таких великих белокожих двуногих богов, как шкипер и мистер Хаггин.

Джерри не был обескуражен своим падением и снова полез по трапу. Временное затишье помогло ему добраться до верхних ступеней, а когда подошла большая волна, он удержался, цепляясь передними лапами, и вылез на палубу. На средней части палубы, около люка, сидело несколько человек судовой команды и Леруми. Джерри осторожно их всех обнюхал и ощетинился, когда Леруми тихо, угрожающе зашипел. На корме, у штурвала, он нашел чернокожего рулевого, а рядом с ним стоял на вахте помощник. Помощник заговорил с Джерри и наклонился, чтобы погладить его, но тот потянул носом и почуял близость шкипера. Он словно попросил извинения, завиляв хвостом; рысцой пустился на наветренную сторону и наткнулся на шкипера. Шкипер крепко спал, лежа на спине, и только голова его торчала из-под одеяла.

Джерри прежде всего радостно его обнюхал и завилял хвостом. Но шкипер не проснулся. Моросил мелкий дождь, и Джерри, съежившись, забился в уголок между головой и плечом шкипера. Это разбудило шкипера; он ласково прошептал: «Джерри!», а Джерри в ответ ткнулся в его щеку своим холодным влажным носом. И шкипер снова заснул. Но Джерри не спал. Он приподнял носом конец одеяла и полез через плечо, пока не очутился под одеялом. Тут шкипер проснулся и помог ему устроиться поудобнее.

Но Джерри все еще был недоволен и вертелся, пока не забился между рукой и телом шкипера, а голову положил на его плечо. И тогда только с глубоким вздохом удовлетворения заснул.

Несколько раз команда, ставя паруса по ветру, будила шкипера, и каждый раз, вспомнив о щенке, он ласково прижимал его к себе. А Джерри во сне шевелился и старался поближе к нему прижаться.

Хоть Джерри и был замечательным щенком, но многого он понять не мог и так никогда и не узнал, какое впечатление произвело на капитана мягкое, теплое прикосновение его бархатного тела. А капитан вспомнил, как много лет назад держал на руках свою спящую дочку, когда она

еще была грудным младенцем. И так живо было это воспоминание, что он окончательно проснулся, и бесконечные картины прошлого, начиная с детства девочки, стали всплывать перед его глазами. Ни один белый на Соломоновых островах не знал, какую тяжесть несет в себе капитан Ван Хорн, — тяжесть, часто не покидавшую его даже во сне. И на Соломоновы острова он приехал в тщетной надежде заглушить в себе эти воспоминания.

Память, разбуженная мягким щенком, спящим в его объятиях, стала рисовать картины прошлого. Он увидел девочку и ее мать в маленькой квартирке в Гарлеме. Да, правда, квартирка была маленькая, но трое счастливых людей превратили ее в рай.

Ван Хорн увидел светлые, как лен, волосы своей девочки; они становились все длиннее, завивались в локоны и колечки; наконец, заструились вдоль спины двумя толстыми, длинными косами; и потемнели, зазолотились, как у матери. Он был не в силах прогнать эти воспоминания и даже умышленно на них останавливался, словно пытался ими заслонить ту единственную картину прошлого, какую не хотел увидеть.

Ван Хорн вспомнил свою работу, служебный

трамвайный вагон и команду, работавшую под его началом. Он задумался над тем, что делает теперь Кленси, его правая рука. Всплыл в памяти тот долгий день, когда его подняли с постели в три часа утра, — нужно было вытащить из витрины аптекарского магазина съехавший с рельсов трамвай и снова поставить его на рельсы. Они работали целый день, подобрали с полдюжины раздавленных людей и вернулись в трамвайный парк к девяти часам вечера. И сейчас же их снова вызвали на работу.

— Слава тебе, Господи! — сказал Кленси, живший с ним по соседству. Ван Хорн вспомнил, как тот вытирал пот с безобразного лица. — Слава тебе, Господи, дело совсем пустяшное и всего в каких-нибудь десяти кварталах от нас. Как только с ним покончим, айда домой, а ребята пусть отведут вагон в ремонтную мастерскую.

— Нам придется только на секунду приподнять его, — ответил Ван Хорн.

— А в чем там дело? — спросил Билли Джефферс, один из рабочих.

— Кого-то переехали — не могут вытащить, — ответил Ван Хорн, и они тронулись в путь, разместившись на подножке служебного вагона.

Ван Хорн отчетливо вспомнил все детали дол-

гого пути, вспомнил, как задержала их пожарная команда с рукавами и лестницей, спешившая на пожар, а он и Клепси в это время подшучивали над Джефферсом, будто тот из-за сверхурочной ночной работы не попал на свидание с несуществующими девицами.

Показался длинный ряд остановившихся трамваев, полиция, сдерживавшая напор толпы, две кареты скорой помощи, ожидавшие свою поклажу, и молодой дежурный полисмен, бледный и дрожащий, обратившийся к нему со словами:

— Ужас что такое, парень! Смотреть страшно! Две женщины. Мы не могли их вытащить. Я старался. Одна как будто была еще жива.

Но Ван Хорн, здоровый и сильный парень, привык к своей работе; трудный день его утомил; он с удовольствием вспомнил светлую квартирку в нескольких кварталах отсюда, куда он пойдет, когда работа будет сделана. Полисмену он ответил беззаботно и уверенно, что вытащит их в один миг, и на четвереньках полез под вагон.

И снова он мысленно увидел, как вспыхнул его электрический фонарь и он посмотрел… Снова мелькнули перед ним тяжелые золотистые косы; потом его палец соскользнул с кнопки фонаря, и тьма спустилась на него.

— Что, одна еще жива? — спросил взволнованный полисмен.

Он повторил свой вопрос, пока Ван Хорн собирался с силами, чтобы надавить кнопку фонаря.

Он слышал свой собственный ответ:

— Сейчас я вам скажу…

И снова взглянул. Он смотрел добрую минуту.

— Обе умерли, — ответил он спокойно. — Кленси, передай мне домкрат[13] номер третий, а сам подлезай с другого конца вагона.

Ван Хорн лежал на спине и смотрел вверх на колеблющуюся над его головой одинокую звезду, тускло светящуюся сквозь рваное облачко. Старая боль сжимала его сердце, сухо было в горле, горели глаза. И он знал, чего не знал ни единый человек, — почему он попал на Соломоновы острова, сделался шкипером «Эренджи», охотился за неграми, рисковал своей головой и пил виски больше, чем полагается пить человеку.

С тех пор он не глядел ни на одну женщину. И белые заметили, что он был подчеркнуто холоден с детьми, как черными, так и белыми.

Но, заглянув в глаза самому страшному воспоминанию, Ван Хорн вскоре смог заснуть и,

---

[13] notes: 13

Домкрат — машина для поднятия тяжестей при помощи зубчатых колес.

погружаясь в дремоту, с наслаждением ощущал на своем плече голову Джерри. Один раз Джерри, которому снились берег Мериджа, мистер Хаггин, Бидди, Терренс и Майкл, тихонько завизжал. Ван Хорн приподнялся, ласково притянул его к себе и зловеще забормотал:

— Если только негр посмеет тронуть этого щенка!..

В полночь, когда помощник коснулся его плеча, чтобы разбудить, Ван Хорн спросонья машинально и быстро схватил правой рукой револьвер, висевший у бедра, и забормотал:

— Если только негр посмеет тронуть этого щенка…

— Пожалуй, это мыс Коноро впереди, — объяснил Боркман, когда они стояли с наветренной стороны и смотрели на неясные очертания земли. — Мы сделали не больше десяти миль, и ветер ненадежный.

— Там наверху какая-то дрянь собирается, если только что-нибудь из этого выйдет, — сказал Ван Хорн, когда они оба перевели взгляд на разорванные облака, затемнявшие тусклые звезды.

Едва успел помощник принести снизу свое одеяло и устроиться на палубе, как до них долетел свежий ветер с суши, и «Эренджи» понесся по

гладкой поверхности воды со скоростью девяти узлов. Сначала Джерри пробовал нести вахту вместе со шкипером, но вскоре свернулся клубочком и задремал, прикорнув к босой ноге шкипера.

Когда тот завернул его в одеяло и положил на палубу, он сейчас же снова заснул; но потом так же быстро проснулся, вылез из-под одеяла и стал ходить за шкипером взад и вперед по палубе. Тут шкипер задал ему новый урок, и через пять минут Джерри его усвоил. Шкипер хотел, чтобы Джерри оставался под одеялом: все в порядке, и он, шкипер, будет ходить по палубе мимо Джерри.

В четыре часа помощник принял вахту.

— Сделано тридцать миль, — сказал ему Ван Хорн. — Но теперь ветер снова переменился. Может быть шквал. Лучше сбросьте на палубу фалы и поставьте вахтенных. Они, конечно, заснут, но пусть спят на фалах и шкотах.

Джерри проснулся, когда шкипер подлез под одеяло, и, словно то был веками установленный обычай, свернулся в клубочек между его рукой и боком. Шкипер прижался щекой к его морде, а Джерри засопел, лизнул его холодным язычком и погрузился в сон.

Полчаса спустя каждому могло бы показаться, что приближается конец света, но Джерри вряд

ли это понимал. Проснулся он от неожиданного прыжка шкипера. Одеяло полетело в одну сторону, а Джерри — в другую.

Палуба «Эренджи» превратилась в отвесную стену, и Джерри полз по ней в ревущем мраке. Все веревки и ванты трещали, сопротивляясь яростному напору шквала.

— К грот-фалам! Живо! — услышал он громкий крик шкипера. Затем он различил высокую ноту грот-шкота, визжавшего на шкивах, когда Ван Хорн, привязывая в темноте брасы[14], быстро пропускал парус между обожженными трением ладонями.

И еще много звуков — вопли судовой команды и окрики Боркмана — ударяли в барабанную перепонку Джерри в то время, как он катился вниз по крутой палубе своего нового неустойчивого мира. Но он не налетел на перила, где легко могли поломаться его хрупкие ребра, — теплая вода океана, хлынувшая через борт потоком бледно-фосфоресцирующего огня, смягчила его падение. Джерри запутался в бегучем такелаже и попробовал выплыть.

А плыл он не для того, чтобы спасти свою жизнь,

---

[14] notes: 14
Брас — снасть для поворачивания реи.

и не страх смерти гнал его. Одна мысль была в его мозгу: где шкипер? Он не думал о том, чтобы попытаться спасти шкипера или, быть может, помочь ему. Это была любовь, вечно влекущая к тому, кого любишь. Мать в минуту катастрофы бросается к своему ребенку; грек, умирая, вспоминает свой любимый Аргос[15]; солдаты на поле битвы отходят в вечность с именем возлюбленной на устах; так и Джерри в момент опасности стремился к шкиперу.

Шквал прекратился так же внезапно, как и налетел. «Эренджи» резко выровнялся, а Джерри очутился на мели, в желобе штир борта. Он рысцой побежал по палубе к шкиперу. Тот стоял, широко расставив ноги, и, все еще держа в руке канат от грот-шкота, кричал:

— Ах, черт побери! Ветер тут как тут, а дождя все нет!

Почувствовав, как Джерри, радостно засопев, ткнулся в его голую икру своим холодным носом, он, наклонившись, приласкал его. В темноте он ничего не видел, но его согревала уверенность, что Джерри, несомненно, виляет хвостом.

Большинство перетрусивших чернокожих пас-

---

[15] notes: 15

Аргос — в древности главный город Пелопонесской области (в Греции), центральный пункт государства.

сажиров столпилось на палубе, и их жалобные, ноющие голоса напоминали сонное воркованье птиц, дремлющих на шесте. Появился Боркман и стал рядом с Ван Хорном; оба в тревожном ожидании пытались что-то разглядеть в окружающем их мраке и напряженно прислушивались к движениям воздуха и моря.

— Где же дождь? — произнес с досадой Боркман. — За ветром всегда следует дождь. А сейчас его нет.

Ван Хорн по-прежнему вглядывался в темноту, прислушивался и не отвечал.

Джерри почувствовал волнение обоих мужчин и тоже насторожился. Он прижался холодным носом к ноге шкипера, лизнул его розовым язычком и ощутил соленый вкус морской воды.

Шкипер внезапно наклонился, торопливо завернул Джерри в одеяло и опустил его в углубление между двумя мешками с ямсом, привязанными на палубе позади бизань-мачты. Затем, подумав секунду, он завязал одеяло веревкой, так что Джерри очутился как бы в мешке.

Едва покончил он с этим делом, как контр-бизань пронеслась над головой, передние паруса, внезапно наполнившись, загрохотали, а грот, ослабленный Ван Хорном, повернулся и с таким

треском натянул тали, что судно содрогнулось и сильно накренилось на левый борт. Этот второй шквал налетел с другой стороны и был значительно сильнее первого.

Джерри слышал, как шкипер крикнул помощнику:

— К грот-фалам! Отпустить шлаги[16]! Я позабочусь о талях! — Затем он обратился к команде: — Батто! Ты, парень, отпусти тали контр-бизани! Живей! Ранга! Отпусти шкот контр-бизани!

Тут Ван Хорна сбила с ног лавина чернокожих пассажиров, запрудивших палубу во время первого шквала. Барахтающаяся масса покатилась вместе с ним вниз по залитой водой палубе, к колючей проволоке у левого борта.

Джерри сидел в своем уголке так плотно, что его не отбросило. Но когда команда, отдаваемая шкипером, смолкла, а секунду спустя от колючей проволоки понеслись его проклятия, Джерри пронзительно залаял и стал царапаться и биться, пытаясь выбраться из-под одеяла. Со шкипером что-то случилось. Он это знал. А о себе он ни разу не подумал, очутившись в этом хаосе гибнущего мира.

---

[16] notes: 16
Шлаг — оборот снасти, закрепленной вокруг чего-нибудь.

Но вскоре он перестал лаять, прислушиваясь к новому шуму — оглушительному хлопанью парусов, сопровождаемому громкими криками. В этом он увидел дурное предзнаменование. Он не знал, что опускают грот, после того как шкипер перерезал ножом фалы.

Адский шум все возрастал, а Джерри отвечал на него лаем, пока не почувствовал, как чья-то рука шарит поверх одеяла. Он притих и стал принюхиваться. Нет, то был не шкипер. Джерри еще раз потянул носом и узнал Леруми — того самого чернокожего, которого Бидди опрокинула на берегу, — Леруми, совсем недавно ударившего его, Джерри, по обрубку хвоста и всего неделю назад швырнувшего камнем в Терренса.

Веревка была развязана, и пальцы Леруми нащупывали его под одеялом. Джерри злобно зарычал. Это было святотатство. На нем, Джерри, собаке белого человека, было табу для чернокожих. Он рано постиг закон, воспрещающий всякому негру прикасаться к собаке белого бога. И однако Леруми — воплощение зла — осмеливался коснуться его в тот самый момент, когда мир рушился вокруг них.

И когда пальцы тронули Джерри, он вцепился в них зубами. Свободной рукой чернокожий нанес

ему такой сильный удар, что зубы Джерри скользнули по пальцам, сорвав с них кожу и мясо.

Джерри бесновался, как чертенок. Его схватили за горло, едва не придушив, и швырнули в пространство. На лету он все еще визжал от бешенства. Он упал в море и пошел ко дну, втянув в легкие добрый глоток соленой воды; затем, барахтаясь, поднялся на поверхность и поплыл. О плавании ему раньше никогда не приходилось думать. И учиться плавать ему нужно было не больше чем учиться дышать. Ходьбе он должен был учиться, но тут нужно было плыть, и он поплыл.

Ветер выл и ревел. Пена, вздымаясь под ударами ветра, наполняла ему рот и ноздри, била по глазам, разъедая их и вызывая слезы. С морем Джерри был мало знаком, и теперь, ловя воздух, он высоко поднял морду над водой, чтобы выбраться из душивших его волн. В результате горизонтальное положение было нарушено; перебирая лапами, он уже не мог удержаться на воде, нырнул и пошел ко дну. Снова выбрался он на поверхность, наглотавшись соленой воды. На этот раз, не рассуждая, но двигаясь по линии наименьшего сопротивления, что было наиболее удобным, он вытянулся на воде и поплыл, сохра-

няя это положение.

Шквал утихал. Из темноты доносилось хлопанье полуспущенного грота, пронзительные крики команды, проклятия Боркмана, а над всем этим гудел голос шкипера, выкрикивавшего:

— Хватай боковой лик, ребята! Держи туго! Тащи вниз! Выбирай грот на два блока! Живо, черт побери, пошевеливайся!

Глава VI

Узнав голос шкипера, Джерри, барахтавшийся на зыби, сменившей шквал, залаял нетерпеливо и жалобно, и в этом лае была вся его любовь к новому господину. Но вскоре «Эренджи» уплыл от него, и все звуки замерли. И тогда одинокий, во мраке, на вздымающейся груди моря, в котором он признал еще одного из своих вечных врагов, Джерри стал жалобно визжать и скулить.

Смутной, неясной интуицией он осознал свою слабость среди этого безжалостного, грозного моря, несущего неведомую, но жутко предугадываемую опасность — смерть. Смерти — *своей* смерти — он не понимал.

Однако смерть была совсем близка, ее близость ощущалась каждой клеткой, каждым нервом, и это ощущение вещало о последней жизненной катастрофе; о ней он ничего не знал, по *чувствовал*, что здесь таится конечное и наибольшее несчастье. Но понимая, он предчувствовал это так же остро, как предчувствуют люди, которые знают и обобщают значительно глубже и шире, чем четвероногие псы.

Как человек борется в тисках кошмара, так бо-

ролся и Джерри в гневном, удушающем соленом море. И он визжал и плакал — покинутый ребенок, покинутый щенок, всего полгода обитавший в волшебном мире радости и страдания. И ему *нужен, необходим* был шкипер. Ибо шкипер — бог!

Когда ветер утих и полил тропический дождь, Ван Хорн и Боркман столкнулись в темноте на борту «Эренджи», выпрямившегося после спуска грота.

— Двойной шквал, — сказал Ван Хорн, — ударил нас с правого и левого борта.

— Должно быть, расщепился надвое перед тем, как в нас ударить, — согласился помощник.

— А дождь приберег на вторую половину…

Ван Хорн не кончил фразы и выругался.

— Эй, парень! Что там у тебя случилось? — крикнул он рулевому.

Кеч, со слабо натянутой контр-бизанью, попал в полосу ветра, задний парус обвис, а передние наполнились с другого галса. «Эренджи» стал двигаться назад, приблизительно в том направлении, откуда пришел. Иными словами, он плыл туда, где Джерри барахтался в море. Так весы, на которых колебалась жизнь Джерри, склонялись в его пользу благодаря ошибке чернокожего рулевого.

Переведя «Эренджи» на новый галс, Ван Хорн велел Боркману убрать канаты, разбросанные по палубе, а сам, присев на корточки, стал сплетать под дождем снасть, которую во время шквала вынужден был разрезать. Дождь затихал и не так громко барабанил по палубе, когда шкипер обратил внимание на какой-то звук, шедший с моря. Он оторвался от работы, прислушался и, узнав жалобный визг Джерри, вскочил.

— Щенок за бортом! — крикнул он Боркману. — Вынести кливер на ветре!

Он бросился на корму, расталкивая кучку чернокожих.

— Эй вы, ребята! Убрать контр-бизань!

Он взглянул в нактоуз[17] и наспех определил по компасу направление, откуда доносился визг Джерри.

— Навались на штурвал! — крикнул он рулевому, затем подскочил к рулю и сам стал поворачивать колесо, все время повторяя вслух: — Норд-ост.

Вернувшись к нактоузу, он тщетно прислушивался, не раздастся ли снова визг Джерри, надеясь проверить, правильно ли он определил направ-

[17] notes: 17

Нактоуз — ящик со стеклянной крышей, где помещается корабельный компас на палубе корабля.

ление. Но ждал он недолго. Хотя благодаря его маневру «Эренджи» лег в дрейф, шкипер хорошо знал, что ветер и морское течение быстро отнесут его в сторону от барахтавшегося щенка. Приказав Боркману идти на корму и спустить вельбот, он бросился вниз за электрическим факелом и лодочным компасом.

Кеч был так мал, что приходилось тащить его единственный вельбот на буксире за кормой на длинном двойном фалине, и к тому времени, когда его подтянули к корме, Ван Хорн уже вернулся. Колючая проволока его не остановила; он перекинул через нее одного за другим матросов, упавших плашмя в лодку, и сам последовал за ними. Последние инструкции он выкрикнул, когда отпускали фалинь.

— Боркман, зажги якорный огонь! И лежать в дрейфе! Грот не ставить! Вычистить палубу! — Он взял рулевое весло и, подбодряя гребцов, крикнул: — Греби, греби, ребята!

Управляя рулем, он освещал факелом компас, чтоб держаться курса ост-норд-ост. Затем он вспомнил, что лодочный компас на два деления уклоняется от компаса «Эренджи», и соответствующим образом изменил курс.

Время от времени он приказывал гребцам

поднять весла, прислушивался и звал Джерри. Иногда он заставлял их грести по кругу, возвращаться назад, плыть по ветру и против ветра, чтобы осмотреть все пространство, где, по его мнению, мог находиться щенок.

— Ты, парень, слушай ушами, — сказал он первому гребцу. — Если кто из вас услышит собачьего детеныша, я дам тому пять раз по шесть футов коленкору и два раза по десять пачек табаку.

Через полчаса он уже предлагал «двенадцать раз по десять футов коленкору и десять раз по десять пачек табаку» тому, кто первый услышит «собачьего детеныша».

Джерри пришлось плохо. Плавать он не привык, соленая вода, хлеставшая в открытый рот, душила его, и он уже начал выбиваться из сил, когда случайно заметил вспышку факела капитана. Этот свет, однако, не был связан у него с представлением о шкипере, и он обратил на него столько же внимания, сколько и на первые звезды, загоревшиеся на небе. Ему даже не пришло в голову подумать, звезда это или нет. Он продолжал визжать, захлебываясь в соленой воде. Но едва донесся голос шкипера, Джерри сразу обезумел. Он пытался подняться на задние лапы и опереться передними на голос шкипера, шедший

из темноты, как оперся бы на его колено, будь тот рядом. Результаты оказались плачевными. Равновесие было нарушено: Джерри пошел ко дну, захлебнулся и едва выбился на поверхность.

Некоторое время вода, наполнившая легкие, мешала ему отвечать на все еще доносившийся крик шкипера. Наконец, он смог ответить и разразился радостным лаем. Шкипер пришел: он возьмет его из этого едкого, колючего моря, которое слепит ему глаза и мешает дышать. Шкипер действительно был богом — его богом, наделенным божественной властью спасать.

Вскоре он услыхал ритмический стук весел в уключинах, и его лай зазвучал так же радостно, как голос шкипера, который все время подбодрял его и подгонял гребцов.

— Все в порядке, Джерри, старина. Все в порядке… — Греби, греби, ребята! — Едем, Джерри, едем! Держись, старина! Крепись. — Греби, греби, черти. — Вот и мы, Джерри. Держись, мы тебя вытащим. — Легче… легче… Греби!

И внезапно Джерри увидел, как из мрака выступили смутные очертания вельбота; свет факела ударил в глаза и ослепил его, и, радостно лая, Джерри почувствовал и узнал руку шкипера, схватившую его за загривок и поднявшую на

воздух.

Весь промокший, он прижался к сырой от дождя груди шкипера, бешено колотя хвостом по удерживающей руке и неистово облизывая подбородок, щеки, губы и нос шкипера. А шкипер не замечал, что сам он промок и трясется в приступе перемежающейся лихорадки, вызванной сыростью и недавней тревогой. Он знал только, что щенок, данный ему в то утро, вернулся целым и невредимым.

Когда команда склонилась к веслам, он зажал рулевое весло между рукой и боком, чтобы другой рукой поддерживать Джерри.

— Ах ты, мой малыш, — шептал он и все снова и снова повторял эти слова. — Ах ты, мой малыш!

А Джерри, повизгивая и скуля, отвечал ему поцелуями, и он также весь дрожал, но не от холода: его чувствительные нервы были слишком потрясены.

Очутившись на борту, Ван Хорн поделился своими мыслями с помощником.

— Щенок попал за борт неспроста. И волной его не смыло. Я завернул его в одеяло и привязал веревкой.

Он прошел сквозь толпу, состоявшую из команды и шестидесяти чернокожих пассажиров,

высыпавших на палубу, и осветил факелом одеяло, все еще лежавшее на мешках.

— Так и есть. Веревка перерезана, а узел нетронут. Кто из негров это сделал?

Он оглядел круг черных лиц, направляя на них свет факела, и в глазах его вспыхнул такой обличающий гнев, что все потупились или отвели глаза.

— Эх, если бы только щенок умел говорить! — с сожалением воскликнул он. — Он бы сказал, чьих рук это дело.

Вдруг он наклонился к Джерри, который стоял так близко к нему, что его мокрые передние лапы покоились на голых ступнях шкипера.

— Ты его знаешь, Джерри, ты знаешь этого парня, — заговорил он быстро и возбужденно, указывая вопросительным жестом на толпу.

Джерри моментально оживился, стал прыгать и нервно тявкать.

— Похоже на то, что собака может меня привести к нему, — сказал Ван Хорн помощнику. — Иди, Джерри, ищи его, куси, хватай! Где он, Джерри? Ищи его! Ищи!

Джерри понял только, что шкипер что-то от него хочет. Он должен найти то, чего хотел шкипер, а Джерри рад был ему услужить. Он

бесцельно прыгал во все стороны, и возгласы шкипера еще сильнее его возбуждали. Затем ему пришла в голову одна мысль, и мысль вполне определенная. Круг чернокожих расступился перед ним, и он по штирборту бросился на нос, туда, где лежала куча крепко привязанных ящиков. Он сунул нос в отверстие норы, где обитала дикая собака, и втянул воздух. Да, дикая собака была там. Он не только узнал ее запах, но и услыхал угрожающее рычание.

Джерри вопросительно взглянул на шкипера. Быть может, шкипер хочет, чтобы он полез в нору за дикой собакой? Но шкипер расхохотался и махнул рукой, давая понять, что поиски нужно вести в другом месте и искать следует что-то иное.

Джерри прыгнул в другую сторону и стал обнюхивать те утолки, где, как ему было по опыту известно, водятся тараканы и крысы. Однако он быстро понял, что шкипер не того хочет. Он горел желанием услужить и без всякой определенной цели стал обнюхивать ноги чернокожих.

Это вызвало похвалу и поощрение шкипера, и Джерри едва не обезумел. Так вот в чем дело! Он должен опознать по ногам судовую команду и рабочих. Он рьяно принялся за работу, перебегал от одного чернокожего к другому, пока не наско-

чил на Леруми.

И тут он забыл, что шкипер чего-то от него хочет. Он знал только, что перед ним Леруми, который нарушил табу, наложив руку на его священную особу, — Леруми, швырнувший его за борт.

Взвизгнув от бешенства, он оскалил белые зубы, весь ощетинился и прыгнул на чернокожего. Леруми пустился бегом по палубе, а Джерри преследовал его под дружный хохот негров. Несколько раз, обегая по палубе, он ухитрялся царапнуть зубами голые икры. Наконец, Леруми бросился на снасти грот-мачты, предоставив Джерри бесноваться на палубе.

Чернокожие, образовав полукруг, отступили на почтительное расстояние от Ван Хорна и Джерри. Ван Хорн направил свой электрический фонарь на негра, повисшего на снастях, и увидел длинные параллельные царапины на пальцах той руки, которая осмелилась пролезть к Джерри под одеяло. Он многозначительно указал на них Боркману, который стоял вне круга так, чтобы ни один чернокожий не мог зайти к нему с тыла.

Шкипер подхватил Джерри и стал его успокаивать.

— Молодец, Джерри! Припечатал его. Славный

пес, молодчина!

Он повернулся к Леруми, цеплявшемуся за снасти, осветил его и сурово проговорил:

— Как звать тебя, парень?

— Мой звать Леруми, — последовал нетвердый, чирикающий ответ.

— Едешь из Пендефрина?

— Мой едет из Меринджа.

Секунду капитан Ван Хорн размышлял, продолжая ласкать щенка. Ведь Леруми был одним из возвращавшихся рабочих. Через день, самое большее через два дня он высадит его на берег и отделается от него.

— Слушай меня, — проговорил он. — Я на тебя сердит. Я здорово на тебя сердит. Так сердит, что и сказать не могу. Какого черта ты бросил в воду собачку, которая принадлежит мне?

Леруми не в силах был ответить. Он беспомощно закатил глаза и приготовился к хорошей порке, ибо по горькому опыту знал обычаи белых господ.

Капитан Ван Хорн повторил свой вопрос, а чернокожий снова беспомощно закатил глаза.

— За пару пачек табаку выколочу из тебя семь склянок, — ругался шкипер. — А теперь слушай, что тебе говорят. Если ты посмеешь хоть разок

поглядеть на мою собаку, я из тебя семь склянок выколочу. Понял?

— Мой понял, — жалобно протянул Леруми, и инцидент был исчерпан.

Чернокожие пассажиры отправились спать в каюту. Боркман и матросы поставили грот и перевели «Эренджи» на прежний курс. А шкипер принес снизу сухое одеяло и улегся спать; Джерри прижался к нему и голову положил на его плечо.

Глава VII

В семь часов утра, когда шкипер вытащил его из-под одеяла и поднялся, Джерри отпраздновал новый день тем, что загнал назад в нору дикую собаку и заставил Леруми отскочить шагов на шесть в сторону и уступить ему палубу под сдержанное хихиканье чернокожих.

Завтракал он вместе со шкипером, но тот ничего не ел, запил чашкой кофе пятьдесят гран хинина, завернутого в папиросную бумагу, и пожаловался помощнику, что ему придется залезть под одеяло и хорошенько пропотеть, пока не отпустит приступ лихорадки. Палящее солнце сушило палубу, над которой поднимались завитки пара, а у Ван Хорна начался озноб и зубы стучали, но все же он ласково прижимал к себе Джерри и называл его принцем и королем и сыном королевским.

Дело в том, что Ван Хорну не раз приходилось слышать за стаканом виски с содовой родословную Джерри. Ее рассказывал Том Хаггин в те часы, когда удушливый зной мешал уснуть. А родословная была поистине царственной, насколько это возможно для ирландского терьера, род которого

шел от ирландского волкодава и формировался и совершенствовался под руководством человека в течение двух человеческих поколений.

Ван Хорн помнил, что Терренс Великолепный происходил от американского Мильтона Дролин, рожденного королевой графства Энтрим — Бредой Медлер, чей род тянулся едва ли не с мифических времен. А род Бидди можно было проследить до Эрин, которая числилась в ряду предков Бреды Медлер.

В объятиях любимого бога Джерри познал экстаз любви, хотя и не понимал таких слов, как «принц» и «королевский сын»; он знал только, что эти слова говорят о любви, тогда как шипение Леруми несет в себе ненависть. Но одно Джерри знал, совсем о том не думая, а именно, что шкипера он полюбил за эти несколько часов больше, чем любил Дерби и Боба; а Дерби и Боб были, за исключением мистера Хаггина, единственными белыми богами, каких он когда-либо знал. Этого он не сознавал. Он просто любил и действовал согласно побуждениям своего сердца, мозга или какого-то иного органа, где зародился этот таинственный, восхитительный и ненасытимый голод, именуемый «любовью».

Шкипер направился вниз. Он шел, не обращая

ни малейшего внимания на Джерри, который тихонько трусил за ним по пятам до самой рубки. Шкипер не замечал Джерри, ибо от лихорадки у него ныло все тело, стыли кости, голова, казалось, чудовищно распухала, все кружилось перед его помутившимися глазами, а походка стала шаткой и слабой, как у пьяницы или дряхлого старца. И Джерри чуял, что со шкипером творится что-то неладное.

У шкипера уже начинался бред, сменявшийся секундами просветления, когда он сознавал, что ему нужно сойти вниз и забраться под одеяло. Он стал спускаться по ступеням, похожим на приставленную лестницу, а Джерри, сдерживая волнение, молчаливо следил за ним, надеясь, что шкипер, сойдя вниз, поднимет руки и спустит его на пол. Но шкиперу было так скверно, что он позабыл о существовании Джерри. Шатаясь и широко расставив руки, чтобы удержаться в равновесии, он потащился через каюту на нос, к своей койке в крохотной каюте.

Джерри был действительно благородного происхождения. Он хотел залаять, попросить, чтобы его спустили вниз, но не сделал этого. Он сдержался, сам не зная почему и только смутно сознавая, что к шкиперу следует относиться так,

как относятся к богу, и приставать к нему сейчас не время. Его томило желание залаять, но он не издал ни одного звука и только тосковал у порога рубки, прислушиваясь к замиравшим шагам шкипера.

Однако по прошествии четверти часа Джерри готов был нарушить молчание. С уходом шкипера, которого, очевидно, постигла какая-то беда, свет погас для Джерри. Его уже не привлекала возможность загнать в нору дикую собаку. Он не обратил внимания на прошедшего мимо Леруми, хотя и мог бы напасть на него и прогнать с палубы. «Эренджи» скользил по затихшему морю, но даже хлопающий и раздувающийся над головой грот не удостоился ни единого презрительного взгляда Джерри.

И как раз в ту минуту, когда Джерри почувствовал настоятельную необходимость присесть, повернуть нос к зениту и в звуках излить раздирающую сердце грусть, его осенила одна мысль. Нельзя объяснить, каким путем дошел он до нее. Так же точно не объяснить, почему человек сегодня за завтраком заказывает зеленый горошек и отказывается от стручковых бобов, тогда как накануне отдавал предпочтение бобам и отказывался от горошка. И так же точно судья,

выносящий приговор осужденному преступнику и назначающий ему восемь лет тюремного заключения, а не пять или не девять лет, не сможет объяснить, почему он глубоко убежден в том, что именно восемь лет являются наказанием справедливым и соответствующим преступлению. А если люди — эти полубожественные существа — не могут проникнуть в тайну зарождения идей и побуждений, воспринимаемых ими как идеи, — то тем более нельзя ждать, чтобы собака познала, откуда пришла мысль, заставившая ее действовать с определенной целью.

Так было и с Джерри. Мысль появилась в его глубочайшем мыслительном центре и повела его к действию. Он повиновался ей, как повинуется марионетка шнурку, и немедленно побежал на корму разыскивать помощника.

Ему нужно было обратиться за помощью к Боркману. Боркман тоже был двуногим белым богом. Боркману ничего не стоило снести его вниз по крутому трапу, а этот трап был для Джерри, без посторонней помощи, табу, и нарушение его грозило катастрофой. Но в Боркмане было мало любви, а следовательно, и понимания. Кроме того, Боркман был занят. Он следил за правильным курсом «Эренджи», ставя по ветру паруса

и отдавая распоряжения рулевому, наблюдая за судовой командой, мывшей палубу и чистившей медные части, а помимо этого то и дело прикладывался к украденной у капитана бутылке с виски, которую прятал в углубление между двумя мешками с ямсом, привязанными на палубе позади бизань-мачты.

Боркман, только что крепко выругавший за промах чернокожего рулевого, пообещав выколотить из него семь склянок, как раз собирался еще разок глотнуть из бутылки, когда перед ним появился Джерри и преградил путь. Однако Джерри загородил дорогу не так, как если бы перед ним очутился хотя бы Леруми. Он не оскалил зубов и не ощетинился. Наоборот, Джерри весь превратился в мольбу и призыв; хотя он лишен был дара речи, но и без слов умел говорить красноречиво: он извивался всем телом, вилял хвостом, прижал назад уши, а глазами мог бы передать свою мысль всякому чуткому и понимающему человеку.

Но Боркман видел перед собою только четвероногое существо животного мира и по свойственной ему животной заносчивости считал его ниже себя. Нежный щенок, горящий желанием передать ему свою просьбу, был скрыт от него словно туманной пеленой. Он видел только четверо-

ногое животное, которое следовало отбросить в сторону, а затем торжественно прошествовать к бутылке, разжигающей мозг, дарующей грезы о том, что он — принц, а не простолюдин, господин, а не раб жизни.

И Джерри был грубо отброшен в сторону босой ногой, такой же бесчувственной и жестокой, как бездушное море, ударяющее о прибрежные скалы. Джерри едва не растянулся на скользкой палубе, затем восстановил равновесие, застыл на месте и молча поглядел на белого бога, который так дерзко с ним обошелся. Этот низкий и несправедливый поступок не вызвал у Джерри мстительного рычания, которым, несомненно, был бы награжден Леруми или кто-нибудь из чернокожих. И в голове его не мелькнуло ни одной мысли о мщении. То был не Леруми. То был высший бог, двуногий, белокожий, как шкипер, как мистер Хаггин, как пара других высших богов, которых он знал. Он ощутил только обиду, как ребенок, получивший шлепок от легкомысленной или нелюбящей матери.

С обидой была связана и злоба. Джерри прекрасно знал, что бывают два вида грубости. Бывает грубость ласковая, любовная, та грубость, с какой шкипер хватал его за морду, раскачивал

до того, что зубы начинали стучать, и, отбрасывая в сторону, сейчас же приглашал вернуться и подвергнуться встряске. Такая грубость преисполняла Джерри блаженством. В ней была близость к любимому богу, который пожелал таким путем выразить любовь.

Но грубость Боркмана была иного рода. В ней не чувствовалось ни привязанности, ни любви. Джерри это не вполне понимал, но разницу ощущал, и несправедливый поступок вызвал в нем злобу, не претворившуюся, однако, в действие. И теперь, восстановив равновесие, он тщетно пытался понять происшедшее и серьезно глядел на помощника, который, повернув бутылку дном кверху, глотал виски, булькавшее у него в горле. И он продолжал так же серьезно глядеть на помощника, когда тот прошел на корму и пригрозил чернокожему рулевому выколотить из него «Песнь песней» и весь Ветхий Завет, а чернокожий смиренно и умоляюще скалил зубы, совсем так, как это делал Джерри несколько минут назад.

Покинув этого бога, как бога нелюбимого и непонятного, Джерри грустно пустился рысцой назад, к рубке, и, томясь, свесил голову через порог, в том направлении, где скрылся шкипер.

Он мучительно ощущал жгучее желание быть вместе со шкипером, который чувствовал себя скверно и попал в беду. Ему нужен был шкипер. Ему хотелось быть с ним, ибо он его любил; кроме того, он мог ему помочь, но эту вторую мысль Джерри сознавал смутно. Он был беспомощен, молод и неопытен; стремясь к шкиперу, он свесил голову за порог рубки и жалобно визжал и скулил, и так непосредственна была его скорбь, что он не обращал внимания на негров, столпившихся на палубе и внизу и хохотавших над ним.

От порога до пола каюты было семь футов. Всего несколько часов назад Джерри вскарабкался по крутому трапу, но спуститься вниз было невозможно, и он это знал. И все же дело кончилось тем, что он рискнул спуститься. Стремясь во что бы то ни стало найти шкипера, он в то же время отчетливо сознавал всю невозможность сползти по трапу головой вниз, не имея опоры для лап и когтей, и не пытался это проделать. Движимый любовью, он геройски прыгнул вниз и вперед. Он знал, что этим поступком нарушает табу так же точно, как если бы прыгнул в лагуну Мериндж, где плавают страшные крокодилы. Великая любовь никогда не отступает перед жертвой и самоотречением. И только во имя любви мог

совершить Джерри этот прыжок.

Он ударился головой и боком. От удара в бок у него перехватило дыхание, удар в голову оглушил его. Но даже лежа в беспамятстве на боку и подергиваясь всем телом, он судорожно перебирал лапами, словно бежал навстречу шкиперу. Чернокожие глядели на него и хохотали, а когда он перестал дрожать и перебирать лапами, они продолжали смеяться. У этих дикарей, проведших всю жизнь в глуши и ничего иного не видевших, и понятие о смешном было дико и нелепо. При виде оглушенного, а быть может, и мертвого щенка, они едва не лопались от смеха. Лишь по прошествии четырех минут Джерри пришел в себя и поднялся с помутившимся взглядом. Широко расставив лапы, он приспособился к качке «Эренджи». Но с первым же проблеском сознания всплыла мысль, что ему нужно добраться до шкипера. Чернокожие?.. Охваченный беспокойством и любовью, он не считался с ними. Он не обращал внимания на хихикающих, ухмыляющихся, поддразнивающих чернокожих, которые, не будь он под страшной эгидой великого белого господина, с наслаждением убили бы его и съели, тем более что щенок, пройдя хорошую тренировку, обещал стать первоклассным охотником за неграми. Не

поворачивая головы, гордо подчеркивая свое пренебрежение к их существованию, Джерри побежал на нос в каюту, где шкипер метался в бреду на своей койке.

Джерри никогда не болел малярией и не понимал, в чем дело. Но он был сильно встревожен тем, что шкипер попал в беду. Шкипер не узнал его, когда он вскочил на койку, перепрыгнул через тяжело вздымавшуюся грудь шкипера и слизнул с его лица едкий лихорадочный пот. Дико метавшийся шкипер отшвырнул его в сторону, и Джерри больно ударился о койку.

В этой грубости не было ничего любовного. Не походила она и на грубость Боркмана, отпихнувшего его ногой. Она объяснялась бедой, которая приключилась со шкипером. Джерри не обсуждал этого вывода, но действовал так, словно дошел до него путем умозаключений. Точнее всего это можно выразить следующим образом: в этой грубости Джерри *почуял* новый оттенок.

Он сел как раз на таком расстоянии, чтобы его не задевала беспокойно метавшаяся рука, и томился желанием придвинуться ближе и еще разок лизнуть лицо бога, который его не узнавал. Но Джерри знал, что тот его крепко любил. И он разделял беду шкипера и страдал вместе с ним.

— Эй, Кленси, — болтал шкипер, — славная работа выдалась у нас сегодня, и лучших ребят для этого дела не найти… Кленси, дай домкрат номер третий. Подлезай с переднего конца. — Затем кошмарные видения исчезли. — Тише, милочка, зачем ты говоришь папе, как нужно расчесывать твои золотые волосы? Словно я не расчесывал их эти семь лет… и лучше, чем твоя мама, милочка, лучше, чем твоя мама. Мне выдали золотую медаль за то, что я расчесываю золотые волосы моей красавицы-дочки… Судно сбилось с курса! Руль по ветру! Поставить кливер и фор-марсель! Полный ход!.. А оно несется по волнам, как волшебный корабль!.. Моя игра! Блеки, коли ты останешься в игре, увидишь хорошие карты, уж можешь мне поверить!

Из уст шкипера вырывались обрывки никому не известных воспоминаний, грудь его вздымалась, руки разметались; а Джерри, прижавшись к койке, грустил, сознавая всю невозможность помочь. Во всем происходящем он ничего не понимал. Об игре в покер он знал не больше, чем о курсе корабля, о разбитых трамвайных вагонах в Нью-Йорке или о расчесывании длинных золотистых волос любимой дочки в маленькой квартирке в Гарлеме.

— Обе умерли, — выговорил в бреду шкипер. Он произнес это спокойно, словно сообщал, который час; потом застонал: — Ох, какие у нее были красивые золотые косы!

Некоторое время он лежал неподвижно и надрывно рыдал. Этим воспользовался Джерри. Он подлез под руку, прижался к шкиперу, голову положил ему на плечо, слегка касаясь холодным носом его щеки, и почувствовал, как рука обвилась вокруг него и теснее его прижала. Кисть руки ласково его погладила, а прикосновение его бархатного тела изменило болезненные грезы шкипера, который начал бормотать холодным, зловещим тоном:

— Если какой-нибудь негр посмеет тронуть этого щенка…

Глава VIII

Через полчаса у Ван Хорна обильно выступила испарина, ознаменовавшая перелом в приступе малярии. Он почувствовал величайшее облегчение, и последняя дымка бреда рассеялась. Но он был совершенно расслаблен; отшвырнув одеяло и узнав Джерри, он погрузился в освежающий здоровый сон.

Проснулся он лишь через два часа и поднялся, чтобы идти на палубу. Взобравшись до половины трапа, он опустил Джерри на палубу, а сам вернулся вниз, в каюту, за забытой бутылкой хинина. Но он не сразу вернулся к Джерри. Его внимание привлек длинный ящик под койкой Боркмана. Деревянная задвижка, придерживавшая его, отскочила, ящик выдвинулся и свешивался под углом, готовый слететь на пол. Положение было серьезно. Ван Хорн ни мало не сомневался, что упади этот ящик на пол во время вчерашнего шторма, пропал бы и «Эренджи» и все восемьдесят человек, находившиеся на борту. Ящик был наполнен всякой всячиной: динамитными патронами, коробками со взрывчатыми капсюля-

ми, дистанционными трубками[18], свинцовыми лотами, инструментами и многочисленными коробками с ружейными, револьверными и пистолетными патронами. Ван Хорн рассортировал и в порядке уложил все это, взял винт подлиннее и с помощью отвертки приделал задвижку.

А Джерри тем временем наткнулся на новое приключение, далеко не из приятных. Поджидая шкипера, он случайно заметил дикую собаку, дерзко растянувшуюся на палубе, шагах в двенадцати от своей норы между ящиками. Джерри немедленно припал к полу и стал подкрадываться. Успех, казалось, был обеспечен, так как дикая собака лежала с закрытыми глазами и, по-видимому, спала.

И в этот самый момент помощник, шествовавший с носа в том направлении, где между мешками с ямсом была припрятана бутылка, крикнул заметно осипшим голосом: «Джерри!» Джерри прижал уши, по форме напоминавшие большие лесные орехи, вежливо завилял хвостом, но изъявил намерение продолжать выслеживание врага. Услыхав голос помощника, дикая

[18] notes: 18

Дистанционная трубка — трубка, вставляемая в шрапнель или иной взрывчатый снаряд, чтобы сообщить ему огонь во время полета и произвести разрыв в воздухе на известном расстоянии (дистанции).

собака открыла глаза, метнула взгляд в сторону Джерри и прыгнула в свою нору; очутившись там, она повернулась, высунула морду, оскалила зубы и торжествующе-презрительно зарычала.

Лишившись своей добычи по неосмотрительности помощника, Джерри побежал назад, к порогу рубки, чтобы дожидаться шкипера. Но Боркман, у которого от частого прикладывания к бутылке голова затуманилась, цеплялся за свою мысль, как это свойственно пьяным. Еще дважды он повелительно окликнул Джерри, и оба раза Джерри, любезно прижав уши и вильнув хвостом, отказывался повиноваться. Затем он свесил голову за порог в каюту и стал ждать шкипера.

Боркман вспомнил свое первоначальное намерение и продолжал путь к бутылке, которую не замедлил повернуть дном кверху. Но и вторая мысль, какой пустячной она ни была, удержалась; некоторое время он стоял, пошатываясь и что-то бормоча, затем сделал вид, будто изучает свежий бриз, надувший паруса «Эренджи» и накренивший палубу, глупо попытался изобразить перед рулевым орлиную бдительность в своих мутных от пьянства глазах и, наконец, покачиваясь, пошел на середину судна к Джерри.

Джерри впервые заметил присутствие Борк-

мана, когда тот больно и жестоко щипнул его за бок. Джерри тявкнул от боли и обернулся. Тогда помощник принялся за ту же игру, какую вел шкипер: он стиснул рукой морду Джерри так сильно, что у того застучали зубы, и задал ему встряску, ничем не похожую на любовную встряску шкипера. Джерри еле удерживался на ногах, зубы болезненно лязгали, а затем его грубейшим образом отшвырнули в сторону по скользкому скату палубы.

Но Джерри с равными и высшими был воплощенной вежливостью. В конце концов даже с низшими, как, например, с дикой собакой, он никогда сознательно не злоупотреблял выпадавшими на его долю преимуществами. А с высшим двуногим белым богом, как Боркман, требовался больший контроль, сдержанность и обуздание примитивных инстинктов. Он не хотел играть с помощником в игру, которую с таким экстазом вел со шкипером, так как помощника он не любил, хотя тот и был двуногим белым богом.

И все же Джерри оставался в высшей степени любезным. Он вернулся, слабо имитируя ту увлекательную, возбужденную атаку, которой научил его шкипер. В действительности он притворялся, разыгрывал роль, стараясь делать то, чего ему

совсем не хотелось. Он делал вид, будто играет, и для вида рычал, но симуляция выходила мало правдоподобной.

Он вилял хвостом добродушно и по-дружески, рычал грозно и миролюбиво, но помощник с пьяной прозорливостью уловил разницу и смутно почуял притворство, обман. Джерри плутовал — из вежливости. Боркман спьяна различил плутовство, но не оценил скрытого за ним доброго чувства. И это вывело его из себя. Забыв, что и сам он животное, он видел перед собой не больше чем животное, с которым пытался дружески поиграть, как играл шкипер.

Война стала неизбежной, но начал ее не Джерри, а Боркман. Боркман ощущал непреодолимую потребность зверя утвердить свое господство над другим зверем — этим четвероногим щенком. Джерри почувствовал, как рука еще сильнее сдавила его челюсти и еще грубее отшвырнула вниз по палубе. А палуба вследствие сильной качки превратилась в крутой и скользкий холм.

Джерри вернулся, неистово цепляясь когтями за палубу, дававшую плохую опору лапам; он вернулся, уже не симулируя гнев, но побуждаемый первым проблеском подлинной ярости. Этого он не сознавал. Вернее всего, он был под

впечатлением, будто играет в ту же игру, какую вел со шкипером. Короче — его начала заинтересовывать игра, хотя совсем иначе, чем игра со шкипером.

На этот раз он быстро оскалил зубы, намереваясь глубже впиться в хватающую его руку, но промахнулся; он снова был схвачен и отброшен, отлетел дальше и ударился больнее, чем раньше. Отползая назад, он стал озлобляться, хотя и не сознавал этого. Но помощник, как человек, хотя и был пьян, почувствовал перемену в нападении Джерри раньше, чем сам Джерри ее почуял. И Боркман не только ее почувствовал — она отшвырнула его назад, в первобытные времена, и побудила драться, чтобы восторжествовать над этим щенком… Так, быть может, дрался первобытный человек с первым выводком, похищенным из волчьего логовища в скалах.

Действительно, род Джерри восходил к этим далеким временам. Его далекие предки были ирландскими волкодавами, а задолго до этого предками волкодавов были волки. Рычание Джерри звучало теперь по-иному. Незабываемое и неизгладимое прошлое стянуло его голосовые связки. Его зубы сверкали. Джерри был весь охвачен страстью, и страсть побуждала его глубоко

вонзить зубы в руку человека. Он отпрыгнул назад, в темную жестокую глушь первобытного мира, отпрыгнул почти с той же быстротой, как это сделал Боркман. И на этот раз его зубы оставили метку, содрав нежную, чувствительную кожу и мясо с внутренней стороны двух сочленений на правой руке Боркмана. Зубы Джерри кололи, как иголки, и Боркман, ухватив морду Джерри, отбросил его в сторону с такой силой, что тот едва не ударился о низкие перила «Эренджи».

Ван Хорн, покончив с уборкой и починкой ящика с взрывчатыми веществами, поднялся по трапу, увидел битву, остановился и молча смотрел.

Но смотрел он в прошлое, за миллионы лет, и видел два безумных существа, которые сорвали с себя узду многих поколений и возвратились в мрак зарождающейся жизни, когда проблеск разума еще не смягчил эту жизнь реактивом зрелой мысли. В мозгу Боркмана пробудились те же далекие унаследованные инстинкты, что и в мозгу Джерри. Оба вернулись назад, к прошлому. Все усилия и достижения десяти тысяч поколений сошли на нет, и битва шла не между Джерри и помощником, а между собакой-волком и дикарем. Ни один из них не видел Ван Хорна,

который, не вылезая из люка, стоял так, что глаза его приходились как раз на уровне порога.

Для Джерри Боркман уже не был больше богом, так же точно, как и сам он — Джерри — не был гладкошёрстным ирландским терьером. Оба забыли миллион лет, отпечатавшийся в их наследственности слабее, чем те века, какие протекли до этого миллиона. Джерри опьянения не знал, но несправедливость понимал хорошо и теперь был охвачен яростным негодованием. Боркман, готовясь отразить следующее нападение, промахнулся, и Джерри успел укусить его за обе руки раньше, чем был отброшен в сторону.

И всякий раз Джерри возвращался. Как истинный обитатель джунглей, он истерическим лаем выражал свое негодование. Но он не скулил, ни разу не попятился, не уклонился от удара. Он наступал напролом, стараясь укусить, не избегая удара, и встретить удар зубами. Наконец, он с такой силой был отброшен назад, что больно ударился боком о перила, и Ван Хорн крикнул:

— Прекрати, Боркман! Оставь щенка в покое!

Помощник, не подозревавший, что за ним наблюдают, вздрогнул от удивления и обернулся. Резкий повелительный голос Ван Хорна пронесся через миллион лет. Боркман попы-

тался изобразить на искаженном от гнева лице нелепую, извиняющуюся улыбку и едва успел пробормотать: «Ведь мы только играли…», как Джерри вернулся, подпрыгнул и вонзил зубы в руку врага.

Боркман снова был отброшен назад за миллион лет, попробовал лягнуть ногой, а Джерри ободрал ему лодыжку. От боли и бешенства помощник забормотал что-то несвязное и, наклонившись, с размаху ударил Джерри по голове и по шее. Как раз в этот момент Джерри подпрыгнул и, получив удар на лету, перекувырнулся в воздухе и упал на спину. Едва поднявшись на ноги, он хотел возобновить нападение, но шкипер его окликнул:

— Джерри! Брось! Иди сюда!

Ему стоило большого труда повиноваться; шерсть на шее ощетинилась, а губа приподнялась над зубами, когда он проходил мимо помощника. И в первый раз он завизжал; этот визг был вызван не страхом и не болью, а оскорблением и желанием продолжать битву, но это желание он пытался обуздать по приказанию шкипера.

Шкипер вылез на палубу, взял его на руки и стал ласкать, успокаивать, отчитывая в то же время помощника.

— Стыдись, Боркман! Пристрелить тебя следу-

ет или башку за это снести. Щенок, маленький щенок, только что отнятый от груди! Я бы за два цента задал тебе трепку. И придет же в голову! Щенок, маленький щеночек-сосунок! Хорошо, что хоть руки разодрал. Поделом. Надеюсь, получишь заражение крови. А затем — ты пьян. Ступай вниз и носа не показывай на палубу, пока не отоспишься. Понял?

А Джерри, совершив далекое путешествие в веках, пытался восторжествовать над тинистой бездной доисторических времен, опираясь на любовь, которая лишь значительно позднее вошла в его жизнь и стала ее основой. Древний гнев утихал, в голосе слышались лишь слабые отзвуки его — отдаленные раскаты пронесшейся грозы, — и Джерри, охваченный теплой волной чувства, познал величие и справедливость своего шкипера. Шкипер поистине был богом: он действовал справедливо, он защищал, он властвовал над тем другим — меньшим богом, который бежал от его гнева.

Глава IX

Джерри и шкипер вместе несли долгую послеполуденную вахту, и последний то и дело усмехался и восклицал: «Черт бы меня побрал, Джерри! Уж можешь мне поверить, ты славный пес и знатный боец!» Или: «Ты молодчина! У тебя настоящее львиное сердце! Бьюсь об заклад, что еще не было такого льва, который сумел бы отнять у тебя добычу».

И Джерри, не понимая ни единого слова, за исключением своего собственного имени, знал тем не менее, что звуки, издаваемые шкипером, несут похвалу и согреты любовью. А когда шкипер наклонялся, трепал его за уши, протягивал пальцы для поцелуя или брал его на руки, Джерри преисполнялся блаженством. Ибо разве сможет выпасть на долю какого-либо существа больший экстаз, чем быть любимым богом? Именно такой экстаз переживал Джерри. Шкипер был богом осязаемым, реальным богом трех измерений, который расхаживал босиком, в набедренной повязке, управлял своим миром и любил его, Джерри, нашептывал ему что-то ласкающее и, простирая к нему руки, прижимал к себе.

В четыре часа пополудни Ван Хорн, определив на глаз положение солнца и измерив скорость «Эренджи», приближавшегося к Суу, спустился вниз и грубо растолкал помощника. До их возвращения Джерри один оставался на палубе. И только благодаря тому, что белые боги пребывали внизу и в любой момент могли появиться, Джерри удерживал за собой палубу: по мере приближения к Малаите у возвращавшихся негров поднималось настроение, и, предвкушая независимость, Леруми бросал на Джерри мстительные взгляды и, глотая слюну, оценивал его с точки зрения съедобности.

Подгоняемый свежим бризом, «Эренджи» быстро несся к земле. Джерри глядел сквозь колючую проволоку, втягивая носом воздух, шкипер стоял рядом, отдавая распоряжения помощнику и рулевому. На палубе развязали груду ящиков, и чернокожие то и дело открывали и закрывали их. Особое удовольствие доставлял им звон колокольчика, которым был снабжен каждый ящик; этот колокольчик звонил всякий раз, когда поднимали крышку. Они, как дети, наслаждались игрушечным механизмом и, то и дело подходя к своему собственному ящику, открывали его и прислушивались к звону.

В Суу высаживались пятнадцать негров. Дико жестикулируя и крича, они узнавали и указывали на мельчайшие детали берега — того единственного клочка земли, какой они знали раньше, три года назад, пока отцы, дяди и вожди не продали их в рабство.

Узкая полоса воды, шириной едва в сто ярдов, служила входом в длинную и узкую бухту. Густая тропическая растительность покрывала берег. Нигде не видно было ни жилья, ни следов человека, но Ван Хорн, пристально вглядывавшийся в густые джунгли, прекрасно знал, что десятки, а быть может, и сотни пар человеческих глаз смотрят на него.

— Принюхивайся к ним, Джерри, принюхивайся, — подбадривал он. А у Джерри шерсть взъерошилась, и он залаял на мангиферовую[19] стену, так как действительно распознал своим острым обонянием запах притаившихся негров.

— Будь у меня такой нюх, как у него, — сказал капитан помощнику, — я бы не рисковал потерять голову.

Но Боркман ничего не отвечал и угрюмо делал свое дело. Ветра почти не было. «Эренджи» мед-

---

[19] notes: 19

Мангиферы, или мангустан, — род тропических вечнозеленых деревьев с цельными кожистыми листьями и очень вкусными плодами.

ленно вошел в бухту и бросил якорь на глубине ста восьмидесяти футов. Дно гавани так круто опускалось начиная от самого берега, что даже на такой большой глубине корма «Эренджи» находилась на расстоянии какой-нибудь сотни футов от мангифер.

Ван Хорн по-прежнему тревожно всматривался в берег, поросший лесом. Суу пользовалось дурной славой. Пятнадцать лет назад шхуна «Фэйр-Хатавей», вербовавшая рабочих для плантаций Квинсленда, была захвачена туземцами, а вся команда перебита; с тех пор ни одно судно, за исключением «Эренджи», не осмеливалось заходить в Суу. И большинство белых осуждало безрассудную отвагу Ван Хорна.

Высоко в горах, вздымающихся на тысячи футов к облакам, гонимый пассатным ветром, клубился дым сигнальных костров, возвещавший о прибытии судна. И вдали и вблизи было известно о появлении «Эренджи»; и все же из джунглей, так близко подступавших к судну, доносились лишь пронзительные крики попугаев да болтовня какаду.

К борту подтянули вельбот, снаряженный шестью матросами, и спустили в него пятнадцать парней из Суу с их сундуками. Вдоль скамей для

гребцов лежали под рукой пять ли-энфильдских ружей. На палубе «Эренджи» один из матросов судовой команды с ружьем в руке охранял оставшееся на борту оружие. Боркман принес снизу свое собственное ружье и держался наготове. Ружье Ван Хорна лежало возле него в лодке, а сам он стоял близ Тамби, управлявшего длинным галерным веслом. Джерри тихонько скулил, перевесившись через перила, пока шкипер не сжалился и не спустил его за собой в вельбот.

Опасным местом была лодка, ибо мало вероятным казалось, чтобы в настоящий момент взбунтовались рабочие, оставшиеся на борту «Эренджи». Они были родом из Сомо, Ноола, Ланга-Ланга и далекого Малу, и теперь их обуял страх: лишись они защиты своих белых господ, им грозило быть съеденными народом Суу; того же могли опасаться со стороны народа Сомо, Ланга-Ланга и Ноола и чернокожие из Суу. Опасность, грозившая вельботу, усиливалась неимением второй, защитной шлюпки. Более крупные суда, вербовавшие рабочих, неизменно посылали на берег две лодки. Пока одна приставала к берегу, вторая останавливалась на некотором расстоянии, чтобы в случае тревоги прикрыть отступление. «Эренджи» был слишком мал и

даже одну лодку не мог нести на палубе, а тащить на буксире две было неудобно; и Ван Хорн, самый отважный из всех вербовщиков, был лишен этой существенной защиты.

Тамби, повинуясь тихой команде Ван Хорна, вел лодку вдоль берега. Там, где исчезали мангиферы и показалась сбегавшая к воде тропа, Ван Хорн приказал гребцам дать задний ход и остановиться… В этом месте высокие пальмы и величественные ветвистые деревья вздымались над джунглями, а тропинка походила на тоннель, пробитый в плотной зеленой стене тропической растительности.

Ван Хорн, ища на берегу каких-либо признаков жизни, закурил сигару и, приложив руку к поясу своей набедренной повязки, убедился, что динамитный патрон находится на своем месте, между поясом и голым телом. Сигара была зажжена для того, чтобы при необходимости было чем разжечь динамитную трубку. Один конец трубки был расщеплен и приспособлен для головки спички, а трубка была так мала, что взрывалась через три секунды после прикосновения к ней горящей сигары. Таким образом, если бы понадобилось пустить в ход динамит, Ван Хорн должен был действовать быстро и хладнокровно. В те-

чение трех секунд нужно было бросить патрон в намеченную цель. Однако он не предполагал использовать динамит и только из предосторожности держал его наготове.

Прошло пять минут, а молчание, царившее на берегу, не нарушалось. Джерри понюхал босые ноги шкипера, как будто заверяя его, что он здесь, рядом, и тут и останется, чем бы ни угрожало враждебное молчание земли; затем он поставил передние лапы на шкафут и, ощетинившись, стал сопеть, втягивая воздух, и тихонько ворчать.

— Что и говорить, они тут, — сказал ему шкипер; а Джерри, искоса взглянув на него улыбающимися глазами, вильнул хвостом, любовно откинул назад уши и, снова повернув морду к берегу, принялся читать повесть джунглей, которая доносилась к нему на легких крыльях душного, замирающего ветерка.

— Эй! — внезапно крикнул Ван Хорн. — Эй вы, ребята! Высуньте-ка головы!

И сразу все изменилось: необитаемые, по-видимому, джунгли наполнились жизнью. В одну секунду появилась сотня дикарей. Они выступили отовсюду из зарослей. Все были вооружены: одни — снайдеровскими ружьями и старинными седельными пистолетами, другие — луками и

стрелами, длинными метательными копьями, военными дубинками и томагавками с длинной рукояткой. Один из дикарей выпрыгнул на открытое место, где тропинка сливалась с водой. Если не считать украшений, он был наг, как Адам до грехопадения. В глянцевитых черных волосах торчало белое перо. Полированная игла из белой окаменелой раковины с заостренными концами проходила сквозь ноздри и тянулась на пять дюймов поперек лица. Вокруг шеи, на шнурке, скрученном из волокон кокоса, висело ожерелье из бивней вепря цвета слоновой кости. Повязка из белых раковин охватывала одну ногу под самым коленом. Пламенно-красный цветок был кокетливо засунут за ухо, а в дырке другого уха красовался свиной хвост, очевидно, недавно отрубленный, так как еще кровоточил.

Выпрыгнув на солнечный свет, этот меланезийский денди[20], держа у бедра снайдеровское ружье, прицелился, направив дуло прямехонько на Ван Хорна. Так же быстро действовал и Ван Хорн. Он моментально схватил свое ружье, прислонил к бедру и прицелился. Так стояли они друг против друга, держа палец на спуске,

---

[20] notes: 20
Денди — изящный светский человек.

разделенные сорока футами. Миллион лет, отделявший варварство от цивилизации, зиял между ними в этом узком пространстве в сорок футов. Современному, развитому человеку труднее всего позабыть древнюю тренировку. И насколько ему легче скользнуть назад — в прошлые века! Наглая ложь, удар в лицо, укол ревности в сердце могут в одну секунду превратить философа двадцатого века в обезьяноподобного жителя лесов, бьющего себя в грудь, скрежещущего зубами и жаждущего крови.

То же ощущал и Ван Хорн, но с некоторой разницей. Он подчинил себе время. Он весь был и в современности и в первобытных веках — одновременно; он способен был пустить в ход зубы и когти, но желал оставаться современным до тех пор, пока ему удавалось подчинять своей воле этого дикаря с черной кожей и ослепительно-белыми украшениями.

Долгие десять секунд протекли в молчании. Даже Джерри, сам не зная почему, приглушил свое ворчание. Сотня каннибалов — охотников за головами, — окаймлявших стену джунглей, пятнадцать возвращавшихся в Суу чернокожих, сидевших в лодке, семь чернокожих матросов и одинокий белый человек с сигарой в зубах,

ружьем у бедра и ощетинившимся ирландским терьером, жмущимся к его голой икре, поддерживали торжественное молчание этих секунд, и ни один из них не знал и не предугадывал, чем кончится дело.

Один из возвращавшихся чернокожих в знак мира вытянул вперед открытую безоружную ладонь и начал что-то чирикать на непонятном диалекте Суу. Ван Хорн держал ружье наготове и ждал. Денди опустил свое ружье, и все участники этой сцены вздохнули свободнее.

— Мой — добрый парень, — пискнул денди не то по-птичьи, не то по-детски.

— Ты, парень, — большой дурак, — грубо возразил Ван Хорн, бросая ружье, и, приказав рулевому и гребцам повернуть лодку, небрежно затянулся сигарой, словно жизнь его не висела на волоске всего секунду назад.

— Мой говорит, — продолжал он, прикидываясь рассерженным. — Какого черта твой наставил на меня ружье? Мой не хотел тебя кай-кай (съесть). Мой, когда рассердится, будет тебя кай-кай. И твой, когда рассердится, будет меня кай-кай. А твой не хочет, чтобы парней из Суу кай-кай? Очень давно, три муссона тому назад, мой сказал правду. Мой сказал: пройдут три муссона, и пар-

ни из Суу придут назад. Мой говорит: три муссона кончились, и парни из Суу пришли назад.

Тем временем лодка сделала поворот, и Ван Хорн повернулся, чтобы стать лицом к вооруженному снайдеровским ружьем денди. По знаку Ван Хорна гребцы дали задний ход, и лодка кормой пристала к берегу у тропинки. И каждый гребец, держа весло наготове на случай нападения, потихоньку ощупал свое ли-энфильдское ружье, спрятанное под брезентом.

— С тобой пришли хорошие парни? — осведомился у денди Ван Хорн.

Тот отвечал утвердительно: по обычаю Соломоновых островов, он полузакрыл глаза и чванливо вскинул вверх голову.

— Парни Суу, что пришли с тобой, не будут кай-кай?

— Нет, — ответил денди. — Парни Суу — хороший. А придут парни не из Суу, мой говорит: будет беда. Ишикола, большой черный господин на этих местах, говорил моему: пойди и скажи — тут по джунглям ходят дурные парни. Большой белый господин, не надо ходить тут. Ишикола говорил: хороший белый господин, надо остаться на своя корабль.

Ван Хорн небрежно кивнул головой, словно

это сообщение большой цены для него не имело; в действительности же он понял, что на этот раз Суу не доставит ему новых рекрутов. Он приказал чернокожим рабочим отправляться на берег поодиночке. Остальные должны были оставаться на своих местах. Такова была тактика на Соломоновых островах. Скопление людей могло повлечь за собой опасность. Нельзя было разрешать чернокожим собираться группами. И Ван Хорн, с равнодушным и величественным видом покуривая сигару, не спускал глаз с негров, которые поодиночке пробирались на корму, со своим сундучком на плече, и сходили на берег. Один за другим они скрылись в зеленом тоннеле, и, когда последний сошел на берег, Ван Хорн приказал гребцам возвращаться к судну.

— На этот раз здесь нечего делать, — сказал он помощнику. — Утром мы снимемся с якоря.

Тропические сумерки быстро сменились тьмой. На небе высыпали звезды. Ни малейшего дыхания ветерка не пробегало над водой, и от сыроватого зноя тела и лица обоих мужчин покрылись каплями пота. Они лениво поужинали на палубе, то и дело стирая рукой едкий пот со лба.

— И зачем только человек тащится на Соломоновы острова, в эту проклятую дыру! — пожало-

вался помощник.

— И остается здесь, — отозвался капитан.

— Слишком уж я прогнил от лихорадки, — проворчал Боркман. — Я бы умер, если бы уехал отсюда. Помнишь, два года назад я пытался это сделать. Но как попадешь в холодный климат, так лихорадка и выступает наружу. В Сидней меня привезли совсем больным. Пришлось отправить в карете в госпиталь. Мне становилось все хуже и хуже. Доктора мне сказали, что единственное средство — вернуться назад, туда, где я захватил лихорадку. Если я это сделаю, могу прожить долго. Если же останусь в Сиднее, конец не заставит себя ждать. Положили меня в карету и отправили на борт. Вот и все, что я видел в Австралии за мои каникулы. Я не хочу оставаться на Соломоновых островах. Здесь сущий ад. Но выбор таков: или оставайся, или подыхай.

Он отсыпал на глаз тридцать гран хинина, завернул в папиросную бумагу, секунду угрюмо смотрел на комочек, затем проглотил его. Глядя на него, и Ван Хорн потянулся за пузырьком и принял такую же дозу.

— Не мешает натянуть брезент, — заметил он.

Под руководством Боркмана несколько человек из команды занавесили тонким брезентом

обращенную к берегу сторону «Эренджи». Это была мера предосторожности против шальной пули, так как всего сотня футов отделяла судно от прибрежных мангиферовых зарослей.

Ван Хорн послал Тамби вниз за маленьким фонографом и поставил с дюжину поцарапанных, визжавших пластинок, уже тысячу раз бывших в употреблении. Слушая музыку, Ван Хорн вспомнил о дикарке и приказал вытащить ее из темной норы в лазарете, чтобы и она послушала фонограф. Девушка в страхе повиновалась, полагая, что час ее пробил. Расширенными от ужаса глазами она смотрела на большого белого господина и долго дрожала всем телом, уже после того как он велел ей лечь. Фонограф никакого впечатления на нее не произвел. Она знала только страх — страх перед этим ужасным белым господином, которому, по ее глубокому убеждению, она была обречена на съедение.

Джерри покинул гладившую руку шкипера, чтобы подойти к девушке и обнюхать ее. Долг побудил его еще раз ее опознать. Что бы ни случилось, сколько месяцев или лет ни протекло бы впредь — он всегда сможет ее узнать. Затем он вернулся к шкиперу, и тот снова стал гладить его одной рукой, держа в другой дымящуюся сигару.

Влажный, удушливый зной становился невыносимым. Воздух был наполнен тошнотворными сырыми испарениями, вздымавшимися над мангиферовыми болотами. Дребезжащая музыка напомнила Боркману далекие порты и города, и, лежа плашмя на горячей палубе, он отбивал босой ногой зорю и вел тихий монолог, сплошь состоящий из ругательств. А Ван Хорн, поглаживая тяжело дышавшего Джерри, безмятежно и философски курил, зажигая свежую сигару всякий раз, как кончалась старая.

Внезапно он встрепенулся, услышав слабый плеск весел. Собственно говоря, насторожиться заставило тихое ворчание ощетинившегося Джерри. Вытащив из складки набедренной повязки динамитный патрон и убедившись, что сигара не потухла, он быстро, но не суетясь, поднялся на ноги и подошел к перилам.

— Как тебя звать? — крикнул он в темноту.

— Моя звать Ишикола, — раздался в ответ дрожащий, старческий фальцет.

Раньше чем снова заговорить, Ван Хорн наполовину вытащил из кобуры свой автоматический пистолет и передвинул кобуру с бедра, чтобы она приходилась у него под рукой.

— Сколько парней с тобой идет? — спросил он.

— Мой идет всего десять парень, — ответил старческий голос.

— Подходите к борту. — Не поворачивая головы, бессознательно опустив правую руку на пистолет, Ван Хорн скомандовал: — Эй, Тамби! Тащи фонарь. Не сюда, а на корму, к бизани, и гляди в оба.

Тамби повиновался и отнес фонарь на двадцать футов от того места, где стоял капитан. Это давало Ван Хорну преимущество перед приближавшимися в пироге людьми: фонарь, спущенный через колючую проволоку за перила, ярко освещал подплывшую лодку, тогда как сам Ван Хорн оставался в полумраке.

— Греби, греби! — побуждал он, так как люди в невидимой пироге все еще медлили.

Раздался плеск весел, и на пространство, освещенное фонарем, вынырнул высокий черный нос пироги, изогнутый, как гондола, и инкрустированный перламутром; затем показалась и вся пирога; чернокожие, стоя на коленях на дне лодки, гребли, их глаза блестели, черные тела лоснились. Ишикола, старый вождь, сидел посредине и не греб; беззубыми деснами он сжимал незажженную короткую глиняную трубку. А на корме стоял обнаженный чернокожий денди;

все украшения его были ослепительно белы, за исключением свиного хвостика в одном ухе и ярко-красного цветка, пламеневшего над другим ухом.

Бывали случаи, когда человек десять чернокожих нападали на судно вербовщика, если оно управлялось не более чем двумя белыми, и потому рука Ван Хорна легла на спуск автоматического пистолета, хотя он и не вытащил его из кобуры. Левой рукой он поднес ко рту сигару и сильно затянулся.

— Здорово, Ишикола, старый негодяй! — приветствовал Ван Хорн старого вождя, когда денди, подсунув свое весло под дно пироги и действуя им, как рычагом, подвел его к «Эренджи», так что оба судна стояли бок о бок.

Ишикола, освещенный фонарем, поднял голову и улыбнулся. Он улыбался правым глазом — единственным, оставшимся у него: левый был пронзен стрелой когда-то в одной из юношеских стычек в джунглях.

— Мой говорит! — крикнул он в ответ. — Твой долго не видели мои глаза.

Ван Хорн на жаргоне стал подшучивать над ним, расспрашивая о новых женах, которыми тот наполнил свой гарем, и о том, сколько свиней он

за них заплатил.

— Я говорю, — заключил он, — слишком уж ты богатый парень.

— Мой хотел прийти к твоему на борт, — смиренно намекнул Ишикола.

— А я говорю — ночью нельзя, — возразил капитан: всем известное правило гласило, что с наступлением ночи посетители на борт не допускаются. Затем, подумав, он сделал уступку: — Ты иди на борт, а парни останутся в лодке.

Ван Хорн галантно помог старику вскарабкаться на перила, перешагнуть через колючую проволоку и спуститься на палубу. Ишикола был грязный старый дикарь. Одно из его тамбо («тамбо» у меланезийцев и на морском жаргоне означает «табу») гласило, чтобы вода никогда не прикасалась к его коже. Он, живший у берегов океана, в стране тропических ливней, добросовестно избегал соприкосновения с водой. Он никогда не купался, не переходил вброд, а от ливня всегда бежал под прикрытие. Но остального его племени это не касалось. Таково было своеобразное тамбо, наложенное на него «дьявольскими лекарями». На других членов племени лекари налагали иные табу: им запрещалось есть акулу, трогать черепаху, прикасаться к крокодилам

или ископаемым останкам крокодилов, либо всю жизнь избегать оскверняющего прикосновения женщины и женской тени, упавшей на тропу.

Итак, Ишиколу, для которого вода была табу, покрывала кора многолетней грязи. Шелудивый, словно больной проказой, с худым лицом, весь морщинистый, он сильно хромал от полученного некогда удара копьем в бедро. Но его единственный глаз блестел ярко и злобно, и Ван Хорн знал, что этим одним глазом Ишикола видит не хуже, чем сам он — своими двумя.

Ван Хорн поздоровался с ним за руку — эту честь он оказывал только вождям — и знаком предложил присесть на корточки на палубе, неподалеку от пораженной ужасом девушки, которая снова начала дрожать: ей вспомнилось, как Ишикола предложил однажды десять десятков кокосовых орехов за обед, приготовленный из ее мяса.

Джерри во что бы то ни стало должен был обнюхать этого противного, хромого, голого, одноглазого старика, чтобы в будущем его распознать. А обнюхав его и запомнив своеобразный запах, Джерри почувствовал потребность угрожающе зарычать, чем заслужил одобрительный взгляд шкипера.

— Мой говорит, хорошо будет кай-кай эта со-

бака, — сказал Ишикола. — Мой дает три фут раковин и берет собака.

Это предложение было щедрым, так как три фута раковин, нанизанных на шнурок из скрученных волокон кокоса, равнялись полусоверену в английской валюте, двум с половиной долларам в американской или, переведя на ходячую монету — живых свиней, — половине крупной жирной свиньи.

— Эта собака стоит семь футов раковин, — возразил Ван Хорн, в глубине души прекрасно зная, что не продаст Джерри и за сотню футов раковин или за любую баснословную цену, даваемую чернокожими. Такую маленькую сумму он назначил для того, чтобы чернокожие не заподозрили, как высоко оценивает он в действительности златошёрстного сына Бидди и Терренса. Затем Ишикола заявил, что девушка сильно исхудала, и он, как знаток мяса, не может предложить за нее на этот раз больше, чем три раза по двадцать связок кокосов.

Обменявшись этими любезностями, белый господин и чернокожий повели разговор; первый чванился превосходством разума и знаний белого человека, а второй чутьем угадывал недоговоренное. Ишикола был примитивным го-

сударственным мужем и теперь пытался уяснить себе равновесие человеческих и политических сил, давивших на его территорию Суу в десять квадратных миль. Эта территория была ограничена морем и линиями фронта междуплеменной войны, которая была древнее самого древнего мифа Суу. То одно, то другое племя побеждало, захватывало головы и поедало тела. Границы оставались неизменными. Ишикола на грубом морском жаргоне старался узнать об общем положении Соломоновых островов по отношению к Суу, а Ван Хорн не прочь был вести нечистую дипломатическую игру, какая ведется во всех министерствах великих держав.

— Я говорю, — заключил Ван Хорн, — в этих местах слишком много у вас злых парней. Берете вы слишком много голов; слишком много кай-кай длинных свиней («длинные свиньи» означали зажаренное человеческое мясо).

— Мой говорит, черные парни Суу всегда брать головы и кай-кай длинные свиньи, — возразил Ишикола.

— Слишком много в этих местах злых парней, — повторил Ван Хорн. — Тут, поблизости, стоит большой военный корабль; скоро он подойдет сюда и выколотит семь склянок из Суу.

— Как звать большой военный корабль у Соломоновых? — спросил Ишикола.

— Большой корабль «Кэмбриен» — вот как звать корабль, — солгал Ван Хорн, слишком хорошо зная, что за последние два года ни один британский крейсер не заходил на Соломоновы острова.

Разговор, принимавший характер шутовской декларации об отношениях, какие установятся между государствами, столь отличающимися по величине, был прерван криком Тамби. Чернокожий спустил за борт другой фонарь и сделал неожиданное открытие.

— Шкипер, у него в лодке ружья! — крикнул он.

Ван Хорн одним прыжком очутился у перил и свесился вниз через колючую проволоку. Ишикола, несмотря на свое искалеченное тело, отстал от него всего на несколько секунд.

— Какого черта на дне лодки лежат ружья? — негодующе спросил Ван Хорн.

Денди, сидевший на корме, постарался подпихнуть ногой зеленые листья так, чтобы они прикрыли выступавшие приклады нескольких ружей, но только испортил все дело. Он наклонился, чтобы рукой сгрести листья, но тотчас

же выпрямился, когда Ван Хорн заревел на него сверху:

— Смирно сидеть! Руки прочь, парень!

Повернувшись к Ишиколе, Ван Хорн симулировал гнев, которого в действительности не чувствовал, так как уловка была старая и периодически повторялась.

— Какого черта ты едешь на корабль, а ружья лежат у тебя в лодке? — грозно спросил он.

Старый океанский вождь закатил свой единственный глаз и моргнул с видом глупым и невинным.

— Я на тебя сердит, много сердит, — продолжал Ван Хорн, — Ишикола, ты — дрянной парень. Убирайся к черту за борт!

Старик запрыгал к перилам проворнее, чем можно было от него ожидать, без посторонней помощи перешагнул через колючую проволоку и прыгнул в пирогу, искусно удержавшись на здоровой ноге. Затем поднял голову и моргнул, моля о прощении и заверяя в своей невинности. Ван Хорн отвернулся, чтобы скрыть улыбку, а потом открыто ухмыльнулся, когда старый плут, показывая свою пустую трубку, вкрадчиво попросил:

— Может, твой даст моему пять пачка табаку?

Пока Боркман ходил вниз за табаком, Ван Хорн

проповедовал Ишиколе о святости чести и обещаний, затем перегнулся через колючую проволоку и вручил ему пять пачек табаку.

— Я говорю, — пригрозил он, — когда-нибудь, Ишикола, я тебя совсем прикончу. Ты — не хороший друг у берегов соленой воды. Ты большой дурак и убирайся в джунгли.

Когда Ишикола попробовал протестовать, Ван Хорн резко оборвал его:

— Я говорю, слишком много ты со мной болтаешь.

Все-таки пирога медлила. Денди украдкой старался нащупать ногой приклады ружей под зелеными листьями, а Ишикола не имел ни малейшего желания уезжать.

— Греби! Греби! — неожиданно крикнул Ван Хорн.

Гребцы, не дожидаясь команды вождя или денди, невольно повиновались и глубокими сильными ударами весел вывели пирогу из освещенного круга. С такой же быстротой Ван Хорн переменил свое место на палубе, отпрыгнув ярдов на двенадцать, чтобы случайная пуля его не настигла. Затем он присел на корточки, прислушиваясь к плеску весел, замиравшему вдали.

— Тамби, — спокойно приказал он. — Пусти

нам музыку.

И пока с дребезжащей пластинки срывалась красивая мелодия «Красное крыло», он курил сигару, опираясь локтем о перила и обнимая Джерри. Куря, он следил, как звезды затуманивались дождем, надвигавшимся с подветренной стороны. Собираясь приказать Тамби отнести вниз фонограф и пластинки, он заметил дикарку, в немом страхе глядевшую на него. Он ей кивнул в знак согласия, полузакрыв глаза и вскинув голову, а рукой указал на рубку. Она повиновалась, как повинуется побитая собака, и поднялась на ноги, дрожа и в ужасе озираясь на большого белого господина, который, как она была убеждена, в один прекрасный день съест ее. И эта невозможность объяснить ей через пропасть веков свои добрые намерения кольнула Ван Хорна. Она скользнула в рубку и сползла по трапу вперед ногами, словно какой-то огромный, большеголовый червь.

Послав вслед за ней вниз Тамби с драгоценным фонографом, Ван Хорн продолжал курить, а острые, как иглы, брызги дождя освежали его разгоряченное тело.

Через пять минут дождь прекратился. Небо опять покрылось звездами; зловонный запах

поднялся с мангиферовых болот, а удушливый зной снова усилился. Ван Хорн никогда ничем не болел, если не считать лихорадки, и сейчас он даже не потрудился пойти за одеялом.

— Твоя вахта — первая, — сказал он Боркману. — Поутру я выведу судно из бухты.

Он положил голову на бицепс правой руки, левой рукой прижал к груди Джерри и погрузился в сон.

Так, рискуя жизнью, белые и местные чернокожие влачили день за днем на Соломоновых островах, занимаясь торговлей и стычками; белые старались сохранить головы на своих плечах, а чернокожие так же единодушно старались завладеть головами белых и одновременно сохранить свои собственные.

А Джерри, знакомый только с миром лагуны Мериндж, узнал, что эти новые миры — судно «Эренджи» и остров Малаита — по существу не отличаются от первого, и с проблеском понимания взирал на вечную игру между белыми и черными.

Глава X

На рассвете «Эренджи» снялся с якоря. Паруса тяжело повисли в мертвом воздухе, и судовая команда, спустившись в вельбот, налегла на весла и на буксире тянула судно через узкий проход. Один раз, когда кеч, подхваченный случайным течением, приблизился к берегу, чернокожие, оставшиеся на берегу, сбились в кучу, как испуганные овцы в загоне, заслышавшие вой мародера диких лесов. И не нужно было Ван Хорну кричать гребцам в вельботе: «Греби, греби, черти!» Судовая команда, поднимаясь со скамей, всем весом налегала на весла. Они знали, какая страшная судьба грозит им, если нос «Эренджи» врежется в омываемый морем коралловый риф. И они испытывали тот же страх, как и запуганная девушка внизу, в лазарете. В прошлом немало парней из Ланга-Ланга и Сомо попало на пиршественный стол в Суу, точно так же как парни из Суу поставляли лакомые блюда в Ланга-Ланга и Сомо.

— Мой говорит, — обратился стоявший у руля Тамби к Ван Хорну, когда общее напряжение спало и «Эренджи» выплыл в открытое море, — брат

моего отца давно-давно пришел на это место на судне. На большая шхуна пришел брат моего отца. Все остались на этом месте в Суу. Брат моего отца парни Суу кай-кай.

Ван Хорн вспомнил, как пятнадцать лет назад судно «Фэйр-Хатавей» было ограблено и сожжено народом Суу, а весь экипаж перебит. Действительно, Соломоновы острова в начале двадцатого века были дикими островами, а самым диким был большой остров Малаита.

Шкипер испытующе окинул взглядом покрытые лесом склоны горы Колорат, служившей указанием для мореходов; ее окутанная облаками вершина вздымалась в небо на четыре тысячи футов. Столбы дыма взвивались вверх над ее склонами и с вершин более низких гор.

— Мой говорит, — усмехнулся Тамби. — Много парни сидит в кусты и смотрит на судно.

Ван Хорн улыбнулся с понимающим видом. Он знал этот древний способ телеграфирования сигналами дыма; сейчас из деревни в деревню и от племени к племени давали сигнал: с подветренной стороны идет судно, вербующее рабочих.

Все утро под косым ветерком, начавшимся с восходом солнца, «Эренджи» летел к северу, а учащавшиеся столбы дыма, вьющиеся над зе-

леными вершинами, возвещали об его курсе. В полдень Ван Хорн со своим вечным спутником Джерри стоял на носу и следил за ходом кеча, а «Эренджи» шел против ветра в пролив между двумя островками, поросшими группами пальм. Нужно было зорко следить за курсом. Из бирюзовых глубин повсюду вздымались коралловые рифы, являвшие гамму зеленых тонов от темного нефрита до бледного турмалина, а море, набегая на них, меняло оттенки цветов, лениво пенилось или вздымалось фонтаном искрящихся на солнце брызг.

Столбы дыма по вершинам завели оживленную болтовню, и задолго до того, как «Эренджи» прошел через пролив, весь подветренный берег, от приморских жителей до отдаленнейших лесных деревень, знал, что судно-вербовщик направляется к Ланга-Ланга. Когда открылась лагуна, образованная цепью прибрежных островков, Джерри почуял запах деревьев. По гладкой поверхности лагуны двигалось множество пирог; одни приводились в движение веслами, другие подгонялись свежим юго-восточным пассатом, надувавшим паруса из листьев кокосовых пальм. На пироги, слишком близко подходившие, Джерри грозно лаял, ощетинив шерсть, и изображал яростного

защитника белого господина, стоявшего рядом с ним. И после каждой такой демонстрации он мягко тыкался холодной, влажной мордой в обожженную солнцем ногу шкипера.

Войдя в лагуну, «Эренджи» понесся под косым ветром. Сделав полмили, он повернулся; передние паруса были спущены, захлопали грот и бизань, и якорь был брошен на глубину пятидесяти футов. Вода была так прозрачна, что можно было разглядеть на коралловом дне огромные извилистые двустворчатые раковины. Возвращавшихся в Ланга-Ланга рабочих не нужно было отвозить на берег в вельботе. Сотни пирог ждали по обе стороны «Эренджи», и каждого парня, с его сундучком и колокольчиком, вызывали десятки родственников и друзей.

Из-за царившего возбуждения Ван Хорн никого не пускал на борт. Меланезийцы, в отличие от животных, в атаку переходят так же быстро, как и в отступление. Два матроса стояли у ли-энфильдских ружей, сложенных на люке. Боркман следил, как одна половина команды занималась уборкой судна. Ван Хорн с Джерри, следовавшим за ним по пятам, руководил отплытием возвращавшихся в Ланга-Ланга чернокожих и зорко наблюдал за второй половиной судовой

команды, охранявшей проволочное ограждение. А парни из Сомо расселись на своих сундучках, чтобы чернокожие из Ланга-Ланга не сбросили их в поджидавшие пироги.

Через полчаса шумная толпа отплыла на берег. Замешкалось только несколько пирог, и с одной из них Ван Хорн поманил на борт Нау-Хау, сильнейшего вождя из укрепленного поселка Ланга-Ланга. Большинство великих вождей племени были стариками, но Нау-Хау был молод и, в отличие от большинства меланезийцев, даже красив.

— Здорово, царь Вавилонский! — поздоровался Ван Хорн, давший ему это прозвище за воображаемое сходство с семитами и грубую силу, наложившую отпечаток на его лицо и сказывавшуюся в походке.

С детства приученный к наготе, Нау-Хау шествовал по палубе смело и не стыдясь. Все его одеяние состояло из затянутого вокруг талии ремня от чемодана. Между этим ремнем и голым телом был заткнут клинок поломанного ножа, дюймов в десять длины. Единственным его украшением являлась белая фарфоровая суповая тарелка. Она была просверлена, надета на шнурок из кокосовых волокон и свешивалась с шеи,

покоясь на его груди и наполовину прикрывая сильные мускулы. Это было величайшее сокровище. Ни один человек на Малаите не имел целой суповой тарелки.

Но суповая тарелка не вызывала смеха, как не казалась смешной и его нагота. Он был знатного рода. До него вождем был его отец, а сам он превзошел отца. Жизнь и смерть держал он в своих руках. Часто пользовался он этой властью, чирикая своим подданным на языке Ланга-Ланга: «Убей здесь» и «Убей там», «Ты умрешь» и «Ты будешь жить». Когда его отец, за год до того сложивший с себя сан, вздумал безрассудно вмешаться в государственные дела своего сына, тот призвал двух молодцов и повелел стянуть петлю из кокосовых волокон на шее отца, дабы отныне тот не дышал. Когда его любимая жена, мать первенца, осмелилась по глупости нарушить одно из его царственных табу, он приказал ее убить и самолично и добросовестно съел всю, вплоть до мозга из переломанных костей, не подарив ни кусочка своим ближайшим друзьям.

Царственным он был и по рождению, и по воспитанию, и по делам своим. И в походке его сквозило сознание своего царственного достоинства. Он выглядел царственным, как может

выглядеть царственным великолепный жеребец или лев, нарисованный на фоне пустыни. Его торс, грудь, плечи, голова были великолепны. Великолепен был и ленивый, надменный взгляд из-под тяжелых век.

В эту минуту на борту «Эренджи» царственной была храбрость Нау-Хау, хотя он знал, что ступает по динамиту. Давно уже он на горьком опыте узнал, что белый человек — тот же динамит и подобен таинственному, смертоносному метательному снаряду, каким белые иногда пользуются. Еще будучи подростком, он участвовал в нападении на сандаловый катер, который был даже меньше «Эренджи». Этой тайны он никогда не мог забыть. Двое из трех белых были убиты на его глазах, и на палубе им отрубили головы. Третий, все еще сражаясь, за минуту до того ускользнул вниз. И тогда катер со всем своим богатством — железными кольцами, табаком, ножами и коленкором — взлетел на воздух и снова упал в море, разбитый на мельчайшие куски. То был динамит — *тайна*. А сам Нау-Хау, пролетев по воздуху и каким-то чудом уцелев, понял тогда, что белые люди — тот же динамит и в них та же тайна, как и в веществе, которым они оглушают целые стаи проворных головлей или, в случае

необходимости, взрывают самих себя и свои корабли, пришедшие по морю из далеких стран. И все же твердой, тяжелой поступью он шел по этому смертоносному веществу, из которого, как ему было известно, состоял Вал Хорн. И при этом осмеливался надавливать на это вещество, рискуя взрывом.

— Мой говорит, — начал он, — почему твой слишком долго держал мой парень?

То было вполне справедливое обвинение: рабочие, которых только что доставил Ван Хорн, пробыли в отлучке три с половиной года вместо трех.

— Если ты, парень, будешь так разговаривать, я на тебя рассержусь, много-много, — ощетинился в ответ Ван Хорн, а затем дипломатически прибавил, запустив руку в ящик и достав оттуда пригоршню табаку: — Лучше ты покури и заведи разговор о чем-нибудь хорошем.

Но Нау-Хау величественно отстранил дар, несмотря на то что ему очень хотелось его взять.

— Много-много табаку мой есть, — солгал он, а затем спросил: — Как звать парень, — ушел и не вернулся?

Ван Хорн вытащил из складки набедренной повязки длинную и узкую отчетную книгу; и,

глядя, как он перелистывает страницы, Нау-Хау ощущал динамитную, высшую власть белого человека, помогающую ему извлекать воспоминания из замаранных листов книги, а не из собственной головы.

— Сати… — начал Ван Хорн, ведя пальцем по записи; глаза его, отрываясь от страницы, зорко следили за чернокожим вождем, стоявшим перед ним. А чернокожий вождь взвешивал, насколько удобен этот момент, чтобы подскочить к белому сзади и одним ударом ножа перерезать ему спинной мозг у основания шеи.

— Сати, — читал Ван Хорн. — Прошлый муссон, как раз в это время, парень Сати болел животом много-много; потом парень Сати совсем нет. — Так перевел Ван Хорн на морской жаргон запись: «Умер от дизентерии 4 июля 1901 года».

— Много работа парень Сати, долгое время, — вел свою линию Нау-Хау. — Что стало его деньги?

Ван Хорн мысленно сделал подсчет.

— Всего он заработал шесть раз по десять фунтов и два фунта золотыми деньгами, — перевел он шестьдесят два фунта жалованья. — Я платил вперед отцу один раз по десять фунтов и пять фунтов. Остается четыре раза по десять фунтов

и семь фунтов.

— Что стало четыре раза по десять фунтов и семь фунтов? — спросил Нау-Хау, который лишь произнес, но умом не мог постичь столь чудовищную сумму.

Ван Хорн поднял руку.

— Очень много торопишься, парень Нау-Хау. Парень Сати купил на плантации сундук за два раза по десять фунтов и один фунт. Ему, Сати, осталось два раза по десять фунтов и шесть фунтов.

— Где два раза по десять фунтов и шесть фунтов? — спросил неумолимый Нау-Хау.

— У меня, — кратко ответил капитан.

— Дай два раза по десять фунтов и шесть фунтов.

— Проваливай к черту, — отказал Ван Хорн, и в его голубых глазах чернокожий вождь почуял отблеск динамита, из которого сделаны белые люди, и перед ним встало видение того кровавого дня, когда он впервые увидел взрыв динамита и был подброшен на воздух.

— Как звать старого парня в пироге? — спросил Ван Хорн, указывая на пирогу у борта «Эренджи». — Отец Сати?

— Ему отец Сати, — подтвердил Нау-Хау.

Ван Хорн позвал старика на борт, дал знак Борк-

ману, чтобы тот следил за порядком на палубе и за поведением Нау-Хау, и спустился вниз за деньгами. Вернувшись, он, подчеркнуто не обращая внимания на вождя, обратился к старику:

— Как тебя звать?

— Мой — парень Нино, — ответил тот дрожащим голосом. — Парень Сати — мой.

Ван Хорн взглянул на Нау-Хау, ожидая подтверждения. Тот кивнул, по обычаю Соломоновых островов вскинув голову вверх. Тогда Ван Хорн отсчитал в руку отца Сати двадцать шесть золотых соверенов.

Нау-Хау тотчас же протянул руку и взял деньги. Двадцать золотых монет вождь оставил себе, а остальные шесть вернул старику. Ван Хорну до этого не было дела. Свой долг он выполнил и расплатился честно. Тирания вождя над своими подданными его не касалась.

Оба господина — и белый и черный — были собой довольны. Ван Хорн уплатил долг; Нау-Хау, по праву вождя, отнял у старика заработок Сати. Но Нау-Хау не прочь был почваниться. Он отклонил предложенный в подарок табак, купил у Ван Хорна ящик табаку за пять фунтов и, настояв, чтобы его немедленно вскрыли, набил свою трубку.

— Много хороших парней в Ланга-Ланга? — с

невозмутимой вежливостью осведомился Ван Хорн, желая поддержать разговор и подчеркнуть свою беспечность.

Царь Вавилонский усмехнулся, но не удостоил ответом.

— Сойти на берег и прогуляться? — с вызывающим видом продолжал Ван Хорн.

— Может, будет беда, — не менее вызывающе отозвался Нау-Хау. — Много-много дурной парень тебя кай-кай.

От этих слов у Ван Хорна мурашки задорно пробежали по голове, совсем, как у Джерри, когда тот щетинился.

— Эй, Боркман! — крикнул он. — Подтянуть вельбот!

Когда вельбот остановился бок о бок с «Эренджи», Ван Хорн, с сознанием собственного превосходства, спустился первым и затем пригласил Нау-Хау следовать за собой.

— Тебе говорю, царь Вавилонский, — пробормотал он на ухо вождю, когда гребцы взялись за весла, — если какой парень мне повредит, пристрелю тебя. А затем взлетит на воздух Ланга-Ланга. И ты будешь идти подле меня. Не захочешь идти — конец тебе будет.

Одинокий белый человек спустился на берег,

сопровождаемый ирландским терьером, чье собачье сердце было переполнено любовью к нему, и злобным черным царьком, благоговевшим перед динамитом белых людей. Ван Хорн, босой, чванливо разгуливал по поселку в три тысячи человек; его белый помощник, тяготевший к водке, наблюдал за порядком на палубе крохотного судна, бросившего якорь у самого берега. А чернокожая команда вельбота с веслами в руках ждала, когда прыгнет на корму тот, кому они не любя служили и чьей головой они охотно завладели бы, не останавливай их страх перед ним.

Ван Хорн и не думал раньше сходить на берег; он сделал это лишь в ответ на вызов чернокожего вождя. Около часу бродил он по поселку, держа правую руку у спуска автоматического пистолета и зорко следя за нехотя, против воли сопровождавшим его Нау-Хау. Вулканический гнев Нау-Хау готов был вспыхнуть при первом удобном случае. И во время этой прогулки Ван Хорну дано было увидеть то, что могли видеть лишь немногие белые, ибо Ланга-Ланга и соседние с ним островки — великолепные бусы, нанизанные вдоль подветренного берега Малаиты — исключительны по своей красоте и совсем не исследованы.

Первоначально эти островки представляли

лишь песчаные откосы и коралловые рифы, омываемые морем либо скрытые под водой. Только загнанное, несчастное создание, способное вынести невероятные тяготы, могло влачить на них жалкое существование. Но эти существа, спасшиеся от резни в деревнях, ускользнувшие от гнева и судьбы длинных свиней, предназначенных для кухонного котла, пришли на островки и выжили здесь. Они, знавшие раньше только лесную жизнь, познали соленую воду и приобрели навыки приморских жителей. Они изучили нравы рыб и моллюсков и изобрели крючки и лесы, сети и капканы для рыб и весь сложный аппарат, с помощью которого можно добыть из изменчивого, ненадежного моря плавающее мясо.

Эти выходцы похищали женщин из деревень, лежащих в глубине острова, плодились и размножались. Трудясь, как геркулесы, под палящим солнцем, они завоевали море. Свои коралловые рифы и песчаные отмели они обвели стенами из кораллового камня, украденного темными ночами в дальних поселениях. Не имея ни извести, ни долота, они построили славные стены, противостоящие напору океана. И как мыши по ночам обкрадывают человеческие жилища, так и они обокрали остров, увезя на миллионах пирог

богатый чернозем.

Прошли поколения и века, и вот вместо голых песчаных отмелей, полускрытых водой, возникли обведенные стенами крепости. К морю были проведены спусковые полозья для длинных пирог, а стены защищались со стороны острова лагунами. Кокосовые пальмы, банановые деревья и величественные хлебные деревья давали им пищу и служили защитой от солнца. Их сады процветали. Их длинные, узкие военные пироги опустошали берега и мстили потомкам тех, кто преследовал и стремился пожрать их праотцов.

Подобно выходцам и беглецам, скрывшимся в соленых болотах Адриатики и воздвигшим дворцы мощной Венеции на глубоко вбитых сваях, эти жалкие, загнанные чернокожие упрочивали свою власть, пока не стали господами всего острова и не взяли в свои руки торговлю и торговые пути. Отныне и навсегда они принудили лесных жителей оставаться в лесах и не дерзать приближаться к морю.

И здесь, среди отважных приморских жителей, Ван Хорн шел своей дорогой, рисковал и не верил в возможность близкой смерти. Он знал, что делает это для успеха вербовки рабочих, необходимых другим отважным белым людям на

далеких островах.

Через час Ван Хорн переправил Джерри на корму вельбота и сам последовал за ним, оставив на берегу ошеломленного и недоумевающего чернокожего царька. А царек более чем когда-либо проникся уважением к состоящим из динамита белым людям, привозившим ему табак, коленкор, ножи и топоры и неизменно извлекавшим прибыль из этой торговли.

Глава XI

Вернувшись на борт, Ван Хорн приказал немедленно поставить паруса и сняться с якоря. «Эренджи», лавируя, понесся по лагуне, покрывая десять миль, отделявшие от Сомо. По пути Ван Хорн остановился в Бину, чтобы приветствовать вождя Джонни и спустить на берег несколько человек рабочих. Теперь оставалось совершить путешествие до Сомо — последний рейс «Эренджи» и многих, находившихся на его борту.

Прием, оказанный Ван Хорну в Сомо, был полной противоположностью приему в Ланга-Ланга. Как только спустили на берег возвратившихся рабочих — а это было сделано в три тридцать пополудни, — Ван Хорн пригласил на борт вождя Башти. И вождь Башти явился. Несмотря на свой престарелый возраст, это был человек проворный и живой и очень добродушно настроенный — до того добродушно, что он непременно пожелал захватить с собой на борт трех своих пожилых жен. В прошлом этому не бывало примера. Никогда не разрешал он ни одной из своих жен появляться перед лицом белого, и Ван Хорн был до того польщен этой честью, что презентовал каждой

глиняную трубку и двенадцать пачек табаку.

Несмотря на поздний час, торговали бойко. Башти захватил львиную долю заработка, принадлежавшего отцам двух умерших парней, и щедро покупал товары «Эренджи». Когда Башти пообещал много новых рекрутов, Ван Хорн, зная изменчивый характер дикарей, стал настаивать на том, чтобы записать их немедленно. Башти колебался и предлагал отложить до завтра, а Ван Хорн уверял, что удобней всего записать их именно сейчас. Он говорил очень убедительно, и старый вождь послал, наконец, пирогу на берег за парнями, предназначавшимися для отправки на плантации.

— Ну, что ты на это скажешь? — спросил Ван Хорн Боркмана, у которого глаза были мутнее обыкновенного. — Никогда еще старый плут не бывал так любезен. Быть может, у него что-нибудь неладное на уме?

Помощник поглядел на многочисленные пироги, стоявшие у борта «Эренджи», заметил, сколько было в них женщин, и покачал головой.

— Когда они что-нибудь затевают, своих мэри[21] они отправляют в лес, — сказал он.

---

[21] notes: 21
Именем мэри называют в Океании женщин.

— Ничего нельзя предвидеть с этими неграми, — проворчал капитан. — Сметки у них, может, и не хватает, но время от времени они выдумывают что-нибудь новенькое. А Башти — самый сметливый старый негр, какого я когда-либо знал. Что может помешать ему задумать такую штуку и повести игру шиворот-навыворот? До сих пор они не таскали за собой женщин, когда затевали недоброе, но это еще не значит, что они всегда будут так поступать.

— Даже у Башти не хватит ума на такую штуку, — возразил Боркман. — Просто он настроен сегодня добродушно и раскошелился. Ведь он уже купил у вас на сорок фунтов всякого добра. Вот почему он хочет доставить нам новую партию рабочих и, готов биться об заклад, надеется, что половина перемрет и он сможет растратить их жалованье.

Доводы были веские. Тем не менее Ван Хорн покачал головой.

— Все-таки глядите в оба, — посоветовал он. — И помните: нам не следует одновременно спускаться вниз. И к водке не прикасайтесь, пока мы не выберемся из этой каши.

Башти был невероятно тощ и поразительно стар. Он сам не знал, сколько ему лет; он только

знал, что ни один из его племени еще не родился на свет, когда он был мальчишкой. Он помнил дни, когда родился кое-кто из стариков, живших еще и по сей день; но теперь это были дряхлые, трясущиеся старцы, с подслеповатыми глазами, беззубые, глухие или парализованные. Он не походил на них. Он даже мог похвалиться остатками зубов — дюжиной корней, стершихся до уровня десен, которыми ему и сейчас еще удавалось разжевывать пищу. Хотя прежней юношеской выносливости у него уже не стало, но мыслил он по-прежнему самостоятельно и ясно. И благодаря его ясному мышлению племя стало сильнее с тех пор, как он сделался его вождем. То был меланезийский Наполеон в маленьком масштабе. Воюя, он сумел отодвинуть назад границы лесных жителей. Рубцы на его высохшем теле свидетельствовали о том, что он сражался в первых рядах. Управляя, он поощрял сильных и способных людей своего племени. А в политике он всегда одерживал верх над соседними вождями в заключении выгодных договоров.

И теперь, направляя мысль, он развил план, с помощью которого мог перехитрить Ван Хорна и подставить ножку великой Британской империи; о ней у Башти имелись лишь самые смутные

сведения.

А Сомо имел свою историю. То была странная аномалия: приморское племя обосновалось на земле, где обычно живут лишь лесные жители. Фольклор Сомо бросает чуть брезжущий свет в глубь времен. Однажды, давно-давно, в незапамятные времена, некто Сомо, сын Лоти, который был вождем островной крепости Умбо, поссорился со своим отцом и бежал от его гнева. С ним уехали на двенадцати пирогах другие юноши. В течение двух муссонов они странствовали, как Одиссей. Миф повествует, что они дважды объехали Малаиту и, миновав большие моря, вторглись в такие далекие страны, как Уги и Сан-Кристобаль.

После успешных боев они похищали женщин, и, наконец, обремененный женщинами и потомством, Сомо обосновался на берегу большого острова, оттеснил лесных жителей и основал приморскую крепость Сомо. С фронта, со стороны моря, эта крепость была построена, как всякая морская крепость, и обведена коралловыми стенами, чтобы выдерживать натиск моря и случайных врагов, а в стенах были проделаны спусковые полозья для длинных пирог. С тыла, где крепость соприкасалась с джунглями, она

походила на любую приморскую деревушку. Но Сомо, родоначальник нового племени, углубил свои владения в лесах до уступов гор, а на уступах основал деревни. Только великих смельчаков, прибегавших к нему, принимал Сомо в свое племя. Хилых же и трусливых племя немедленно поедало, и невероятная повесть о многочисленных головах, украшавших их дома-пироги, превратилась в миф.

И это племя, всю территорию и крепость Башти унаследовал в позднейшие времена. Он приумножил свое наследство и не прочь был продолжать свою умную политику. Долго и тщательно обдумывал он план, созревший в его голове и требующий осуществления. Три года назад племя Ано-Ано, жившее на много миль ниже вдоль берега, овладело судном-вербовщиком, уничтожило его и всю команду и захватило баснословное количество табаку, коленкора, бус, разных других товаров, ружей и амуниции.

Расплата была ничтожна. Спустя полгода военное судно сунуло нос в лагуну, бомбардировало Ано-Ано и загнало всех обитателей его в джунгли. Десант тщательно преследовал беглецов по тропинкам джунглей. В конце концов он удовольствовался тем, что убил сорок жирных свиней

и срубил сотню кокосовых пальм. Едва военное судно вышло в открытое море, как племя Ано-Ано вернулось из зарослей в свою деревню. Бомбардировка легких лесных домиков особого вреда не приносит. Поработав несколько часов, женщины привели все в порядок. Что же касается сорока убитых свиней, то все племя накинулось на туши, зажарило их под горячими камнями и устроило пиршество. Нежные верхушки кокосовых пальм также были съедены, а тысячи кокосовых орехов очищены, раздроблены, высушены на солнце и прокопчены в дыму; полученную из них кору можно было продать первому торговому судну.

Таким образом, положенное наказание превратилось в праздник и пиршество. Это произвело впечатление на бережливого и расчетливого Башти. А что принесло пользу Ано-Ано, то, по его мнению, должно было пойти и на благо Сомо. Раз таковы обычаи белых людей, которые плавают под британским флагом, убивают свиней и срубают кокосовые пальмы в отместку за пролитую кровь и захваченные головы, то Башти не видел основания, почему бы и ему не извлечь выгоды, как то сделало племя Ано-Ано. Цена, какую, возможно, придется уплатить в будущем, до нелепости не отвечала этой прямой выгоде. А

помимо этого, уже больше двух лет прошло с тех пор, как в последний раз заглядывал на Соломоновы острова британский военный корабль.

Итак, Башти, захваченный новым славным замыслом, разрешил своему народу подняться на борт и вести торг. Очень немногие из его подданных знали, какой план он затевает, да и о существовании замысла мало кто знал.

Торговля все оживлялась по мере того, как к борту подходили новые пироги и чернокожие мужчины и женщины заполняли палубу. Затем появились рекруты — только что пойманные молодые дикари, робкие, как лани, но повинующиеся закону родительскому и племенному. В сопровождении отцов, матерей и родственников, следовавших за ними группами, они спускались вниз, в каюту «Эренджи», где становились перед лицом великого белого господина. Белый господин записывал их имена в какую-то таинственную книгу, заставлял их для утверждения трехгодичного контракта прикасаться правой рукой к перу, которым он писал, и затем уплачивал главе семьи жалованье товарами за первый год.

Старый Башти сидел поблизости и по обыкновению забирал себе львиную долю из каждого аванса. Три его старых жены смиренно сидели на

корточках у его ног; одно их присутствие вселяло уверенность в Ван Хорна, который радовался такому обороту дел. Похоже было на то, что его рейс близится к концу и с Малаиты он отплывет с полным комплектом рабочих.

На палубе, где зорко следил за всем Боркман, всюду вертелся Джерри, обнюхивая ноги чернокожих, которых он никогда раньше не встречал. Дикая собака сошла на берег вместе с вернувшимися рабочими, а из них назад на судно пришел только один. То был Леруми. Мимо него Джерри несколько раз проходил, ощетинившись, но Леруми холодно его игнорировал, а затем спустился вниз, купил ручное зеркальце и взглядом заверил старого Башти, что все готово и можно приступить в первый благоприятный момент.

И этот момент наступил по вине Боркмана вследствие его небрежности и неисполнения приказания капитана. Боркман не отказался от водки. Он не почуял того, что надвигалось со всех сторон. На корме, где он стоял, почти никого не было. Чернокожие обоего пола, болтая с судовой командой, толпились на шканцах и на носу. Боркман направился к мешкам с ямсом, привязанным позади бизань-мачты, и достал свою бутылку. Перед тем как глотнуть, он из предосторожности

оглянулся. Поблизости стояла безобидная мэри, средних лет, жирная, коренастая и уродливая, и кормила двухлетнего ребенка. Конечно, с этой стороны опасаться было нечего. Кроме того, она, несомненно, была безоружна, так как на ней не было ни клочка одежды, где бы можно было спрятать оружие. У перил, футах в десяти в сторону, стоял Леруми и сладко улыбался перед только что купленным зеркальцем. В это зеркальце Леруми и увидел, как Боркман наклонился к мешкам с ямсом, затем выпрямился и откинул голову, присосавшись к бутылке, перевернутой дном кверху. Подняв правую руку, Леруми дал сигнал женщине, сидевшей в пироге у борта «Эренджи». Она быстро наклонилась, схватила что-то и бросила Леруми. То был томагавк[22] с длинной рукоятью. Обух у него был сделан, как у обыкновенного каменного топора, а рукоятка, туземной работы, была грубо инкрустирована перламутром и обмотана плетеньем из кокосовых волокон. Лезвие топора было остро, как отточенная бритва.

Томагавк бесшумно пролетел по воздуху в руку Леруми, а через секунду так же бесшумно перелетел к жирной мэри, с ребенком стоявшей позади

---

[22] notes: 22
Томагавк — боевая секира североамериканских индейцев.

помощника. Она обеими руками вцепилась в рукоятку, а ребенок, сидевший верхом на ее бедре, слегка отогнувшись назад, ухватился за мать ручонками.

Мэри еще медлила нанести удар, так как голова Боркмана была откинута назад и мешала перерубить позвоночный столб у затылка. Много глаз следило за надвигающейся катастрофой. Видел это и Джерри, но не понимал. Несмотря на всю свою вражду к неграм, он не мог, конечно, догадаться, что атака будет через воздух. Тамби, случайно оказавшийся подле люка, увидел и потянулся за ли-энфильдским ружьем. От Леруми не ускользнуло движение Тамби, и он свистом дал сигнал мэри.

Боркман, не сознавая, что наступила последняя секунда его жизни, как не сознавал он и первой ее секунды, опустил бутылку и поднял голову. Острое лезвие вонзилось в шею. Что ощутил или подумал Боркман — если он мог что-либо ощущать или думать — в эту вспышку секунды, когда его мозг отделялся от остального тела, — тайна, неразрешимая для всех живых. Ни один человек с перебитым спинным мозгом не произносил еще ни слова, которое бы передало его ощущения. Тело Боркмана осело на палубу, мягко, спокойно,

с той же быстротой, с какой был нанесен удар. Он не закачался, но пошатнулся. Он сел, сник так же внезапно, как проколотый пузырь с воздухом. Бутылка выпала из его мертвой руки на мешки с ямсом, а остатки ее содержимого тихонько забулькали по палубе.

Действие развивалось с такой быстротой, что Тамби выстрелил в мэри и промахнулся раньше, чем Боркман осел на палубу. Для второго выстрела времени не было, так как мэри, бросив томагавк и держа обеими руками ребенка, прыгнула к перилам и перескочила за борт, опрокинув оказавшуюся под ней пирогу.

События развернулись молниеносно. Из пирог, стоявших по обе стороны «Эренджи», полился сверкающий, искристый дождь томагавков, с рукоятками, инкрустированными перламутром. Парни из Сомо, стоявшие на палубе, ловили их на лету, а бывшие на борту мэри на четвереньках уползали прочь с поля битвы. В тот момент, когда мэри, убившая Боркмана, прыгнула за перила, Леруми наклонился поднять брошенный ею томагавк, а Джерри, почуяв кровавую войну, вцепился в руку, тянувшуюся за томагавком. Леруми выпрямился и в протяжном вое излил свою злобу и ненависть к щенку. И в то же время

он изо всех сил лягнул подскочившего к нему Джерри. Удар пришелся прямо в брюхо и поднял Джерри высоко в воздух.

А в следующую секунду, пока Джерри перелетал через колючую проволоку за борт, а с пирог передавали на судно снайдеровские ружья, Тамби, почти не прицеливаясь, выстрелил вторично. Леруми, снова потянувшийся за томагавком, не успел даже опустить ногу, лягнувшую щенка, как пуля попала ему в сердце.

Он осел на палубу и вместе с Боркманом погрузился в тишину смерти.

Джерри еще не коснулся воды, как уже слава удачного выстрела потеряла всю прелесть для Тамби. В тот самый момент, когда он нажимал спуск, делая этот выстрел, томагавк врезался в его череп у основания мозга, и навсегда померкло для него видение тропического мира, омываемого океаном и палимого солнцем. С такой же быстротой и почти одновременно перешли в небытие остальные люди команды, и палуба превратилась в бойню.

Голова Джерри вынырнула из воды под выстрелы снайдеровских ружей и шум смертельной битвы. Чья-то мужская рука опустилась за борт и вытащила его за загривок в пирогу. Джерри ры-

чал и пытался укусить своего спасителя, но был не столько рассержен, сколько безумно обеспокоен судьбой шкипера. Он знал, совсем о том не думая, что на борту «Эренджи» разразилась величайшая катастрофа, какую смутно предощущает все живое, а знает только человек и называет ее «смерть». Он видел, как упал Боркман. Он слышал падение Леруми. А теперь до него доносились ружейные выстрелы, торжествующий вой и отчаянные крики.

Беспомощно барахтаясь, Джерри визжал, лаял, задыхался и кашлял, пока чернокожий не швырнул его грубо на дно пироги. Затем поднялся на ноги и сделал два прыжка: первый — на шкафут пироги, а второй — отчаянный и безнадежный, не думая о себе, — к перилам «Эренджи».

Джерри не допрыгнул всего на один ярд и снова погрузился в море. Он выплыл на поверхность и отчаянно поплыл, давясь и захлебываясь соленой водой, ибо он все еще выл, визжал и лаял, охваченный тоской по шкиперу и желанием быть с ним на борту.

Но мальчик лет двенадцати, сидевший в другой пироге и видевший борьбу Джерри с первым чернокожим, обошелся с ним безо всяких церемоний: сперва он ударил его по голове веслом

плашмя, а затем — ребром. Мрак окутал ясный маленький мозг, охваченный любовью, и чернокожий втащил в свою пирогу слабого, неподвижного щенка.

Тем временем внизу, в каюте «Эренджи», пока Джерри, еще не коснувшись воды, летел по воздуху, отброшенный ногой Леруми, Ван Хорн в одной великой и глубокой вспышке секунды познал свою смерть. Недаром старик Башти жил дольше всех своих соплеменников и был мудрейшим из правителей со времен Сомо. Живи он в иное время и в ином месте, он мог бы стать Александром или Наполеоном. Но и теперь он удивительно хорошо проводил свою роль в своем ограниченном маленьком королевстве на подветренном берегу Малаиты, мрачного острова каннибалов.

То была великолепная игра. Хладнокровный и добродушный, строго соблюдая свои права вождя, Башти улыбался Ван Хорну, давал своим молодым подданным царственное разрешение записываться в трехлетнее рабство на плантациях и брал свою долю из каждого аванса за первый год. Аора, которого можно назвать его первым министром и казначеем, принимал подати по мере их выплаты и набивал ими большие мешки, сплетенные из кокосовых волокон. За спиной

Башти на койке сидела на корточках стройная тринадцатилетняя девочка с гладкой кожей и отгоняла опахалом мух от его царственной головы. У ног его сидели три старых жены; самая старшая, беззубая и частично парализованная, повинуясь его кивку, то и дело подставляла ему грубо сплетенную корзинку из пандановых листьев.

А Башти, чутко прислушиваясь к первому признаку мятежа на палубе, поминутно кивал головой и запускал руку в подставленную корзинку — то за бетелем, кусочком известки и неизменным зеленым листом для обертывания жвачки; то за табаком, чтобы набить свою короткую глиняную трубку; то за спичками, чтобы разжечь трубку, которая почему-то частенько гасла.

Старуха все время подносила к нему корзинку, и, наконец, он в последний раз запустил в нее руку. Это произошло в тот момент, когда на палубе топор мэри поразил Боркмана, а Тамби выстрелил в нее из своего ли-энфильдского ружья. И сухая старая рука Башти, покрытая сложной сетью вздувшихся вен, извлекла огромный пистолет — такой древний, что его с успехом мог

носить один из «круглоголовых» Кромвеля[23], либо соратник Кироса и Лаперуза. Это был кремневый пистолет, длиной с полруки, а зарядил его в тот день не кто иной, как сам Башти.

Ван Хорн действовал так же быстро, как и Башти, но все же недостаточно быстро. В тот самый момент, когда рука его схватилась за современный автоматический пистолет, вынутый из кобуры и лежавший у него на коленях, вековой пистолет выстрелил. Заряженный двумя жеребейками[24] и круглой пулей, он выстрелил. К Ван Хорну метнулось пламя, и он познал мрак смерти раньше, чем с губ его успело сорваться: «Черт побери!» А пальцы, схватившие автоматический пистолет, разжались и уронили его на пол.

Слишком набитый черным порохом, древ-

[23] notes: 23

Кромвель (1599–1658) — лорд-протектор Англии, глава революционеров, которые вели борьбу с Карлом I. — Круглоголовыми вначале называли (презрительно) лондонское простонародье (по прическе «в кружок»), поддерживавшее «долгий» парламент в борьбе с Карлом I. Затем так стали называть политическую партию. Борьба парламента, поддержанная круглоголовыми, закончилась осуждением Карла I на смерть. Казнь его состоялась в 1649 г., и Англия была объявлена «республикой без короля и лордов». Кирос (родился в середине XVI ст., умер в 1614 г.) — известный испанский моряк. В 1596 г. привел обратно на родину эскадру Менданы, потерявшую начальника. Открыл в 1606 г. острова Товарищества и Королевы Шарлотты, или Санта-Крус, достиг Гебрид (острова Св. Духа), провозгласив их собственностью короны Испании. Лаперуз (1741–1788) — знаменитый французский мореплаватель. Погиб, по-видимому, около острова Ваникоро. Несмотря на предпринятые розыски, не удалось установить точно места и

времени его гибели.

[24] notes: 24
Жеребейки — отлитые по калибру пистолета цилиндры вместо пуль.

ний пистолет возымел еще одно действие. Он разорвался в руке Башти. Пока Аора, неведомо откуда извлекший нож, отделял голову белого господина, Башти юмористически глядел на свой указательный палец правой руки, болтавшийся на лоскутке кожи. Он схватил его левой рукой, быстро дернул, перекрутил и оторвал; затем, ухмыляясь, швырнул, как игрушку, в корзинку из пандановых листьев, которую все еще его жена держала перед ним одной рукой, а другой зажимала окровавленный лоб, раненный осколком пистолета.

И одновременно с этим трое молодых рекрутов, сопровождаемые своими отцами и дядьями, спустились в каюту и прикончили единственного матроса судовой команды, находившегося внизу.

Башти, проживший достаточно долго, чтобы сделаться философом, мало обращал внимания на боль, а еще меньше — на потерю пальца. Он гордо чирикал и ухмылялся, довольный удачным завершением своего плана, а его три старые жены, вся жизнь которых зависела от кивка его головы, распростерлись перед ним на полу, раболепно принося свои поздравления. Долго прожили они, и этой долгой жизнью обязаны были лишь его царственной прихоти. Они крив-

лялись, барахтались и лопотали у ног господина жизни и смерти, доказавшего на этот раз, как и всегда, свою бесконечную мудрость.

А тощая, пораженная ужасом девушка, стоя на четвереньках, выглядывала из лазарета, как испуганный кролик из своей норы, и, взирая на эту сцену, знала, что близок кухонный котел и конец жизни.

Глава XII

Джерри никогда не узнал, что произошло на борту «Эренджи». Знал он только, что судно погибло, так как видел его гибель. Мальчик, оглушивший его веслом, крепко связал ему лапы и, выбросив на берег, позабыл о нем, увлеченный ограблением «Эренджи».

С громкими криками и песнями красивую яхту из тикового дерева подтянули длинными пирогами к берегу, как раз к тому месту, где у подножия коралловых стен лежал Джерри. Костры пылали на берегу; на борту зажгли фонари и среди великого ликования ограбили и ободрали «Эренджи». На берег снесли все, что можно было захватить, начиная с железных болванок, служивших балластом, и кончая бегучим такелажем и парусами. В ту ночь в Сомо не спал ни один человек. Даже самые крохотные ребятишки топтались вокруг пиршественных костров или, сытые по горло, валялись на песке. В два часа ночи, по приказанию Башти, корпус судна был подожжен. И Джерри, томясь от жажды, уже не имея сил, чтобы визжать, беспомощно лежал со связанными ногами на боку и видел, как был

охвачен огнем и дымом тот плавучий мир, который он так недавно узнал.

При свете горевшего судна старый Башти разделил добычу. Никто из всего племени не был обойден. Даже жалкие рабы, бывшие жители лесов, за все время своего рабства трепетавшие от страха быть съеденными, получили по глиняной трубке и по несколько пачек табаку. Большую часть товаров, не подлежавшую дележу, Башти отправил в свой большой травяной дом. Вся оснастка и богатое оборудование кеча было сложено в нескольких сараях для пирог. А в дьявольских домах шаманы принялись за работу, высушивая многочисленные головы над тлеющими кострами; а голов было много, так как на борту «Эренджи», помимо судовой команды, находилась дюжина рабочих из Ноола и несколько парней из Малу, которых Ван Хорн еще не доставил на родину.

Однако не все они были убиты. Башти категорически запретил поголовное избиение. Но руководствовался он при этом не гуманностью, а тонким расчетом. Обречены они были все, но Башти никогда не видел льда, не знал о его существовании и не был знаком с холодильниками. Он знал лишь один способ сохранить мясо

свежим, а именно — хранить его живым. И пленники были сложены в самом большом сарае для пирог, где помещался «мужской дом» и куда под страхом мучительной смерти не смела войти ни одна мэри.

Связанных, как кур или свиней, их свалили на утрамбованный земляной пол, под которым на незначительной глубине лежали останки древнейших вождей, а над головой, обернутые в травяные циновки, висели предшественники Башти, включая и его отца.

Сюда же принесли из лазарета и тощую маленькую мэри, так как она была предназначена для съедения, а табу не распространялось на приговоренных к кухонному котлу. Ее бросили связанной на пол среди чернокожих, которые, бывало, так насмехались над ней и дразнили, уверяя, что Ван Хорн откармливает ее для кухонного котла.

В этот же дом принесли и Джерри и бросили его на пол. Анго, глава дьявольских лекарей, наткнулся на него на берегу и, несмотря на протесты мальчика, требовавшего его как свою личную добычу, приказал отнести в сарай для пирог. Когда его проносили мимо пиршественных костров, он нюхом почуял, что это за пиршественные блюда. И, как ни ново было для него это открытие, он

ощетинился, зарычал и попробовал освободиться от пут. Когда же его бросили на пол, он снова ощетинился и зарычал на своих товарищей по несчастью, не понимая, что и они попали в беду. Поскольку на негров его приучили смотреть как на вечных врагов, то и теперь он считал их ответственными за несчастье, постигшее «Эренджи» и шкипера.

Ведь Джерри был только собакой, с собачьим ограниченным умом и к тому же очень молодой. Но он недолго рычал на пленников. Смутный инстинкт подсказал ему, что и они тоже несчастны. Некоторые были тяжело ранены и все время охали и стонали. Не отдавая себе в том отчета, Джерри тем не менее почуял, что их положение так же тягостно, как и его. А ему и в самом деле пришлось скверно. Он лежал на боку, а веревки так туго стягивали его лапы, что врезались в нежное тело и замедляли кровообращение. И он изнывал от жажды и с пересохшим языком и горлом задыхался в жаре.

Жутким местом был этот дом для пирог, наполненный стонами и вздохами: трупы под полом; создания, обреченные в скором времени стать трупами, на полу; трупы, висящие в воздушных гробах, над головой. Длинные черные пироги,

остроносые, напоминающие хищных чудовищ с огромными клювами, смутно вырисовывались при свете тлеющего костра, у которого сидел древний старик племени Сомо за своей нескончаемой работой — прокапчиванием дымом головы дикаря. Высохший, слепой и дряхлый, лопоча и кривляясь, как большая обезьяна, он то и дело поворачивал во все стороны голову, подвешенную в едком дыму, и горсть за горстью подбрасывал гнилую труху в тлеющий костер.

При редких вспышках тусклого костра, сквозь темные поперечные балки проглядывал конек крыши, покрытый циновкой из кокосовых волокон. Когда-то эти волокна были двух цветов — черного и белого, но от дыма приняли почти однотонную грязновато-коричневую окраску. С поперечных балок на длинных крученых веревках свешивались головы врагов, захваченных во время столкновений в джунглях и морских набегов. Все помещение дышало гниением и смертью, и сам слабоумный старик, охваченный параличом и прокапчивающий в дыму символ смерти, был на краю могилы.

Перед рассветом несколько десятков чернокожих с громкими криками приволокли одну из больших военных пирог. Руками и ногами они

расчистили место для пироги, расталкивая и отбрасывая в сторону связанных пленников. Они отнюдь не деликатничали с мясом, дарованным им благосклонной судьбой и мудростью Башти.

Потом они расселись вокруг, потягивая глиняные трубки, и, чирикая и смеясь странным тонким фальцетом, стали перебирать события прошедшего дня и ночи. Время от времени то один, то другой растягивался и тут же засыпал, ничем не прикрывшись, так как от рождения они привыкли спать нагими даже под палящими лучами солнца.

Когда стало рассветать, не спали только тяжело раненные или слишком туго связанные веревками да дряхлый старик, который все же был моложе Башти. Когда мальчик, оглушивший Джерри лопастью весла и предъявлявший на него свои права, прокрался в дом, старик его не услышал. И не увидел, потому что был слеп. Он продолжал, безумно хихикая и бормоча что-то, поворачивать голову, коптившуюся в дыму, и подбрасывать труху в тлеющий костер. Никто не обязан был трудиться над этим ночью, даже он, ни на что иное не способный. Но возбуждение, царившее после захвата «Эренджи», передалось и его поврежденному мозгу; смутно вспомни-

лась ему былая сила и торжествующая жизнь, и он принял участие в триумфе Сомо, занявшись копчением головы, которая являлась символом этого триумфа.

Но двенадцатилетний мальчик, прокравшийся в дом, осторожно шагал через спящих и пробивал себе дорогу среди пленных, замирая от страха. Он знал, какое табу нарушает. Он не дорос даже до того, чтобы покинуть травяной кров своего отца и спать с юношами в доме для пирог, не говоря уже о доме, где спали молодые холостяки. И теперь, вторгшись в священную обитель вполне созревших и признанных взрослыми мужчин Сомо, он знал, что рискует своей жизнью, со всеми ее смутно ощущаемыми тайнами и стремлениями.

Но он хотел во что бы то ни стало добыть Джерри и добыл-таки его. Только тощая маленькая мэри, предназначенная для кухонного котла, вытаращив от ужаса глаза, видела, как мальчик схватил Джерри за связанные лапы и вынес его из этой кладовой живого мяса. Героическое смелое сердечко Джерри заставило бы его огрызнуться на такое грубое обращение, если бы он не был слишком истощен: из пересохшей глотки не вырывалось ни единого звука. В каком-то полукошмаре, жалкий, беспомощный, почти

без сознания, он смутно ощущал, словно между двумя страшными сновидениями, что его тащат головой вниз из дома, где пахнет смертью, проносят через затихшую деревню и несут вверх по тропинке, осененной высокими ветвистыми деревьями, лениво шелестящими под первым дыханием утреннего ветерка.

Глава XIII

Как узнал впоследствии Джерри, мальчика звали Ламаи, и он нес щенка к себе домой. Незавидный был этот дом, даже по сравнению с травяными хижинами каннибалов. На земляном полу, плотно утрамбованном многолетней грязью, жили отец и мать Ламаи с потомством, состоявшим из четырех младших его братьев и сестер. Тростниковая крыша, протекавшая при сильном ливне, еле держалась. Стены еще сильнее пропускали дождь. Дом Лумаи, отца Ламаи, был самым жалким жилищем во всем Сомо.

Лумаи, хозяин дома и глава семьи, в отличие от большинства малаитян, был толст. И, должно быть, этой тучностью и объяснялись его добродушие и леность. Но жужжащей мухой в эту радостную безответственность врывалась его жена Ленеренго — самая сварливая женщина во всем Сомо, настолько же тощая, насколько ее супруг был шарообразен; язык был столь остер у нее, сколь сладкоречив у него; ее кипучая энергия служила противовесом его бесконечной лени; и от рождения мир казался ей пропитанным горечью, тогда как он ощущал лишь его сладость.

Мальчик обошел дом, по дороге заглянул внутрь, где его отец и мать возлежали в противоположных углах, ничем не прикрытые, а посредине, на полу, свернувшись в клубок, как выводок щенят, спали его голые братья и сестры. Вокруг дома, который, по правде сказать, сильно смахивал на звериную берлогу, был рай земной. Воздух был пряный, напоенный сладким благоуханием диких ароматных растений и великолепных тропических цветов. Над головой три хлебных дерева переплетали благородные ветви. Бананы и смоковницы были отягощены гроздьями зреющих плодов. А огромные золотистые дыни-папайя, уже созревшие, свешивались с тонкоствольных деревьев, диаметр которых не достигал и одной десятой диаметра росших на них плодов. Но для Джерри самым восхитительным показалось журчание и плеск незримого ручейка, пробивающего себе путь среди мшистых камней, под прикрытием нежных и изящных папоротников. Ни одна королевская оранжерея не могла сравниться с этой дикой тропической растительностью, залитой солнцем.

Обезумевший от журчания воды, Джерри должен был выносить объятия и ласки мальчика; тот присел перед ним на корточки и, раскачиваясь

взад и вперед, затянул странную, мурлыкающую песенку. А Джерри, не наделенный даром речи, не мог рассказать ему о своей невыносимой жажде.

Затем Ламаи крепко привязал его плетеной веревкой и снял путы, врезавшиеся в его лапы. От неправильного кровообращения у Джерри онемели все члены, а, не прикасаясь к воде почти целый тропический день и всю ночь, он так ослабел, что, поднявшись на ноги, зашатался и упал и при каждой попытке встать шатался и падал. Тут Ламаи понял или догадался. Он схватил кокосовую плошку, прикрепленную к концу бамбуковой палки, погрузил ее в заросль папоротников и подставил ее Джерри, наполненную до краев драгоценной водой.

Сначала Джерри пил, лежа на боку; потом, вместе с влагой жизнь влилась в его иссохшие сосуды, и вскоре он смог подняться на ноги, все еще слабый и дрожащий, и, широко расставив лапы, продолжал лакать. Мальчик весело чирикал, любуясь этим зрелищем, а Джерри, почувствовав в себе достаточно бодрости, смог заговорить на красноречивом собачьем языке. Он высунул нос из плошки и розовым языком, похожим на кусок ленты, лизнул руку Ламаи. А Ламаи, в восторге от того, что они поняли друг друга, подсунул плош-

ку, и Джерри снова стал пить.

Он пил долго. Он пил до тех пор, пока его впавшие от зноя бока не раздулись, как шар, а в промежутках между питьем он в знак благодарности лизал черную руку Ламаи. Все шло хорошо, и так бы и продолжалось, если бы не проснулась мать Ламаи — Ленеренго. Переступив через свой черный выводок, она подняла пронзительный крик, укоряя своего первенца за то, что он привел в дом лишний рот и тем заставит ее хлопотать по хозяйству еще больше.

Затем последовала перебранка, из которой Джерри не понял ни слова, но смысл уяснил. Ламаи был с ним и за него. Мать Ламаи была против него. Она визгливо выражала свое глубочайшее убеждение, что сын ее — дурак и даже хуже дурака, так как дурак — и тот посочувствует матери, обремененной трудом. Тут она стала взывать к спавшему Лумаи; тот проснулся, грязный и жирный, и забормотал ласковые слова на диалекте Сомо в том смысле, что это прекраснейший мир, что все щенки и первенцы — восхитительные создания, что сам он еще ни разу не умирал с голоду, а спокойствие и сон — прекраснейшие вещи, когда-либо выпадавшие на долю смертного; и в подтверждение этого, возвращаясь к

мирному спокойствию сна, он уткнулся носом в бицепс руки, служившей ему подушкой, и сразу же захрапел.

Но Ламаи, упрямый как пень, злобно топая ногами и прекрасно зная, что путь к отступлению открыт и он сможет удрать, если мать на него накинется, продолжал отстаивать щенка. Кончилось тем, что, многословно изобразив ничтожество отца Ламаи, Ленеренго снова улеглась спать.

Одна идея порождает другую. Ламаи узнал, как ненасытна была жажда Джерри, и это навело его на мысль, что, быть может, Джерри в не меньшей мере голоден. Подбросив сухие ветви на тлеющие угли, оставшиеся в золе, он развел большой костер, затем навалил на него камней из ближайшей кучи; все камни были закопчены, так как не раз служили для этой цели. Потом он достал из воды ручейка плетеный мешок и вынул из него жирного лесного голубя, которого накануне поймал в силок. Голубя он завернул в листья и, оградив от огня камнями, засыпал сверху землей.

Когда, спустя некоторое время, он вытащил голубя и снял обуглившиеся листья, распространился такой аппетитный запах, что Джерри

навострил уши и ноздри у него затрепетали. Мальчик разодрал на части дымящуюся птицу, и началось пиршество Джерри, а продолжалось оно до тех пор, пока последний лоскуток мяса не был содран с кости, а самые кости разгрызены и проглочены. И в продолжение всего пиршества Ламаи ухаживал за Джерри, мурлыкал свою песенку, гладил и ласкал его.

Что же касается Джерри, то он, утолив голод и жажду, уже не столь сердечно отвечал на эти ласки. Он был только вежлив и в ответ на ласку, поблескивая глазами, вилял хвостом и, по своему обыкновению, извивался всем телом; но в этом проглядывало какое-то беспокойство, он то и дело прислушивался к отдельным звукам и страстно хотел удрать. Это не укрылось от мальчика, и, перед тем как улечься спать, он обвязал вокруг шеи Джерри веревку, а конец ее привязал к дереву.

Джерри некоторое время натягивал веревку, а потом сдался и заснул. Но ненадолго. Слишком томила его мысль о шкипере. Он знал — и в то же время не знал, — что шкипера постигло непоправимое высшее несчастье. Сначала он тихонько визжал и скулил, а затем вонзил свои острые зубы в плетеную веревку и жевал ее до тех пор, пока она не перетерлась.

Освободившись, Джерри, как голубь, возвращающийся домой, понесся стрелой прямо к берегу и морю, по которому плавал «Эренджи» со шкипером. Из Сомо почти все разбрелись, а те, кто остался, спали сладким сном. Поэтому никто не досаждал Джерри, пока он пробегал по извилистым тропинкам между многочисленными домами и мимо зловещего места тотемической геральдики[25], где люди, высеченные из цельного куска дерева, сидели в разинутой пасти акул. Племя Сомо, со времен своего основателя Сомо, поклонялось богу-акуле и прочим океанским божествам, так же как богам лесов, болот и гор.

Свернув направо, Джерри миновал коралловую стену и спустился на берег. Но «Эренджи» не было видно на гладкой поверхности лагуны. Повсюду валялись остатки пиршества, и Джерри почуял дым угасающих костров и запах паленого мяса. Многие из пировавших не потрудились вернуться в свои дома, растянулись на песке и спали под лучами утреннего солнца; мужчины, женщины, дети и целые семьи лежали там, где их настиг сон.

Джерри подошел к самому краю воды и сел,

---

[25] notes: 25

Тотемизм — почитание животных. Геральдика — учение о гербах, их разъяснении, составлении и пр.

опустив передние лапы в воду. Сердце его разрывалось от тоски по шкиперу. Он поднял морду к небу и горестно завыл, как воют все собаки с тех пор, как пришли из диких лесов к людским кострам.

Здесь и нашел его Ламаи, прижал к своей груди, чтобы лаской утешить его горе, и отнес назад, к травяной хижине у ручья. Он предложил ему воды, но Джерри не мог больше пить. Он предложил ему свою любовь, но Джерри не мог забыть мучительную тоску по шкиперу. Наконец, раздраженный упорством щенка, мальчик забыл о своей любви, ударил Джерри по голове и привязал его так, как очень немногие белые люди когда-либо привязывали своих собак. Ведь Ламаи был своего рода гением. Он никогда не видел, чтобы так привязывали собак, но теперь, в минуту нужды, сам изобрел способ привязывать Джерри при помощи палки. Палка была из бамбука, длиной в четыре фута. Один конец он привязал к самой шее Джерри, а другой — к дереву. Джерри мог достать зубами только палку, а сухой бамбук сможет противостоять зубам любой собаки.

Глава XIV

Много дней Джерри, привязанный к палке, был пленником Ламаи. Это время нельзя было назвать счастливым, так как в доме Лумаи постоянно происходили ссоры и стычки. Ламаи ожесточенно сражался со своими братьями, сестрами, не давая им дразнить Джерри, и эти битвы неизменно завершались вмешательством Ленеренго, беспристрастно наделявшей колотушками все свое потомство.

После этого она, по привычке и по принципу, начинала сводить счеты с Лумаи, который всегда кротко подавал голос за тишину и спокойствие, а по окончании спора скрывался на пару дней в дом для пирог. Тут Ленеренго была бессильна. В «мужской дом» не смела проникнуть ни одна мэри. Ленеренго не могла забыть судьбу той последней мэри, которая нарушила табу. Это случилось много лет тому назад, когда сама она была девочкой, но в ее мозгу на всю жизнь запечатлелось воспоминание о несчастной женщине. В первый день она висела, подвешенная за одну руку, под палящими лучами солнца; на второй день ее подвесили за другую руку. После этого она

была съедена членами «мужского дома», и еще долго-долго спустя все были необычайно кротки со своими мужьями.

Джерри чувствовал привязанность к Ламаи, но не было в этом ни силы, ни страсти. Это чувство проистекало скорее из благодарности, так как только один Ламаи заботился о том, чтобы он получал пищу и питье. Джерри не мог относиться к мальчику так, как относился к шкиперу и мистеру Хаггину, или даже к Дерби и Бобу. Ламаи был низшим человеческим существом — негром, а в Джерри в течение всей его недолгой жизни внедряли закон, гласивший, что белые люди — высшие двуногие боги.

Однако он не преминул заметить, что и негры наделены разумом и могуществом. Он это принял, не рассуждая. У них была власть над другими предметами, они могли метать палки и камни и даже сумели превратить его в пленника, привязав к палке, делавшей его беспомощным. Все же они были своего рода богами, хотя, быть может, и ниже белых богов.

Первый раз в жизни Джерри был на привязи, и ему это не понравилось. Тщетно портил он себе зубы, начавшие уже расшатываться под давлением вторых зубов, росших на смену. Палку он

так и не мог осилить. Хотя шкипера он не забыл, но горечь утраты с течением времени потеряла свою остроту, и, наконец, над всеми его мыслями восторжествовало желание быть свободным.

Но, когда настал день освобождения, Джерри не сумел воспользоваться этим и не удрал к берегу. Случилось так, что освободила его Ленеренго. Сделала она это умышленно, желая от него избавиться. Но когда она его отвязала, Джерри замешкался и в знак благодарности повилял ей хвостом, улыбаясь своими светло-карими глазами. Она топнула ногой и сердито закричала, чтобы его прогнать. Этого Джерри не понял; а так как страха он не знал, то его нельзя было спугнуть и заставить удрать. Он перестал вилять хвостом и продолжал на нее смотреть, но его глаза уже не улыбались. Ее поведение он счел недружелюбным и сейчас же насторожился, приготовившись к дальнейшим враждебным действиям с ее стороны.

Она снова крикнула и топнула ногой. Это только заставило Джерри сосредоточить свое внимание на ее ногах. Тут она окончательно разозлилась, попыталась ударить его ногой, а Джерри, уклонившись от удара, куснул ее за лодыжку.

Немедленно разгорелась война, и весьма ве-

роятно, что Ленеренго в бешенстве убила бы Джерри, не появись на сцену Ламаи. Увидев палку, отвязанную от шеи Джерри, он понял, в чем дело, и, рассвирепев, прыгнул между сражающимися и отразил удар, нанесенный каменным пестиком, который легко мог размозжить голову Джерри.

Теперь серьезной опасности подвергался Ламаи. Но когда мать свалила его на землю ударом кулака по голове, бедный Лумаи, разбуженный суматохой, проснулся и попытался восстановить мир. Ленеренго, по обыкновению, забыла все на свете, с наслаждением отдавшись препирательствам со своим супругом.

Дело закончилось довольно безобидно: дети перестали реветь, Ламаи снова привязал Джерри к палке. Ленеренго договорилась до одышки, а оскорбленный в своих чувствах Лумаи удалился в «мужской дом», где мужчины могли почивать в мире и где не докучали никакие мэри.

В тот вечер, в кругу товарищей, Лумаи рассказал о своих злоключениях и поведал причину их, заключавшуюся в щенке, прибывшем с «Эренджи». Случилось так, что рассказ его услыхал Агно, главарь шаманов, или верховный жрец, а услыхав, вспомнил, как он отправил Джерри в

дом для пирог вместе с остальными пленными. Полчаса спустя он уже допрашивал Ламаи. Вне всякого сомнения, мальчик нарушил табу, что Агно и сообщил ему конфиденциально. Тут Ламаи задрожал, заплакал и униженно припал к его ногам, так как наказанием за это была смерть.

Агно представился слишком хороший случай получить власть над мальчиком, и он этот случай упустить не захотел. От убитого мальчика нечего ждать пользы, но мальчик живой, чью жизнь он держал в своих руках, мог сослужить ему хорошую службу. О нарушенном табу никто, кроме него, не знал; следовательно, он мог сохранить это в тайне. Итак, он приказал Ламаи отныне жить в доме для пирог, отведенном юношам; здесь должно было начаться его ученичество; и, пройдя длинный ряд испытаний и церемоний, он мог вступить в «мужской дом» и стать наполовину признанным мужчиной.

Утром, повинуясь приказанию шамана, Ленеренго связала ноги Джерри; дело обошлось не без борьбы, во время которой порядком пострадала его голова, а у нее руки покрылись царапинами. Затем она понесла его вниз, через деревню, чтобы сдать Агно. Дойдя до открытой площадки в центре деревни, где стояли тотемы, она положила

его на землю, а сама приняла участие в народном увеселении.

Старый Башти был не только суровым, но и исключительным законодателем. Этот день он предназначил для того, чтобы наложить наказание на двух сварливых женщин, проучить всех остальных женщин и дать возможность подданным еще раз оценить достоинства своего правителя. Тиха и Вивау, коренастые, толстые молодые женщины, давно уже были посмешищем всей деревни из-за своих нескончаемых ссор. Башти приказал им участвовать в беге. Но что это был за бег! Можно было лопнуть со смеху. Мужчины, женщины и дети, взирая на эту сцену, выли от восторга. Даже пожилые матроны и седобородые старцы, одной ногой стоявшие в могиле, радостно визжали.

Путь с полмили лежал через всю деревню, от того места, где был сожжен «Эренджи», и до другого конца коралловой стены. Тиха и Вивау должны были пробежать туда и обратно, причем поочередно одна должна подгонять другую, а та, другая, вынуждена была развивать бешеную скорость.

Только Башти мог придумать подобное зрелище. Тихе дали два круглых коралловых камня,

весом в добрых сорок фунтов каждый. Она вынуждена была плотно прижимать их к бокам, чтобы они не покатились на землю. За ней Башти поставил Вивау, которая была вооружена легким и длинным бамбуковым шестом, утыканным на одном конце щетиной из бамбуковых щепок. Щепки были остры, как иглы: ими и пользовались как иглами при татуировке. Этим шестом, усаженным иглами, Вивау должна подгонять Тиху — так же, как люди бодилом подгоняют волов. Серьезных повреждений причинить было нельзя, а лишь сильную боль, но этого-то именно и добивался Башти.

Вивау колола бодилом, а Тиха спотыкалась и шаталась, пытаясь развить скорость. Когда они добегут до дальнего берега, положение переменится — Вивау будет нести камни, а Тиха — колоть бодилом. Вивау знала, что Тиха постарается вернуть ей с процентами полученные уколы, а потому изощрялась, насколько позволяли ей силы. Пот каплями стекал по лицу обеих. У каждой были в толпе свои сторонники, встречающие каждый укол ободрением либо насмешками.

Как ни смехотворно было это наказание, но за ним лежал железный закон дикарей. Камни нужно было нести на протяжении всего пути. Та, кто

колола, должна была действовать быстро и рьяно. Но той, которая бежала с камнями, воспрещалось терять терпение и колотить свою мучительницу. Башти своевременно предупредил, что виновная в нарушении этих правил будет выставлена во время отлива на коралловом рифе на съедение акулам.

Когда состязающиеся поравнялись с Башти и его первым министром Аорой, они удвоили свои усилия. Вивау колола с энтузиазмом, Тиха при каждом уколе подпрыгивала, подвергаясь опасности уронить камни. За ними по пятам, улюлюкая и визжа, неслись деревенские ребята и собаки.

— Долго тебе не придется сидеть в пироге, Тиха, — крикнул Аора жертве, а Башти снова разразился кудахтающим смехом.

Получив особенно чувствительный укол, Тиха уронила камень и была основательно исколота, пока опускалась на колени и подбирала его одной рукой. Поднявшись на ноги, она заковыляла дальше.

Один раз, возмущенная невыносимой болью, она решительно остановилась и обратилась к своей мучительнице.

— Мой много-много сердит на тебя, — крикнула

она Вивау, — подожди скоро…

Но она так и не закончила своей угрозы. Новый укол заставил рысцой пуститься вперед.

Крик ребятишек стал затихать, когда эта пара приблизилась к берегу, но вскоре опять усилился. Женщины возвращались. На этот раз Вивау пыхтела под тяжестью коралловых камней, а Тиха, озлобленная перенесенными страданиями, пыталась расквитаться с лихвой.

Поравнявшись с Башти, Вивау уронила один из камней, стараясь поднять его, выронила и другой, который откатился на двенадцать футов в сторону от первого. Тут Тиха превратилась в мстительную фурию, и весь Сомо обезумел. Башти хохотал, держась за тощие бока, а слезы сбегали по его морщинистым щекам.

А когда все было кончено, Башти обратился к своему народу:

— Так будут драться все женщины, которые любят ссоры.

Но сказал он это не совсем так и не на языке Сомо, а на морском жаргоне. Вот как сложилась у него фраза:

— Всякая мэри любит сражаться — всякая мэри в Сомо будет сражаться так.

Глава XV

По окончании пробега Башти завел разговор со своими старшинами, среди которых был и Агно; а Ленеренго, в свою очередь, заболталась со старыми кумушками. Джерри лежал на боку там, где она его забыла, когда к нему подошла дикая собака, которую он выслеживал на борту «Эренджи». Сначала она издали потянула носом, готовая в любой момент обратиться в бегство, затем осторожно подошла ближе. Джерри горящими глазами следил за ней. Как только дикая собака ткнулась в него носом, он предостерегающе зарычал. Та отскочила назад, повернулась и стремительно отлетела на пару десятков шагов, пока не убедилась, что ее не преследуют.

Тогда она осторожно вернулась назад и кралась, словно выслеживала дичь, так низко припадая к земле, что почти касалась ее брюхом. Лапы она переставляла с гибкой мягкостью кошки и время от времени озиралась по сторонам, словно опасалась атаки с фланга. Громкий взрыв хохота мальчишек, донесшийся издали, заставил ее съежиться, впиться когтями в землю и напрячь все мускулы для прыжка, хотя она и не знала, угро-

жает ли ей опасность и с какой стороны. Затем она как будто убедилась, что вреда этот шум не причинит, и снова стала, крадучись, подбираться к ирландскому терьеру.

Неизвестно, чем кончилось бы дело, ибо в этот момент взгляд Башти случайно упал на золотистого щенка — впервые со дня захвата «Эренджи». Увлеченный событиями, Башти забыл о щенке.

— Это что за собака? — крикнул он резко, заставив дикого пса припасть к земле. Крик привлек внимание Ленеренго.

Она в страхе распростерлась у ног грозного старого вождя и дрожащим голосом рассказала, как обстоит дело. Ее никудышный мальчишка Ламаи вытащил собаку из воды. В доме собака послужила причиной многих ссор. Но теперь Ламаи переселился к юношам, а собаку она несет в дом Агно, повинуясь приказанию самого Агно.

— Зачем тебе собака? — обратился Башти непосредственно к Агно.

— Я ее кай-кай, — последовал ответ. — Жирная собака. Хорошую жирную собаку хорошо кай-кай.

Проницательному старому Башти пришла мысль, давно уже назревшая в его мозгу.

— Хорошая собака, — заявил он. — Ты съешь

лесную собаку, — посоветовал он, показывая на дикого пса.

Агно покачал головой.

— Лесную собаку невкусно кай-кай.

— Лесная собака — собака не такая хорошая, — вынес свое суждение Башти. — Лесная собака слишком труслива. Все лесные собаки трусливы. Собака белого господина ничего не боится. Лесная собака не дерется. Собака белого господина дерется, как черт. Лесная собака удирает, как черт. Смотри и увидишь!

Башти подошел к Джерри и перерезал веревки, стягивавшие ему ноги. А Джерри моментально вскочил и впопыхах не стал тратить время на изъявление благодарности. Он кинулся к дикой собаке, настиг ее на лету и несколько раз перекувырнул в облаке пыли. Всякий раз, когда дикая собака пыталась удрать, Джерри ее настигал, перевертывая и кусал, а Башти надрывался от хохота и лопотал своим старшинам, призывая их смотреть на подвиг Джерри.

А Джерри превратился в маленького беснующегося чертенка. Воспламененный воспоминаниями обо всех нанесенных ему обидах, начиная с кровавого дня на «Эренджи» и потери шкипера и кончая последней обидой — связанными ногами,

он вымещал все на дикой собаке. Собственник дикой собаки — чернокожий, вернувшийся с плантации, по недомыслию, попробовал отогнать Джерри. Тот моментально на него набросился, царапнул ему зубами икры и, попав между ног чернокожего, повалил его на землю.

— Как звать? — в бешенстве крикнул Башти обидчику, который, пораженный ужасом, лежал там, где упал, и в страхе ждал, какие еще слова сорвутся с уст его вождя.

Но Башти уже валился от хохота, глядя, как дикий пес улепетывает во всю прыть вниз по улице, а Джерри, вздымая пыль, несется за ним на расстоянии сотни шагов.

Когда собаки скрылись из виду, Башти изложил свою мысль. Если люди сажают банановые деревья, они получают бананы. Если они посадят ямс, — вырастет ямс, не сладкий картофель или смоковницы, а ямс — и только ямс. Так же обстоит дело и с собаками. Если все собаки чернокожих трусливы, то и все потомство этих собак будет трусливым. Собаки белых людей — смелые бойцы. Размножаясь, они дают смелых бойцов. Отлично, а вывод отсюда таков: в их руках собака белого человека — было бы очень глупо съесть ее и тем уничтожить присущую ей храбрость.

Мудрость требует считать ее племенной собакой и сохранить ей жизнь, чтобы в грядущих поколениях собак Сомо храбрость ее повторялась снова и снова до тех пор, пока все собаки Сомо не станут сильными и храбрыми.

Затем Башти приказал старшине своих шаманов взять на себя заботу о Джерри и хорошенько за ним смотреть. Затем он повелел уведомить все племя, что Джерри — табу. Ни один мужчина, женщина или ребенок не может бросать в него копьем или камнем, бить его дубинкой или томагавком и причинять ему какой-либо вред.

С того дня и до тех пор, пока Джерри сам не нарушил одного из величайших табу, для него наступила счастливая пора в мрачной травяной хижине Агно, ибо Башти, в отличие от большинства вождей, железной рукой управлял своими шаманами. Другие вожди, даже Нау-Хау из Ланга-Ланга, повиновались шаманам. Потому-то население Сомо считало, что и Башти находился в таком же положении. Но народ в Сомо не знал, что происходило за кулисами, когда Башти, подлинный безбожник, разговаривал один на один со своими знахарями и жрецами.

В этих частных беседах он заявил, что знает их игру не хуже, чем они сами, и отнюдь не явля-

ется рабом темных суеверий и грубых обманов, с помощью которых они держат народ в повиновении. Затем он выдвинул теорию, такую же древнюю, как сами жрецы и правители, что для правильного управления народом и те и другие должны работать совместно. Пусть народ верит, что богам и жрецам — глашатаям богов — принадлежит последнее слово; но он заставит-де жрецов признать последнее слово за ним — Башти. И в конце концов он заявил им, что как ни мало верят они в свои собственные плутни, он верит в них еще меньше.

Он знал табу и истину, скрывавшуюся за табу. Он объяснял свои личные табу и их происхождение. Агно он объявил, что никогда он — Башти — не должен есть моллюсков. Так решил он сам, ибо моллюски ему не нравились. Старый Нино, верховный жрец, предшественник Агно, вняв гласу бога-акулы, наложил на него это табу. Но в действительности верховный жрец исполнял тайное повеление Башти.

Кроме того, все жрецы были его ставленниками, ибо он жил дольше самого старейшего из них. Он знал их всех, всех возвел в этот сан, сделал тем, чем они были, и они зависели от его милостей. И жрецы должны были принимать его програм-

му, как делали это всегда; иначе их постиг бы быстрый и неожиданный конец. Ему следовало лишь напомнить им о кончине Кори, шамана, который считал себя сильнее своего вождя и по собственной вине вопил от боли целую неделю, пока не затих навсегда.

В большом травяном доме Агно было мало света и много таинственности, но для Джерри тайн не существовало; он или знал вещи или их не знал и никогда не беспокоился о том, чего не знал. Засушенные головы и прочие прокопченные и заплесневелые части человеческих трупов производили на него не больше впечатления, чем засушенные аллигаторы и рыбы, украшавшие мрачное жилище Агно.

Джерри нашел здесь хороший уход. В доме шамана не толпились ни жены, ни дети. Несколько старух, одиннадцатилетняя девочка, отмахивавшая мух, и два молодых человека, прошедшие юношеское обучение в доме для пирог и теперь, под руководством учителя, знакомившиеся со жреческим искусством, составляли домашний штат и ухаживали за Джерри. Пищу он получал самую изысканную. После Агно, съедавшего первый кусок свиньи, еда подавалась Джерри. Даже

два аколита[26] и девочка, отмахивавшая мух, ели после него, а остатки отдавались старухам. И в отличие от обыкновенных лесных собак, которые в дождь украдкой прятались под навес, Джерри отвели сухое местечко под крышей, где с потолка свешивались сухие головы лесных жителей и забытых торговцев сандаловым деревом. Тут же висели покрытые пылью сухие внутренности акул и скелеты крыс длиною вместе с хвостом в две трети ярда.

Не раз Джерри, пользовавшийся неограниченной свободой, пробирался через всю деревню к дому Ламаи. Но он так и не нашел Ламаи, который со времени потери шкипера был единственным человеком, завоевавшим симпатии Джерри. Открыто Джерри не показывался ни разу; прячась в густом папоротнике на берегу ручья, он следил за домом и принюхивался к его обитателям. Однако запаха Ламаи уловить он не мог и спустя некоторое время отказался от своих посещений и признал дом шамана своим домом, а самого шамана — своим господином.

При этом никакой любви к этому господину он не питал. Агно, столько лет в страхе державший

---

[26] notes: 26
Прислужники у алтаря.

свой таинственный дом, любви не знал, как не знал он и привязанности и жизнерадостности. Юмора он не понимал и был холодно бесчувствен, как ледяная сосулька. По могуществу он занимал второе место, первое уступая Башти, и вся его жизнь была омрачена сознанием, что не он — первый. К Джерри он никаких чувств не питал, но, боясь Башти, боялся повредить Джерри.

Проходили месяцы, и у Джерри появились крепкие, массивные вторые зубы. Он вырос и прибавил в весе. Он был избалован, насколько может избаловаться собака. Под защитой табу он быстро научился властвовать над населением Сомо и во всем поступать по-своему. Никто не смел останавливать его палкой или камнем. Агно его ненавидел, он это знал, но пронюхал и то, что Агно его боится и не посмеет тронуть. Но Агно был хладнокровным философом и выжидал; в отличие от Джерри, он обладал человеческой способностью предвидения и умел сообразовать свои действия с достижением определенной цели в будущем.

Джерри бродил по всем владениям Башти, от пограничных лесных деревень до края лагуны, в воды которой он никогда не рисковал спуститься, помня крокодилов и табу, усвоенное им еще

в Мериндже. Все перед ним расступались. Все кормили его, когда он требовал пищи. Ибо табу лежало на нем, и он мог, не встречая противоречий, вторгаться на их циновки для спанья или совать нос в плошки с едой. Он мог драться, сколько ему было угодно, держаться заносчиво, нарушая всякие правила приличия, и никто не смел ему прекословить. Башти распорядился даже, чтобы в случае нападения на Джерри взрослых лесных собак народ Сомо принимал его сторону, а лесных собак прогонял камнями и палками. Таким образом, его собственные четвероногие двоюродные братья на горьком опыте узнали, что на нем лежит табу.

И Джерри блаженствовал. Он легко мог разжиреть до отупения, если бы не его неутомимое любопытство и сильно натянутые нервы. Пользуясь свободой во всем Сомо, он вечно его исследовал, изучая границы и межи, знакомился с обычаями диких существ, обитавших в лесах и на болотах и не признававших лежавшего на Джерри табу.

Много случалось с ним приключений. Он выдержал две битвы с лесными крысами, почти не уступавшими ему по величине. Эти дикие крысы, попав в безвыходное положение, сражались так, как с ним еще никто и никогда не

сражался. Первую он убил, не зная, что то была старая и слабая крыса. Вторая, в расцвете сил, так его проучила, что он, больной и обессилевший, приполз в дом лекаря, где и пролежал неделю под сухими эмблемами смерти, зализывая свои раны и медленно возвращаясь к жизни и здоровью.

Он крался к дюгоню[27] и радовался, обращая в бегство это глуповатое, робкое животное неожиданным яростным нападением; хотя он прекрасно знал, что из таких нападений толку не выйдет, его подзадоривала и веселила удавшаяся шутка. Он выгонял тропических уток из их хитро припрятанных гнезд, осторожно бродил среди вылезших подремать на берег крокодилов, пробирался под сводами джунглей и выслеживал белоснежных дерзких какаду, свирепых морских орлов, тяжелокрылых сарычей, райских попугаев и зимородков и болтливых мелких попугаев.

За пределами Сомо он трижды встретил маленьких черных лесных жителей, которые больше походили на призраков, чем на людей, — так бесшумно и незаметно они двигались; они

[27] notes: 27

Дюгонь — морское животное из отряда сирен или травоядных китов класса млекопитающих. Водится в Индийском океане, достигает 5 метров длины. Питается растительной пищей. Любимое местопребывание дюгоня — мелкие заливы, дно которых покрыто травой.

охраняли кабаньи тропы в джунглях и во время этих трех достопамятных встреч промахнулись, метая в него копьем. И лесные крысы, и эти двуногие существа, скрывавшиеся в сумерках джунглей, научили Джерри осторожности. Он не ввязывался с ними в драку, хотя они и пытались пронзить его копьем. Он быстро усвоил, что то был иной народ, не похожий на племя Сомо, и его табу для них ничего не значит. А кроме того, они были своего рода двуногими богами, посылающими смерть, которая доставала дальше, чем простирались их руки.

По деревне Джерри бегал так же свободно, как и по джунглям. Не было для него священных мест. В дома шаманов, где мужчины и женщины в страхе и трепете припадали к земле перед лицом тайны, он входил напряженный, ощетинив шерсть, ибо здесь висели свежие головы, а его зоркий глаз и чуткое обоняние говорили ему, что эти головы некогда принадлежали тем чернокожим, каких он знавал на борту «Эренджи». В самом большом дьявольском доме он наткнулся на голову Боркмана и зарычал на нее, не получая ответа; ему вспомнилась битва, какую он выдержал на палубе «Эренджи» с подвыпившим помощником.

Однажды в доме Башти Джерри случайно уви-

дел все, что осталось на земле от шкипера. Башти жил очень долго, жил в высшей степени мудро, о многом передумал и прекрасно знал, что пережил век, положенный человеку, и жить ему осталось мало. И он интересовался всем этим — смыслом и целью жизни. Он любил мир и жизнь, где так счастливо родился, любил за установленный порядок и то положение, какое ему досталось и вознесло его над жрецами и народом. Смерти он не боялся, но его занимало, будет ли он жить снова. Он перерос глупые воззрения плутоватых жрецов и чувствовал себя очень одиноким в хаосе сбивающей с толку проблемы.

Он жил так долго и так счастливо, что ему приходилось наблюдать, как вянут и исчезают все могучие стремления и желания. Были у него жены и дети, и он знавал острый юношеский голод. Он видел, как его дети вырастали, превращались в мужчин и женщин, становились отцами и дедами, матерями и бабками. Но, познав женщину, любовь, отцовство и чревоугодие, он оставил это за собой. Пища? Вряд ли понимал он ее смысл, так мало он теперь ел. Голод, впивавшийся в него, как шпоры, когда он был молод и здоров, давно уже перестал терзать его и возбуждать. Он ел из чувства необходимости и долга и мало заботился

о том, что ест, за одним только исключением: он любил яйца мегаподов[28]; каждый сезон эти птицы неслись на особом птичьем дворе, который являлся частной собственностью Башти и охранялся строжайшими табу. Вот все, что осталось от чувственных вожделений Башти. Во всем же остальном его жизнь сводилась к работе мысли: он правил своим народом и выискивал данные, откуда можно вывести законы, какие сделают народ сильнее и закрепят его власть над жизнью.

Но Башти отчетливо улавливал разницу между абстрактным понятием «племя» и конкретнейшим из понятий — «индивид». Племя остается. Члены его исчезают. Племя является воспоминанием об истории и привычках всех предшествующих членов, а оставшиеся в живых сохраняют эти привычки, пока сами не исчезнут и не станут историей и воспоминанием в том неосязаемом целом, каковым является племя. И он, как член племени, рано иди поздно, — а «поздно» было уже совсем близко, — должен уйти. Но куда уйти? Вот где возникало затруднение. И случилось так, что однажды он велел удалиться всем из его большого травяного дома и, оставшись наедине

[28] notes: 28

Мегаподы — порода австралийских голенастых птиц с огромными лапами (мегапод — буквально — большеногий).

со своей проблемой, снял с балок под крышей завернутые в циновки головы людей, которых он знал некогда живыми, — людей, ушедших в таинственное «ничто» смерти.

Не как скупец собирал он эти головы и не как скупец, пересчитывающий свои тайные сокровища, всматривался в них, держа их развернутыми в своих руках или положив к себе на колени. Он хотел знать. Хотел знать то, что, казалось ему, могли знать они, давно ушедшие во тьму, окутывавшую конец жизни.

Разнообразны были головы, которые держал в своих руках и на своих коленях Башти, вопрошая их в полумраке травяного дома; а над головой солнце бросало вниз палящие лучи, и юго-восточный ветер вздыхал в листве пальм и в ветвях хлебных деревьев. Была здесь голова одного японца — единственная, какую ему довелось увидеть. Она была снята его отцом еще до рождения Башти. Плохо прокопченная, она местами прогнила от времени, и все же он изучал ее черты и решил, что когда-то были у нее губы, такие же подвижные, как и его собственные, был и рот, звучный и алчный, каким когда-то был и его рот. Были и глаза, и нос, и волосы, и уши такие же, как у него. Некогда принадлежали

голове две ноги и туловище, и знала она желания и вожделения. И он решил, что ведомы ей были вспышки гнева и любви в те времена, когда она еще и не помышляла о смерти.

Сильно занимала Башти одна голова, история которой восходила еще к временам, предшествовавшим его отцу и деду; то была голова француза, хотя Башти этого и не знал. Не знал он и того, что эта голова принадлежала Лаперузу, знаменитому мореплавателю, который сложил свои кости, кости своей команды и останки своих двух фрегатов «Астролябия» и «Буссоль» на берегах каннибальских Соломоновых островов. Другая голова — а Башти был завзятым коллекционером голов — относилась к эпохе за два столетия до Лаперуза — к эпохе испанца Альварро де Мендана. Она принадлежала его оруженосцу и во время берегового столкновения была захвачена одним из отдаленных предков Башти.

Была еще одна голова с туманным прошлым — голова белой женщины. Никто не знал, кому принадлежала эта голова, — жене или спутнице мореплавателя. Но в высохших ушах до сих пор висели золотые с изумрудами серьги, а волосы, в четыре фута длины, — мерцающий шелком золотистый ручей, — струились с черепа, скры-

вавшего то, что было некогда ее разумом и волей и побуждало ее, как рассуждал Башти, в былые времена трепетать от любви в объятиях мужчины.

Обыкновенные головы лесных и приморских жителей и даже белых, опьянявшихся водкой, вроде Боркмана, Башти отдавал в дома для пирог и в жилища шаманов, ибо он был знаток своего дела. Имелась у него одна странная голова немца, сильно его интриговавшая. То была рыжебородая и рыжеволосая голова, но даже высохшие мертвые черты говорили о железной воле, а массивный лоб нашептывал Башти о власти тайн, недоступных его пониманию. Не знал он, что некогда это была голова немецкого профессора, астронома — голова, когда-то вмещавшая в себе глубокое знание звезд в беспредельном небе, морских путей, по каким идут ведомые звездами корабли, и путей земли по ее звездной орбите в пространстве, превышающем в мириады миллионов раз то пространство, какое мог постичь Башти.

Самой последней и острее всего раздражавшей мысль Башти была голова Ван Хорна. Ее-то он и держал на своих коленях и созерцал, когда Джерри, пользовавшийся неограниченной свободой

в Сомо, вбежал в травяной дом Башти, почуял и узнал смертные останки шкипера и горестно завыл над ним, а затем в бешенстве ощетинился.

Башти сначала его не заметил, так как весь ушел в созерцание головы Ван Хорна. Всего несколько месяцев назад эта голова была жива, размышлял он, разум оживлял ее, она была прикреплена к двуногому туловищу, которое держалось прямо и расхаживало в набедренной повязке и с автоматическим пистолетом у пояса; а потому эта голова была могущественнее Башти, но разумом слабее его, ибо разве не он, Башти, вооруженный старинным пистолетом, внедрил мрак в этот череп, где раньше таился разум? И разве не он, Башти, отделил череп от ослабевшего остова из плоти и костей, на котором держалась эта голова, чтобы двигаться по земле и по палубе «Эренджи»?

Что же сталось с этим разумом? Один ли только этот разум и был в надменном, вспыльчивом Ван Хорне, и исчез ли он, как исчезает мигающее пламя лучины, когда она сгорает до конца и превращается в пылеобразную золу? Все ли, составлявшее Ван Хорна, исчезло, как пламя лучины? Ушел ли он навсегда во тьму, куда уходит зверь, куда уходит пронзенный копьем крокодил,

пойманная на крючок макрель, захваченный неводом голавль и убитая свинья, жирная и пригодная для еды? И та же ли тьма поглотила Ван Хорна, какая поглощает отливающую металлом синеватую муху, которую его девочка с опахалом давит и уничтожает на лету? Та ли это тьма, какая поглощает москита, знающего тайну полета, и, несмотря на свое умение летать, погибающего от руки его, Башти, когда он, почувствовав укус на шее, почти бессознательно расплющивает его ладонью?

Башти знал: что было истиной для головы этого белого человека, еще совсем недавно живой и властной, то истина и для него, Башти. Что случилось с этим белым человеком за темными вратами смерти, то случится и с ним. Вот почему вопрошал он голову, словно ее немые уста могли заговорить с ним из таинственного мира и объяснить ему смысл жизни и смысл смерти, которая неизбежно побеждает жизнь.

Протяжный горестный вой Джерри, увидевшего и почуявшего все, что осталось от шкипера, пробудил Башти от его грез. Он взглянул на сильного золотисто-рыжего щенка и немедленно включил и его в свои размышления. Этот щенок живет. Он похож на человека. Он знает голод и

боль, гнев и любовь. В жилах его течет кровь, как у человека, и от удара ножом она брызнет красной струей и щенок погибнет. Подобно человеку, собака любит себе подобных, размножается и кормит грудью своих детенышей. И исчезает. Да, исчезает; ибо он, Башти, в дни своей молодости и здоровья пожрал немало собак — столько же, сколько и людей.

Но от скорби Джерри перешел к гневу. Он напряженно приближался, оскалив зубы и ощетинившись, так что волны пробегали по его спине к плечам и шее. А шагал он не к голове шкипера, на которой сосредоточилась его любовь, но к Башти, державшему эту голову на своих коленях. Как дикий волк на горных пастбищах крадется к кобыле с ее маленьким жеребенком, так крался Джерри к Башти. А Башти, который всю свою долгую жизнь не боялся смерти и смеялся, когда разорвавшийся кремневый пистолет отхватил ему указательный палец, радостно усмехался: его восхищал этот щенок, которого он бил по носу короткой палкой твердого дерева и заставлял держаться на расстоянии. Как бы свирепо ни нападал на него Джерри, каждый раз он отражал нападение палкой и громко хихикал, ценя смелость щенка, дивясь нелепости жизни,

которая все время побуждала его подставлять нос под палочные удары и, подогревая страстные воспоминания об умершем, заставляла снова и снова идти навстречу боли.

«Вот и здесь — жизнь», — размышлял Башти, ловким щелчком отгоняя визжавшего щенка. Это четвероногое существо, молодое, глупое, горячее, следующее влечениям сердца, походило на любого юношу, ухаживающего в сумерках за своей возлюбленной или вступившего в смертный бой с другим юношей из-за страсти, оскорбленной гордости или несбывшейся надежды. И Башти пришел к тому заключению, что в этом живом щенке, так же как и в мертвой голове Ван Хорна или любого человека, таится объяснение бытия.

И он продолжал щелкать Джерри по носу палкой, отгоняя его от себя, и дивиться той неведомой жизненной силе, которая снова и снова заставляла щенка прыгать вперед под удары палки, причинявшей боль и вынуждавшей отступать. Он видел в этом отвагу и энергию, силу и безрассудство молодости и грустно восхищался и завидовал этой молодости, готовый отдать за нее всю свою седую мудрость.

«Славный пес, что и говорить, славный пес», — мог бы он повторить слова Ван Хорна. Вместо

этого, на морском жаргоне, который был ему так же привычен, как и родное наречие Сомо, он подумал: «Мой говорит, собака не знает трусить перед моим».

Но старику быстро надоела игра, и Башти положил ей конец, сильно ударив Джерри за ухом и лишив сознания. При виде щенка секунду назад такого подвижного и разъяренного, а теперь лежавшего без признаков жизни, пытливая фантазия Башти снова разыгралась. Одним-единственным сильным ударом вызвала палка эту перемену. Куда ушел гнев и разум щенка? Неужели все это — лишь пламя лучины, которое гаснет от всякого случайного дуновения ветерка? Секунду назад Джерри бесновался и страдал, огрызался и прыгал, проявляя свою волю и управляя своими действиями. А через секунду он лежал безвольный и слабый, в бессознательном состоянии, напоминавшем смерть. Башти знал, что через короткий промежуток времени сознание, чувствительность, двигательная сила и воля вернутся в ослабевшее маленькое тело. Но куда же скрылись с ударом палки и сознание, и чувство, и воля?

Башти устало вздохнул и устало завернул головы в травяные циновки, служившие им чех-

лами, — завернул все головы, кроме головы Ван Хорна. И подвесил их на воздух к балкам крыши; там они будут висеть много лет после того, как он умрет и уйдет из жизни, так же точно, как висели они задолго до его отца и деда. Голову Ван Хорна он положил на пол, а сам вышел и стал смотреть в щелку, что будет делать дальше щенок.

Джерри сначала вздрогнул, а через минуту с трудом поднялся на ноги и стоял, покачиваясь. И Башти, припав к щели, видел, как жизнь снова потекла по сосудам инертного[29] тела, напрягла ноги, давая им силу двигаться; видел он, как сознание — эта тайна из тайн — вернулось в костяную коробку, покрытую шерстью, загорелось в открывшихся глазах, заставило оскалить зубы и издать рычание, прерванное в тот момент, когда удар палки опрокинул щенка во тьму.

И еще кое-что увидел Башти. Сначала Джерри огляделся, разыскивая врага, рыча и ощетинивая шерсть на шее. Затем вместо врага он увидел голову шкипера, подполз к ней и стал ласкать, целуя языком твердые щеки; сомкнутые веки, не поднимавшиеся от его ласки; губы, которые никогда не выговорят ни одного из тех любовных

---

[29] notes: 29
Инертный — неподвижный.

слов, какими, бывало, ласкали собаку.

И в глубокой тоске уселся Джерри перед головой шкипера, поднял морду к высокому коньку крыши и завыл горестно и протяжно. Наконец, измученный и подавленный, он выполз из дома и ушел в жилище своего шамана, где в течение двадцати четырех часов бодрствовал и спал и видел кошмары.

С тех пор Джерри до конца своего пребывания в Сомо боялся травяного дома Башти. Самого Башти он не боялся. Страх его был неизъяснимый и бессознательный. В этом доме пребывало нечто, некогда бывшее шкипером. То был символ величайшей катастрофы жизни, — инстинктом, заложенным в глубинах его существа, он предчувствовал ее. На один шаг опередив Джерри, народ Сомо, созерцая смерть, достиг представления о душах умерших, продолжающих жить в нематериальных и сверхчувственных областях.

С тех пор Джерри напряженно ненавидел Башти как владыку жизни, который хранил и держал на своих коленях *нечто* шкипера. Об этом Джерри не рассуждал. Все это было смутно и неопределенно — ощущение, эмоция, чувство, инстинкт, интуиция — называйте любым туманным словом из туманной номенклатуры речи,

где слова обманно создают впечатление определенности и приписывают мозгу понимание, каковым мозг не обладает.

Глава XVI

Прошло еще три месяца; северо-западный муссон через полгода уступил место юго-восточному пассату, а Джерри по-прежнему жил в доме Агно и свободно бегал по всей деревне. Он вырос, прибавил в весе и под защитой табу стал самоуверенным и едва ли не высокомерным. Но никакого господина он не нашел. Агно так и не приобрел его расположения, да и не пытался его завоевать. Однако, по свойственному ему хладнокровию, он никогда не проявлял своей ненависти к Джерри.

Даже обитавшие в доме Агно старухи, два аколита и девочка, отгонявшая мух, не подозревали, что шаман ненавидит Джерри. Не подозревал этого и сам Джерри. Для него Агно был особой нейтральной, которая в счет не шла. В членах семьи Джерри угадывал рабов или слуг Агно, а когда они его кормили, знал, что съедаемая им пища исходит от Агно и является пищей Агно. За исключением Джерри, защищенного табу, весь домашний штат боялся Агно, и дом его поистине был домом страха. Одиннадцатилетняя служанка могла бы завоевать расположение Джерри, если бы ее с самого же начала не остановил Агно,

сделавший ей суровый выговор за то, что она дерзнула прикоснуться и приласкать собаку, на которой лежало столь священное табу.

До окончания полугодового муссона Агно вынужден был отложить выполнение замысла, направленного против Джерри, так как на частном птичьем дворе Башти кладка яиц мегаподами начиналась лишь с наступлением юго-западного пассата. И Агно, давно уже задумавший свой план, со свойственным ему терпением выжидал удобного момента.

Мегапод Соломоновых островов приходился дальним родичем австралийскому ястребу. Он не больше крупного голубя, а его яйца такой же величины, как яйца домашних уток. Мегапод, лишенный чувства страха, так глуп, что был бы уничтожен сотни веков назад, если бы правители и жрецы не охраняли его при помощи табу. Для мегаподов пришлось завести расчищенные песчаные участки и защитить их изгородью от собак. Мегаподы зарывают яйца в песок на глубине около двух футов, а вылупливание птенцов зависит от солнечной жары. И они продолжают разрывать песок и класть яйца, хотя бы в двух-трех шагах от них чернокожий эти яйца выкапывал.

Птичник был собственностью Башти. В течение

всего сезона Башти питался почти исключительно яйцами мегаподов. В редких случаях он приказывал убивать и подавать ему на обед тех мегаподов, которые переставали нестись. Однако то была прихоть: он гордился столь исключительной диетой, возможной лишь для человека, занимающего такое высокое положение. По правде сказать, мясо мегаподов нравилось ему не больше всякого другого мяса. А всякое мясо казалось ему на вкус одинаковым, ибо его любовь к мясу отошла в область воспоминаний.

Но яйца! Вот что ему нравилось. То была единственная пища, какую он ел с удовольствием. Они напоминали ему былые вкусовые наслаждения молодости. Яйца мегаподов вызывали у него настоящий голод, и когда он видел яйцо, приготовленное для еды, почти высохшие слюнные железы снова начинали функционировать и в желудке появлялся пищеварительный сок. Поэтому он один во всем Сомо ел яйца мегаподов, защищенных суровым табу от всего остального населения. А так как табу по существу своему религиозно, то священная обязанность охранять королевский птичий двор и заботиться о нем была возложена на Агно.

Но Агно был уже немолод. Острота животных

вожделений давно покинула его, и он также ел из чувства долга, не разбираясь во вкусовых ощущениях. Только яйца мегаподов раздражали его аппетит и вызывали работу пищеварительных желез. Потому-то он и нарушал табу, наложенное им самим, и украдкой, когда ни мужчина, ни женщина, ни ребенок не могли его видеть, поедал яйца, украденные из птичника Башти.

Когда начался сезон кладки яиц, и Агно и Башти, после шестимесячного воздержания, оба тосковали по лакомому блюду, Агно повел Джерри по тропинке, охраняемой табу, среди мангиферовых деревьев. Там приходилось прыгать с корня на корень над болотом, вечно испускавшим пар и зловоние.

Эта тропинка не походила на обычные тропинки и была незнакома Джерри. Здесь человеку приходилось делать большие шаги, переступая с корня на корень, а собаке — совершать такие же прыжки. Во время своих прогулок по Сомо Джерри ни разу не видел этой тропинки. Поведение Агно, взявшего его с собой, заставляло Джерри удивляться и радоваться; совсем того не думая, он смутно предчувствовал, что, быть может, Агно все же до известной степени окажется тем господином, какого непрестанно искала собачья

душа Джерри.

Выйдя из топкой мангиферовой рощи, они внезапно очутились на песчаном участке, все еще пропитанном солью и неплодородном от морских наносов. Ни одно большое дерево не могло пустить здесь корни, а своими ветвями защитить от палящих лучей солнца. Войти в огороженное место можно было через примитивную калитку, но Агно не повел туда Джерри. Вместо того, ободряюще чирикая и подзадоривая, он научил Джерри прорыть тоннель под грубым плетнем и сам помогал ему, обеими руками выгребая песок. И Джерри, поощряемый им, оставил на песке отпечатки лап и когтей.

А когда Джерри очутился за плетнем, Агно, войдя через калитку, соблазнил его выкапывать яйца. Но яиц Джерри не довелось отведать. Восемь штук Агно высосал сырыми, а два яйца сунул себе под мышку, чтобы отнести в свое дьявольское жилище. Скорлупу восьми высосанных яиц он раздавил так, как могла это сделать собака, а для осуществления задуманного плана часть восьмого яйца он сохранил и обмазал им не морду Джерри, где тот мог слизнуть яйцо языком, а повыше — над глазами и вокруг глаз. Здесь следы должны были остаться и свидетельствовать

против собаки.

Хуже того: он совершил величайшее святотатство, науськав Джерри на самку мегапода, несущую яйца. А пока Джерри душил ее, Агно, зная, что жажда убийства, раз пробужденная, побудит его продолжать избиение глупых птиц, опрометью бросился с птичьего двора через мангиферовое болото, чтобы представить религиозную проблему на рассмотрение Башти. Табу, охранявшее собаку, — так изложил он дело, — помешало ему вмешаться, когда собака-табу поедала мегапода-табу. Какое табу выше, этого он, Агно, решить не может. А Башти, уже полгода не евший яиц мегапода и страстно хотевший освежить в памяти последнее вкусовое ощущение далекой юности, полетел через мангиферовое болото с такой быстротой, что его верховный жрец совсем запыхался, хотя и был на много лет моложе.

Когда он прибежал на птичий двор, Джерри убивал четвертую самку-мегапода; лапы и морда у него были окровавлены, а вокруг глаз и на лбу виднелся остаток сырого желтка, налепленный Агно и долженствовавший изображать много поеденных яиц. Башти тщетно разыскивал хотя бы одно целое яйцо, а шестимесячный голод — под

впечатлением катастрофы — мучил сильнее, чем когда-либо. А Джерри, уверенный в ободрении и похвале Агно, завилял Башти хвостом, ожидая воздаяния за свою доблесть, и улыбнулся обагренным кровью ртом и глазами, полузалепленными яичным желтком.

Башти не бесновался, так как был не один. На глазах своего верховного жреца он не хотел унижаться до столь банальных человеческих чувств. Тот, кто занимает высокое положение, всегда обуздывает свои естественные стремления и скрывает свою банальность под маской безразличия. Потому-то и Башти не проявил раздражения при виде этой неудачи, обманувшей его аппетиты. Агно меньше владел собой, так как не мог скрыть жадный огонек, блеснувший в глазах. Башти этот огонек заметил, но, не угадав истинной причины, счел проявлением простого любопытства. Отсюда можно сделать два вывода относительно лиц, занимающих высокое положение: во-первых, они могут одурачить тех, кто ниже их, а во-вторых, сами могут быть ими одурачены.

Башти саркастически поглядел на Джерри, словно усмотрел здесь шутку, и, искоса бросив взгляд на своего верховного жреца, подметил в

его глазах разочарование. «Ага! — подумал Башти. — Я таки его надул!»

— Какое табу выше? — осведомился Агно на языке Сомо.

— Разве нужно спрашивать? Конечно, мегапод.

— А собака? — продолжал Агно.

— Должна заплатить за нарушение табу. Это — высшее табу. Это — мое табу. Так было установлено Сомо, древним праотцом и первым правителем, и с тех пор оно всегда было табу вождей. Собака должна умереть.

Он замолчал и задумался, а Джерри снова стал разрывать песок, откуда поднимался знакомый запах. Агно шагнул вперед, чтобы его остановить, но Башти вмешался.

— Оставь его, — сказал он. — Пусть собака изобличит себя на моих глазах.

Джерри это и сделал, откопав два яйца, раздавив их и вылакав часть драгоценного содержимого, которая не расплескалась по песку. Глаза Башти совсем потускнели, когда он спросил:

— Пир у собачьего мяса назначен на сегодня?

— Завтра в полдень, — ответил Агно. — Собак уже приносят. Набралось не меньше пятидесяти.

— Пятьдесят одна, — вынес свой приговор Башти, кивнув в сторону Джерри.

Жрец сделал быстрое движение, чтобы схватить Джерри.

— Зачем? — остановил его вождь. — Тебе придется тащить его по болоту. Пусть он идет назад на своих собственных ногах. А когда дойдет до дома для пирог, ты свяжи ему ноги.

Миновав болото и приблизившись к дому для пирог, Джерри, весело бежавший по пятам обоих людей, услышал жалобное завывание множества собак, несомненно, выражавшее боль и страдание. Он сейчас же подозрительно прислушался, не опасаясь, впрочем, лично за себя. И в тот самый момент, когда он, насторожив уши, нюхом доискивался причины, Башти схватил его за загривок и поднял в воздух, а Агно стал связывать ему ноги.

Ни стона, ни визга не вырвалось у Джерри; он не проявил ни малейших признаков страха, а только, задыхаясь, свирепо рычал, гневно скалил зубы и воинственно брыкался задними лапами. Но собака, схваченная за загривок, не может противостоять двум людям, одаренным человеческим рассудком и ловкостью и имеющим по две руки, а на каждой руке — по пять пальцев.

Ему связали вдоль и поперек передние и задние лапы и потащили головой вниз к месту бойни и

стряпни. Там его бросили на землю — туда, где лежало еще штук двадцать собак, беспомощных и связанных. Было уже после полудня, но многие собаки лежали так — на припеке — с раннего утра. Все они были лесными или дикими собаками, и так ничтожно было их мужество, что жажда и физическая боль, вызванная веревками, слишком туго перетягивавшими артерии и вены, и смутное предчувствие судьбы, какую предвещало подобное обращение, заставляло их в отчаянии визжать и выть. Следующие тридцать часов были скверными часами для Джерри. Немедленно разнеслась весть, что табу с него снято, и из мужчин и мальчишек ни один не унизился до того, чтобы быть с ним вежливым. До ночи толпились вокруг него люди, дразнившие его и мучившие. Они зубоскалили по поводу его падения, издевались и насмехались над ним, презрительно толкали ногами и, вырыв ямку в песке, из которой он не мог выкатиться, положили его туда на спину, так что его связанные лапы позорно болтались в воздухе.

А он мог только беспомощно рычать и бесноваться. В отличие от прочих собак, он не визжал и не выл от боли. Ему был теперь год, а последние шесть месяцев помогли ему созреть; по природе

же своей он был бесстрашен и выносли. Белые господа научили его ненавидеть и презирать негров, а за эти тридцать часов он познал особенно горькую и неугасимую ненависть.

Его мучители ни перед чем не останавливались. Они принесли даже дикую собаку и стали науськивать ее на Джерри. Но дикая собака не атакует врага, который не может двигаться, хотя бы врагом этим был Джерри, так часто преследовавший ее на палубе «Эренджи». Будь у Джерри сломана нога или сохрани он хоть возможность двигаться, тогда дикий пес мог закусать его, пожалуй, до смерти. Но эта полная беспомощность останавливала пса, и, таким образом, план не удался. Когда Джерри рычал и огрызался, рычала и дикая собака, вертясь вокруг него, но чернокожие не могли заставить ее вонзить зубы в Джерри.

Убойная площадка перед домом для пирог превратилась в страшный бедлам[30]. Сюда то и дело приносили связанных собак и бросали их на землю. В воздухе стоял непрерывный вой; особенно выли те собаки, которые с раннего утра лежали на солнцепеке без воды. Время от времени на-

[30] notes: 30

Бедлам — лондонский дом для умалишенных, основанный в XII веке. В переносном смысле — сумасшедший дом, хаотическое состояние.

чинали выть все собаки. Этот вой, вздымаясь и падая, но никогда не смолкая, продолжался всю ночь, а к утру все собаки мучились невыносимой жаждой.

Солнце, поднявшееся на небе, палившее белый песок и чуть ли не обжигавшее собак, отнюдь не принесло облегчения. Вокруг Джерри снова образовался круг мучителей, изливавших на него оскорбительное презрение за утрату его табу. Больше всего бесили Джерри не удары и физические мучения, а смех. Ни одна собака не любит, когда над ней смеются, а Джерри тем более не мог сдержать гнев, когда они хихикали и гоготали перед самой его мордой.

Хотя он и не выл, но от рычания и жажды у него в горле пересохло, и высохла слизистая оболочка рта. И только под влиянием величайших оскорблений ему удавалось издавать звуки. Он высунул язык, и утреннее солнце стало медленно жечь его.

Как раз в это время один из мальчишек жестоко его обидел. Он выкатил Джерри из ямки, где тот всю ночь пролежал на спине, перевернул его на бок и подсунул маленькую плошку, наполненную водой. Джерри с жадностью стал лакать и только через полминуты обнаружил,

что мальчик выдавил в воду жгучий сок из семян спелого красного перца. Зрители взвизгнули от удовольствия, а прежнюю жажду Джерри нельзя было сравнить с этой новой жаждой, все усиливавшейся от жгучего перца.

Затем — а то было чрезвычайно важное событие — на сцене появился Наласу. То был шестидесятилетний старик, слепой и шествовавший с палкой, которой нащупывал себе тропу. Свободной рукой он нес за связанные ноги небольшую свинью.

— Говорят, собака белого господина должна быть съедена, — сказал он на языке Сомо. — Где собака белого господина? Покажите мне ее.

Как раз в это время пришел Агно и стал подле старика, который, наклонившись к Джерри, стал ощупывать его пальцами. А Джерри не стал рычать или кусаться, хотя пальцы слепого не раз приближались к его зубам. Дело в том, что Джерри не чувствовал враждебности в этих пальцах, так мягко по нему скользивших. Затем Наласу пощупал свинью и несколько раз, словно сравнивая, ощупывал то Джерри, то свинью. Наконец Наласу встал и высказал свое мнение:

— Свинья так же мала, как и собака. По величине они одинаковы, но на свинье больше для еды мяса. Берите свинью, а я возьму собаку.

— Нет, — сказал Агно. — Собака белого господина нарушила табу. Ее должны съесть. Бери другую собаку и оставь свинью. Бери большую собаку.

— Я хочу взять собаку белого господина, — упорствовал Наласу, — только собаку белого господина.

Дело не подвигалось ни на шаг, пока не подошел Башти и не остановился, прислушиваясь.

— Бери собаку, Наласу, — сказал он наконец, — у тебя хорошая свинья, и я сам ее съем.

— Но собака нарушила табу — твое великое табу, охранявшее птичий двор, и она должна пойти на съедение, — быстро вмешался Агно.

В мозгу Башти мелькнула мысль, что Агно вмешался слишком быстро; им овладело какое-то смутное подозрение, хотя он и не знал, в чем можно заподозрить Агно.

— За нарушение табу уплата — кровь и кухонный котел, — продолжал Агно.

— Отлично, — сказал Башти. — Я съем эту свинью. Пусть перережут ей горло, и пусть ее тело опалит огонь.

— Я говорю о законе табу. За нарушение табу платят жизнью.

— Есть и другой закон, — усмехнулся Башти. — Жизнь может купить жизнь; так было с тех пор,

как Сомо возвел эти стены.

— Только жизнь мужчины или женщины, — уточнил Агно.

— Я знаю закон, — настаивал Башти. — Сомо его создал. Никогда не было сказано, что за жизнь животного нельзя купить жизнь другого животного.

— Этого еще до сих пор не бывало у нас, — заявил шаман.

— Вполне понятно, — возразил старый вождь. — Не было еще такого дурака, который бы отдавал свинью за собаку. Это молодая свинья, жирная и нежная. Бери собаку, Наласу. Бери ее сейчас же.

Но шаман не успокоился.

— Ты, Башти, в своей великой мудрости сказал, что это племенная собака, рассадник силы и мужества. Пусть она будет убита. Когда ее снимут с огня и разделят ее тело на маленькие кусочки, каждый отведает ее и получит свою долю силы и мужества. Лучше будет для Сомо, если люди, а не собаки, станут сильными и храбрыми.

Но Башти не гневался на Джерри. Он вел жизнь философа и прожил слишком долго, чтобы винить собаку в нарушении табу, которого она не знала. Конечно, собак часто убивали за нарушение табу. Но он разрешал их убивать потому,

что те собаки отнюдь его не интересовали, а их смерть подчеркивала святость табу. Джерри же сильно его заинтересовал. Не раз с тех пор, как Джерри атаковал его из-за головы Ван Хорна, задумывался он над этим инцидентом. Этот случай сбивал его с толку, как и все проявления жизни, и доставлял ему пищу для размышлений. Кроме того, Башти восхищался отвагой Джерри и тем, что тот не выл от боли под ударами палки. А красота форм и окраска Джерри незаметно пленяли Башти, совсем о том не думавшего. На Джерри приятно было смотреть.

Можно было и под другим углом взглянуть на поведение Башти. Он недоумевал, почему его шаман так настаивал на смерти простой собаки. Собак было много. Так зачем же убивать именно эту собаку? Несомненно, у того было что-то на уме, но что именно, Башти догадаться не мог: быть может, им двигала месть, зародившаяся в тот день, когда он воспретил Агно съесть собаку. Если такова была причина, Башти не мог терпеть подобное настроение ума у кого бы то ни было из своих соплеменников. Но каковы бы ни были мотивы, Башти, по своему обыкновению остерегаясь неизвестного, решил проучить своего жреца и еще раз показать населению Сомо, кому

принадлежит последнее слово. И он ответил:

— Я жил долго и съел много свиней. Кто осмелится сказать, что эти свиньи вошли в меня и сделали меня свиньей?

Он остановился и вызывающе окинул взглядом круг слушателей, но все молчали. Кое-кто робко ухмыльнулся, переминаясь с ноги на ногу, а на лице Агно была написана глубокая уверенность в том, что в его вожде нет ничего, напоминающего свинью.

— Я съел много рыб, — продолжал Башти, — но ни одна рыбья чешуйка не выросла на моей коже. И жабры не появились на моей шее. И вы все, глядя на меня, знаете, что никогда не вырастал у меня плавник на спине. Наласу, бери собаку. Агэ, отнеси свинью в мой дом. Я съем ее сегодня. Агно, пусть режут собак, чтобы люди получили еду вовремя.

Затем, собравшись уйти, он перешел на английский морской жаргон и сурово кинул через плечо:

— Мой говорит, мой много сердит на тебя.

Глава XVII

Слепой Наласу медленно побрел прочь, держа в одной руке палку, которой нащупывал дорогу, а в другой неся вниз головой Джерри за связанные лапы.

Но, в отличие от мальчика Ламаи, старик не потащил Джерри прямо к себе домой. У первого же ручья, протекавшего среди низких холмов, он остановился и напоил Джерри. И Джерри забылся, с наслаждением ощущая холодную влагу на языке, во рту и в горле. Тем не менее подсознательно в нем нарастало впечатление, что этот чернокожий добрее Ламаи, добрее Агно и Башти, добрее всех, кого он встречал в Сомо.

Пил он до тех пор, пока не мог уже больше вместить ни капли, и, напившись, в благодарность лизнул Наласу — не с жаром и страстью, как лизнул бы руку шкипера, но с должной признательностью за животворный напиток. Старик усмехнулся с довольным видом, погрузил Джерри в воду и, поддерживая его голову на поверхности, разрешил ему так лежать долгие блаженные минуты.

От ручья до дома Наласу — порядочное расстоя-

ние — старик по-прежнему нес его со связанными ногами, но уже не головой вниз, а прижав одной рукой к груди. Он хотел привязать к себе собаку. Наласу, много лет одиноко просидевший во тьме, думал об окружавшем его мире гораздо больше и знал его гораздо лучше, чем если бы был зрячим. Ему собака была нужна. Он испробовал несколько лесных собак, но они мало ценили его доброту и неизменно от него удирали. Последняя оставалась дольше всех, ибо он обращался с ней с величайшей добротой, но и она убежала раньше, чем он ее натренировал. И вот он услышал, что собака белого господина иная. Она никогда не удирала от опасности и считалась умнее всех собак Сомо.

Изобретенный Ламаи способ привязывать собаку с помощью палки распространился по деревне, и теперь в доме Наласу Джерри снова очутился привязанным к палке. Но была разница. Слепой никогда не терял терпения и каждый день часами просиживал на корточках и ласкал Джерри. Однако, даже не делай он этого, Джерри, евший его хлеб и привыкший уже к перемене хозяев, готов был видеть в Наласу своего господина. Джерри прекрасно понимал, что господство Агно кончилось с той поры, как шаман связал ему ноги

и бросил в кучу к остальным беспомощным собакам на убойной площадке. А Джерри, с первых дней своей жизни не остававшийся без хозяина, чувствовал настойчивую потребность в хозяине.

Настал день, когда палка была отвязана и Джерри добровольно остался в доме Наласу. Старик, убедившись, что он не сбежит, приступил к его обучению. С каждым днем он все дольше занимался его обучением и, наконец, стал посвящать этому по несколько часов в день.

Прежде всего Джерри усвоил свое новое имя — Бао и выучился отзываться на него, как бы тихо его ни назвали, а Наласу окликал его все тише и тише, пока не понизил голоса до шепота. У Джерри слух был чуткий, но и Наласу, благодаря длительным упражнениям, слышал не многим хуже.

А затем слух Джерри был доведен до еще большей чуткости. По целым часам Джерри, сидя подле Наласу или стоя поодаль, учился улавливать еле слышные звуки или шорохи в кустарнике. Старик его обучал согласовывать рычание, каким он предостерегал Наласу, с лесными шумами. Если по шороху Джерри узнавал свинью или курицу, рычать совсем не полагалось. Если он не мог определить шум, то рычал

тихо. Но если шорох производил мужчина или мальчик, старавшийся двигаться осторожно, а следовательно, внушавший подозрение, Джерри научился рычать громко; если раздавался громкий шум и человек двигался беззаботно, тогда Джерри ворчал тихонько.

Джерри никогда не приходило в голову поинтересоваться, зачем его всему этому обучали. Он учился, потому что такова была воля его нового господина. Путем длительных усилий и терпения Наласу обучил его не только этому, но еще многому другому, и словарь Джерри так разросся, что они могли издали поддерживать быстрый и вполне точный разговор.

Так, находясь на расстоянии пятидесяти шагов, Джерри тихонько рычал, сообщая, что раздался шум, какого он не знает, а Наласу различными присвистываниями приказывал ему стоять на месте, рычать тише, замолчать, бесшумно к нему приблизиться, пойти в кустарник и выяснить причину странного шороха либо с громким лаем броситься в атаку.

Иногда Наласу, заслышав в противоположной стороне незнакомый звук, спрашивал Джерри, слышал ли тот его. А Джерри, насторожившись, отвечал Наласу, меняя характер и оттенки своего

рычания, что он ничего не слышал. Затем ответ становился определеннее. Джерри услышал: это — чужая собака, или лесная крыса, или мужчина, или мальчик. Все это Джерри передавал еле слышно, едва ли громче дыхания, и эти звуки были односложны — подлинная стенография речи.

Странный старик был Наласу. Он жил один в маленьком травяном доме на окраине деревни. Ближайший дом находился на большом расстоянии, а его собственная хижина стояла на просеке, окруженной густыми зарослями джунглей, но стена растительности нигде не подступала к дому ближе, чем на шестьдесят шагов. И эту просеку Наласу постоянно очищал от быстро пробивающейся зелени. Друзей у него, по-видимому, не было. Во всяком случае, никто никогда его не навещал. Много лет прошло с тех пор, как он отвадил последнего посетителя. И родни у него не было. Жена давно умерла, а три сына, еще не женатые, потеряли свои головы в стычке за пределами Сомо, на лесистых холмах, и были съедены лесными жителями.

Несмотря на свою слепоту, Наласу не сидел без дела. Помощи он не просил ни у кого и сам себя поддерживал. На своей просеке он сажал ямс, сладкий картофель и таро. На другой просеке — а

он был против того, чтобы разводить деревья у самого дома — у него были смоковница, бананы и с полдюжины кокосовых пальм. Плоды и овощи он обменивал внизу, в деревне, на мясо, рыбу и табак.

Добрую часть дня он посвящал обучению Джерри, а иногда занимался изготовлением луков и стрел, которые высоко ценились его соплеменниками и находили постоянный сбыт. Почти не проходило дня, когда бы он не попрактиковался в стрельбе из лука. Он целился только по направлению звука; и всякий раз, когда в джунглях раздавался шум и шелест и Джерри сообщал ему о характере звука, Наласу пускал стрелу. Затем в обязанности Джерри входило найти и осторожно принести назад стрелу, если она не попала в цель.

Любопытно, что Наласу спал не больше трех часов в сутки, никогда не спал ночью, а для своего короткого дневного сна всегда уходил из дому. У него было нечто похожее на гнездо в самой густой чаще соседних джунглей. Ни одна тропинка не вела к этому гнезду. Он никогда не приходил туда и не уходил одной и той же дорогой, а тропическая растительность на богатой почве тотчас же уничтожала малейшие следы его шагов. Всякий

раз, когда он спал, Джерри был обучен оставаться на страже и никоим образом не засыпать.

У Наласу было достаточно оснований для таких бесконечных предосторожностей. Старший из его трех сыновей убил в ссоре некоего Ао. Ао был одним из шести братьев семьи Анно, жившей в одной из нагорных деревень. Согласно закону Сомо, семья Анно имела право взыскать кровавый долг с семьи Наласу, но им помешала смерть трех сыновей Наласу, убитых в джунглях. Поскольку кодекс Сомо требовал «жизнь за жизнь», а из всей семьи в живых остался один Наласу, то всему племени было известно, что Анно не успокоятся до тех пор, пока не лишат жизни слепого старика.

Наласу прославился не только как отец трех воинственных сыновей, но и как великий боец. Дважды пытались Анно свести счеты и первый раз напали, когда Наласу еще был зрячим. Наласу открыл их засаду, обошел ее и, напав с тылу, убил самого Анно, отца семьи, удвоив тем кровавый долг.

Затем его постигло несчастье. Он набивал снайдеровские патроны, уже неоднократно употреблявшиеся, когда черный порох взорвался и выжег ему оба глаза. Немного спустя, когда он еще залечивал свои раны, Анно пришли из своей

деревни. Этого ждал Наласу и должным образом приготовился к встрече. В ту ночь трое из рода Анно наступили на отравленные колючки и умерли в страшных муках. Таким образом, количество жизней, отнятых у семьи Анно, возросло до пяти, а взыскивать долг можно было только с одного слепого старика.

С того дня Анно слишком боялись колючек, чтобы отважиться на новую попытку, но жажда мести не угасала, и они жили надеждой в один прекрасный день украсить головой Наласу конек своей крыши. Перемирия не было, но наступило затишье. Старик ничего не мог против них предпринять, а они опасались открыть военные действия. День мести пришел уже после появления Джерри у Наласу, когда один из Анно изобрел вещь, дотоле невиданную во всей Малаите.

Глава XVIII

Месяцы шли. Кончился юго-восточный пассат, подул муссон, а Джерри постарел на шесть месяцев, вырос, увеличился в весе, и кости у него окрепли. То было хорошее полугодие, проведенное у слепого старика, хотя Наласу был сторонником суровой дисциплины и изо дня в день посвящал долгие часы обучению Джерри, а это не многим собакам выпадает на долю. Но Джерри не получил от него ни одного удара, не слыхал ни одного грубого слова. Этот человек, убивший четырех Анно, — а из них троих после потери зрения, — в дни своей необузданной молодости прикончивший немало людей, никогда не повышал голоса, гневаясь на Джерри, и добивался послушания не суровыми наказаниями, а ласковой воркотней.

Это постоянное обучение, какому подвергся Джерри в период своей возмужалости, на всю жизнь укрепило и развило его умственные способности. Пожалуй, ни одна собака в мире не обладала таким словарем, как он, а объяснялось это, во-первых, его природным умом, во-вторых, гениальной способностью Наласу к дрессировке

и, наконец, долгими часами, посвящаемыми обучению.

Его стенографический словарь был на редкость богат для собаки. Пожалуй, можно сказать, что он и старик могли часами вести разговор, хотя отвлеченные темы были немногочисленны и просты; очень мало говорили они о недавнем прошлом и почти не касались ближайшего будущего. Джерри ничего не мог ему рассказать о Мериндже и «Эренджи», о великой любви, какую питал к шкиперу, или о причине своей ненависти к Башти. И Наласу не мог рассказать Джерри о кровавой вражде с Анно или о том, как он потерял зрение.

На практике все их разговоры вертелись непосредственно вокруг настоящего момента, хотя они могли коснуться слегка и ближайшего прошлого. Наласу давал Джерри ряд поручений, например: пойти одному на разведку, дойти до гнезда, описать около гнезда большой круг, двинуться оттуда на вторую просеку, где росли фруктовые деревья, пересечь джунгли до главной тропы, спуститься по ней вниз, к деревне, до большой смоковницы, а затем по маленькой тропинке вернуться к Наласу. Все эти поручения Джерри выполнял с величайшей точностью и по

возвращении делал доклад в таком роде: у гнезда ничего необыкновенного, разве что поблизости появился сарыч; на просеке упали на землю три кокоса — Джерри умел безошибочно считать до пяти; между просекой и главной тропой он видел четырех свиней; на главной тропе он повстречал одну собаку, двух детей и больше пяти женщин; а на маленькой тропинке, ведущей к дому, заметил одного какаду и двух мальчиков.

Но Джерри не мог объяснить Наласу, что потребности его ума и сердца мешают ему быть вполне довольным своей жизнью. Ибо Наласу был не белым, а только черным богом. А Джерри ненавидел и презирал всех негров, за исключением Ламаи и Наласу. Их терпел, а к Наласу чувствовал даже ровную и теплую привязанность. Любить его — он не любил и не мог полюбить.

В лучшем случае они были второразрядными богами, а он не мог позабыть таких великих белых богов, как шкипер и мистер Хаггин, да еще Дерби и Боба, относившихся к той же породе. Они были какими-то другими, лучшими, чем-то отличались от этих черных дикарей, среди которых он сейчас жил. Они были где-то над ними, жили в недосягаемом раю; об этом рае у Джерри сохранилось живое воспоминание, по нему он

тосковал, но пути к нему не знал и, смутно ощущая конечность всего, представлял, что и этот рай может исчезнуть в последнем *ничто*, которое уже поглотило шкипера и «Эренджи».

Тщетно пытался старик завоевать любовь Джерри. Он не мог вытравить воспоминаний Джерри, хотя и добился его преданности и верности. За Наласу Джерри готов был сражаться не на жизнь, а на смерть, но сражаться преданно, а не страстно, как сражался бы за шкипера. А старик и не подозревал, что Джерри не отдал ему всего своего сердца.

* * *

Настал день для семьи Анно, когда один из них изобрел сплетенные сандалии, чтобы предохранить подошвы ног от отравленных колючек, которыми Наласу отнял жизнь у троих. Собственно говоря, то был не день, а ночь, и такая черная ночь под затемненным облаками небом, что перед самым носом нельзя было разглядеть стволы деревьев. И двенадцать человек из семьи Анно спустились к просеке Наласу; они были вооружены снайдеровскими винтовками, седельными пистолетами, томагавками и военными дубинками. Несмотря на свои толстые сандалии, они

двигались очень осторожно, опасаясь колючек, которых Наласу больше уже не разбрасывал.

Джерри, помещаясь между коленями своего господина и сонно клюя носом, первый предостерег Наласу. Старик сидел у двери своего дома, широко раскрыв глаза и напряженно прислушиваясь; так просиживал он все ночи уже много лет. Он стал прислушиваться еще напряженнее, но долго ничего не мог уловить и шепотом расспрашивал Джерри, приказав ему отвечать возможно тише; и Джерри пыхтеньем, сопеньем и всеми стенографическими звуками, каким был обучен, уведомил его, что приближаются люди — много людей, больше пяти человек.

Наласу пододвинул лук, наставил стрелу и стал ждать. Наконец и он уловил легкий шелест, раздававшийся то здесь, то там и надвигавшийся из джунглей. Еле слышно он потребовал подтверждения от Джерри, у которого шерсть ерошилась на шее под чувствительными пальцами Наласу. Джерри к тому времени мог читать ночной воздух носом не хуже, чем ушами, и снова тихо подтвердил Наласу, что идут люди — много людей, больше пяти.

Наласу, терпеливый, как и все старики, сидел не шевелясь, пока не уловил вблизи, на опушке

джунглей, на расстоянии шестидесяти футов, шорох человеческих шагов. Он натянул лук, спустил стрелу и был вознагражден вздохом и стоном. Первым делом он удержал Джерри, порывавшегося за стрелой, ибо знал, что стрела попала в цель, а затем наставил на тетиву новую стрелу.

Пятнадцать минут прошли в молчании; слепец сидел, словно высеченный из камня, собака дрожала от возбуждения под внятным прикосновением его пальцев, повинуясь приказанию молчать. Ибо Джерри знал не хуже Наласу, что смерть шелестит и крадется в окружающем мраке. Снова раздался шелест, на этот раз ближе, но спущенная стрела не попала в цель. Они слышали, как она ударилась о ствол дерева и раздались тихие шаги отступавшего врага. После недолгого молчания Наласу приказал Джерри достать стрелу. Джерри был хорошо выдрессирован, и даже Наласу, слышавший лучше зрячих людей, не уловил ни единого звука, когда он двинулся по направлению к вонзившейся в дерево стреле и принес ее в зубах.

И снова Наласу стал ждать, пока не раздался шорох приближавшихся людей; тогда он взял все свои стрелы и в сопровождении Джерри бесшумно передвинулся на полкруга. И пока они шли,

прогремел выстрел — целились наугад в только что покинутое ими место.

И с полуночи до рассвета слепец и собака успешно отражали нападение двенадцати человек, имевших в своем распоряжении порох и далеко бьющие грибовидные пули из мягкого свинца. А слепец защищался только луком и сотней стрел. Он выпустил много сотен стрел, а Джерри приносил их назад, и старик снова и снова пускал их. Джерри работал доблестно, помогая своим более чутким слухом, бесшумно кружась вокруг дома и докладывая, где готовится наступление.

Много драгоценного пороха израсходовали Анно впустую, так как это сражение напоминало игру с невидимыми духами. Ничего не было видно, кроме вспышек пороха. И Джерри они не видели ни разу, хотя чутьем угадывали его близость, когда он отыскивал стрелы. Один из них, нащупывая стрелу, едва в него не вонзившуюся, коснулся рукой спины Джерри и дико взвыл от ужаса, почувствовав острый укус. Они пробовали целиться в то место, где прогудела тетива Наласу, но всякий раз Наласу, выпустив стрелу, немедленно менял позицию. Не раз, почуяв близость Джерри, они стреляли в него, и один раз ему обожгло порохом нос.

На рассвете в недолгих тропических сумерках Анно отступили, а Наласу, скрывшись от света в свое жилище, все еще имел в своем распоряжении благодаря Джерри восемьдесят стрел. В результате Наласу убил одного человека, и неизвестно, сколько еще раненных стрелами с трудом уползли прочь.

Полдня Наласу просидел на корточках перед Джерри, лаская его за все, что он сделал. Затем, захватив с собой Джерри, он отправился в деревню и рассказал о сражении.

— Я обращаюсь к тебе, как старик к старику, — начал Башти. — Я старше тебя, о Наласу; я никогда не ведал страха. Однако я никогда не был храбрее тебя. Я бы хотел, чтобы все в племени были так же храбры, как ты. И все же ты причиняешь мне великую скорбь. Что толку в твоей отваге и ловкости, если нет у тебя потомства, в котором возродилась бы твоя отвага и ловкость?

— Я — старый человек, — заговорил Наласу.

— Моложе меня, — перебил Башти. — И не слишком стар для женитьбы, чтобы дать племени сильное потомство.

— Я был женат долго и был отцом трех храбрых сыновей, но они умерли. Мне не прожить так долго, как тебе. О днях своей молодости я думаю,

как о приятнейших сновидениях, о которых помнишь после пробуждения. Но больше думаю я о смерти, о конце. О женитьбе я совсем не думаю. Я слишком стар, чтобы жениться. Я достаточно стар, чтобы готовиться к смерти, и великое любопытство охватывает меня при мысли о том, что случится со мною, когда я умру. Буду ли я навеки мертвым? Стану ли снова жить в стране сновидений — жить, как тень сновидения, вспоминающая дни, когда я жил в знойном мире и голод щекотал мой рот, а в груди вздымалась любовь к женщине?

Башти пожал плечами.

— Я тоже много об этом думал, — сказал он. — И, однако, ни к чему не пришел. Я не знаю. И ты не знаешь. Мы не будем знать, пока не умрем, если только сможем что-нибудь знать, когда уж станем не теми, кем были раньше. Но одно мы знаем, ты и я: племя живет, племя никогда не умирает. Поэтому, если есть вообще какой-нибудь смысл в нашей жизни, мы должны делать племя сильным. Твой долг перед племенем не выполнен. Ты должен жениться, чтобы твоя ловкость и отвага остались жить после тебя. У меня есть для тебя на примете жена, — нет, две жены, ибо дни твои сочтены, и я, конечно, доживу до той поры, когда

ты будешь подвешен к коньку дома для пирог, где висят мои отцы.

— Не стану платить за жену, — запротестовал Наласу. — Ни за какую жену не стану платить. Пачки табака или треснувшего кокоса не отдам за лучшую женщину в Сомо.

— Не тревожься, — спокойно продолжал Баштн. — Я заплачу выкуп за жену, за двух жен. Вот хотя бы Бубу. Я куплю ее для тебя за полкоробки табаку. Она — плотная и коренастая, широкобедрая, с круглыми ногами. А другая — Нену. Ее отец загнал большую цену — целую коробку табаку. Я куплю тебе и ее. Дни твои сочтены. Мы должны спешить.

— Не женюсь! — истерически крикнул старик.

— Женишься. Я приказал.

— Нет, говорю я, нет, нет, нет, нет! От жен одни неприятности. Они молоды, и головы у них забиты ерундой. И на язык они распущены. Я стар, привык к спокойствию, пламя жизни покинуло меня, я предпочитаю сидеть один в темноте и думать. Молодые болтливые создания, у которых и в голове и на языке одни глупости, сведут меня с ума. Непременно сведут с ума, и я стану плевать в каждую раковину, корчить рожи луне, выть и кусать себе вены.

— Если и сойдешь с ума, что за беда, раз семя твое не погибнет. За жен я заплачу отцам и пришлю тебе их через три дня.

— Не буду я с ними иметь дела, — в бешенстве заявил Наласу.

— Будешь, — спокойно сказал Башти. — А не то ты мне заплатишь. Я прикажу вывернуть тебе каждый сустав, и ты превратишься в студенистую рыбу, в жирную свинью с вынутыми костями; потом тебя положат на самую середину убойного поля, и будешь ты в муках пухнуть на солнцепеке. А что от тебя останется, велю бросить на съедение собакам. Семя твое не погибнет для Сомо. Я, Башти, так сказал. Через три дня я пришлю тебе твоих двух жен…

Он кончил, и наступило долгое молчание.

— Ну? — возобновил разговор Башти. — Или женись, или будешь лежать с вывихнутыми суставами на солнцепеке. Выбирай, но думай хорошенько раньше, чем выберешь вывихнутые суставы.

— И это на старости лет, когда отошли все печали юности! — простонал Наласу.

— Выбирай. Познаешь печаль и волнение, когда будешь лежать на убойном поле, а солнце припечет твои больные суставы и вытопит жир

из твоего тощего тела, как вытапливают сало из жареного поросенка.

— Присылай… — после долгой паузы выговорил с трудом Наласу. — Но присылай их через три дня, а не через два и не завтра.

— Хорошо. — Башти с важностью кивнул головой. — Не забудь, что тебя бы вовсе не было, если бы не те, жившие до тебя и давно уже пребывающие во мраке, кто трудился для того, чтобы племя могло жить и чтобы ты мог существовать. Ты существуешь. Они уплатили за тебя цену. Это твой долг. Ты вошел в жизнь, неся на себе этот долг. Ты уплатишь долг прежде, чем уйдешь из жизни. Таков закон. Это справедливо.

Глава XIX

Пришли Башти жен на два дня раньше назначенного срока или хотя бы на один день, Наласу пришлось бы вступить в пугавшее его чистилище брачной жизни. Но Башти сдержал свое слово, а на третий был слишком поглощен более важным делом, чтобы отсылать Бубу и Нену к слепому старику, с опаской их поджидавшему. А дело было в том, что на утро третьего дня на всех вершинах подветренного берега Малаиты появились сигнальные столбы дыма. Они несли вести: военный корабль появился у берега; большой военный корабль входит в коралловую лагуну у Ланга-Ланга. Молва росла. Военный корабль не остановился в Ланга-Ланга. Не остановился и в Бину. Он направляется в Сомо.

Наласу из-за своей слепоты не мог видеть эти дымные письмена, начертанные в воздухе. Дом его стоял на отлете, и никто не пришел уведомить старика. Первое предостережение он получил, когда пронзительные голоса женщин, плач детей и визг грудных младенцев донеслись с главной тропы, которая вела из деревни к нагорной границе Сомо. В этих звуках он прочел только

панический страх и вывел заключение, что деревенское население бежит в горные укрепления. Но причины бегства он не знал.

Он подозвал Джерри и приказал пойти на разведку к большой смоковнице, где тропинка Наласу пересекалась с главной тропой; там он должен наблюдать, а затем вернуться с отчетом. Джерри уселся под смоковницей и стал следить за бегством всего Сомо. Мужчины, женщины и дети, юноши и старцы, матери с грудными младенцами и патриархи, опиравшиеся на палки и посохи, поспешно проходили мимо, охваченные великой тревогой. Деревенские псы, испуганные не меньше людей, воя и скуля, бежали за ними. И Джерри едва не заразился общим ужасом. Он чувствовал побуждение присоединиться к беглецам, спасавшимся от какой-то неведомой катастрофы, которая надвигалась и будила в нем инстинктивную боязнь смерти. Но над этим импульсом одержало верх чувство долга перед слепым, который кормил и ласкал его в течение долгих шести месяцев. Вернувшись к Наласу, Джерри уселся между его коленями и сделал доклад. Он не умел считать дальше, чем до пяти, хотя и знал, что беглецов было во много раз больше. Поэтому он отметил пять мужчин и больше, пять женщин

и больше, пятеро детей и больше, пять собак и больше, даже свиней он не забыл — пять свиней и больше. Наласу по слуху определил, что беглецов было во много раз больше пяти, и спросил их имена. Джерри знал имена Башти, Агно, Ламаи и Лумаи. В его произношении эти имена отнюдь не напоминали обычного звукосочетания, а состояли из сопения и фырканья той стенографической речи, какой обучил его Наласу.

Наласу стал перечислять другие имена, которые Джерри знал по слуху, но сам произнести не мог; большей частью он отвечал утвердительно, наклоняя голову и одновременно поднимая правую лапу. Выслушав некоторые имена, он продолжал сидеть неподвижно в знак того, что их не знает. Если же людей, кому принадлежали знакомые Джерри имена, он не видел, то отвечал отрицательно, поднимая левую лапу.

И зная, что надвигается что-то ужасное, значительно более ужасное, чем нападение соседних приморских племен, которое легко могло отразить население Сомо, защищенное своими стенами, Наласу догадался, в чем дело: то мог быть только карательный военный корабль. Несмотря на свои шестьдесят лет, Наласу ни разу не видел бомбардировки деревни. Он слыхал неяс-

ную молву о пушечном обстреле других деревень, но никакого представления о нем не имел, думал только, что пули должны быть большего размера и лететь дальше, чем снайдеровские.

Но перед смертью ему суждено было познакомиться с пушечным обстрелом. Башти, давно поджидавший крейсер, который должен был отомстить за уничтожение «Эренджи» и снятые головы двух белых, успел подсчитать предстоящие убытки и теперь отдал приказ своему народу бежать в горы. В авангарде шли двенадцать молодых людей, неся завернутые в циновки головы. В арьергарде шли последние запоздавшие беглецы, когда Наласу, захватив свой лук и восемьдесят стрел, сделал первый шаг, чтобы последовать за ними. Джерри шел за ним по пятам. В эту минуту воздух над его головой был рассечен ужасающим звуком.

Наласу сразу присел. То был первый снаряд, какой он слышал, и он оказался в тысячу раз ужаснее, чем он воображал. Звук был оглушительный, раскалывающий небо, словно какое-то могущественное божество руками разодрало космическую ткань. Словно кто-то раздирал сложенные в кипу паруса, обширные, как земля, и необъятные, как небо.

Наласу не только опустился у самой двери своего дома, но и спрятал голову в колени и прикрыл ее руками. И Джерри, никогда, не слыхавший бомбардировки, не мог дать себе отчета в происходящем и был охвачен ужасом. Для него это была естественная катастрофа, вроде той, какая постигла «Эренджи», когда судно накренилось набок под ревущим ветром. Но, верный своей природе, он не припал к земле под визгом первого снаряда. Напротив, он ощетинился и угрожающе оскалил зубы, встречая то невидимое существо, какое на него надвигалось.

Наласу еще ближе припал к земле, когда снаряд разорвался вдали, а Джерри снова оскалил зубы и взъерошил шерсть. То же повторялось при каждом новом снаряде, которые визжали уже не так громко, но разрывались в джунглях все ближе и ближе. И Наласу, мужественно проживший всю свою долгую жизнь среди знакомых ему опасностей, был обречен умереть смертью труса, охваченный ужасом перед неведомым существом — химическим процессом, пославшим снаряд белых людей. По мере того как разрывы приближались, он терял последнее самообладание. Так велик был его панический страх, что он готов был прокусить себе вены и завыть. С безум-

ным воплем он вскочил на ноги и ринулся в дом, словно соломенная крыша его жилища и в самом деле могла защитить его голову от обстрела. Он ударился о косяк и, описав полукруг, упал на середину пола, а следующий снаряд угодил ему прямехонько в голову.

Джерри как раз дошел до порога, когда снаряд разорвался. Дом разлетелся на части, а с ним и Наласу. Джерри, стоявший на пороге, был подхвачен воздушным течением и отлетел шагов на двадцать в сторону. И в тот же момент что-то рухнуло на него. Казалось, то было землетрясение, волна прилива, извержение вулкана, небесный гром и огненная вспышка молнии. И он потерял сознание…

Он не имел представления, как долго пролежал. Прошло пять минут, прежде чем его ноги судорожно задергались; а когда он, одурманенный, шатаясь, поднялся на ноги, протекшее время словно стерлось в его памяти. О времени он вообще не думал. В сознании мелькнуло только, что секунду назад на него упал устрашающий удар, бесконечно более сильный, чем удар палки.

Горло и легкие были заполнены едким, удушливым дымом пороха, ноздри забиты землей и пылью; он отчаянно чихал и фыркал, метался,

падал на землю, словно пьяный, снова подпрыгивал, пошатываясь на задних лапах, наконец, опустив морду, стал тереть нос передними лапами, а потом зарылся носом в землю. Он думал только о том, чтобы уничтожить едкую боль в носу и во рту, прогнать из груди удушье.

Каким-то чудом разлетевшиеся осколки снаряда его не задели, а благодаря здоровому сердцу он не умер от сотрясения воздуха при взрыве. Лишь по истечении пяти минут бешеной борьбы, когда он вел себя ни дать ни взять, как только что зарезанная курица, жизнь снова показалась ему сносной. Удушье и боли стали проходить, и хотя он еще испытывал слабость и головокружение, все же засеменил по направлению к дому и к Наласу. Но ни дома, ни Наласу не было — оба были искрошены.

Снаряды по-прежнему визжали и разрывались то вблизи, то вдалеке, пока Джерри вникал в происшедшее. И дом, и Наласу, несомненно, исчезли. На обоих спустилось последнее *ничто*. Казалось, весь непосредственно близкий мир был обречен на уничтожение. Жизнь как будто еще оставалась там, среди высоких холмов и в далеких джунглях, куда уже скрылось племя Сомо. Джерри был верен своему господину, которому так долго

повиновался, хотя тот и был чернокожим. Наласу его кормил, и к нему Джерри был искренне привязан. Но этот господин перестал существовать.

Джерри стал удаляться, но удалялся не спеша. Сначала он всякий раз рычал, заслышав визг снаряда, летящего в воздухе, или взрыв в кустах. Но спустя некоторое время, хотя снаряды все еще действовали на него неприятно, он перестал рычать и скалить зубы, а шерсть на шее разгладилась.

Расставшись с тем, что некогда было и перестало существовать, он не визжал и не помчался, как лесная собака. Вместо этого он размеренной рысью и с достоинством побежал по тропинке. Выскочив на главную тропу, он нашел ее безлюдной. Последние беглецы прошли. Тропа, где обычно с утра до ночи шло движение, та тропа, которую Джерри так недавно видел запруженной народом, теперь своим безлюдьем говорила ему о конечности всех вещей в гибнущем мире. И потому Джерри не уселся под смоковницей, а побежал дальше за арьергардом племени.

Нюхом он читал историю бегства и только один раз наткнулся на страшную картину. То была целая группа, уничтоженная снарядом: пятидесятилетний мужчина на костыле — нога его была

отхвачена акулой, когда он был мальчишкой, — мертвая мэри с мертвым младенцем у груди и мертвым трехлетним ребенком, уцепившимся за ее руку, и две мертвые свиньи, большие и жирные, которых женщина гнала в безопасное место.

И нос Джерри рассказал ему, как поток беглецов раздвоился, обошел это место и снова слился. Джерри встречал следы бегства: полуобглоданный стебель сахарного тростника, брошенный ребенком; глиняная трубка с отбитым коротким мундштуком; перо, выпавшее из прически юноши; плошка с печеным мясом и сладким картофелем, осторожно поставленная у тропинки какой-нибудь мэри, уставшей ее тащить.

Тем временем обстрел прекратился. Вскоре Джерри услышал ружейную стрельбу: десант расстреливал домашних свиней на улицах Сомо. Но Джерри не слыхал, как срубались кокосовые пальмы, и так и не вернулся, чтобы поглядеть, какие опустошения произвели топоры.

Ибо как раз в это время с Джерри произошла чудесная вещь, какую еще не объяснил ни один из мировых мыслителей. В его собачьем мозгу проснулась свобода воли, которая для всех философов-метафизиков являлась постулатом бытия

Бога, а всех философов-детерминистов[31] водила за нос, несмотря на их определенное заявление, что свобода воли — чистейшая иллюзия. Как и почему он это сделал, Джерри знал столько же, сколько знает любой философ, почему он решил позавтракать кашей со сливками, а не двумя яйцами всмятку.

А Джерри, повинуясь мировому импульсу, выбрал не то, что легко и привычно, а как раз обратное: то, что казалось трудным и необыкновенным. Поскольку легче выносить известное, чем стремиться к неизвестному, и так как несчастье и страх заставляют бежать от одиночества, то легче всего было бы для Джерри последовать за племенем Сомо в его укрепления. А вместо этого Джерри свернул с пути отступающих и двинулся на север, к границам Сомо, и все дальше на север, в страну неведомого.

Если бы Наласу не перешел в последнее небытие, Джерри остался бы. Это правда, и, обсуждая его поступок, можно предположить именно такой ход мышления. Однако Джерри об этом не размышлял и вовсе ни о чем не думал: он дей-

---

[31] notes: 31

Детерминизм — учение о зависимости человеческой воли от закономерной связи явлений внешнего и внутреннего мира; учение это отрицает свободу воли.

ствовал импульсивно. Он мог сосчитать пять предметов и назвать их, но совершенно не способен был осознать, что остался бы в Сомо, не умри Наласу. Он уходил из Сомо, ибо Налусу был мертв, а ужасный обстрел отошел в область прошлого, тогда как настоящее сделалось живым. Бесшумно пробирался он по тропинкам диких лесных жителей, напряженно чуя притаившуюся смерть, которая, как ему было известно, бродит по этим тропам. При каждом шелесте в джунглях он напряженно настораживал уши, а глазами впивался в заросли, стараясь выяснить причину шума.

Колумб, весь целиком отдавшийся неизвестному, был не более отважен, чем Джерри, рискнувший войти в мрак джунглей черной Малаиты. И этот удивительный поступок, это великое проявление свободной воли он совершил так же, как совершают свои странствования по лицу земли люди, которые не могут усидеть на месте и отдаются дразнящей мечте.

Джерри так больше и не увидел Сомо, но Башти вернулся со своим племенем в тот же день и, хихикая и ухмыляясь, определил ничтожные убытки. Всего лишь несколько травяных домов пострадало от обстрела. И очень мало кокосовых

пальм было срублено. А чтобы убитые свиньи не испортились, их туши пошли на пиршественный стол. Один снаряд пробил брешь в береговой стене. Он приказал ее расширить для спусковых полозьев и укрепить по бокам коралловыми камнями и повелел построить добавочный дом для пирог. Досаду причинили ему только смерть Наласу и исчезновение Джерри — пропали оба объекта для примитивных экспериментов в области наследственности.

Глава XX

В джунглях Джерри прожил недолго, а в горы ему мешали пробраться лесные жители, постоянно охранявшие тропинки. С пищей ему пришлось бы туго, не встреть он на второй день одинокого поросенка, видимо, отбившегося от своей семьи. То было первое его охотничье приключение, и это помешало ему продвигаться дальше, так как, верный своему инстинкту, он не отходил далеко от убитого поросенка, пока не сожрал его.

Правда, он рыскал по соседству, но другой пищи добыть не мог и всякий раз возвращался к поросенку, пока его не прикончил. Свобода не дала ему счастья. Он был слишком приручен, слишком цивилизован. Слишком много тысячелетий прошло с тех пор, как его предки жили свободной, дикой жизнью. Он был одинок. Он не мог обойтись без человека. Слишком долго он и поколения его предков прожили в тесной близости с двуногими богами. Слишком долго его предки любили человека, за любовь служили ему, страдали и умирали за любовь, а взамен получали грубую ласку, мало понимания и немногим больше внимания.

Так велико было одиночество Джерри, что он порадовался бы и черному богу, раз уже белые боги давно отошли в область прошлого. Умей он делать выводы, он пришел бы к тому заключению, что все белые боги погибли. Следуя предпосылке, что черный бог лучше, чем полное отсутствие бога, Джерри, покончив с поросенком, изменил свой курс и двинулся налево, с холмов к морю. Поступил он так, опять-таки не рассуждая, а на основании запечатлевшегося в мозгу воспоминания о пережитом. Он жил всегда у моря и у моря всегда встречал людей, а холмы неизменно спускались к морю.

Он вышел на берег защищенной коралловыми рифами лагуны; здесь он увидел разрушенные травяные шалаши — следы живших тут людей. Джунгли завладели покинутой деревней. Шестидюймовые деревья, охваченные гнилыми остатками тростниковых крыш, сквозь которые они пробились к солнцу, вздымались над Джерри. Быстро растущие деревья затенили священные столбы, где идолы и тотемы, восседающие в пасти вырезанных из дерева акул, сквозь налет мха и пятнистых грибков ухмылялись зеленым чудовищным оскалом, издеваясь над суетой сует. От кокосовых пальм к спокойному морю

тянулись развалины маленького, жалкого приморского вала. Бананы, смоквы и плоды хлебного дерева гнили на земле. Повсюду валялись кости — человеческие кости, — и Джерри, обнюхав их, признал их за то, чем они были — эмблемы суетности жизни. Черепа ему не попадались, так как они служили украшением домов шаманов в гористых лесных деревнях.

Соленый привкус моря дразнил его обоняние, и он с удовольствием вдыхал зловоние мангиферового болота. Но вдруг, как новый Робинзон, наткнувшийся на след Пятницы, Джерри насторожился, как наэлектризованный. Он не увидел, а носом почуял свежий след ноги живого человека. То была нога негра, но негра живого, совсем недавно оставившего этот отпечаток; а проследив его ярдов на двадцать, он напал на след другой ноги, несомненно, принадлежавшей белому человеку.

Созерцай кто-нибудь эту сцену, он бы подумал, что Джерри внезапно взбесился. Он кидался, как сумасшедший, из стороны в сторону, вертелся, извивался, то утыкался носом в землю, то водил им по воздуху, бешено взвизгивая на бегу; почуяв новый запах, круто сворачивал под углом, метался то туда, то сюда, словно играя в пятнашки с

невидимым товарищем.

А в действительности он читал то, что было написано людьми на земле. Тут прошел белый человек, вынюхивал Джерри, а с ним несколько чернокожих. А здесь негр влез на кокосовую пальму и стряхнул орехи. Там с бананового дерева сняли пучки плодов, а дальше та же участь, несомненно, постигла и хлебное дерево. Только одно приводило его в недоумение — новый для него запах, который не был ни запахом чернокожего, ни запахом белого. Обладай он нежными знаниями и умением всматриваться, он бы отметил, что отпечаток ноги меньше мужского, а пальцы, в отличие от чернокожей мэри, сближены и не так глубоко вдавливаются в землю. А с толку его сбивал незнакомый запах талька, раздражавший ноздри и не встречавшийся ни разу с тех пор, как он научился нюхом узнавать след человека. И с запахом талька смешивались другие, более слабые запахи, также совершенно ему незнакомые.

Но Джерри недолго останавливался на этой тайне. Почуяв след белого человека, он проследил его сквозь лабиринт всех других следов, через брешь в приморской стене, до песчаной коралловой косы, омываемой морем. Самые свежие отпечатки ног он нашел в том месте, где нос лод-

ки врезался в берег, а люди высаживались из нее, а потом снова в нее уселись. Он нюхом почуял все, здесь происходившее, и, опустив передние лапы в воду, пока она не коснулась его плеч, поглядел на лагуну — туда, где терялся след.

Приди Джерри получасом раньше, он бы увидел лодку без весел, с газолиновым двигателем, летящую по спокойной воде. А теперь он увидел «Эренджи». Правда, этот «Эренджи» был значительно больше прежнего «Эренджи», но такой же белый, длинный, с мачтами, и плыл он по поверхности моря. На нем были три величественных мачты — все одной вышины, — но Джерри был не настолько наблюдателен, чтобы уловить разницу между ними и двумя мачтами «Эренджи» — короткой и длинной. Джерри знал один только плавучий мир — окрашенный в белый цвет «Эренджи». А раз это был «Эренджи», то на борту должен находиться его возлюбленный шкипер. Если может воскресать «Эренджи», то почему не воскреснуть и шкиперу? И Джерри, проникнутый верой, что мертвая голова, виденная им в последний раз на коленях у Башти, снова присоединилась к двуногому туловищу и находится на палубе белого плавучего мира, пошел вброд до глубокого места, а затем поплыл.

Джерри рисковал многим, так как, бросаясь в море, нарушал величайшее и старейшее из всех усвоенных им табу. В его словаре не было слова «крокодил», но таким же сильным, как членораздельное слово, жил в его мыслях страшный образ — образ плавучего бревна. Но бревно было живым существом, могло плавать и на поверхности воды и под водой и ползти по суше; у этого бревна были огромные зубастые крепкие челюсти, и оно несло верную смерть всякой плывущей собаке.

И все-таки Джерри продолжал бесстрашно нарушать табу.

В отличие от человека, который может одновременно испытывать два настроения и, плывя, знать страх и мужество, берущее верх над страхом, Джерри сознавал лишь одно: он плывет к «Эренджи» и к шкиперу. В момент, предшествовавший первому взмаху лап в глубокой воде, он сознавал весь ужас умышленного нарушения табу. Но, пустившись вплавь, приняв решение и избрав линию наименьшего сопротивления, он весь, единым умом и сердцем, сосредоточился на том, что плывет к шкиперу.

Ему мало приходилось практиковаться в плавании, и сейчас он напрягал все силы, подвывая, и в этом вое выражая свою страстную любовь к

шкиперу, который, несомненно, должен быть на борту белой яхты, на расстоянии полумили от него. Его маленькая песенка, полная любви и острого беспокойства, донеслась до слуха мужчины и женщины, отдыхавших в креслах под палубным тентом, а зоркая женщина первая увидела золотистую голову Джерри и вскрикнула.

— Спусти лодку, муженек! — скомандовала она. — Что, собачка? Как бы она не утонула!

— Собаки не так-то легко тонут, — был ответ «муженька». — Выбьется. Но как попала сюда собака? — Он поднес к глазам свой морской бинокль и секунду всматривался. — Да к тому же собака белых людей!

Джерри ударял лапами по воде и упорно плыл вперед, не сводя глаз с приближавшейся яхты, как вдруг почуял близость опасности. Табу карало его. Навстречу ему двигалось плавучее бревно, которое было не бревном, а чем-то живым и грозным. Он видел, как часть его двигается над поверхностью воды, и, раньше чем оно целиком погрузилось в воду, Джерри уловил какую-то разницу между ним и плавучим бревном.

Затем что-то пронеслось мимо него, а он ответил рычанием и зашлепал передними лапами по воде. Его едва не закрутило в водовороте, так

как скользнувшее существо пугливо взметнуло хвостом. То была акула, а не крокодил, и она не отступила бы так робко, если бы не была уже сыта по горло, прикончив большую морскую черепаху, которая по старости лет не сумела спастись.

Джерри не видел, но чувствовал, что это существо, грозящее гибелью, вертится неподалеку. Не видел он и спинного плавника, показавшегося над водой и приближавшегося к нему с тыла. С яхты раздались частые ружейные выстрелы, и в тылу началась паника, послышался плеск воды. Тем и кончилось дело. Опасность миновала и была забыта. И Джерри не связывал ружейные выстрелы с уничтожением опасности. Он не знал, и никогда не суждено ему было узнать, что некто, по имени Гарлей Кеннан, или «муженек», как называла его женщина, именуемая им «женушкой», собственник трехмачтовой яхты «Ариэль», спас ему жизнь, пробив ружейной пулей основание плавника акулы.

Но Джерри суждено было в самом непродолжительном времени узнать Гарлея Кеннана, так как сам Гарлей Кеннан, обвязанный под мышками булинем[32], был спущен двумя матросами

[32] notes: 32
Булинь — веревка для подтягивания наветренной стороны паруса.

за борт гостеприимного «Ариэля» и ухватил за загривок гладкошёрстного ирландского терьера. А Джерри, повиснув над водой, даже не удостоил его взглядом, так как искал только одно знакомое ему лицо и жадно вглядывался в людей, свесившихся через перила.

Очутившись на палубе, Джерри не стал терять времени на изъявление благодарности, а, инстинктивно отряхнувшись на бегу, понесся искать шкипера. Муж и жена рассмеялись.

— Он ведет себя так, словно с ума сошел от радости, — заметила миссис Кеннан.

— Не в том дело, — возразил мистер Кеннан. — У него, должно быть, какого-нибудь винтика не хватает. Быть может, у него, как у зубчатого колеса, соскочила задерживающая полоска. Вот он и не может остановиться, пока не убегается.

Тем временем Джерри продолжал носиться по палубе вдоль обоих бортов, от кормы до носа и обратно, виляя обрубленным хвостом и дружелюбно улыбаясь многочисленным двуногим богам, попадавшимся ему на пути. Будь он способен на отвлеченные рассуждения, он был бы поражен количеством белых богов. Их было не меньше тридцати, не считая других богов — ни черных, ни белых, — которые, тем не менее, хо-

дили на двух ногах, были одеты и, несомненно, являлись богами. Кроме того, будь он способен к подобному обобщению, он бы решил, что еще не все белые боги перешли в небытие. Но Джерри все это воспринимал бессознательно.

А шкипера нигде не было. Джерри сунул нос в люк на баке и в камбуз, где два повара-китайца залопотали что-то непонятное, и в рубку, и в люк машинного отделения, где впервые познакомился с запахом газолина и машинного масла; но сколько он ни принюхивался и где бы ни бегал, запаха шкипера не находил.

У штурвала он готов был сесть и завыть от горького разочарования, но тут к нему обратился белый бог, по-видимому, особа важная, в форменном кителе и белоснежной полотняной фуражке, обшитой золотом. Джерри, всегда вежливый, сейчас же улыбнулся, любезно прижав уши, завилял хвостом и приблизился. Рука этого важного бога уже почти коснулась его головы, когда по палубе пронесся женский голос. Слов Джерри не понял, но почувствовал в них властное приказание. Бог, одетый в белое с золотом, быстро отдернул руку, уже почти коснувшуюся его головы, выпрямился, как наэлектризованный, и указал Джерри вдоль палубы, поощряя его словами; Джерри мог только

догадаться, что его направляют к той, которая выразила свою волю в словах:

— Капитан Винтерс, пожалуйста, пришлите его ко мне.

Джерри изогнулся всем телом, восторженно повинуясь, и с готовностью просунул бы голову под ее ласково протянутую руку, если бы его не остановило что-то странное в ней, отличное от других людей. Он застрял на полдороге и, оскалив зубы, попятился от ее раздуваемой ветром юбки. Из женщин он знал только голых мэри. Эта юбка, хлопающая под ветром, как парус, напомнила ему грозный грот «Эренджи», трещавший и бившийся над его головой. Голос ее был ласковый и вкрадчивый, но страшную юбку по-прежнему раздувал ветерок.

— Ах ты, смешная собака! — расхохоталась миссис Кеннан. — Я не собираюсь тебя укусить.

А ее муж протянул сильную руку и привлек к себе Джерри. И Джерри в восторге извивался под лаской бога и лизал его руку красным мелькающим языком. Затем Гарлей Кеннан направил его к женщине, сидевшей в кресле и протягивавшей ему навстречу руки. Джерри повиновался. Он приблизился с прижатыми ушами и смеющейся мордой, но не успела она его коснуться, как ветер

снова стал трепать юбку, и Джерри с ворчанием отступил.

— Он не тебя боится, Вилла, а твоей юбки, — сказал Кеннан. — Быть может, ему никогда не приходилось видеть юбку.

— Ты, видимо, думаешь, — заметила та, — что здешние людоеды имеют образцовые псарни. Ведь этот собачий авантюрист — ирландский терьер чистейшей породы. Это так же верно, как и то, что «Ариэль» — шхуна, обшитая орегонской сосной.

Гарлей Кеннан засмеялся, соглашаясь с ней. Засмеялась и она; а Джерри, поняв, что перед ним пара счастливых богов, сам стал смеяться. По собственной инициативе он приблизился к женщине-богу, привлекаемый тальковым порошком и другими более слабыми ароматами, в которых уже успел узнать странные запахи, встреченные на берегу. Но злополучный пассат снова раздул ее юбку, и снова Джерри отступил — на этот раз не так далеко и уже не рыча, а лишь слегка оскалив клыки.

— Он боится твоей юбки, — настаивал Гарлей. — Посмотри на него! Он хочет к тебе подойти, а юбка его отпугивает. Подбери ее, чтобы она не развевалась, и увидишь, что будет.

Вилла Кеннан последовала совету, и Джерри осторожно подошел и подсунул голову под ее руку, обнюхивая ее ноги. В них он узнал те самые ноги, которые шли разутые по заброшенным тропам прибрежной деревни.

— Не может быть никаких сомнений, — заявил Гарлей. — Эта собака появилась на свет в результате тщательного отбора и воспитана белым человеком. У него есть прошлое. Он пережил исключительные приключения. Если бы он мог нам рассказать свою историю, мы бы слушали, зачарованные, по целым дням. Уж можешь мне поверить — он не всю свою жизнь провел с чернокожими. Давай испытаем его на Джонни.

Джонни, которого подозвал к себе Кеннан, был предоставлен в их распоряжение полномочным резидентом британских Соломоновых островов, жившим в Тулаги, и служил Кеннану лоцманом и гидом. Джонни, ухмыляясь, приблизился, а поведение Джерри резко изменилось. Тело его напряглось под рукой Виллы Кеннан, он отошел от нее и, не сгибая ног, двинулся к чернокожему. Уши Джерри не были прижаты, и он уже не улыбался дружелюбно, когда осматривал Джонни и обнюхивал его голые икры, чтобы уметь опознать его в будущем. Но он был в высшей степени

вежлив и после самого поверхностного осмотра вернулся к Вилле Кеннан.

— А что я говорил? — торжествовал ее муж. — Он понимает разницу в цвете. Это собака белого человека, и ее выдрессировали соответствующим образом.

— Мой говорит, — начал Джонни. — Мой знает этот собака. Мой знает его папа и мама. Большой белый господин мистер Хаггин живет в Мериндже, и там живет папа и мама этот собака.

Гарлей Кеннан перебил его, возбужденно воскликнув:

— Ну, конечно! Ведь резидент рассказал мне об этом. «Эренджи», захваченный племенем Сомо, отплыл с плантации Мериндж. Джонни узнал в собаке ту же породу, какую, должно быть, держит Хаггин в Мериндже. Но с тех пор прошло немало времени. Собака была тогда еще щенком. Ну, конечно, это собака белых.

— Однако ты не заметил главного доказательства, — поддразнила его Вилла Кеннан. — А это доказательство собака носит на себе.

Гарлей тщательно осмотрел Джерри.

— Неоспоримое доказательство, — настаивала она.

После вторичного длительного осмотра Кеннан

покачал головой.

— Ей-богу, не вижу ничего столь неоспоримого, чтобы отмести все возражения.

— А хвост? — залилась смехом его жена. — Ведь туземцы не отрубают хвостов у своих собак… Джонни, черный человек в Малаите не режет собаке хвост?

— Не режет, — согласился Джонни. — Мистер Хаггин в Мериндже, он режет. Мой говорит, он резал хвост этот собака.

— Значит, эта собака одна только и уцелела с «Эренджи», — заключила Вилла Кеннан. — Вы согласны со мной, Шерлок Холмс — Кеннан?

— Преклоняюсь перед вами, миссис Шерлок Холмс, — галантно ответил ее муж. — Вам остается только повести меня туда, где находится голова самого Лаперуза. В морских записях имеются указания, что он ее оставил где-то на этих островах.

Они и не подозревали, что Джерри жил в тесной близости с неким Башти. А в это самое время, всего в нескольких милях вдоль по берегу, в Сомо, сидел в своем травяном доме Башти и размышлял над лежавшей на его иссохших коленях головой, которая была некогда головой великого мореплавателя и чья история была забыта сыновьями вождя, снявшего ее.

Глава XXI

Красивая трехмачтовая шхуна «Ариэль» совершала кругосветное плавание и вышла из Сан-Франциско за год до того, как Джерри попал к ней на борт. Как мир, и при этом мир белых богов, она казалась ему вне всяких сравнений. Она была больше «Эренджи», и чернокожие не сновали на ней повсюду; и на носу, и на корме, и на палубе, и внизу Джерри нашел на ней только одного чернокожего — Джонни; остальное же ее пространство было заполнено двуногими белыми богами.

Джерри встречал их везде: и у руля и на вахте, они мыли палубу, полировали медные части, взбирались наверх и натягивали паруса. Но тут была разница. Боги были разные, и Джерри скоро усвоил, что в иерархии этих белых богов «Ариэля» матросы и прочая судовая команда стояли значительно ниже капитана и его двух помощников, одетых в белое с золотом. А эти, в свою очередь, были ниже Гарлея Кеннана и Виллы Кеннан, ибо им, как быстро обнаружил Джерри, приказания отдавал Гарлей Кеннан. Однако кое-что Джерри не знал, и не суждено было ему это узнать, а

именно: кто был верховным божеством на «Ариэле»? Эту загадку он и не пытался разрешить, ибо на подобное мышление был неспособен; он так никогда и не узнал, командовал ли Гарлей Кеннан Виллой или Вилла Кеннан — Гарлеем? Не утруждая себе голову разрешением этой проблемы, Джерри принял их верховное господство над миром, как дуалистическое[33]. Ни один не превосходил другого. Казалось, они правили как равные, а все остальные перед ними склонялись.

Неверно, будто необходимо кормить собаку, чтобы завоевать собачье сердце. Гарлей и Вилла никогда не кормили Джерри; однако их он избрал своими господами, их пожелал любить и им служить, а не японцу-баталеру, аккуратно его кормившему. Дело в том, что Джерри, как и всякая собака, умел уловить разницу между тем, кто дает ему есть, и тем, кто приказывает его кормить. Подсознательно он понимал, что не только его собственная кормежка, но и пропитание всех на борту зависит от мужчины и женщины. Это они всех кормили и всеми управляли. Капитан Винтерс мог отдавать приказания матросам,

[33] notes: 33

Дуализм — в политике — двойственность правления (например, когда власть принадлежит народу в лице его представителей и правительству в одинаковой степени).

но сам получал приказания от Гарлея Кеннана. Джерри был в этом убежден и действовал соответственно, хотя это никогда сознательно не приходило ему в голову.

И как всегда в своей жизни — как это было с мистером Хаггином, со шкипером и даже с Башти и верховным шаманом Сомо — Джерри привязался к верховным богам, а со стороны низших богов принимал соответствующие знаки внимания. Как шкипер на «Эренджи» и Башти в Сомо провозгласили табу на Джерри, так и владельцы «Ариэля» защитили его табу. Пищу получал Джерри от Сано, японца-баталера, — и только от него. Ни один матрос не смел ему предложить кусочек сухаря или пригласить на берег пробежаться, а Джерри не мог принять такое предложение. Но они и не предлагали. Не разрешалось им и фамильярничать с Джерри, затеять с ним игру или позвать его свистом.

Джерри по натуре своей был собакой «одного господина», а потому все это было для него очень приемлемо. Конечно, намечались известные градации, но никто не разбирался в них с такой тонкостью и точностью, как сам Джерри. Так, обоим помощникам разрешалось приветствовать его словами «алло» и «здоро́во» и даже дружески

погладить по голове. А с капитаном Винтерсом допускалась большая фамильярность. Капитан Винтерс мог трепать его за уши, здороваться с ним за лапу, чесать ему спину и даже хватать за морду. Но капитан Винтерс неизменно оставлял его в покое, когда на палубе показывались Кеннаны.

Что касается вольностей очаровательных и шаловливых — только Джерри, одному из всех находившихся на борту, разрешалось вольничать с мужем и женой, а с другой стороны — только им двоим и позволял он такие же вольности. Всякую выходку, какая приходила на ум Вилле Кеннан, он принимал, замирая от счастья; так, например, она завертывала ему внутрь уши и одновременно заставляла его служить; чтобы сохранить равновесие, он беспомощно махал передними лапами, а она шутливо дула ему в нос. Такими же вольными были и шутки Гарлея Кеннана; застав Джерри сладко спящим на подоле юбки Виллы, он начинал щекотать его между пальцами. Джерри бессознательно отбрыкивался во сне, а проснувшись, слышал взрыв смеха по своему адресу.

По вечерам на палубе Вилла шевелила пальцами под одеялом, подражая какому-то странному

ползущему животному, а Джерри прикидывался одураченным и приводил в полный беспорядок ее постель, яростно накидываясь на крадущееся животное, хотя прекрасно знал, что это были всего-навсего ее пальцы. К взрывам ее смеха примешивались возгласы почти подлинного испуга, когда Джерри едва не хватал ее зубами за ногу, и дело всегда кончалось тем, что Вилла заключала его в свои объятия и замиравший смех щекотал ему уши, любовно прижатые назад. Кто еще из находившихся на борту «Ариэля» дерзнул бы так безобразничать на постели богини? Этого вопроса Джерри себе не задавал; однако он прекрасно понимал, какими исключительными милостями пользуется.

Еще одну вольную шалость Джерри придумал случайно. Как-то он любовно подсунул морду к ее лицу и нечаянно ткнулся своим твердым носом с такой силой, что она вскрикнула и отшатнулась. А когда это случилось вторично, он уже сознательно отметил, какое впечатление это производит на Виллу, и с тех пор всякий раз, как она начинала слишком вольно над ним подшучивать и дразнить его, он совался мордой в ее лицо, заставляя ее откидывать голову. Вскоре он убедился, что своей настойчивостью может

заставить Виллу сдаться: она прижимала его к себе, и ее журчащий смех лился прямо ему в уши; и с той поры он упорно играл свою роль, пока не добивался такой восхитительной капитуляции и радостной развязки игры.

В этой игре гораздо больнее приходилось его нежному носу, чем ее подбородку или щеке, но и сама боль доставляла ему удовольствие. Все это было шуткой, и вдобавок еще любовной шуткой. Такая боль казалась ему счастьем.

Все собаки поклоняются божеству. Джерри оказался счастливее большинства собак: он обрел любовь двух богов; хотя они и командовали им, но и любили сильнее. Правда, нос его угрожал ударить щеку любимого бога, но Джерри скорей отдал бы по капле всю кровь своего сердца, чем согласился сделать больно. Он жил не ради куска хлеба, не ради пристанища, не ради уютного местечка в мире, окутанном мраком. Он жил ради любви. И за любовь он готов был умереть с такой же радостью, с какой ради любви жил.

В Сомо воспоминания о шкипере и мистере Хаггине не скоро могли стереться. Жизнь в деревне каннибалов не удовлетворяла Джерри. Слишком мало было там любви. Только любовь может изгладить память о любви, или, вернее,

боль утраченной любви. А на борту «Ариэля» этот процесс совершился быстро. Джерри не забыл шкипера и мистера Хаггина. Но в те минуты, когда он их вспоминал, тоска по ним была менее острой и мучительной. Он стал реже вспоминать их и видеть во сне, а сны Джерри, как и всех собак, были отчетливые и яркие.

Глава XXII

Яхта «Ариэль» лениво двигалась на север вдоль подветренного берега Малаиты, пробивая себе путь по красочной лагуне, окаймленной рифами. Яхта рисковала проходить в такие узкие, усеянные кораллами проливы, что у капитана Винтерса, по его словам, с каждым днем прибавлялась новая тысяча седых волос на голове. Якорь бросали у каждого укрепленного кораллового островка и у каждого мангиферового болота, где могли обитать каннибалы. Гарлею и Вилле Кеннан некуда было спешить. Пока путешествие их занимало, они не беспокоились о том, сколько времени тянется переезд с одного места на другое.

За это время Джерри усвоил свое новое имя — вернее, целую серию имен. Это объяснялось тем, что Гарлею Кеннану не хотелось давать ему новую кличку.

— Какое-нибудь имя у него было, — убеждал он Виллу. — Хаггин, несомненно, дал ему кличку, перед тем как отправить на «Эренджи». Пусть уж он остается безымянным, пока мы не вернемся в Тулаги и не узнаем его настоящего имени.

— Велика важность — имя! — стала поддразнивать Вилла.

— Это очень важно. Представь себе, что ты потерпела кораблекрушение и твои спасители называют тебя миссис «Ригге», или мадемуазель «де-Монен», или просто — «Топси». А меня — «Бенедикт Арнольд», или «Иуда», или… или… «Аман». Нет, пусть остается без имени, пока мы не узнаем его первоначальной клички.

— Но должна же я как-нибудь его называть, — не соглашалась Вилла. — Иначе как я буду о нем думать?

— Ну так давай ему разные клички, но никогда не повторяй одной и той же. Называй его сегодня «Пес», завтра — «мистер Пес», послезавтра как-нибудь иначе.

И с тех пор, угадывая скорее по тону, ударению и по обстоятельствам момента, Джерри стал смутно отожествлять себя с кличками: Пес, мистер Пес, Авантюрист, Силач, Глупыш, Безымянный и Горячее Сердце. То были лишь несколько из многочисленных прозвищ, расточаемых Виллой. Гарлей, в свою очередь, называл его: Мужественный Пес, Неподкупный, Некто, Грешник, Золотой, Сатрап Южных Морей, Немврод, Юный Ник и Убийца Львов. Короче, и муж и жена соперничa-

ли друг с другом, давая ему всевозможные имена и никогда не повторяясь. А Джерри, не столько по звукам и слогам, сколько по любовной интонации, быстро научился отожествлять себя со всяким новым прозвищем. Он больше не думал о себе, как о Джерри, и своим именем признавал всякое слово, звучащее ласково и любовно.

Большим разочарованием — если только можно считать разочарованием неосознанную неудачу — окончилась его попытка разговаривать. Ни один человек на борту, не исключая Гарлея и Виллы, не говорил на языке Наласу. Весь богатый словарь Джерри и его умение пользоваться им, какое могло выдвинуть его как феномен из среды всех прочих собак, тратились зря на борту «Ариэля». Обитатели «Ариэля» не понимали и не догадывались о существовании стенографического языка, которому обучил его Наласу, и со смертью Наласу этот язык знал во всем мире один только Джерри.

Тщетно пытался Джерри разговаривать с богиней. Сидя перед ней и положив вытянутую голову на ее руки, он говорил и говорил, но ни разу не услышал от нее ответного слова. Еле слышно повизгивая, скуля, сопя, издавая горлом разнообразные звуки, он старался рассказать ей

что-нибудь из своей жизни. Она вся была воплощенное внимание: так близко подставляла ухо к его рту, словно хотела утопить его в струящемся благоухании своих волос, и все же ее мозг не воспринимал его речи, хотя сердцем она, несомненно, чуяла его намерение.

— Боже мой, муженек! — восклицала она. — Ведь Пес говорит. Я знаю, что он говорит. Он мне рассказывает всю свою жизнь. Я знала бы о нем все, если бы могла понять. Но мои несчастные несовершенные уши ничего не улавливают.

Гарлей отнесся к этому скептически, но женская интуиция ее не обманывала.

— Я в этом уверена! — убеждала она мужа. — Говорю тебе, он мог бы рассказать нам историю всех своих приключений, если бы мы его понимали. Ни одна собака не разговаривала так со мной. Это настоящий рассказ. Я чувствую все его оттенки. Иногда я почти уверена, что он говорит о радости, о любви, о великих битвах. А потом слышится негодование, оскорбленная гордость, отчаяние…

— Ну, естественно, — спокойно согласился Гарлей. — Собака белых, заброшенная к людоедам на остров Малаиту, несомненно, испытывала подобные чувства; и — так же естественно — же-

на белого человека, женушка, очаровательная женщина Вилла Кеннан может себе представить переживания собаки и найти в ее бессмысленном визге рассказ об этих переживаниях, не замечая, что все это — лишь ее собственная очаровательная, милая выдумка. Песня моря срывается с губ раковины… Вздор! Человек сам создает песню моря и приписывает ее раковине.

— А все-таки…

— А все-таки ты права, — галантно перебил он. — Всегда права, в особенности когда коренным образом ошибаешься. Разумеется, оставим в стороне таблицу умножения или мореплавание, где сама реальность ведет корабль среди скал и отмелей; но в остальном ты права, тебе доступна сверхистина, которая выше всего, а именно — истина интуитивная.

— Вот ты теперь меня высмеиваешь с высоты своей мужской мудрости, — возразила Вилла. — Но я знаю… — она приостановилась, ища слова посильнее, но слова изменили ей, и она прижала руку к сердцу с таким авторитетным видом, что все слова оказались лишними.

— Согласен, преклоняюсь, — весело рассмеялся он. — Это именно то, что я сказал. Наши сердца почти всегда могут переспорить наши головы.

А лучше всего то, что наши сердца всегда правы — вопреки статистике, утверждающей, будто они большей частью ошибаются.

Гарлей Кеннан так никогда и не поверил рассказу своей жены о повествовательных способностях Джерри. И всю свою жизнь, до последнего дня, считал это милой фантазией, поэтическим вымыслом Виллы.

Но Джерри, четвероногий гладкошёрстный ирландский терьер, действительно обладал даром речи. Хотя он и не мог обучать других, но сам был способен изучать языки. Без всяких усилий, быстро, даже не обучаясь, он стал усваивать язык «Ариэля». К несчастью, то не был урчащий и придыхательный язык, доступный собакам, какой изобрел Наласу, и Джерри, научившись понимать многое из того, что говорилось на «Ариэле», сам не мог воспроизвести ни слова. Для богини у него было по меньшей мере три имени: «Вилла», «Женушка» и «Миссис Кеннан», ибо так называли ее окружающие. Но он не мог называть ее этими именами. То был исключительно язык богов, и говорить на нем могли только боги. Он не походил на язык, изобретенный Наласу и являвшийся компромиссом между речью собак и речью богов, так что бог и собака могли между

собой разговаривать.

Таким же образом выучил Джерри и различные имена мужского божества: «Мистер Кеннан», «Гарлей», «Капитан Кеннан» и «Шкипер». И только присутствуя третьим в их интимном кругу, Джерри узнал другие имена: «Муженек», «Супруг», «Дорогой», «Возлюбленный», «Мое сокровище». Но никоим образом не мог Джерри выговорить эти имена.

Однако в спокойную ночь, когда ветер не шелестел в кустах, Джерри часто шепотом называл по имени Наласу.

Однажды Вилла, распустив волосы, мокрые после купания в море, сжала обеими руками морду Джерри и, наклонившись к нему так близко, что он почти мог коснуться языком ее носа, стала напевать: «Не знаю, как его назвать, но он похож на розу!»

На другой день она повторила эту фразу и пропела почти всю песенку в самые его уши. А в разгар пения Джерри удивил ее. Пожалуй, с не меньшим правом можно сказать, что он и сам удивился. Сознательно он никогда еще так не поступал. И сделал он это без всякого умысла. Он вовсе не намеревался это делать. В самом поступке заключалось принуждение его совершить. От

этого поступка он не мог воздержаться, как не мог не отряхнуться после купания или не брыкнуть во сне ногой, если его щекочут.

Когда ее голос стал мягко вибрировать, Джерри показалось, что она обволакивается перед его глазами какой-то дымкой, а сам он, под влиянием нежного, томительного напева, переносится в какое-то другое место. И тут он сделал удивительную вещь. Он резко, почти судорожно присел, высвободил морду из ее рук и опутывавшей паутины распущенных волос и, подняв нос кверху под углом в сорок пять градусов, начал дрожать и громко дышать под ритм ее песни. Затем так же судорожно он вздернул нос к зениту, и поток звуков полился кверху, вздымаясь крещендо и медленно ослабевая до полного замирания.

Этот вой послужил началом, и за него Джерри получил кличку «Певец-Глупыш». Вилла Кеннан обратила внимание на завывания, вызывавшиеся ее пением, и сейчас же занялась их развитием. Джерри всегда повиновался, когда она, усевшись, ласково протягивала к нему руки и приглашала: «Иди сюда, Певец-Глупыш!» Он подходил, садился так, что благоухание ее волос щекотало ему ноздри, мордой прижимался к ее щеке, а нос поднимал кверху около ее уха и при первых

же звуках ее тихой песни начинал ей вторить. Минорные мотивы особенно его провоцировали, а раз начав, он пел с ней, сколько ей хотелось.

И это действительно было пение. Способный ко всем видам звукоподражания, он быстро научился смягчать и понижать свой вой, пока он не становился мелодичным и бархатистым. И вой его замирал чуть ли не до шепота, вздымался и падал, то ускоряя, то замедляя темп, повинуясь ее голосу.

Джерри наслаждался пением, как курильщик опиума своими грезами. И он грезил смутно и неясно, грезил наяву, с широко раскрытыми глазами, а волосы богини благоуханным облаком его окутывали, ее голос заунывно ему вторил, его сознание тонуло в грезах о нездешнем, долетавшем к нему из песни. Ему вспоминалось страдание, но страдание давно забытое и потому переставшее быть болью. Скоро оно наполняло его сладостной грустью и уносило с «Ариэля» (бросившего якорь в какой-нибудь коралловой лагуне) в нереальную страну нездешнего мира.

И в такие минуты перед ним вставали видения. Казалось, он сидит в холодном мраке ночи на пустынном холме и воет на звезды, а из темноты, издалека, несется к нему ответный вой.

И поднимаются другие завывания — вблизи и вдалеке, — пока ночь не зазвучит родными ему голосами. То родня его. Сам того не зная, он приобщался к содружеству страны «нездешней».

Наласу, обучая его языку сопения и урчания, намеренно обратился к его рассудку; а Вилла, не зная, что она делает, нашла путь к его сердцу и к сердцу его предков, затронув глубочайшие струны воспоминаний о далеком прошлом и заставив их вибрировать.

Вот пример: смутные образы являлись ему иногда из ночи, как призраки, скользили мимо, и он слышал, словно во сне, охотничьи крики собачьей стаи; пульс его ускорялся, пробуждался его собственный охотничий инстинкт, и сдержанное, мягкое подвывание переходило в страстный визг. Его голова опускалась, освобождаясь от паутины женских волос, ноги начинали беспокойно, судорожно подергиваться, словно порываясь бежать, и в одну секунду он уносился прочь и летел по лику времени из реальности в сон.

И подобно тому, как люди вечно жаждут зелья из мака и конопли, так и Джерри тянулся к радостям, выпадавшим на его долю, когда Вилла Кеннан открывала ему свои объятия, окутывала паутиной волос и пением уносила его сквозь вре-

мя и пространство в сон, к его древним предкам.

Не всегда, однако, испытывал Джерри эти ощущения, когда они пели вместе. Обычно видения ему не являлись, и он переживал лишь смутные, сладостно-грустные настроения, похожие на сонм воспоминаний. Иногда, под влиянием этой грусти, всплывали в его мозгу образы шкипера и мистера Хаггина, образы Терренса и Бидди, и Майкла, и видения давно исчезнувшей жизни на плантации Мериндж.

— Дорогая моя, — сказал однажды Гарлей, — счастье для Джерри, что ты — не дрессировщица животных, а то ведь твое имя не сходило бы с афиш мюзик-холлов и цирков всего земного шара.

— Ну, что ж! — ответила она. — Я уверена, что он бы с восторгом выступал со мной…

— Что было бы в высшей степени необычайно, — перебил Гарлей.

— Почему?

— Один шанс на сто, что животное любит свою работу или пользуется любовью своего дрессировщика.

— Я думала, что со всякой жестокостью в этой области давным-давно покончено, — сказала Вилла.

— И публика так думает, но в девяноста девяти случаях публика ошибается.

Вилла глубоко вздохнула.

— Пожалуй, придется мне бросить такую соблазнительную и прибыльную карьеру в тот самый момент, когда ты ее для меня открыл. А как великолепно выглядели бы афиши и мое имя огромными буквами…

— Вилла Кеннан, певица с голосом дрозда, и Певец-Глупыш, ирландский терьер, тенор, — процитировал Гарлей заглавные строки афиши.

И Джерри, высунув язык, с бегающими глазами, присоединился к смеху. Он не знал, над кем они смеются, но по смеху понял, что они счастливы, а любовь побуждала его радоваться вместе с ними.

Джерри нашел то, чего жаждал существом, — любовь божества. И он любил обоих богов, признав их совместное господство на «Ариэле». Но, пожалуй, женское божество он любил больше. Такой любви он никогда еще не испытывал, не исключая и его любви к шкиперу, а объяснялось это тем, что она проникла в глубочайшие тайники его сердца своим волшебным голосом, уносившим Джерри в нездешнюю страну.

Глава XXIII

Джерри вскоре узнал, что на борту «Ариэля» преследовать негров не полагается. Горя желанием понравиться и услужить своим новым богам, он воспользовался первым удобным случаем и набросился на чернокожих, которые, подъехав в пироге, поднялись на борт. Восклицание Виллы и повелительный оклик Гарлея заставили его в недоумении остановиться. Глубоко убежденный, что ошибся, Джерри снова стал бесноваться вокруг одного высмотренного им чернокожего. На этот раз голос Гарлея звучал сурово, и Джерри подошел к нему, виляя хвостом и извиваясь всем телом, словно умоляя о прощении, и лизнул своим розовым языком погладившую его руку.

Затем Вилла подозвала его к себе. Зажав руками его морду и близко к нему наклонившись, она серьезно заговорила о том, что преследовать негров — грешно. Ведь он, говорила Вилла, не простая лесная собака, а кровный ирландский джентльмен, которому не подобает заниматься таким делом, как травля бездомных чернокожих. Все это он выслушал сосредоточенно, не мигая, и хотя понимал мало, но чутьем постиг все. Из

языка, на каком говорили на «Ариэле», он уже усвоил слово «нехороший», а Вилла повторила это слово несколько раз. «Нехороший» он понимал, как «нельзя», и для него этим словом установилось табу.

Раз таковы их обычаи и желания, то может ли он нарушать их правила? Если негров травить нельзя, он этого делать не станет, несмотря на то что шкипер, бывало, сам его натравливал. Разумеется, Джерри обсуждал этот вопрос не в таких выражениях, а по-своему, но выводы были те же.

Для него любовь к богу требовала служения. Ему нравилось служением завоевывать любовь. А в его положении краеугольным камнем служения было послушание. Однако первое время ему стоило величайших усилий не рычать и не кусать за ноги чужих и самоуверенных чернокожих, проходивших мимо него по белой палубе «Ариэля».

Но Джерри суждено было увидеть и иные времена. Настал день, когда Вилла Кеннан пожелала выкупаться по-настоящему, в свежей текучей пресной воде, и тут Джонни, чернокожий лоцман из Тулаги, совершил ошибку. На карте была указана одна миля реки Сули, впадающей в море. А указана была только одна миля, ибо белые еще

не исследовали ее выше. Когда Вилла заговорила о купании, ее муж посоветовался с Джонни. Джонни покачал головой.

— Нет черных парней в этом месте, — сказал он. — Не будет вам беда. Лесной парень отсюда далеко.

К берегу пристал баркас, матросы развалились в тени прибрежных кокосовых пальм, а Вилла, Гарлей и Джерри прошли с четверть мили вверх по реке до первого удобного для купания местечка.

— Все-таки нужно принять меры предосторожности, — сказал Гарлей, вынимая из кобуры свой автоматический пистолет и кладя его поверх одежды. — Чернокожая братия может на нас наткнуться.

Вилла вошла по колени в воду, взглянула вверх, на темный свод джунглей, едва пропускавший лучи солнца, и содрогнулась.

— Самая подходящая обстановка для темного дела, — улыбнулась она и, набрав в ладонь прохладной воды, плеснула в мужа. Тот бросился за ней в погоню.

Некоторое время Джерри сидел подле их одежды и следил за купальщиками. Затем его внимание привлекла мелькнувшая тень огром-

ной бабочки, а вскоре он уже выслеживал по джунглям лесную крысу. То был не особенно свежий след. Джерри прекрасно это знал, но в нем хранились все древние инстинкты, побуждавшие его охотиться, красться, преследовать живые существа — короче, вести игру, будто он сам добывает себе пропитание, хотя уже веками его предков кормил человек.

Он развивал способности, в каких он уже и не нуждался, хотя они все еще в нем жили и стремились пробиться. И сейчас он шел по следу давно пробежавшей лесной крысы, крался неслышно, словно настоящий охотник за дичью, и с точностью определял запах. Этот след пересекался другим следом — свежим, совсем недавним. Джерри резко повернул голову под прямым углом направо — так резко, словно его дернули за веревку. Он носом почуял несомненный запах чернокожего. И то был совершенно незнакомый ему чернокожий, так как запах его не совпадал с воспоминаниями о тех неграх, каких он раньше встречал.

Забыт был след лесной крысы, и Джерри бросился по новому следу. К тому побуждало его любопытство и увлечение игрой. Ему в голову не приходило бояться за Виллу и Гарлея — даже

когда он дошел до того места, где чернокожий, видимо, услышав их голоса, остановился в нерешимости и где его следы сохранили особенно сильный запах. Отсюда след резко сворачивал к реке. Нервно напряженный и внимательный, все еще не тревожась, а только продолжая играть в слежку, Джерри побежал по следу.

Время от времени с реки доносились возгласы и смех, и, заслышав их, Джерри всякий раз испытывал радостный трепет. Если бы его спросили и он сумел бы выразить свои ощущения, он бы сказал, что самый приятный звук в мире — звук голоса Виллы Кеннан, а затем — Гарлея Кеннана. Их голоса всегда приводили его в трепет, напоминая о том, как он их любит и как любят его они.

При первом же взгляде на незнакомого негра, остановившегося у самой воды, в Джерри проснулись подозрения. Негр держался не так, как полагается обыкновенному чернокожему, не замышляющему ничего дурного. Напротив, все его движения обличали человека, действующего с преступным замыслом. Присев на ковер джунглей, негр выглядывал из-за большого корня дерева. Джерри ощетинился, тоже припал к земле и стал наблюдать.

Один раз чернокожий поднял было ружье к

плечу, но ничего не подозревающие жертвы с плеском и хохотом скрылись, по-видимому, с поля его зрения. А ружье у него было не снайдеровское, довольно уже устарелое, а современный автоматический винчестер. И негр, по-видимому, привык стрелять с плеча, а не держа приклад у бедра, как большинство малаитян.

Недовольный своей позицией у дерева, он опустил ружье и пополз ближе к воде. Джерри приник к земле и последовал за ним. Приник он так низко, что голова, горизонтально вытянутая вперед, была значительно ниже плеч, которые странно возвышались над всем туловищем. Когда чернокожий останавливался, немедленно останавливался и Джерри — словно примерзал к земле. Когда чернокожий снова трогался в путь, полз и Джерри, но быстрее, сокращая разделявшее их расстояние. И все время шерсть на шее и плечах щетинилась под наплывом ярости и злобы. То была не золотистая собака с прижатыми ушами и смеющейся мордой, нежащаяся в объятиях богини, не Певец-Глупыш, грезящий в облачной паутине ее волос, но четвероногое воинственное существо, боец с оскаленными клыками, которые рвут и уничтожают.

Джерри намеревался перейти в атаку, как

только подползет достаточно близко. Он забыл о табу, усвоенном на «Ариэле» и запрещавшем травлю негров. В этот момент в его сознании не оставалось места для табу. Знал он только, что беда грозит мужчине и женщине — грозит со стороны этого негра.

Джерри почти нагнал свою добычу, и, когда чернокожий присел и поднял ружье, Джерри счел момент благоприятным для прыжка. Ружье почти коснулось плеча, когда он прыгнул вперед. Прыгая, он не произвел ни малейшего звука, и его жертва почувствовала его присутствие, только когда тело Джерри, мелькнув, как снаряд, очутилось между лопатками чернокожего. В ту же секунду зубы Джерри вонзились в шею, но слишком близко к основанию, в крепкие плечевые мышцы, так что клыки не задели спинного мозга.

Чернокожий, ошеломленный и испуганный, нажал гашетку, и из груди его вырвался дикий вопль. Отдача была так сильна, что он перевернулся и сцепился с Джерри, который куснул его за скулу и за щеку и полоснул ухо: ирландские терьеры обычно кусают быстро и часто, а не мертвой хваткой, как бульдоги.

Когда Гарлей Кеннан, с револьвером в руке

и нагой, как Адам, прибежал на место сражения, собака и человек, сцепившись, катались по лесному чернозему. Негр, по лицу которого струилась кровь, обеими руками сжимал шею Джерри, а Джерри, сопя, задыхаясь и рыча, изо всех сил отбрыкивался и царапался когтями задних лап. То были когти не щенка, а взрослого мускулистого пса. Джерри все время царапал ими обнаженную грудь и живот, покрасневшие от струившейся крови.

Гарлей Кеннан стрелять не решался, так как противники слишком тесно переплелись. Вместо того он, подойдя вплотную, ударил негра по голове рукояткой револьвера. Оглушенный негр разжал руки, а Джерри в одну секунду кинулся к выпятившемуся горлу, и только рука Гарлея, схватившая его за загривок, и резкий окрик заставили его отступить. Он дрожал от бешенства и продолжал яростно рычать, но все же прижимал уши, вилял хвостом и вскидывал глаза на Гарлея, когда тот говорил: «молодчина!».

Джерри знал, что «молодчина» означает похвалу. Гарлей несколько раз повторил это слово, и Джерри убедился, что оказал своему господину услугу, и услугу немалую.

— Знаешь, негодяй хотел пристрелить нас из-за

кустов, — обратился Гарлей к Вилле, когда та, на ходу одеваясь, присоединилась к нему. — Здесь не больше пятидесяти шагов, он не мог промахнуться. И посмотри, какой у него винчестер. Это не какая-нибудь старая гладкостволка. Раз у парня такое ружье, уж он умеет им пользоваться.

— Почему же он нас не пристрелил? — осведомилась Вилла.

Гарлей указал на Джерри.

У Виллы глаза вспыхнули, когда она поняла.

— Что ты говоришь… — начала она.

Он кивнул.

— Вот именно. Певец-Глупыш ему помешал. — Гарлей наклонился, перевернул чернокожего и увидел разодранную шею. — Вот куда он его цапнул, а тот, должно быть, держал палец на гашетке, целясь в нас, — вероятно, в меня первого, — когда Певец-Глупыш смешал ему все карты.

Но Вилла почти не слушала — она обнимала Джерри, называя его «своим дорогим песиком», и старалась утишить его рычание и пригладить все еще ерошившуюся шерсть.

Но Джерри снова зарычал и собрался прыгнуть на чернокожего, когда тот беспокойно зашевелился и сел, все еще оглушенный. Гарлей выдернул у него нож, засунутый между поясом

и голым телом.

— Как звать? — спросил он.

Но негр видел только одного Джерри и изумленно таращил на него глаза, пока не уяснил себе положения и не понял, что этот маленький неуклюжий пес испортил ему игру.

— Мой говорит, — ухмыляясь, обратился он к Гарлею, — этот собака здорово моего поймал.

Ощупывая раны на шее и на лице, он увидел, что белый завладел его ружьем.

— Отдай мое ружье, — дерзко сказал он.

— Я тебе им голову прошибу, — ответил Гарлей. — По-моему, этот парень не похож на малаитянина, — обратился он к Вилле. — Прежде всего, где он достал такое ружье? И подумай, что за дерзость! Он должен был видеть, как мы бросили якорь, и знал, что наш баркас стоит у берега. И все же он хотел захватить наши головы и удрать с ними в лес... Как звать? — снова обратился он к негру.

Но имени чернокожего он не узнал до тех пор, пока не прибежали запыхавшиеся матросы с баркаса и Джонни. Увидев пленника, Джонни выпучил глаза и, заметно волнуясь, обратился к Кеннану.

— Вы дайте мне этот парень, — попросил он. —

А? Дайте мне.

— Да зачем он тебе?

На этот вопрос Джонни ответил не сразу, а лишь после того как Кеннан сообщил ему о своем намерении отпустить чернокожего, так как тот никому вреда не причинил. Тут Джонни с жаром запротестовал.

— Вы везите этот парень в Тулаги, в дом правительства: вам дадут двадцать фунтов. Он — много злой парень. Ему звать Макавао. Много злой. Он из Квинсленда…

— Как из Квинсленда? — перебил Кеннан. — Он оттуда родом?

Джонни покачал головой.

— Он был раньше с Малаита. Много-много годов назад его взял шхуна работать на Квинсленде.

— Он работал на квинслендских плантациях, — пояснил Гарлей Вилле. — Ты знаешь, когда в Австралии начался «белый» наплыв, пришлось с квинслендских плантаций отослать всех черных назад. Этот Макавао, видимо, один из них и, должно быть, дрянной парень, если Джонни не врет относительно двадцати фунтов вознаграждения за поимку его. Это большая цена за черного.

Джонни продолжал свои объяснения, которые, в переводе на общепринятый английский, сво-

дились к тому, что Макавао всегда пользовался дурной славой. В Квинсленде он провел в тюрьме четыре года за кражи, грабежи и покушение на убийство. Когда австралийское правительство отослало его назад на Соломоновы острова, он завербовался на плантацию в Були, как впоследствии выяснилось, с целью добыть оружие и амуницию. За покушение на убийство надсмотрщика он получил в Тулаги пятьдесят ударов плетью и прослужил лишний год. Вернувшись на плантацию в Були, чтобы отработать свой срок, он ухитрился, воспользовавшись отсутствием надсмотрщика, убить владельца плантации и удрать на вельботе.

В вельбот Макавао забрал все оружие и амуницию, бывшие на плантации, голову хозяина, десять рабочих-малаитян и двух из Сан-Кристобаля — последних потому, что они были приморскими жителями и умели обращаться с вельботом. Сам же он и десять малаитян, как жители лесов, моря не знали и не решались на длинный переезд из Гвадалканара.

По пути он сделал набег на маленький остров Уги, разграбил все запасы и захватил голову одинокого торговца, добродушного полукровки с острова Норфолк. Благополучно прибыв на Ма-

лаиту, он и его товарищи, не видя более нужды держать двух рабочих из Сан-Кристобаля, отрубили им головы, а тела съели.

— Мой говорит, он много-много злой парень, — закончил свой рассказ Джонни. — Правительство Тулаги много рад дать двадцать фунтов за парень.

— Ах ты, дорогой мой Певец-Глупыш! — прошептала Вилла на ухо Джерри. — Если бы не ты…

— Наши головы находились бы сейчас у Макавао, а он пробирался бы с ними по холмам к себе на родину, — докончил за нее Гарлей. — Что и говорить, славный пес, — весело прибавил он. — А я-то как нарочно задал ему на днях взбучку за травлю негров. Оказывается, он свое дело знал лучше, чем я.

— Если кто-нибудь вздумает предъявлять на него права… — угрожающе пробормотала Вилла.

Гарлей кивком подтвердил ее оборвавшуюся фразу.

— Во всяком случае, — с улыбкой сказал он, — хоть одно утешение было бы, если б твоя голова отправилась в джунгли.

— Утешение? — воскликнула она, захлебнувшись от негодования.

— Ну, конечно! Ведь и моя голова отправилась бы вместе с твоей!

— Ах ты, дорогой мой муженек! — прошептала она, и глаза ее подернулись влагой, когда она любовно на него взглянула, все еще прижимая к себе Джерри. А Джерри, почуяв важность момента, поцеловал своим любящим языком ее душистую щеку.

Глава XXIV

«Ариэль» отошел от Малу на северо-западном берегу Малаиты, и скоро Малаита скрылась из виду. Для Джерри она скрылась навеки — еще один исчезнувший мир, который в его сознании провалился в небытие, поглотившее и шкипера. Если бы Джерри стал о том размышлять, он бы представил себе Малаиту как обезглавленную вселенную, покоящуюся на коленях какого-то младшего бога, который все же был бесконечно могущественнее Башти, на чьих коленях лежала высушенная солнцем и прокопченная дымом голова шкипера. И это младшее божество выпытывало, нащупывало и пыталось угадать тайны пространства и времени, движения и материи, вверху, внизу, вокруг и над собой.

Но Джерри не размышлял над этой проблемой, не подозревал о существовании таких тайн. Он вспоминал об исчезнувшей Малаите, как вспоминал о своих снах. Сам он был существом живым, материальным, обладающим весом и объемом, неопровержимо реальным, и двигался в пространстве бытия — конкретном, осязаемом, живом и убедительном, являвшемся абсолютным

нечто. А то *нечто* было окружено тенями и призраками изменчивой фантасмагории *небытия*.

Джерри принимал свои миры один за другим. Один за другим они испарялись, скрывались из поля его зрения, погружались навек ниже уровня океана, нереальные и преходящие, как сновидения. Целостность маленького, простого мира людей, микроскопического и ничтожного по сравнению со звездной вселенной, была недоступна его догадкам так же, как недоступна звездная вселенная вдохновеннейшим прозрениям и измышлениям человека.

Джерри не суждено было снова увидеть мрачный остров дикарей, хотя он часто вставал перед ним в ярких сновидениях, и Джерри во сне переживал свои дни на нем, начиная с уничтожения «Эренджи» и оргии людоедов на берегу и кончая бегством от разрушенного снарядом дома и растерзанного тела Наласу. Эти сновидения были для него еще одной страной нездешнего, таинственной, нереальной и эфемерной, как облака, проплывающие по небу, или радужные пузыри, лопающиеся на поверхности моря. То была пена, быстро исчезающая, едва он просыпался, несуществующая, как шкипер и голова шкипера на высохших коленях Башти в высоком травяном

доме. Малаита реальная, Малаита конкретная и весомая исчезла — и исчезла навсегда — в *небытии*, куда скрылся Мериндж, куда скрылся шкипер.

От Малаиты «Ариэль» взял курс на северо-запад к Онгтону, Яве и Тасмании — большим атоллам, которые изнемогают от жары под самым экватором и заливаются волнами в необъятном просторе юго-западной части Тихого океана. Оставив Тасманию, «Ариэль» проделал длинный рейс к гористому острову Бугенвиль. После Бугенвиля, держась на юго-запад и медленно лавируя против ветра, «Ариэль» бросал якорь почти в каждой гавани Соломоновых островов, от Шуазеля и Гононго до островов Куламбангра, Вангуну, Павуву и Новая Георгия. Он бросил якорь даже в пустынной Бухте Тысячи Кораблей.

И наконец якорь «Ариэля» с грохотом спустился и впился в песчано-коралловое дно гавани Тулаги, где на берегу острова Флориды жил и правил полномочный резидент.

Ему Гарлей Кеннан передал Макавао, который был посажен под хорошей охраной в травяную тюрьму; здесь, с кандалами на ногах, ему предстояло ждать суда за многочисленные преступления. А лоцман Джонни, прежде чем вернуться на

службу к резиденту, получил львиную долю из назначенных в премию денег; остальную сумму Кеннан распределил между матросами, которые бросились сквозь джунгли к нему на выручку в тот день, когда Джерри вцепился в шею Макавао и заставил его, не целясь, нажать гашетку ружья.

— Я вам скажу его имя, — говорил резидент, усадив их на широкой веранде своего бунгало. — Это один из терьеров Хаггина, — Хаггина с лагуны Мериндж. Отца собаки зовут Терренс, а мать — Бидди. А его имя — Джерри; я сам присутствовал при крещении, когда он был еще слепым щенком. Мало того, я могу вам показать его брата Майкла. Он — охотник за неграми на «Эжени», двухмачтовой шхуне, которая стоит на рейде рядом с вами. Шкипером на ней капитан Келлар. Я попрошу его доставить Майкла на берег. Вне всякого сомнения, Джерри один только и уцелел из всех, находившихся на борту «Эренджи».

— Когда у меня будет время и необходимые средства, я нанесу визит вождю Башти. О нет, программы британских крейсеров я придерживаться не стану. Зафрахтую парочку торговых кечей, заберу свою чернокожую полицию и тех белых добровольцев, каким не смогу отказать.

Никакого обстрела травяных шалашей не будет. Десант я высажу, не доезжая до Сомо, зайду в глубь страны, а к Сомо подойду с тыла; одновременно мои суда подступят к Сомо с моря.

— На бойню ответите бойней? — возразила Вилла Кеннан.

— На бойню я отвечу законом, — заявил резидент. — Я научу Сомо закону. Надеюсь, ничего неприятного не случится, и ни с той ни с другой стороны потерь не будет. Но могу обещать, что головы капитана Ван Хорна и его помощника Боркмана я разыщу и доставлю в Тулаги для христианского погребения. А старого Башти возьму за загривок и заставлю посидеть, пока я буду внедрять в него закон и справедливость. Разумеется... — Резидент, окончивший Оксфордский университет, узкоплечий пожилой человек с видом аскета, близорукий и в очках, как и подобает ученому, приостановился и пожал плечами. — ...Разумеется, если не удастся образумить, возможны неприятности, и кому-нибудь из них и из нас придется скверно. Но, так или иначе, своего мы добьемся. Старый Башти поймет, что целесообразнее оставлять на плечах головы белых.

— Да как он поймет? — спросила Вилла Кен-

нан. — Если он достаточно умен, чтобы не сражаться с вами, а только сидеть и изучать английские законы, дело обернется для него отменной забавой. В наказание за всякую жестокость ему придется только выслушать лекцию.

— Не совсем, дорогая моя миссис Кеннан. Если он будет спокойно слушать лекцию, я потребую с него всего только сто тысяч кокосовых орехов, пять тонн других пальмовых орехов, сто саженей раковин и двадцать жирных свиней. Если же он откажется выслушать лекцию и приступит к военным действиям, тогда я, как это ни печально, вынужден буду прежде всего расправиться с ним и с его поселком, а затем потребую с него тройной штраф и уже в немногих словах внедрю в него закон.

— А если он драться не станет, в ответ на вашу лекцию заткнет себе уши и откажется платить? — настаивала Вилла Кеннан.

— Тогда он пожалует ко мне в гости — сюда, в Тулаги — и будет здесь сидеть, пока не одумается, не заплатит штрафа и не выслушает полного курса лекций.

А Джерри привелось услышать свое старое имя от Виллы и Гарлея и снова увидеть своего кровного брата Майкла.

— Не говори ничего, — шепнул Гарлей Вилле, когда они разглядели мохнатого пшенично-рыжего Майкла, выглядывавшего из-за борта подходившего к берегу вельбота. — Сделаем вид, будто мы ничего не знаем и никакого внимания на них не обращаем.

Джерри, прикидываясь сильно заинтересованным, рыл яму в песке, словно напал на свежий след, и не подозревал о приближении Майкла. Он быстро увлекся и заинтересовался по-настоящему, когда, радостно фыркая и сопя, очутился на дне вырытой им ямы. А яма была такая глубокая, что от Джерри виднелись только задние лапы да забавно торчащий обрубок хвоста.

Не чудо, что он и Майкл не заметили друг друга. Майкл, вырвавшись на свободу с тесной палубы «Эжени», радостно суетясь, помчался по берегу, на бегу ловя тысячи знакомых запахов суши. Он бросался из стороны в сторону, прыгал и добродушно щелкал зубами при виде крабов, торопливо перебегавших ему дорогу, ища спасения в воде, или пятившихся и угрожавших ему своими огромными клешнями, выбрасывая пену из защищенного скорлупой рта.

Берег был не длинный и упирался в шероховатую стену мыса. Пока резидент представлял

капитана Келлара мистеру и миссис Кеннан, Майкл уже несся назад по влажному, сбитому песку. Все до такой степени его интересовало, что он и не заметил Джерри, торчавшего над уровнем берега. Джерри о его присутствии узнал по слуху и едва успел, попятившись, выбраться из ямы, как Майкл уже на него налетел. Джерри перекувырнулся, Майкл перелетел через него, и оба свирепо зарычали. Поднявшись на ноги, они ощетинились, оскалили зубы и грозно, с достоинством стали обходить один другого степенной, напряженной походкой.

Но все это время они только дурачились и были немало сбиты с толку. У каждого в мозгу всплыли яркие картины прошлого — дом на плантации и берег Мериндж. Они узнали друг друга и мешкали. Они уже не были щенками и, смутно гордясь своей степенностью и возмужалостью, старались держаться с достоинством, хотя им ужасно хотелось в сумасшедшем восторге броситься друг к другу.

Майкл, меньше видевший свет и по натуре своей менее сдержанный, чем Джерри, первый отбросил напускное достоинство и, взвизгивая от волнения и восторженно извиваясь всем телом, высунул язык и прильнул к брату плечом.

Джерри с таким же пылом его лизнул, затем оба отскочили в сторону и вопросительно, почти вызывающе посмотрели друг на друга. Настороженные уши Джерри выражали живой вопрос; у Майкла одно здоровое ухо вопрошало столь же красноречиво, а другое, высохшее, стояло, по обыкновению, торчком. И вдруг они стремглав помчались к берегу, бок о бок, пересмеиваясь и то и дело подталкивая друг друга на бегу.

— Сомнений быть не может, — сказал резидент. — Так же точно, бывало, бегали их родители. Я частенько к ним присматривался.

* * *

Но через десять дней наступила разлука. То был первый визит Майкла на борт «Ариэля», и он с Джерри провели веселые полчаса, резвясь на белой палубе среди суматохи и гула, пока убирались лодки, ставились паруса и поднимался якорь. Когда «Ариэль» заскользил по воде, а паруса надулись под свежим пассатным ветром, резидент и капитан Келлар распрощались и спустились по шкафуту к поджидавшим их вельботам. В самый последний момент капитан Келлар поднял Майкла, сунул его под мышку и вместе с ним прыгнул на корму своего вельбота.

Концы были отданы; на корме обеих лодок белые люди стояли с непокрытыми головами, презирая палящее тропическое солнце и посылая последнее прости. А Майкл, заразившись всеобщим возбуждением, тявкал без конца.

— Попрощайся с братом, Джерри, — шепнула на ухо Вилла Кеннан, подняв терьера на перила и обеими руками придерживая за трепетавшие бока.

А Джерри, не понимая слов и раздираемый противоречивыми желаниями, в ответ стал извиваться всем телом, повернул голову, лизнул свою госпожу языком, а через секунду снова свесил голову за перила, следя за быстро уменьшавшимся Майклом, и завыл от горя, совсем так, как выла его мать Бидди, когда он отплывал со шкипером.

Джерри понимал значение разлуки, и сейчас не сомневался, что расстается с братом; ему и в голову не приходило, что он встретит Майкла спустя несколько лет, по ту сторону мира, в сказочной долине далекой Калифорнии, где они проживут до конца дней своих в ласковых объятиях возлюбленных богов.

Майкл, поставив передние лапы на планшир, тявкал вопросительно и недоуменно, а Джерри отвечал ему визгом. Богиня успокаивающе сжала

его бока, а он повернулся к ней и ткнулся влажным носом в ее щеку. Одной рукой она прижала его к своей груди, свободная, полураскрытая, покоилась на перилах — бело-розовое сердце цветка, ароматное и соблазнительное. Джерри подсунул к ней нос. Полураскрытая рука манила. Протискивая и всовывая морду, он слегка раздвигал пальцы, пока нос его не очутился в ее пленительной, душистой руке.

Джерри успокоился, втиснув свою золотистую морду по самые глаза, и замер, позабыв об «Ариэле», под напором ветра поворачивавшемся к солнцу, позабыв о Майкле, который все уменьшался по мере того, как увеличивалось расстояние до вельбота. И Вилла замерла. Оба ушли в игру, хотя для нее это было ново.

Джерри не шевелился, пока хватало выдержки. Потом волна любви захлестнула его, и он засопел — так же громко, как засопел когда-то, сунув морду в руку шкипера на палубе «Эренджи». И как тогда шкипер, так и теперь богиня рассмеялась журчащим любовным смехом. Пальцы ее почти до боли стиснули морду Джерри. Другой рукой она так крепко прижала его к себе, что он едва мог вздохнуть. Однако он все время мужественно вилял обрубком хвоста, а высвободившись из

восхитительного объятия, прижал уши и, лизнув ее в щеку алым языком, схватил зубами ее руку и оставил на нежной коже отпечаток любовного укуса, который боли не причиняет.

Так исчезли для Джерри Тулаги и бунгало резидента на вершине холма. Исчезли суда, стоявшие на рейде, и Майкл, его кровный брат. Джерри привык к таким исчезновениям. Так же ведь исчезали, как сонные грезы, Мериндж, Сомо и «Эренджи». Так исчезали все миры, гавани, рейды и атолловые лагуны, откуда отчаливал «Ариэль», чтобы плыть дальше по необъятному простору моря.

МАЙКЛ, БРАТ ДЖЕРРИ



Предисловие

Еще в детстве, быть может, вследствие присущей мне ненасытной любознательности, я возненавидел представления с дрессированными животными. Моя любознательность отравила мне этот род удовольствий, заставив проникнуть за кулисы, чтобы узнать, каким образом достигается такое совершенство. И то, что я нашел за блеском представления, имевшего такой успех, далеко не было красивым. Это — жестокое дело, и я уверен, что нет ни одного нормального человека, который, познакомившись с ним, мог бы получать удовольствие от таких трюков.

Все же я не так уж сентиментален. Литературные критики и вообще люди сентиментальные считают меня чем-то вроде свирепого животного, наслаждающегося видом проливаемой крови, насилий и всяких ужасов. Не останавливаясь на обсуждении моей репутации и принимая ее полностью, позволю себе заметить, что я действительно прошел суровую школу жизни и видел больше жестокости и бесчеловечности, чем приходится на долю среднего человека. Я ви-

дел судовые баки[34] и тюрьмы, глухие городские закоулки и пустыни, камеры, где исполняются приговоры, и лепрозории и, наконец, поля сражений и военные госпитали. Я видел умирающих ужасной смертью и страдающих от страшных ран. Я видел, как вешали глупцов только потому, что они глупцы и не имели средств, чтобы заплатить защитнику. Я видел, как разбивались сердца и крушилась сила стойких мужественных людей, и я видел других, доведенных жестоким обращением до неизлечимого буйного помешательства. Я видел, как умирали голодной смертью старики, молодежь и даже дети. Я видел, как мужчин и женщин били плетьми, дубинами и кулаками; и как чернокожих детей хлестали бичом из кожи носорога с такой силой, что каждый удар оставлял кровавые полосы на их обнаженных телах. И все-таки, разрешите мне прибавить, я никогда не был так потрясен и возмущен человеческой жестокостью, как среди веселой хохочущей толпы, аплодирующей трюкам дрессированных животных на сцене.

Человек с луженым желудком и крепкой головой может стерпеть некоторую бессознательную

---

[34] notes: 34
Баки судовые — передняя часть верхней палубы.

необдуманную жестокость, допущенную по человеческой глупости и горячности. У меня как раз луженый желудок и крепкая голова. Но у меня захватывает дух и кружится голова от холодной, сознательной и обдуманной жестокости и пыток, которыми достигается совершенство девяноста девяти трюков из ста, проделываемых дрессированными животными. Жестокость, как утонченное искусство, достигла полного расцвета в мире дрессировщиков.

Тем не менее я, человек с луженым желудком и крепкой головой, приученный и к жестокости, и к грубости, только в зрелом возрасте понял, что бессознательно нашел способ оградить себя от страдания при виде дрессированных животных, покидая зал при их появлении на сцене. Говорю «бессознательно», ибо хочу сказать, что мне не приходило в голову этим путем нанести смертельный удар всем подобным трюкам и представлениям. Я только ограждал себя от зрелища, оскорблявшего мои чувства.

Но в последние годы наблюдение над человеческой природой привело меня к мысли, что ни один нормальный человек, все равно мужчина или женщина, не мог бы стерпеть подобных представлений, если бы знал, какой ужасной

жестокостью достигается их совершенство. Это придает мне смелости внести здесь, сейчас же, три предложения.

Первое. Пусть каждый сам убедится в неизбежной и постоянной жестокости средств, которыми достигается выполнение номеров программ, так щедро оплачиваемых публикой. *Второе.* Я предлагаю всем мужчинам и женщинам, мальчикам и девочкам, ознакомившимся с основами искусства дрессировки животных, стать членами местных организаций защиты животных от жестокого обращения.

Третье предложение я должен сделать с некоторой оговоркой. Подобно сотням и тысячам других людей, и я работал на другой ниве, пытаясь объединить массы людей для борьбы за улучшение условий жизни. Как ни трудно выполнение этой задачи, гораздо труднее убедить людей объединиться для борьбы за облегчение участи животных.

И действительно, все мы готовы плакать кровавыми слезами, слушая про свирепость и жестокость, с какой дрессируют животных. Но даже одна десятая процента таких слушателей не примкнет к какой-либо организации охраны животных и не вступится ни словом, ни делом

для защиты животных от преступной жестокости дрессировщиков. Такова слабость человеческой природы. Мы должны признать это явление, как «признаем» тепло и холод, непрозрачность некоторых веществ и падение тел в силу закона притяжения.

Однако несмотря на оговорку о человеческой слабости, все же для девяноста девяти случаев из ста остается другой, весьма легкий способ протеста и борьбы с жестокостью людей, дрессирующих для нашего развлечения животных, которые в сущности являются не такими зверями, как мы. Ведь это так легко. Тут не требуется выполнять какие-либо обязанности, обзаводиться секретарями или корреспондентами. Не надо думать ни о чем заранее и только вспомнить об этом, когда на сцене театра или на арене цирка предстоит выход дрессированных животных. Тогда без промедлений мы должны выразить свое неодобрение по поводу этого номера программы, встать и выйти на свежий воздух и вернуться в зал лишь по окончании этого номера Все, что мы можем сделать, — это добиться снятия с программы номеров с дрессированными животными во всех местах общественного развлечения. Пусть дирекция театров увидит, что эти номера потеряли свою популярность — и в один прекрасный день они будут сняты со всех программ.

Джек Лондон

Глава I

Так Майкл и не отплыл из Тулаги на пароходе «Эжени». В Тулаги раз в пять недель заходил пароход «Макамбо» по пути из Новой Гвинеи в Австралию. Однажды вечером, придя с опозданием, капитан Келлар забыл Майкла на берегу. Само по себе это было не важно, потому что в полночь капитан «Эжени» Келлар в поисках Майкла вернулся на берег и сам взобрался на высокий холм к бунгало резидента, в то время как команда безрезультатно обшарила всю местность и помещения для пирог.

На самом деле час тому назад, когда «Макамбо» поднимал якорь, а капитан Келлар сходил на берег, Майкл с лодки был водворен на судно через иллюминатор. Случилось это, во-первых, потому, что неопытного Майкла увлекла надежда увидеть Джерри на этом судне, во-вторых, он в последний раз видел Джерри на борту и, наконец, потому, что он заключил новую дружбу.

Дэг Доутри был баталером[35] на «Макамбо». Он мог бы, конечно, занимать более высокое по-

[35] notes: 35
Баталер — отпускающий и принимающий провизию на корабле.

ложение, не будь он заворожен особенностью и своеобразием своей репутации. К счастью, он от природы обладал хорошим и легким характером, превосходным телосложением и славился тем, что за двадцать лет не получил ни одного замечания за свою работу и не забыл выпить в день свои шесть кварт пива. Он хвастал тем, что выпивал их даже на Немецких островах, где в целях предохранения от малярии вливают в каждую бутылку десять граммов хинного раствора.

Капитан «Макамбо» (а до него капитаны «Моресби», «Масены», «Сэра Эдуарда Грейса» и других судов с не менее причудливыми названиями пароходного общества «Бернс, Филп и Ко») обычно с гордостью показывал его пассажирам, как единственного и неповторимого человека в морских анналах. В такие моменты Дэг Доутри, как бы ничего не замечая, продолжая заниматься на нижней палубе своим делом, изредка поглядывал на капитанский мостик, откуда им любовались капитан и пассажиры. Его грудь вздымалась от гордости, потому что он знал, что говорит о нем капитан:

— Посмотрите на него! Это Дэг Доутри — не человек, а настоящая бочка! За двадцать лет он ни разу не был совершенно трезв или пьян и

никогда не забывал выпить свои шесть кварт в день. Уверяю вас, что это правда, хотя, глядя на него, этому не поверишь. Не понимаю, но восхищаюсь... Всегда справляется со своим делом, работает в полтора раза больше, чем полагается, пожалуй, даже вдвое больше. У меня от одного стакана пива делается изжога и пропадает всякий аппетит. А ему это только впрок. Посмотрите же, посмотрите на него!

В эти минуты собственная доблесть преисполняла баталера гордостью. Он знал, что о нем говорил капитан, и особенно усердно налегал на работу, уничтожая потом седьмую кварту во славу своего замечательного сложения. Это была странная слава, такая же странная, как бывают странными некоторые люди; и Дэг Доутри находил в ней оправдание своему существованию.

Итак, вся его энергия и душевные силы уходили на поддержание репутации человека, уничтожающего шесть кварт пива в день. Не легко расплачиваться каждый день за шесть кварт: попробуйте подсчитать — в месяц выйдет изрядная сумма! Вот почему он в свободное от службы время делал черепаховые гребни и другие украшения и наловчился в таких делах, как кража собак. Ведь платить за шесть кварт приходилось

Дэгу Доутри, и поэтому он и нашел нужным препроводить Майкла на борт «Макамбо» через иллюминатор.

Разгуливая в этот вечер по берегу Тулаги, Майкл искал привезший его вельбот и встретил коренастого, начинающего седеть баталера. Дружба между ними возникла почти сразу, потому что Майкл из веселого, резвого щенка превратился в веселую, резвую собаку. Он был гораздо общительнее Джерри, несмотря на то что знал очень мало белых людей. Вначале это были мистер Хаггин, Дерби и Боб в Мериндже, затем капитан Келлар и его помощник-штурман на «Эжени» и наконец Гарлей Кеннан и его команда на «Ариэле».

Майкл нашел, что все они похожи друг на друга и восхитительно отличаются от толпы чернокожих, которых его выучили презирать и на которых натравливали.

И Дэг Доутри не представил собой исключения. На его привет: «Алло, пес белого человека, что ты делаешь здесь, в этой черной стороне?» — Майкл ответил сдержанно, с достойным видом, выражая это движением ушей и добродушным взглядом. Дэг Доутри понимал собак с первого взгляда и не упустил ни одного движения, изучая Майкла при

свете фонарей, которыми чернокожие мальчики освещали работу людей, занятых разгрузкой вельбота.

Баталер сразу оценил два качества Майкла: собака была ласковая, добродушная и к тому же — дорогая. Эти качества заставили Дэга Доутри быстро оглянуться. Никто не смотрел в его сторону. Поблизости находились только чернокожие. Они стояли лицом к морю, прислушиваясь в темноте к плеску весел, ожидая следующей лодки для разгрузки. Правее, при свете другого фонаря, он увидел клерка резидента[36] и старого кладовщика «Макамбо», горячо споривших по поводу какой-то ошибки в накладной.

Баталер еще раз быстро оглядел Майкла и решился. Он как бы случайно повернулся и побрел вдоль берега, выходя из освещенного фонарями круга. Пройдя сотню ярдов, он сел на песок и стал ждать.

— Он стоит двадцать фунтов, ни пенни меньше, — бормотал баталер про себя. — Дурак я буду, если не получу за него десяти фунтов, это верней

---

[36] notes: 36

Клерк — в Англии и Америке — конторщик, приказчик, мелкий чиновник. Резидент — дипломатический представитель (в буржуазной дипломатике различаются четыре класса дипломатических представителей по важности полномочий: посол, посланник, резидент и поверенный в делах).

верного, да еще скажут: «благодарю вас!». Неужели же я терьера от борзой не отличу. Десять фунтов, в любом кабаке Сиднея!

И десять фунтов, превращенные в пивные бутылки, вызвали перед его умственным взором чудесное видение — почти целый пивоваренный завод.

Хруст песка и тихое посапывание заставили его насторожиться. Надежда не обманула его. Собака сразу почувствовала к нему доверие и побежала за ним.

Дэг Доутри знал, как обращаться с собаками, и Майкл сразу понял это, когда рука человека прикоснулась к шее, около уха. В этом движении не было ничего угрожающего, человек не заигрывал с ним и не боялся его. Жест был актом дружелюбия и доверия и возбудил ответную доверчивость. Жест был грубоват, но не причинил боли; не угрожая, он как будто брал под защиту. Майклу казалось, что самая естественная вещь в мире — это быть схваченным рукой этого совершенно чужого человека, тормошившего его самым фамильярным образом и весело приговаривавшего: «Ладно, песик. Пойдем-ка со мной, может, еще в алмазах бегать будешь».

Майкл никогда еще не встречал такого обая-

тельного человека. Дэг Доутри инстинктивно умел обворожить собаку. По натуре своей он не был жесток. Он никогда не был чересчур груб или чересчур ласков. Он не напрашивался на дружбу Майкла. Он искал ее, но по его поведению нельзя было заключить, что он ее ищет. Он едва потрепал Майкла по загривку в виде первого приветствия, а затем отвел руку и как будто забыл о нем.

Затем он стал раскуривать свою трубку, но, очевидно, ветер задувал огонек, и ему пришлось сжечь несколько спичек. Эти спички догорали у самых его пальцев, и пока он для виду старался раскурить трубку, его острые маленькие голубые глазки под нависшими седеющими бровями внимательно изучали Майкла. И Майкл, насторожив уши, напряженно всматривался в чужого человека, который, казалось, никогда ему не был чужим.

Майкла, правда, несколько разочаровало равнодушие этого восхитительного двуногого бога. Он даже вызывал его на более близкое знакомство, приглашая поиграть. Быстрым движением он поднял обе лапы и затем опустил их, вытянувшись всем телом так, что грудью касался земли. При этом он дружелюбно помахивал обрубком

хвоста и тявкал в виде приглашения. Но человек был равнодушен и сидел, попыхивая трубкой в наступившей темноте.

Еще никто не пускал в ход более совершенного метода обольщения, основанного на столь низком расчете, чем старый шестиквартовый баталер в отношении Майкла. Когда Майкл, сомневаясь в искренности равнодушия человека, заерзал на месте, как бы угрожая уйти, он резко кинул ему:

— Куш, собака, куш!

Дэг Доутри самодовольно усмехнулся, когда Майкл подошел и долго и внимательно стал обнюхивать его ноги. Он использовал эту близость для более подробного осмотра, раскуривая трубку и проводя рукой по безупречному телу собаки.

— Каждая собака имеет свои достоинства, — одобрительно сказал он, — скажи-ка, пес, ты ведь получил бы премию на любой выставке, где бы то ни было. Единственный твой недостаток — это твое ухо, но я и сам его приглажу. Держу пари, что приглажу!

Он как бы невзначай взял ухо Майкла и кончиками пальцев, передававшими взаимную симпатию, стал ощупывать его туго натянутую на черепе кожу. Майклу это понравилось. Ни-

когда ни одна человеческая рука не трогала его уха, не причиняя ему боли. Но эти пальцы своим прикосновением доставили ему такое острое удовольствие, что он в порыве благодарности извивался и корчился всем телом.

Затем эти пальцы потянули его ухо вверх, и оно медленно скользнуло между ними, причем восхитительное ощущение отдавалось у самого корня. Человек ласкал то одно ухо, то другое, бормоча про себя слова, которые Майкл понять не мог, но принял все же на свой счет.

— Морда в порядке, ладная и плоская, — пробормотал Дэг Доутри, проведя сначала по ней рукой и зажигая затем спичку. — Ни морщинки, челюсть славная, крепкая, ни провалов, ни шишек на висках.

Он сунул пальцы в пасть Майкла: «Зубы крепки и ровны», затем смерил ширину в плечах, объем груди и приподнял одну лапу. При свете другой спички он осмотрел все четыре лапы.

— Черные, все черные, ноготок к ноготку, — сказал он, — самые правильные лапы, на которых когда-либо бегал пес; большой палец вытянут и выгнут ровно так, как ему полагается, ни больше ни меньше. Думаю, что твои папенька и маменька хватали повсюду премии в свое время.

Майкл начал беспокоиться при этом исследовании, но Доутри, ощупав строение его боков и лап, вдруг остановился и схватил своими волшебными пальцами хвост. Он ощупал мускулы хвоста, нажимал и надавливал на ближайшие позвонки спинного хребта и крутил этот хвост во все стороны самым бесцеремонным образом. Майкл в экстазе терся спиной и задом о ласкающие его пальцы.

Вдруг человек поднял его с земли, подхватив с боков и снизу. Майкл не успел еще как следует испугаться, когда очутился обратно на земле.

— Двадцать шесть или двадцать семь, во всяком случае — больше двадцати, готов пари держать на два шиллинга и полпенни. Полный вес будет тридцать, когда вырастешь, — обратился к нему Дэг Доутри. — Но не все ли равно? Многие ценители настаивают именно на тридцати фунтах. И во всяком случае, тренировкой можно всегда спустить несколько унций. Твое, песик, сложение в самый раз; годен для охоты, вес для драки и лапы в полном порядке.

Нет, сэр, вес этот только нам на пользу, а ушко ваше нам пригладит любой порядочный ветеринар. Бьюсь об заклад, что сейчас в Сиднее найдется сотня-другая людей, готовых раскоше-

литься на двадцать монет за право называться вашим хозяином.

Затем, чтобы Майкл не вообразил себе ничего лишнего, Доутри откинулся на песок, разжег свою трубку и, по-видимому, забыл о нем. Он не хотел больше делать шагов к сближению и ждал заигрываний со стороны Майкла.

И Майкл не обманул ожиданий: он терся боком о колено Доутри и тыкался мордой в его ладонь, как бы предлагая повторить очаровательную игру со своими ушами и хвостом. Но вместо этого Доутри охватил руками его морду и медленно, двигая ее вверх и вниз, проговорил:

— Кому же ты принадлежишь, песик? Может быть, твой хозяин какой-нибудь негр, тогда плохо дело. Впрочем, он мог тебя украсть, но это ужасно! Как жестока судьба к некоторым собакам. Позор! Ни один белый человек не допустит, чтобы такая собака принадлежала негру, а белый человек как раз здесь, и он этого не допустит. Придет же в голову, чтобы негр владел такой собакой, — негр, который даже не знает, как обходиться с ней. Конечно, он украл тебя, песик. Попадись он мне на глаза, я бы из него все кишки выпустил. Наверняка бы выпустил! Покажи мне его только — и увидишь, что я с ним сделаю. Только подумать,

что такая собака слушается приказаний негра и таскает для него всякую дрянь. Нет, сэр, вы этого больше не будете делать, вы пойдете со мной, и я думаю, что мне не придется упрашивать вас.

Дэг Доутри встал и спокойно побрел вдоль берега. Майкл посмотрел ему вслед, но не двигался с места. Ему хотелось побежать за Доутри, но он ждал, чтобы его позвали. Наконец Доутри чуть слышно чмокнул губами. Звук был настолько слаб, что он сам едва его услыхал и положился скорее на доверие или же на движение своих губ. Ни один человек не услышал бы его на том расстоянии, где находился Майкл, но Майкл услыхал — и в восторге помчался за Доутри.

Глава II

Дэг Доутри побрел вдоль берега, а Майкл бежал за ним по пятам, в избытке радости описывая круги при каждом повторении тихого, странного призыва. Доутри остановился вне освещенного фонарями круга, где работали темные фигуры, разгружавшие вельбот, и где клерк резидента и старший кладовщик «Макамбо» спорили относительно накладной. Когда Майкл пытался двинуться дальше, человек удерживал его тем же нечленораздельным, еле слышным причмокиванием.

Ведь Доутри совсем не хотелось быть пойманным в качестве собачьего вора, и он раздумывал, как бы ему незаметно пробраться на борт парохода. Он обошел снаружи освещенный круг и пошел вдоль берега к туземному поселку. Как он и предвидел, все работоспособное население ушло на разгрузку судна. Все хижины казались вымершими, но под конец из темноты раздался жалобно дребезжащий старческий голос:

— Кто там?

— Мой ходил много, — ответил Доутри на испорченном английском языке, принятом на

юго-западных островах Тихого океана. — Мой приехал пароход. Твой захочет повезти мой на лодке, мой дает два стебель табак.

— Твой захочет дать десять стебель, мой будет доволен, — последовал ответ.

— Мой дает пять стебель, — торговался шестиквартовый баталер. — Твой не хочет пять пачек, пусть убирается к черту.

Наступило молчание.

— Твой хочет пять стебель? — настаивал Доутри, обращаясь к темной внутренности шалаша.

— Хочет, — отвечал голос; затем из темноты появился обладатель голоса, и одновременно послышались такие странные звуки, что баталер зажег спичку, чтобы посмотреть, в чем дело.

Перед ним стоял, качаясь на одном костыле, старик с гноящимися глазами. Эти глаза были наполовину закрыты разросшейся болезненной пленкой, а то, что еще оставалось, было красно и воспалено. Слипшиеся волосы торчали седеющими космами на покрытой коростой голове. Морщинистая кожа была вся в рубцах и пятнах, причем ее красновато-синеватая поверхность местами была как бы покрыта белой штукатуркой, которая казалась наложенной сверху, но на самом деле составляла неотъемлемую ее часть.

«Прокаженный», — подумал Доутри, и его острый взгляд пробежал по рукам и единственной ноге, отыскивая следы недостающих разрушенных болезнью суставов. Но здесь как раз у старика все оказалось в порядке, хотя одна нога кончалась как раз посередине между коленом и бедром.

— В чем дело? Где твой нога остался? — осведомился Доутри, указывая на пространство, где полагалось быть ноге.

— Большой акула взял мой нога, — засмеялся старик, открывая ужасную беззубую пасть. — Мой старый очень, — шамкал одноногий Мафусаил[37]. — Мой давно не курил табак. Твой белый господин захочет дать один стебель табак, мой скоро-скоро подает лодка на пароход.

— А если мой не захочет дать? — нетерпеливо воскликнул баталер.

Вместо ответа старик повернулся на костыль и, размахивая в воздухе своей культяпкой, поскакал в шалаш.

— Ладно, мой дает, — поторопился Доутри, — мой дает табак, твой торопится ехать.

Он полез в карман куртки за ходовой монетой Соломоновых островов и вытащил стебель

---

[37] notes: 37
Мафусаил — библейский патриарх, проживший по преданию 969 лет.

табаку.

Старик жадно потянулся за табаком. Получив свою долю, он весь преобразился и заурчал, прерывая урчание резким вскрикиванием, как бы в экстазе. Из дыры в ушной мочке он вытащил черную глиняную трубку и дрожащими пальцами стал крошить табак и набивать трубку плохим и дешевым продуктом Виргинии.

Крепко нажимая большими пальцами на табак, он, уронив костыль, вдруг уселся на землю и, поджав под себя единственную ногу, казался безногим обрубком. Из маленькой плетеной кокосовой корзинки, болтавшейся на его впалой иссохшей груди, он вытащил кремень, огниво и трут и, не глядя на коробку спичек, поданную ему нетерпеливым баталером, высек из кремня искру, подхватил ее на фитиль, раздул и раскурил свою трубку.

С первой же затяжкой он перестал стонать и охать и успокоился. Внимательно следивший за ним Доутри заметил, как руки старика перестали дрожать, отвисшая губа больше не подергивалась, слюна перестала течь из углов рта и даже воспаленные глаза как будто прояснились.

Доутри не старался разгадать, о чем мечтает старик в наступившей тишине. Он был слишком

занят своим видением. Перед ним быстро пронеслась картина нищенской обстановки богадельни, и старик, такой же старик, каким будет он сам, бессвязно клянчащий крошку табаку для своей старой трубки; но страшнее всего то, что в таком месте нельзя достать и глотка пива, не говоря уже о шести квартах.

Майкл разглядывал двух стариков, освещенных слабым светом вспыхивающей трубки, переводя глаза со скорчившегося на земле негра на ожидающего его белого человека; он ничего не подозревал о трагедии старости и был абсолютно поглощен чувством бесконечного обожания двуногого белого бога, который завладел его сердцем одним прикосновением своих магических пальцев к его ушам и хвосту.

Выкурив свою трубку, старый негр с необыкновенной быстротой вскочил с помощью костыля на свою единственную ногу и заковылял к берегу. Доутри пришлось помочь ему столкнуть крошечную лодчонку с песчаного берега в море. Лодчонка была под стать своему хозяину, и, чтобы не опрокинуть ее при посадке, Доутри промочил одну ногу по щиколотку, а другую по колено. Старик ловко и быстро перекатывался с одной стороны лодки на другую, удерживая

своим телом ее в равновесии в те минуты, когда катастрофа казалась неминуемой.

Майкл оставался на берегу, ожидая приглашения. Он как бы колебался, но достаточно было легкого почмокивания, чтобы уничтожить последние сомнения. Дэг Доутри подал ему знак так тихо, что старик ничего не услыхал. Майкл одним прыжком очутился в лодке, не замочив при этом лап.

Вскочив на плечо Доутри, он перебрался на дно лодки, но Доутри опять чмокнул губами, и Майкл повернулся, сел и положил морду на его колени.

— Право же, я могу поклясться на целой куче библий, что этот пес сам ко мне пристал, — прошептал он, смеясь, на ухо Майклу. — Эй, веселей, не зевай! — крикнул он негру.

Тот послушно тыкал веслом в воду, стараясь направить лодку к группе огоньков, указывавших на местопребывание «Макамбо». Но он был слишком слаб, задыхался от напряжения и устраивал себе передышку после каждого удара весла. Баталер нетерпеливо выхватил у него весло и принялся за работу.

На полпути старик перестал вздыхать и, кивнув головой на Майкла, сказал:

— Этот собака — большой белый господин

другой пароход. Твой дает десять пачек табак… — прибавил он после некоторой паузы.

— Мой дает хороший тумак, — весело заверил его Доутри. — Белый господин другой пароход очень большой друг. Он сейчас «Макамбо». Мой везет собаку ему на «Макамбо».

Старик замолчал. Он прожил еще долгие годы, но никогда не говорил о пассажире, увозившем в полночь Майкла на пароход. Он молчал, даже видя и слыша суматоху и беготню на берегу, когда в ту же ночь капитан Келлар перевернул вверх дном весь Тулаги в поисках Майкла. Кто он такой, этот одноногий старик, чтобы вмешиваться в распри этих странных белых людей, которые приезжают и уезжают, шатаются по его стране и распоряжаются здесь, как у себя дома.

В этом старик ничем не отличался от других чернокожих обитателей Меланезии. Для него поступки и мотивы белых были всегда неожиданны и непонятны. Белые представлялись ему пришельцами из другого мира, как бы высшими существами, где-то в отдалении разыгрывающими свои непонятные роли. В этом отдалении не было ничего реального в том смысле, как реальное понимается чернокожими, и в этом нереальном пространстве белые люди проходи-

ли как туманные видения, или как призраки, видимые на громадной и таинственной завесе космоса.

Трап был спущен со стороны берега, Дэг Доутри обогнул пароход и подвел лодку к одному из открытых иллюминаторов.

— Квэк, — позвал он тихо и затем еще раз.

После второго зова свет в иллюминаторе был затемнен чьей-то головой, и затем послышался пискливый голос:

— Мой здесь, господин.

— Мой передает собака окно, — прошептал баталер. — Дверь запереть хорошо. Твой ждет меня. Осторожно! Бери!

Он схватил Майкла, быстро поднял его и передал невидимым рукам, протянутым как бы из железной стены, затем взял весло и подвел лодку к месту, откуда выносили груз. Сунув руку в карман, он бросил старику пригоршню стеблей и оттолкнул лодку, даже не задумываясь о том, как доберется до берега беспомощный гребец.

Старик не дотронулся до весла и не обращал никакого внимания на высокие борта парохода, мимо которого проскользнула его лодка, скрываясь в тени за кормой. Он был слишком занят подсчетом свалившегося на него табачного богат-

ства. Нелегкая задача — этот подсчет. Пределом его цифровых познаний было пять. Дойдя до пяти, он начинал сначала и насчитал вторые пять. Всего он насчитал три раза по пяти и еще два стебля сверх того. Таким образом, он в конце концов с такой же точностью определил количество стеблей, как его определил бы любой белый человек цифрой семнадцать.

Это было больше, гораздо больше, чем он в своей жадности требовал. Но он не удивился. Ни один поступок белых людей не мог его удивить. Если бы вместо семнадцати стеблей было два, он и тогда бы не удивился. Поскольку все поступки белых людей всегда неожиданны, то удивить негра можно только чем-нибудь вполне ожиданным.

Работая веслом, вздыхая и время от времени отдыхая, старик забыл о призрачном мире белых людей. Ощущая лишь реальность черной массы горы Тулаги, четко вырисовывающейся при слабом свете звездного неба, реальность моря и лодки, которую так трудно было направлять к берегу, ощущая реальность слабеющих сил и смерти, навстречу которой он шел, старый негр медленно возвращался на берег.

Глава III

Тем временем Майкл, переданный невидимыми руками, протащившими его через узкое медное отверстие в освещенную каюту, озирался вокруг, ожидая увидеть Джерри, но Джерри в это самое время прикорнул у койки Виллы Кеннан на накренившейся палубе «Ариэля». Оставив за собой Шортлендские острова, нарядное суденышко спешило со скоростью одиннадцати узлов к берегам Новой Гвинеи, где ожидалось оживление торговли. Оно наполовину сидело в воде, которая с журчанием стекала обратно в море. Вместо Джерри Майкл увидел Квэка.

Квэк? Ну что ж, Квэк — это Квэк, существо, еще более не похожее на всех остальных людей, чем все остальные люди не похожи друг на друга. Вряд ли по житейским волнам носилось когда-либо более странное и нелепое создание. Ему было семнадцать лет, если считать время человеческим летоисчислением; однако на его морщинистом и высохшем лице, на провалившихся висках и глубоко запавших глазах отпечаталось целое столетие. Ноги его были тонки и казались хрупкими, как соломинки, причем кости точно болтались

в чехле из дряблой, лишенной мускулов кожи. На этих ногах держался торс крупного толстого человека. Громадный выдающийся живот поддерживался широкими массивными бедрами, а плечи по ширине напоминали плечи Геркулеса. Но если посмотреть на него сбоку, то плечи и грудь, казалось, были построены в двух измерениях. Руки Квэка были так же тонки, как его ноги, и Майклу он с первого взгляда показался большим толстобрюхим черным пауком.

Квэк стал одеваться. Скользнуть в парусиновые грязные и протертые от времени штаны было делом нескольких секунд. Два пальца левой руки Квэка были согнуты, и опытный глаз сразу признал бы в нем прокаженного, но, несмотря на то, что он принадлежал Дэгу Доутри, как принадлежит вещь, на которую имеется оплаченный счет, последний и не подозревал, что эта нечувствительность разрушенных нервов является одним из признаков ужасной болезни.

Каким образом Дэг Доутри стал хозяином Квэка? Да очень просто. На острове Короля Вильгельма, из группы островов Адмиралтейства, Квэк, по местному выражению, «прыгнул через границу». И проказа и все остальное бросилось, так сказать, прямо в объятия к Доутри. Шатаясь

недалеко от берега на опушке леса и, по обыкновению, выискивая себе добычу, баталер подобрал Квэка. И это случилось в самый драматический момент жизни последнего.

Преследуемый двумя быстроногими молодцами, вооруженными стальными копьями, Квэк с невероятной скоростью ковылял на своих журавлиных ножках и в изнеможении упал к ногам Доутри, глядя на него затравленным взором загнанной лани. Доутри приступил к выяснению обстоятельств этого происшествия, и выяснение это прошло весьма бурно. Быстроногие молодцы намеревались проткнуть Доутри своими грязными копьями, но, преисполненный ужаса перед всякой грязью и бактериями, он схватил за конец копья одного из них, оглушив другого ударом в челюсть. Минутой позже и первый молодец лежал без памяти.

Пожилой баталер не удовлетворился одними копьями. Пока спасенный Квэк продолжал стонать и коверкать слова благодарности у его ног, баталер обобрал лежащих молодцов. Из их одежды ничего нельзя было взять, потому что они были совершенно голы, но каждый из них носил на шее ожерелье из зубов дельфина, за которые можно было получить по соверену в

любой валюте. Из всклоченных волос одного из голышей он вытащил гребень тонкой ручной работы, инкрустированный перламутром. Этот гребень он впоследствии продал в Сиднее торговцу редкостями за восемь шиллингов. Он снял с них все костяные и черепаховые ушные и носовые украшения, а с груди — полумесяцы из жемчужных раковин, в четырнадцать дюймов в поперечнике каждая. Стоимость такого полумесяца составляла не менее пятнадцати шиллингов. Наконец, в порте Моресби он сбыл туристам копья по пяти шиллингов за каждое. Не легко судовому баталеру поддерживать свою шестиквартовую репутацию!

Когда он отходил от быстроногих молодцов, они уже пришли в себя и яростно смотрели на него большими пронизывающими глазами. Квэк последовал за ним, наступая на пятки и едва не толкая его. Тогда Доутри нагрузил Квэка своей добычей и пустил его идти вперед по тропинке. На своих тоненьких ножках Квэк напоминал бочонок, и весь остальной путь до парохода Дэг Доутри усмехался, глядя на свою добычу и на ковылявшего, как фантастическое чудище, Квэка.

На борту — это был пароход «Кокспэр» — Доутри убедил капитана принять Квэка в качестве

помощника баталера, на жалованье десять шиллингов в месяц. Тут же он узнал историю Квэка.

Все случилось из-за свиньи. Быстроногие молодцы были братьями, жившими в соседнем селении, и эта свинья была их собственностью, повествовал Квэк на своем ужасающем английском морском жаргоне. Он, Квэк, никогда этой свиньи не видал. Он не подозревал о ее существовании, пока она не околела. Эти молодцы очень любили свою свинью. Но при чем тут он? Это ведь не касалось Квэка, который так же мало был осведомлен об их любви к этой свинье, как и об ее существовании вообще.

В первый раз, уверял Квэк, он услыхал о ней, когда по деревне разнесся слух о том, что свинья околела и что поэтому кто-нибудь должен умереть. Это так уж полагается, пояснил он недоумевающему баталеру. Такой обычай. Когда околевает свинья, хозяева должны выйти из дому и кого-нибудь, все равно кого именно, убить. Конечно, было бы справедливее убить того, кто своим колдовством наслал болезнь на свинью. Но если этого человека не нашли, то в крайнем случае может подойти любой. Таким образом, на долю Квэка выпало служить жертвой искупления.

Дэг Доутри выпил седьмую кварту, с увлечением вслушиваясь в зловещий романтизм этого происшествия из жизни дремучих чащ, где убивают своих и чужих из-за околевшей свиньи.

Разведчики, бродившие по лесным тропам, продолжал Квэк, принесли весть о приближении осиротевших владельцев свиньи, и все население деревни кинулось в лес и вскарабкалось на деревья — все, кроме Квэка, который не мог влезть на дерево.

— Честное слово, — заключил Квэк. — Мой не делал их свинья больной.

— Честное слово, — сказал Дэг Доутри. — Ты слишком разболтался об этой свинье. Ты похож на черта, и у меня все начинает болеть, как только я на тебя погляжу. Ты меня совсем расстроил.

У баталера вошло в привычку, допивая шестую бутылку, заставлять Квэка рассказывать свою историю. Это возвращало его к дням детства, когда он упивался сказками о жизни каннибалов в далеких странах и мечтал о том, чтобы когда-нибудь своими глазами эти страны увидеть. И вот, наконец, он здесь, — посмеивался он про себя, он здесь и является владельцем настоящего каннибала.

И действительно, Квэк принадлежал ему, как

принадлежат купленные на аукционе рабы. Переходя с одного парохода на другой, баталер ставил обществу «Бэрнс, Филп и Ко» условием переход Квэка в должности своего помощника с месячным окладом в десять шиллингов. Квэк в этом деле права голоса не имел. Если бы ему и захотелось бежать в одном из австралийских портов, Доутри незачем было его сторожить. Об этом заботилась Австралия сама со своей «белой полицией». Ни один темнокожий человек, будь то малаец, японец или уроженец Полинезии, не может высадиться на австралийский берег, не внеся залога в сто фунтов. Но и другие острова — стоянки «Макамбо» — не возбуждали у Квэка желания бежать. Единственное знакомое ему место — остров Короля Вильгельма — служило для него мерилом всех остальных мест. И так как на этом острове жили людоеды, он считал, что и жители других островов предпочитают этот род пищи.

Что касается острова Короля Вильгельма, то «Макамбо», идущий по маршруту «Кокспэра», заходил туда через каждые десять недель, но самой страшной угрозой для Квэка была угроза ссадить его на берег, на то самое место, где проворные молодцы все еще оплакивали свою свинью. Дей-

ствительно, во время стоянок «Макамбо» они регулярно являлись в своей лодчонке и вертелись вокруг парохода, посылая свирепые гримасы Квэку, платившему им с палубы той же монетой. Доутри даже поощрял этот обмен любезностями, отнимавший у Квэка надежду когда-либо увидеть свое родное селение.

Поэтому Квэк не имел большого желания покинуть своего господина, который, в конце концов, был добр и справедлив и никогда не поднимал на него руку. Квэк никогда не сходил на берег и, переболев раз морской болезнью, больше ею не страдал и считал, что живет в земном раю. Ему не приходилось сожалеть о своем неумении лазать по деревьям, потому что никакая опасность ему больше не угрожала. Он регулярно получал еду и все, что ему полагалось; и какая это была еда! Ни один человек на его родине не мечтал о таких деликатесах, которые ему приходилось получать ежедневно. Это сознание помогало ему справляться с легкими припадками тоски по родине и быть самым счастливым человеком, который когда-либо плавал по морям.

Этот Квэк и втащил Майкла через иллюминатор в каюту Дэга Доутри и ожидал теперь прихода хозяина через дверь. Быстро оглядев каюту, об-

нюхав койку и все под койкой, Майкл увидел, что Джерри здесь нет, и обратил свое внимание на Квэка.

Квэк старался быть любезным. Он издал какое-то кудахтанье, выражавшее, по его мнению, дружеский привет, но Майкл зарычал на чернокожего, который посмел прикоснуться к нему своими руками — осквернить его, согласно внушенным ему понятиям. Мало того, чернокожий смеет заигрывать с ним, привыкшим общаться только с белыми богами.

На этот решительный отказ Квэк ответил глупым хихиканьем и двинулся к двери, чтобы быть наготове открыть ее при звуке шагов своего господина. Но едва он приподнял ногу, как Майкл кинулся на него. Квэк немедленно поставил ногу на место, и Майкл успокоился, но не сводил с него глаз. Что он знал об этом странном негре, кроме того, что он негр и что в отсутствие белого хозяина за черными должен быть надзор? Квэк попытался медленно скользнуть ногой к двери, но Майклу этот трюк был знаком, и он, ощетинившись, заворчал.

На этом Доутри и застал их при входе и, любуясь Майклом при ярком свете электричества, сразу оценил положение.

— Квэк, сделай шаг вперед, — приказал он, чтобы проверить себя.

Опасливый взгляд, брошенный Квэком на Майкла, был достаточно убедителен, но баталер настаивал на своем. Квэк тихонько повиновался, но едва он двинул ногой, как Майкл бросился к нему. Нога застыла в воздухе, и Майкл угрожающе прошелся вокруг него.

— Да ты прирос к полу, что ли? — усмехнулся Доутри. — Честное слово, этот пес натаскан на чернокожих, вот славный охотник за неграми. Эй, Квэк, достань мне две бутылки пива со льда, — приказал он с самым решительным видом.

Квэк умоляюще посмотрел на него, но не двинулся с места. Он не двинулся и при более резком приказании хозяина.

— Черт возьми! — вскипел баталер. — Если твой сейчас же не принесет пива, я закачу твои восемь вахт подряд. Если твой сейчас же не послушается, я отправлю твой гулять остров Короля Вильгельма.

— Мой не может, — робко пробормотал Квэк. — Глаза собака так много глядит. Мой не любит, когда собака кусает.

— Твой боится собака? — спросил Доутри.

— Честное слово, мой очень боится собака.

Дэг Доутри был в восторге. И так как после прогулки им овладела сильная жажда, то он положил конец этой игре.

— Эй, песик, — обратился он к Майклу. — Этот парень хороший. Понял? Очень хороший.

Майкл помахал хвостом и опустил уши, что у него означало старание понять. Когда Доутри похлопал Квэка по плечу, Майкл тоже подошел к нему и обнюхал ноги, пригвожденные от страха к полу.

— Ступай, — велел Доутри. — Не торопись, — предупредил он, хотя в этом уже не было никакой необходимости.

Майкл ощетинился, но дал Квэку сделать первый робкий шаг. На втором он, чтобы проверить себя, посмотрел на баталера.

— Все в порядке, — успокоил его тот. — Парень принадлежит мне. Он хороший, право, хороший.

Глаза Майкла улыбнулись, и он небрежно отошел осмотреть стоящий на полу открытый ящик, в котором лежали черепаховые пластинки, напильники и наждачная бумага.

— А теперь, — торжественно пробормотал баталер, когда с бутылкой в руке откинулся на своем кресле, в то время как Квэк на коленях расшнуровывал его башмаки, — теперь все дело

в том, чтобы найти для тебя, песик, имя, соответствующее твоему воспитанию и делающее честь моей изобретательности.

Глава IV

Ирландские терьеры по достижении зрелого возраста отличаются не только храбростью, преданностью и привязчивостью, но необычайным хладнокровием, сдержанностью и самообладанием. Их не легко вывести из равновесия; они узнают голос своего хозяина и слушаются его в самый разгар драки и никогда не впадают в истерическое состояние, свойственное, скажем, фокстерьерам.

Майкл, лишенный всякой истеричности, по своему характеру и темпераменту был гораздо вспыльчивее Джерри, а их родители, по сравнению с последним, были просто-напросто смиренными старыми псами. Взрослый Майкл оказался гораздо игривее взрослого Джерри. Его кипучей энергии было достаточно любого повода для игры, и он так разыгрывался, что мог надоесть любому щенку. Короче говоря, Майкл был душа-парень.

Слово «душа» сказано здесь вполне сознательно. Если человеческая душа состоит из чуткости, восприимчивости, чувства своей личности и общей сознательности, то этими неуловимыми

свойствами Майкл обладал вполне. Его душе были присущи те же чувства, что и душе человека, может быть, чуть в меньшей степени. Ему были знакомы и любовь, и тоска, и радость, и гнев, и гордость, чувство собственного достоинства и юмор. Основными качествами человеческой души являются память, воля и сознание, — и Майкл обладал памятью, волей и сознанием.

Как и человек, Майкл с помощью своих пяти чувств познавал внешний мир. Как и в человеческой душе, результатом этого познания являлись ощущения. Как и в человеческой душе, эти ощущения порождали эмоции. Далее, он, как и человек, мог понимать и понимал многое, что в его мозгу складывалось как определенное понятие, — о, конечно, эти понятия не походили на глубокие и отвлеченные понятия людей, но все же это были своеобразные понятия.

Может быть, чтобы не оскорблять человека сравнением тончайших свойств его природы с переживаниями собаки, следовало бы признать, что ощущения Майкла не так остры и что, например, укол в лапу собаки менее чувствителен, чем укол в ладонь человека. Итак, мы допускаем, что мысль зарождается в мозгу собаки далеко не с той ясностью и определенностью, с какой

она зарождается в человеческом мозгу. Далее, мы допускаем, что никогда, даже через миллион лет, Майкл не смог бы доказать какого-нибудь положения Эвклида[38] или решить квадратное уравнение. Но все же он твердо знал, что три кости — это больше, чем две, и что десять собак более опасный противник, чем две собаки.

Одно мы должны признать, что Майкл мог любить так же самоотверженно и беззаветно, безумно и бескорыстно, как любит человек. Он любил так не потому, что был Майклом, а потому, что был собакой.

Майкл любил капитана Келлара больше, чем себя самого. Как и Джерри за своего шкипера, он не задумался бы пожертвовать своей жизнью за капитана Келлара. И теперь, когда капитан Келлар, Мериндж и Соломоновы острова перешли в неизбежное *ничто*, ему было суждено полюбить той же беззаветной любовью шестиквартового баталера с его умением подходить к собакам и очаровывающим причмокиванием. Квэк? Квэк — это другое дело, Квэк — чернокожий. Квэка он воспринял как часть окружающей обстановки, как вещь Дэга Доутри.

---

[38] notes: 38

Эвклид (315–255 гг. до н. э.) — один из величайших математиков древней Греции — геометр.

Он не называл своего нового бога Дэгом Доутри. Квэк звал его «господином», но Майкл слышал, как негры называли так и других белых людей. Многие негры называли капитана Келлара «господином». Капитан Дункан называл баталера баталером. Майкл слышал, как капитан, офицеры и все пассажиры звали его так; и потому для Майкла имя его бога было «баталер», и все время, что он его знал и думал о нем, он считал его баталером.

Но теперь приходилось решать, как быть с его именем? На следующий день по его водворении на пароход Дэг Доутри принялся обсуждать с ним эту задачу. Майкл сидел перед ним на задних лапах, склонив голову влево и упираясь ею в колени Доутри; глаза его то открывались, то закрывались, то как бы загорались изнутри, а уши то напрягались, то опять опускались. Так он сидел, вслушиваясь в речь баталера, и от избытка чувств колотил по полу обрубком хвоста.

— Вот и хорошо, сынок, — говорил ему баталер. — Твоя мать и твой отец были ирландцы. Ну же, не отрицай этого, негодяй!

Тут Майкл, поощренный несомненной лаской и добротой, звучавшими в голосе, завертелся на месте и вдвое сильнее забарабанил обрубком

хвоста. Он, конечно, не понимал смысла этих слов, но прекрасно уловил в самом сочетании звуков ту таинственную прелесть, какой обладали белые боги.

— Никогда не стыдись своего происхождения! И помни, что Бог любит ирландцев. Квэк, доставай два бутылка пива с ледника! Ладно. Твоя морда сразу выдает в тебе ирландца. — Хвост Майкла отбивал настоящую зо́рю. — Нет, уж пожалуйста ко мне не подлизывайся. Я хорошо знаю эти штуки, которыми вы втираетесь в души. В мое сердце тебе все равно не пробраться, так и знай! Оно давно уже пропиталось пивом. Я тебя украл, чтобы продать, а не для того, чтобы любить. Когда-то прежде я, может, и полюбил бы тебя, но это могло быть до того времени, когда познакомился с пивом. Я сейчас бы продал тебя за двадцать монет, деньги на бочку! Если бы представился случай. И я тебя любить не стану, намотай это себе на ус. Да, но что же это я начал говорить, когда ты меня так грубо прервал своими нежностями.

Тут он остановился и опрокинул в рот бутылку, принесенную Квэком. Затем он вздохнул, вытер губы тыльной стороной ладони и продолжал:

— А странная штука, сынок, это дурацкое пиво! Эта обезьяна Квэк, скалящий зубы Мафусаил,

принадлежит мне. Но, клянусь тебе, я принадлежу пиву, целой батарее бутылок пива. Их столько, что целый корабль потопить можно. Пес, я прямо завидую тебе! Сидишь себе самым спокойным образом, и нутро твое ничуть не отравлено алкоголем. Я твой хозяин, и парень, что даст за тебя двадцать монет, будет твоим хозяином, но батарея бутылок никогда не будет твоим хозяином. Ты более свободный человек, чем я, пес, хотя я и не знаю еще твоего имени. Мне что-то приходит на ум…

Доутри осушил бутылку, подбросил ее и дал знак открыть вторую.

— Твое имя, сынок, не так-то легко придумать. Оно, конечно, звучат по-ирландски, но как? Пэдди? Ладно, кивни мне только головой. Это имя недостаточно благородно. Оно слишком простое? Баллимена подошло бы, но это имя звучит уж очень по-дамски, мой мальчик. Ты ведь мальчик. Блестящая мысль! Бой! Посмотрим-ка. Баншибой! Не годится. Лэд-Эрин[39]!

Он одобрительно кивнул и достал вторую бутылку. Он пил, раздумывал и снова пил.

— Я нашел! — торжествующе заявил он. — Кил-

---

[39] notes: 39
Lad of Erin — ирландский парень.

лени — хорошенькое имя. Ты у меня будешь Киллени-бой. Не оскорбляет это ваши благородные чувства? Звучит громко, благородно, точно это граф или разбогатевший пивовар. Многим из этой братии я помог нажиться за свою жизнь.

Доутри допил бутылку, схватил двумя руками морду Майкла и, нагнувшись, потер носом об его нос. Затем он внезапно разжал руки, и Майкл, блестя глазами и помахивая хвостом, смотрел в лицо своего бога. Нечто вполне сознательное — настоящая душа — мерцало в глазах собаки, преданно обожающей этого седеющего бога, говорящего ему непонятные речи, которые все же находили прямой и радостный отклик в его сердце.

— Эй, Квэк, сюда!

Сидевший на корточках Квэк перестал полировать черепаховый гребень, вырезанный Доутри по собственному рисунку, и посмотрел вверх, готовый тут же исполнить приказание своего господина.

— Квэк, запомнить крепко, как этот собака зовут, имя этот собака — Киллени-бой. Этот имя крепко запомнит твой голова. Квэк говорит собака Киллени-бой. Понял? Твой забыл, мой снесет башка. Киллени-бой, понял? Киллени-бой.

Когда Квэк снимал его башмаки и помогал ему раздеваться, Доутри сонными глазами посмотрел на Майкла.

— Я нашел, паренек, — объявил он, вставая, и, качаясь, направился к своей койке. — Я нашел тебе имя, а вот тебе и аттестат. Я и это нашел тебе, — бойкий, но разумный. Оно пристало к тебе, как обои к стенке.

Бойкий, но разумный, — вот ты какой. Киллени-бой… бойкий, но разумный… — продолжал он бормотать, пока Квэк помогал ему устроиться на койке.

Квэк продолжал полировать. Он беззвучно шептал что-то и, напряженно наморщив брови, обратился к баталеру.

— Господин, какой имя этот собака?

— Киллени-бой, безмозглый людоед, Киллени-бой, — сонно бормотал Доутри. — Квэк, черный кровопийца, беги-ка и достань бутылка хорошо холодный.

— Нету, господин, — дрожащим голосом ответил негр, следя глазами, как бы в него чего не бросили. — Твой шесть бутылок уже выпил.

Вместо ответа он услышал храп.

Чернокожий, с пораженной проказой рукой и едва видным утолщением кожи на лбу между

бровями, характерным для этой болезни, склонился над работой, шевеля губами и время от времени повторяя: «Киллени-бой».

Глава V

Майкла держали взаперти в каюте баталера, и он в течение нескольких дней не видел никого, кроме баталера и Квэка. Никто не подозревал о его присутствии на борту, и Дэг Доутри, отлично понимавший, что он украл собаку, принадлежащую белому, надеялся скрыть ее и перевести на берег в Сиднее.

Баталер скоро оценил выдающуюся понятливость Майкла. Ему как-то раз пришлось дать последнему косточку цыпленка, и двух уроков, которые едва можно назвать уроками, так как каждый из них длился не более полуминуты, а оба были даны в продолжение пяти минут, — двух уроков было достаточно, чтобы приучить Майкла разгрызать эти кости в углу у самой двери. Майкл, получая косточки, без всяких напоминаний, тащил их в свой уголок. И это вполне понятно. Он схватывал сразу, что баталер от него требовал, а служить баталеру было для него счастьем. Баталер был добрым богом, и его любовь Майкл чувствовал в голосе, в прикосновении рук, в манере тереться носом о его нос или обнимать его. Ведь все жертвы вырастают на почве любви

— то же случилось и с Майклом. Если бы баталер приказал ему оставить в покое только что принесенную в заветный угол косточку, Майкл принес бы ему жертву, исполнив этот приказ. Таковы собаки, единственные животные, которые радостно и весело виляют всем телом, бросая недоеденный кусок, чтобы последовать за своим хозяином или услужить ему.

Доутри все свое свободное время проводил с сидящим взаперти Майклом, который скоро отучился скулить и лаять. В эти часы дружеской беседы Майкл приобрел много познаний. Доутри убедился в том, что такие простые понятия, как «да», «нет», «встань» и «ложись», Майклу уже известны, и он расширил эти понятия, например: «ступай на койку и ложись там», «ступай под койку», «принеси один башмак» и «принеси два башмака». Без всякого труда Майкл выучился кувыркаться, «молиться», «умирать», сидеть с трубкой, в шляпе и не только стоять, но и ходить на задних лапах.

Затем пришел черед трюка «нельзя и можно». Доутри со словом «нельзя» клал на угол койки, вровень с носом Майкла, соблазнительный кусок раздражающе пахнувшего мяса или сыра, и Майкл не дотрагивался до него, пока не раздавалось

вожделенное «можно». Доутри, не освободив его от «нельзя», мог уходить из каюты на срок до шести часов, и по возвращении находил нетронутым кусок мяса, а Майкла спящим в углу койки, на отведенном ему месте. Однажды, когда баталер вышел из каюты, а нос Майкла находился на расстоянии дюйма от запретного куска, Квэк в шутку потянулся за ним, но Майкл быстро схватил его руку зубами.

Но все эти трюки, так охотно проделываемые им для баталера, Майкл ни за что бы не повторил для Квэка, несмотря на то что в Квэке не было ни зла, ни недоброжелательства. Дело в том, что Майклу, с первого проблеска сознания, внушали разницу между белыми и чернокожими.

Чернокожие были всегда слугами белых — так он, во всяком случае, запомнил, и всегда чернокожие возбуждали недоверие, считались способными на любое злодеяние и требовали тщательного надзора. Долгом собаки было служить своему белому богу, не спуская внимательных глаз со всех чернокожих.

Майкл разрешал Квэку следить за его пищей и питьем и оказывать ему другие услуги, вначале во время своего отсутствия, а затем и в любое время. Он понял, не раздумывая много над этим, что

все, что Квэк для него делал, и все, что Квэк ему давал есть, исходило не от него, а от их общего господина.

Квэк не завидовал Майклу и сам старался услужить ему, чтобы доставить удовольствие господину, который спас его от разъяренных собственников свиньи в тот страшный день на острове Короля Вильгельма, — и он заботился о Майкле ради господина. Видя любовь господина, Квэк сам полюбил Майкла — так же, как любил все принадлежащее баталеру, — безразлично, было ли это платье и сапоги, которые он ему чистил, или шесть бутылок пива, которые он для него ежедневно замораживал на льду.

По правде говоря, душа Квэка была душой раба, а Майкл был прирожденным аристократом. Он из любви мог служить баталеру, но чувствовал себя выше чернокожего. Квэк был рабом по природе, а в природе Майкла рабского было не многим больше, чем в североамериканских индейцах, которых тщетно пытались обратить в рабство на плантациях Кубы. Это нельзя было поставить Квэку в вину или Майклу в заслугу. Наследственность Майкла, годами строго контролируемая людьми, слагалась из храбрости и верности. Храбрость и верность неизменно приводят к гордости,

а гордость не может существовать без чести, как честь без сознания собственного достоинства.

Самым замечательным достижением Майкла в первые дни обучения было умение считать до пяти. Но на это понадобилось немало часов, несмотря на его необыкновенную понятливость. Во-первых, ему пришлось научиться узнавать произнесенные числа; во-вторых, отличать один предмет от группы предметов, числом до пяти; в-третьих, связывать представление об одном предмете или группе их с произносимой Доутри цифрой.

Обучая счету, Доутри пользовался бумажными шариками, обвязанными бечевкой. Он бросал пять шариков под койку и приказывал Майклу принести ему три. Майкл приносил ему не два и не четыре, а именно три и клал их ему в руку. Когда Доутри бросал три шарика под койку и требовал четыре, Майкл тщетно искал четвертый шарик, с извиняющимся видом скакал, помахивая хвостом, вокруг баталера и затем бросался к койке и добывал четвертый шарик из-под подушки или между простынями.

То же происходило и с другими знакомыми ему предметами. Майкл в пределах пяти приносил требуемое количество башмаков, рубашек или

наволочек, и между математическим мышлением Майкла, умеющего считать до пяти, и мышлением чернокожего в Тулаги, раскладывающего пачки табаку на кучки в пять пачек, расстояние было короче, чем между Майклом и Доутри, умевшим умножать и делить многозначные числа. В этом смысле еще бóльшее расстояние отделяло Дэга Доутри от капитана Дункана, управлявшего «Макамбо» с помощью сложных математических вычислений. Но самое большее расстояние отделяло математическое мышление капитана Дункана от мышления астронома, исследующего небо и мысленно странствующего за тысячи миллионов миль от нас, между звездных путей, который бросал крупицу своих познаний капитану Дункану, — крупицу, дававшую последнему возможность изо дня в день определять местоположение «Макамбо» в море.

Одному только мог Квэк научить Майкла. У Квэка был маленький варганчик[40], и когда все люди на «Макамбо» и служение баталеру становились ему в тягость, он мог мысленно переноситься на остров Короля Вильгельма, прикладывая свой примитивный инструмент ко рту и извлекая из

[40] notes: 40

Варганчик (варган) — железная полоска, согнутая в виде лиры, со вставленным посередине стальным язычком.

него очаровательные звуки движением руки. Под эту музыку, далеко уносящую мечтающего о родине Квэка, Майкл пел, вернее — выл, причем его голос отличался той же мягкой мелодичностью, что и голос Джерри. Майклу не хотелось выть, но все существо его так же было вынуждено реагировать на музыку, как реагируют друг на друга химические вещества, давая определенные реакции.

Поскольку Майкла скрывали в каюте баталера и его голос мог выдать его присутствие, Квэку пришлось искать утешения в своей музыке на решетках над кочегаркой, в нестерпимой жаре. Но это не могло долго тянуться, и был ли то слепой случай или же таковы были предначертания судьбы, занесенные в книгу жизни задолго до сотворения мира, но вскоре произошло событие, глубоко изменившее судьбу не только Майкла, но и Квэка и Дэга Доутри и определившее место их кончины и погребения.

Глава VI

Событие, так сильно изменившее дальнейшую судьбу Майкла, заключалось в том, что Майкл самым недвусмысленным образом обнаружил всем и каждому свое присутствие на «Макамбо». Начать с того, что по небрежности Квэк недостаточно плотно закрыл за собой дверь каюты. При легкой качке дверь хлопала туда и сюда, оставаясь иногда широко открытой, а иногда, закрываясь, не захлопывалась окончательно.

Майкл переступил высокий порог с невинным намерением исследовать ближайшие окрестности. Но едва он вышел из каюты, как пароход качнуло сильнее и дверь захлопнулась. Майкл немедленно захотел вернуться. Послушание засело в нем крепко, потому что служение господину являлось желанием его сердца, и, не думая об этом, он чувствовал, подозревал или угадывал, что баталеру было нужно, чтобы он, Майкл, сидел взаперти.

Он довольно долго просидел перед закрытой дверью, внимательно разглядывая ее, но был слишком умен, чтобы лаять или беседовать с неодушевленным предметом. Он еще щенком

понял, что только живые существа могут быть сдвинуты с места просьбой или угрозой и что когда неживые существа двигаются, как двигалась дверь, то это движение происходит не по их воле. Он пробежал маленькую площадку, куда открывалась дверь каюты, посмотрел на длинное помещение, расположенное от носа до кормы, и оббежал его.

Майкл бегал с добрый час, постоянно возвращаясь к не желавшей открываться двери. Затем ему пришла в голову новая мысль: так как дверь не открывается, а баталер и Квэк не возвращаются, то он пойдет их искать. Как только эта мысль созрела в его мозгу, он без робости и колебания побежал вдоль длинного коридора. В конце коридора за углом он увидел узкую лестницу. Среди многих запахов он узнал запахи Квэка и баталера и понял, что они прошли здесь.

Взобравшись на лесенку, он оказался на палубе. Встречные пассажиры заговаривали с ним, и так как они были белыми богами, он снисходительно отнесся к их заигрываниям, но не задерживался с ними и добрался до открытой палубы, где многие из уважаемых белых богов лежали в креслах. И здесь не было ни Квэка, ни баталера. Новая узкая лесенка — и он очутился на верхней палубе.

Здесь, под широким тентом, было белых богов во много раз больше, чем он видел за всю свою жизнь.

Передняя часть верхней палубы кончалась мостиком, который не поднимался над ней, а как бы составлял ее продолжение. Обежав вокруг рулевой будки на тенистой подветренной стороне, Майкл наткнулся на свою судьбу. Надо иметь в виду, что у капитана Дункана, кроме двух фокстерьеров, была еще большая персидская кошка, а у кошки — целая куча котят. Она предпочитала держать своих детенышей в рулевой будке, и капитан Дункан устроил ящик для них и грозил рулевым страшными карами, если кто-либо из них раздавит котенка.

Но Майклу все это было неизвестно. И толстая персианка увидела его раньше, чем он что-либо о ней узнал. В первый раз он столкнулся с ней, когда она бросилась на него из открытой двери рулевой будки. Еще не разобравшись, откуда это внезапное нападение, он инстинктивно отскочил в сторону. С его точки зрения, эта атака никак не была спровоцирована им. Он смотрел на нее, весь ощетинившись, понимал, что перед ним всего-навсего кошка, но она снова вскочила, причем ее раздувающийся хвост был шириной в

руку крупного мужчины, выпустила когти и вся клокотала от бешеной злобы.

Это было уже слишком для уважающего себя ирландского терьера. Его ярость вырвалась наружу, и он отскочил в сторону, чтобы избежать ее когтей и напасть на нее сбоку, а затем его челюсти сомкнулись на ее спине, перекусив ей спинной хребет в момент прыжка. В следующий миг она билась и металась по палубе со сломанной спиной.

Но это было только началом. Лай, похожий скорее на резкий визг, заставил его обернуться, но было уже поздно. На него сбоку налетели два взрослых фокстерьера с такой силой, что он покатился по палубе. Эти фокстерьеры еще маленькими щенками явились на «Макамбо» в карманах Доутри, который, по своему обыкновению, присвоил их на берегу в Сиднее и продал капитану Дункану по гинее за штуку.

Тут уже Майкл, поднимаясь на ноги, по-настоящему рассердился. В самом деле, эта лавина кошек и собак обрушилась на него без всякого повода с его стороны, ведь он не только не затевал с ними ссоры, но даже и не подозревал об их существовании, пока они на него не напали. Фокстерьеры были храбры, несмотря на свое

истерическое состояние, и ринулись на Майкла, едва он встал на ноги. Клыки одного из них ударили о клыки Майкла, разодрав губы обоим, и более легкая собака была отброшена толчком в сторону. Другой удалось напасть на Майкла сбоку и вцепиться в него зубами. Изогнувшись быстро и непроизвольно, Майкл освободил свой бок, оставив у противника в зубах клок своей шерсти, и вцепился зубами в ухо фокстерьера. Тот с резким визгом с такой силой отскочил в сторону, что зубы Майкла разорвали его ухо.

Первый фокстерьер кинулся на него снова, и Майкл повернулся, чтобы встретить нападение, когда на него обрушился новый — и опять с его стороны ничем не вызванный — удар. На этот раз это был капитан Дункан, разъяренный видом своей убитой кошки. Носком сапога он ударил Майкла прямо в грудь, так что у того захватило дыхание, — он взлетел на воздух и тяжело рухнул на бок. Оба фокстерьера уже были на нем и, запустив зубы, клочьями рвали его прямую колючую шерсть. Все еще лежа на боку и пытаясь подняться, он сомкнул челюсти на лапе одного из фокстерьеров, тот завизжал от боли и, хромая, поскакал прочь, подымая переднюю, прокусанную Майклом лапу. Дважды Майклу удалось укусить

другого врага, и теперь он преследовал его, сам преследуемый капитаном Дунканом. Они описывали круги, когда Майкл, сокращая расстояние, прыгнул по хорде круга и вцепился фокстерьеру в спину около шеи. Неожиданное нападение более тяжелой собаки выбило того из равновесия, и он грузно шлепнулся на палубу.

В тот же миг капитан Дункан вторым ударом оттолкнул Майкла с такой силой, что его сомкнутые зубы вырвали кусок мяса из спины фокстерьера.

Тогда Майкл повернулся к капитану. Что с того, что это был белый бог? Доведенный до бешенства нападениями всех этих врагов, когда он сам лишь мирно и, никого не трогая, искал Квэка и баталера, Майкл не стал тратить время на размышления. К тому же это был незнакомый белый бог, которого он никогда раньше не видел в глаза.

Вначале Майкл ворчал и рычал. Но борьба с богом была делом слишком серьезным, и он в полном безмолвии отпрыгнул в сторону, чтобы вцепиться в ногу, готовую нанести ему новый удар. Как и в борьбе с кошкой, он старался вести нападение не по прямой линии, а отскакивая в сторону и изгибаясь всем телом, чтобы избежать направленных на него ударов. Он обучился этому

приему в борьбе с чернокожими в Мериндже и на «Эжени». Его зубы вцепились в белые парусиновые штаны капитана, и полученный толчок заставил разъяренного моряка потерять равновесие. Он чуть не упал прямо перед собой, бешеным усилием воли удержался на ногах, наткнулся на готовившегося к новому нападению Майкла, зашатался на месте и опустился на палубу.

Неизвестно, как долго он просидел бы так, стараясь отдышаться, но Майкл вцепился зубами в его плечо, заставив капитана вскочить со всей быстротой, на какую он, при всей своей полноте, был способен. Майкл выпустил свою добычу и схватил другую штанину, разодрав ее в клочья. Капитан новым ударом подбросил его высоко в воздух, он перекувырнулся и упал на спину.

До этого момента капитан Дункан был нападающей стороной, и он как раз собирался повторить удар, когда Майкл вскочил и высоко прыгнул, не заботясь больше о ногах капитана, а стараясь достать его горло. Это было слишком высоко, и его зубы уцепились за развевающийся черный шарф и обратили его в лохмотья.

Но не это побудило капитана Дункана к обороне и заставило его отступить, а зловещее молчание Майкла. Оно было подобно смерти. Не слышно

было ни ворчания, ни рычания. Не отводя глаз и не мигая, он прыгал все снова и снова. Он не лаял при атаке и не визжал, получая удар. Он не знал страха. Недаром Том Хаггин хвастался, что Бидди и Терренс воспитали Джерри и Майкла так, что они не отступали перед ударами. Всегда — такова уже была их природа — они бросались ударам навстречу и старались схватить существо, от которого эти удары исходили. В страшном, как смерть, безмолвии они привыкли нападать и вести борьбу.

Таков был и Майкл. Когда капитан Дункан отступил, Майкл повел атаку, высоко прыгая и кидаясь на него. Выручил капитана матрос, подоспевший на место происшествия со шваброй. Вступая в борьбу, он пытался сунуть свою швабру в пасть Майкла и оттолкнуть его. В первый раз зубы Майкла невольно щелкнули. Но, выплюнув швабру, Майкл отказался бороться с ней, отлично понимая, что неодушевленному предмету его зубы не могут причинить боли.

Матрос интересовал его лишь постольку, поскольку его надо было избегать. Дело было в капитане Дункане, который, тяжело дыша, прислонился к перилам, вытирая с лица струившийся пот. Рассказ об этом сражении, начиная

от убийства персидской кошки до момента появления на палубе швабры, занял много времени, но на самом деле ход событий был так стремителен, что вскочившие со своих мест пассажиры подоспели как раз тогда, когда Майкл, удачно увернувшись от швабры, кинулся на капитана Дункана и так яростно впился зубами в его округлости, что их обладатель с нечленораздельным проклятием взвыл от неожиданности.

Удачным ударом Майкл был отброшен в сторону, и матрос со своей шваброй опять выступил на сцену. На этом их и застал Дэг Доутри. Его капитан, перепуганный и искусанный в кровь, тяжело дышал, Майкл в зловещем молчании бешено рвался перед не подпускающей его шваброй, и большая персидская кошка с переломанной спиной билась в агонии.

— Киллени-бой! — повелительно крикнул Даг Доутри.

Несмотря на обуревавшие Майкла чувства негодования и ярости, голос господина проник в его сознание, и, сразу остыв, Майкл опустил уши, шерсть его легла на место; челюсти сомкнулись, он обернулся и посмотрел на хозяина.

— Сюда, Киллени!

Майкл послушался и без раболепного ползания,

весело и радостно подбежал к баталеру.

— Ложись, бой!

Майкл повернулся и со вздохом облегчения опустился на палубу, затем своим красным, похожим на стрелку языком лизнул ногу баталера.

— Это твоя собака, баталер? — спросил капитан Дункан сдавленным голосом, в котором боролись гнев и одышка.

— Да, сэр. Моя собака. Что она тут натворила, сэр?

Совокупность подвигов Майкла заставила капитана Дункана чуть не задохнуться от бешенства. Он смог только указать рукой на издыхающую кошку, свою порванную окровавленную одежду и на рычащих и зализывающих раны фокстерьеров.

— Очень, очень жаль, сэр, — начал Доутри.

— Очень жаль, черт побери! — перебил его капитан. — Боцман, брось собаку за борт!

— Бросить собаку за борт, сэр, хорошо, сэр! — повторил боцман, но не решался двинуться о места.

Лицо Дэга Доутри окаменело от напряженности, с какой он решил сопротивляться желанию капитана. Но страшным усилием воли он расправил свои черты и, придав своему лицу его

обычное добродушное выражение, довольно почтительно возразил:

— Сэр, это хороший и безобидный пес, и я не могу себе представить, что заставило его так рассвирепеть. Очевидно, его на это вызвали, сэр.

— Вызвали, конечно, вызвали, — вмешался один из пассажиров, плантатор с Шортлендских островов.

Баталер бросил ему полный благодарности взгляд и продолжал:

— Он очень хороший пес, очень послушный пес, сэр, вспомните, как он послушался меня в самом разгаре драки, подошел ко мне и лег. Он делает все, что я ему прикажу. Я его заставлю помириться с врагами. Вот поглядите…

Подходя к истерическим фокстерьерам, Доутри подозвал к себе Майкла.

— Он хороший, смотри, Киллени, он очень хороший, — приговаривал он, поглаживая одной рукой Майкла, а другой фокстерьера.

Фокстерьер захныкал и тесно прижался к ноге капитана, но Майкл, медленно помахивая хвостом, с миролюбиво опущенными ушами, подошел к нему, посмотрел на баталера, чтобы убедиться в правильном понимании приказания, затем обнюхал своего прежнего врага и наконец

в виде ласки лизнул его ухо.

— Видите, сэр, он не помнит зла, — торжествовал Доутри. — Он знает свое дело. Это породистый пес, настоящий мужчина! Сюда, Киллени! Теперь другого! Он хороший. Поцелуй его и помирись. Вот так!

Другой фокстерьер, с поврежденной передней лапой, ответил на обнюхивание Майкла глухим истерическим рычанием где-то в глубине горла. Но прикосновение языка Майкла переполнило чашу. Раненый терьер не выдержал и цапнул Майкла за нос.

— Он хороший, Киллени, правда, хороший, — поспешил успокоить его баталер.

Помахивая хвостом в знак понимания, без тени недовольства, Майкл приподнял лапу и, играя, слегка ударил фокстерьера, а затем всем телом навалился на него и перекувырнул. Несмотря на его яростное рычание, Майкл степенно вернулся к баталеру и посмотрел на него, ожидая одобрения.

Пассажиры взрывом смеха приветствовали кувыркание фокстерьера и добродушную важность Майкла. Но они смеялись еще и тому, что одновременно с этим натянутые нервы капитана Дункана не выдержали и он подскочил на месте.

— Но, сэр, — с возрастающей уверенностью обратился к нему баталер, — бьюсь об заклад, что и вы с ним станете друзьями через сутки.

— В течение пяти минут он должен быть брошен за борт! — крикнул капитан. — Боцман, бросай его!

Боцман сделал шаг, и среди пассажиров послышался ропот неодобрения.

— Взгляните на мою кошку и взгляните на меня! — оправдывался капитан Дункан.

Боцман подвинулся еще на шаг, но Дэг Доутри с угрозой посмотрел на него.

— Валяй! — приказал капитан.

— Постойте, — снова заговорил шортлендский плантатор. — Будьте же справедливы к этому псу. Я видел всю историю сначала. Он никого не задирал. Сначала на него напала кошка. Она бросалась на него дважды, пока он стал защищаться. Ведь иначе она бы ему глаза выцарапала. Затем на него бросились обе собаки. Он их не трогал. Затем вы бросились на него. Он вас не трогал. Затем еще явился этот матрос со шваброй. А теперь вы еще хотите, чтобы на него бросился боцман и выбросил его за борт. Будьте же к нему справедливы. Чего вы хотите от пса? По-вашему, он должен распластаться и позволить всякой

чужой кошке или собаке себя попирать. Он ведь только защищался. Он знает свое дело. Вы здорово задали ему. Надо же было ему защищаться!

— Вы отлично защищаете его, — улыбнулся капитан Дункан, начиная приходить в свое обычное добродушное настроение. Он осторожно ощупал свое окровавленное плечо и печально осматривал изодранные штаны. — Вот что, баталер. Если ты можешь помирить нас в пять минут, пусть он остается на борту. Но тебе придется возместить мне убытки парой новых штанов.

— С удовольствием, сэр, благодарю вас, сэр! — воскликнул Доутри. — И я достану вам новую кошку, сэр. Иди, сюда, Киллени-бой! Этот большой господин хороший, понял, Киллени?

Майкл прислушивался. Он слушал, не задыхаясь от истерики, как фокстерьеры, его мускулы не дрожали, нервы были спокойны, он слушал хладнокровно и рассудительно, точно не было сейчас ни великой битвы, ни укусов, ни ударов, от которых горело и ныло все его тело. Он все же не мог не ощетиниться, обнюхивая ногу, в которую недавно впивался зубами.

— Погладьте его, сэр, — попросил Доутри.

И капитан Дункан, пришедший окончательно в себя, наклонился и без колебаний положил

свою руку на голову Майкла. И даже больше — он погладил его уши и почесал за ушами. И Майкл, боровшийся, как лев, и умевший забывать и прощать, как человек, перестал ощериваться, замахал обрубком хвоста, улыбнулся ему всем своим существом и лизнул руку того, с кем только что воевал.

Глава VII

После этого происшествия Майкл свободно бегал по всему пароходу. Ласковый со всеми, он не считал ниже своего достоинства играть с фокстерьерами, но любил только своего баталера.

— Это самый игривый пес, какого я когда-либо видел, при этом совсем не глуп, — характеризовал его Доутри шортлендскому плантатору, продав тому черепаховый гребень. — Видите ли, некоторые собаки только и умеют, что играть, и ни на что другое не способны. Но Киллени-бой не таков. Он в один миг может бросить игру. Вот, посмотрите-ка, он и до пяти сосчитать может и с беспроволочным телеграфом знаком. Вот, смотрите!

И баталер чуть слышно причмокнул губами, он сам не слыхал звука и не был уверен, удалось ли ему подать знак; звук был так тих, что шортлендский плантатор и не подозревал о нем. Майкл лежал на расстоянии двенадцати футов, развалившись на спине и подняв все четыре лапы, и играл с фокстерьерами, яростно нападающими на него. Он повернулся на бок, быстро вскочил и, навострив уши, вопрошающе посмотрел на

баталера. Доутри повторил свой призыв, и шортлендский плантатор опять ничего не услыхал и даже не заподозрил.

Тогда Майкл рванулся к нему и стал около своего господина.

— Что, хороша собака? — похвалился баталер.

— Но как же он понял, что вы его зовете? — спросил плантатор. — Ведь вы же не подали ему знака.

— Телепатия, родство душ, — мистифицировал его баталер. — Видите ли, Киллени и я сделаны из одного материала, только отлиты в разные формы. Он должен был быть моим братом, а я — его, только тут где-то произошла ошибка. А теперь я покажу вам, что он и в арифметике силен.

И, вынув из кармана бумажные шарики, Дэг Доутри, к великому удивлению и удовольствию столпившихся вокруг них пассажиров, продемонстрировал умение Майкла считать до пяти.

— Итак, сэр, — заключил свое представление Доутри, — если бы мне в кабачке на берегу пришлось заказать четыре бокала пива, и я, задумавшись, не заметил, что мне принесли только три, Киллени-бой поднял бы целую бурю.

Теперь, когда присутствие Майкла на пароходе было обнаружено, Квэку незачем было насла-

ждаться своей музыкой над топкой, и он при удобном случае возобновлял свои опыты с Майклом в каюте баталера; как только раздавались варварские звуки варганчика, Майкл терял над собой всякую власть. Он открывал пасть и начинал непроизвольно и неудержимо подвывать в такт. Но это вытье у Майкла, как и у Джерри, нельзя было назвать простым воем, — оно скорее напоминало мягкое замирающее пение. И Квэк, в пределах определенного регистра, мог заставить Майкла следовать за собой, то повышая, то понижая голос, правильно передавая ритм и тональность.

Майкл не любил этих уроков, потому что, относясь свысока к Квэку, он возмущался всякой зависимостью от чернокожего. Но все изменилось, когда Дэг Доутри застал их обоих за пением. Он вытащил свою гармонику, на которой любил играть на берегу в кабачке во время выпивки. Он открыл, что легче всего заставить Майкла петь, наигрывая ему печальные мелодии. Раз начав, он уже пел до тех пор, пока музыка продолжала играть. За отсутствием музыкального инструмента Майкл мог петь под аккомпанемент голоса баталера, который начинал с жалобного подвывания и переходил затем к какой-нибудь

старинной балладе. Майкл ненавидел петь с Квэком, но очень любил петь с баталером даже тогда, когда последний устраивал музыкальные сеансы на палубе перед покатывающимися со смеху пассажирами.

В конце рейса баталеру пришлось иметь два серьезных разговора: один с капитаном Дунканом, а другой с Майклом. Голова Майкла лежала на коленях господина, и он с обожанием смотрел ему в лицо, не понимая изо всей речи ни слова, но вслушиваясь в ласку, звучащую в голосе.

— Я тебя украл ради денег, и когда я в первый вечер увидел тебя на берегу, то понял, что повсюду получу за тебя десять монет. Десять монет — это очень много денег. Это пятьдесят американских долларов и сотня мэз у китайцев… Ладно, на пятьдесят долларов я могу напоить до смерти целую роту, или же я могу утонуть в пиве, если мне вздумается в нем топиться… Теперь я хочу спросить тебя одну вещь. Можешь ли ты себе представить, как это я отдам тебя за десять монет? Ну же, говори! Можешь?

Майкл, колотя обрубком хвоста, пронзительным лаем давал свое полное согласие на все предложения.

— Ну, скажем, двадцать монет, ладно. Это хоро-

шенькое дельце. Отдам ли? А? Отдам ли? Никогда в жизни. Что ты скажешь о пятидесяти монетах? Это становится интересным, но сотня фунтов еще интереснее. Ведь на сотню фунтов хватит пива, чтобы утопить всю эту старую калошу. Но кто же это на всем свете предложит мне сто фунтов? Я бы хотел посмотреть на него одним глазком. Хочешь знать, для чего мне это нужно? Ладно, я так и быть, шепну тебе на ушко. Мне только нужно послать его к черту в пекло. Верно, Киллени-бой, именно так — о, конечно, я только очень вежливо предложил бы ему убраться туда, где ему не придется зябнуть.

Любовь Майкла к баталеру была так глубока, что переходила в какое-то помешательство. Каково было отношение к нему баталера, лучше всего видно из разговора последнего с капитаном.

— Очевидно, сэр, он последовал за мной на пароход, — закончил Доутри свой малоправдоподобный рассказ. — Я этого и не подозревал. Я его видел на берегу, а затем увидел уже спящим у себя на койке. Но как он попал туда, сэр? Как он разыскал мою каюту? Предоставляю вам судить, сэр. Я считаю это чудом, прямо чудом.

— С помощником штурмана, дежурящего у сходней, — фыркнул капитан Дункан. — Точно

я не знаю твоих штук, баталер. Тут чуда нет в помине. Тут самое простое воровство. Он последовал за тобой на пароход? Да этот пес попал на пароход совсем с другой стороны. Через иллюминатор, и не без посторонней помощи к тому же. Этот твой негр, иду на пари, приложил руку к этому делу. Но довольно толочь воду в ступе. Отдай собаку мне, и я никогда не напомню о кошке.

— Если вы действительно верите в то, что говорите, то, значит, вы хотите заняться укрывательством, — ответил Доутри, и его упрямо сдвинутые брови указывали на принятое решение. — Я, сэр, всего-навсего корабельный баталер, и мне не стыдно быть арестованным за кражу собаки. Но вам, сэр, капитану большого судна, как это вам покажется? Нет, сэр, гораздо благоразумнее сохранить эту собаку мне — собаку, которая пошла за мной на судно.

— Я дам за нее десять фунтов, — предложил капитан.

— Нет, это не пойдет, совсем не пойдет, сэр, ведь вы — капитан, — продолжал повторять баталер, мрачно покачивая головой. — Кроме того, я знаю, где найти в Сиднее великолепную ангорскую кошку. Ее хозяин уехал за город, и она ему больше не нужна. Было бы добрым делом, сэр, дать ей

возможность вести правильный образ жизни на «Макамбо».

Глава VIII

Новый трюк, которому Доутри обучил Майкла, так высоко поднял его в глазах капитана, что он предложил дать баталеру пятнадцать фунтов и «никогда не вспоминать о кошке». Сначала Доутри проделывал это в компании старшего механика и шортлендского плантатора. Только тогда, когда все пошло как по маслу, он дал публичное представление.

— Представьте себе, что вы полисмены или сыщики, — обратился Доутри к первому и третьему помощникам капитана, — а я совершил какое-то ужасное преступление. Теперь вообразите, что Киллени является для вас единственной уликой и вам удалось его поймать. Если он узнает своего хозяина — меня, конечно, — ваше дело в шляпе. Ведите его на веревке и ходите с ним по палубе, затем вернитесь, точно вы идете по улице, и когда он меня узнает, арестуйте меня. Но если он меня не узнает, вы не имеете права меня арестовать.

Помощники увели Майкла и через несколько минут вернулись обратно. Майкл, натягивая веревку, бежал впереди, отыскивая баталера.

— Что вы хотите за эту собаку? — спросил До-

утри, когда они приблизились. Это был пароль, которому он обучил Майкла.

И Майкл, натягивая веревку, прошел мимо, даже не помахав хвостом и не удостоив его взглядом. Помощники остановились и подтянули Майкла к себе.

— Эта собака потеряла своего хозяина, — сказал первый помощник.

— Нам нужно его найти, — прибавил другой.

— Хорошая собака, сколько вы за нее хотите? — спросил Доутри, критически оглядывая Майкла. — Какого она нрава?

— Посмотрите сами, — был ответ.

Баталер протянул руку и хотел погладить Майкла, но ему пришлось быстро отдернуть ее, так как Майкл, ощетинившись, зарычал, оскалив зубы.

— Ничего, валяйте, он вас не тронет! — кричали восхищенные пассажиры.

Между тем Майкл чуть не вцепился в руку баталера, и тот едва успел отскочить от свирепо прыгнувшего на него пса.

— Держите его, — сердито закричал Доутри. — Подлая бестия! Мне его и даром не надо!

Они подтянули веревку, и Майкл, в пароксизме бешенства, скакал, натягивая ее, и злобно рычал, глядя на баталера.

— Ну как? Кто бы сказал, что он меня знает? — торжествовал баталер. — Сам я никогда этого трюка не видел, но много о нем слышал. В прежнее время браконьеры в Англии обучали ему своих собак. Ни один лесной сторож или контрабандист не мог поймать чужого браконьера при помощи его собаки — собака была нема.

Да, сказать вам, он много чего знает, этот пес. И английский язык тоже. Вот как раз дверь моей каюты открыта, и он может все что угодно принести оттуда — башмаки, туфли, шапку, полотенце, щетку для волос или табак. Ну, что хотите? Скажите только — и он принесет.

Пассажиры заговорили хором, выкрикивая разные предметы.

— Нет, вы должны выбрать что-нибудь одно, — сказал баталер.

— Туфли, — с общего одобрения сказал капитан Дункан.

— Одну или обе? — спросил Доутри.

— Обе.

— Сюда, Киллени! — наклоняясь к нему, начал Доутри и отскочил назад, потому что зубы Майкла щелкнули у самого его носа.

— Это я виноват, — оправдывал он Майкла. — Я не предупредил его, что та игра окончена. Теперь

последите-ка за нами, посмотрите, сможете ли уловить, когда я ему подам какой-нибудь знак.

Никто ничего не увидел и не услышал, когда Майкл, с восторженным визгом, извиваясь всем телом, бросился к баталеру, ласкаясь и прижимаясь к любимым рукам, которым он только что угрожал, бешено лизал их и пытался подскочить к самому лицу и лизнуть его. Нелегко далось Майклу нервное и умственное напряжение, требуемое для того, чтобы разыграть ярость и угрожать своему любимому баталеру.

— Ему нужно прийти в себя после той игры, — объяснил Доутри, лаская Майкла. — Ну, Киллени, ступай и принеси мне туфли! Погоди! Принеси мне одну туфлю! Принеси две туфли!

Майкл, насторожив уши, вопросительно смотрел на него. Его глаза светились разумом и сознанием.

— Две туфли! Живо!

Майкл сорвался с места с такой поспешностью, что его тело распласталось на палубе, и, обогнув рулевую будку, он соскользнул вниз по лестнице.

В один миг он уже вернулся с обеими туфлями в зубах и положил их у ног баталера.

— Чем больше я смотрю на собак, тем больше

поражаюсь, — говорил вечером шортлендскому плантатору Дэг Доутри, кончая четвертую бутылку пива. — Возьмите Киллени-боя. Он проделывает все эти штуки совсем не механически, только потому, что его им обучили. Нет, тут дело не в этом. Он проделывает их из любви ко мне. Я не сумею объяснить вам, но я это чувствую, знаю.

А впрочем, может, я и сумею объяснить это: Киллени не умеет говорить так, как говорим мы с вами. Он не может сказать, как он меня любит, а он весь дышит любовью — каждый волосок в нем. Дела говорят больше, чем слова, и он, исполняя все мои желания, говорит мне о своей любви. Трюки? Конечно. Но перед ними красноречие человека дешевле грязи. Ведь это его речь. Собака говорит без языка. Разве я не понимаю? Разумеется, понимаю и вижу, что он счастлив, проделывая для меня все эти трюки… так же счастлив, как человек, протягивая в трудный момент руку своему товарищу, или влюбленный, укутывая от холода любимую девушку своей курткой. Скажу вам…

Тут Дэг Доутри запнулся от непривычки выражать мысли, витающие в его возбужденной пивом голове, и, пробормотав что-то, начал снова:

— Знаете, все дело в разговоре, а Киллени не может говорить. Он не мало передумал у себя, там, в голове, — посмотрите, как светится мысль в его милых коричневых глазах, — но он не может передать ее мне. Я иногда замечаю, как он напряженно старается сказать что-то. Между нами большая пропасть, и язык был бы единственным мостом через нее; он не может перескочить через эту пропасть, хотя он полон тех же чувств и мыслей, что и я.

Но вот послушайте! Ближе всего мы, когда я играю на гармонике, а он подвывает мне. Музыка — это почти мостик между нами. Это настоящая песня без слов. И… не объясню вам, как это выходит… но все равно, когда мы кончаем петь, я чувствую, что мы гораздо ближе друг другу и что наша близость не нуждается в словах. И, знаете, когда я играю, а он поет, то наш дуэт — это как раз то, что всякие там верующие называют религией и познанием Бога. Уверяю вас, что когда мы вместе поем, я становлюсь верующим, становлюсь ближе к Богу. Это очень большое чувство — такое же большое, как земля, океан, небо и звезды. Я тогда чувствую, что мы все сделаны из одного материала — вы, я, Киллени-бой, горы, песок, морская вода, черви, москиты, солнца, мерцаю-

щие звезды и сверкающие кометы.

Полет фантазии слишком далеко увлек Дэга Доутри, и он заключил свой монолог, скрывая смущение под хвастовством:

— Поверьте, не каждый день рождаются такие собаки. Верно — я его украл. Но он мне сразу понравился. И если бы мне пришлось начать сначала, зная его так хорошо, как я его знаю сейчас, я бы опять украл его, хотя бы мне пришлось поплатиться за это собственной ногой. Вот какой это пес!

Глава IX

Утром, когда «Макамбо» подходил к Сиднею, капитан Дункан сделал новую попытку получить Майкла. Баркас портового врача подходил к судну, когда капитан кивком головы подозвал проходившего по палубе Доутри.

— Баталер, я дам двадцать фунтов.

— Нет, сэр. Благодарю вас, сэр, — был ответ Доутри. — Я не могу с ним расстаться.

— Тогда двадцать пять. Я не могу дать больше. Кроме того, на свете много других ирландских терьеров.

— Я как раз думал о том же, сэр. И я вам достану другого. Здесь же, в Сиднее. И вам это не будет стоить ни одного пенса.

— Но я хочу иметь Киллени-боя, — настаивал капитан.

— Я — тоже, и в этом вся загвоздка, сэр. Кроме того, я первый получил его.

— Двадцать пять соверенов — хорошая сумма… за такую собаку, — сказал капитан Дункан.

— А Киллени-бой, хорошая собака… за такую сумму, — возразил баталер. — Оставим в стороне вопрос о чувствах — одни его трюки больше сто-

ят. Неузнавание меня в тех случаях, когда мне это нужно, само по себе стоит пятидесяти фунтов. А его счет, а его пение и все остальное? Все равно, как бы там я его ни получил, но он тогда этих штук не знал. Это все мое. Я сам учил его всему. Он теперь совсем не тот, каким взошел на борт. Я столько вложил в него своего, что продать его — значит продать часть самого себя.

— Тридцать фунтов! — назвал окончательную цену капитан.

— Нет, сэр. Благодарю вас. Дело не в цене, — отказался Доутри.

Капитан Дункан повернулся и пошел навстречу поднявшемуся на пароход портовому врачу.

Врачебный осмотр едва закончился, и «Макамбо» шел из гавани в доки, когда к нему вплотную подъехала нарядная военная шлюпка и нарядный лейтенант поднялся по трапу. Скоро выяснилось, в чем дело. Он был четвертым помощником капитана британского крейсера второго класса «Альбатрос», который заходил в Тулаги с депешами от резидента Южно-океанских английских колоний. Так как между прибытием «Альбатроса» и отплытием «Макамбо» прошло едва двенадцать часов, резидент Соломоновых островов и капитан Келлар считали, что про-

павшая собака была увезена именно на этом пароходе. Зная, что «Альбатрос» должен зайти в Сидней, его капитану поручили узнать о судьбе собаки. Имеется ли на борту ирландский терьер, отзывающийся на кличку Майкл?

Капитан Дункан честно признался, что имеется, причем всячески выгораживал Дэга Доутри, повторяя сказку о собаке, самостоятельно появившейся на борту. Как же вернуть теперь собаку капитану Келлару, возникал вопрос; «Альбатрос» шел к берегам Новой Зеландии, но капитан Дункан разрешил все недоумения.

— «Макамбо» вернется в Тулаги через два месяца, — сказал он лейтенанту. — И я лично передам собаку ее владельцу. Пока же мы позаботимся о ней. Наш баталер к ней очень привязан, так что пес будет в хороших руках.

— Как видно, собака не достанется ни вам, ни мне, — покорно прокомментировал Доутри это событие в разговоре с капитаном Дунканом.

Но когда он повернулся и пошел вдоль палубы, его брови сдвинулись так упрямо, что увидевший его в эту минуту шортлендский плантатор недоумевал, за что капитан мог ему задать взбучку.

Несмотря на свои шесть кварт и некоторое легкомыслие во взглядах, Дэг Доутри был в

некоторых делах по-своему добросовестен. Он совершенно спокойно мог украсть собаку или кошку, но свои обязанности он выполнял честно — так уж он был создан. Он не смог бы получать свое жалованье баталера, не выполняя исключительно скрупулезно обязанностей, которые надлежало выполнять баталеру. Поэтому, хотя все его планы были нарушены, он в течение нескольких дней, пока «Макамбо» стоял в доках «Бернс, Филп и Ко», тщательно следил за уборкой кают после сошедших в Сиднее пассажиров и приготовлением их для новых пассажиров, купивших билеты для далекого путешествия к коралловым морям и островам людоедов.

Среди служебных занятий Доутри отлучался на берег только однажды на всю ночь и дважды по вечерам. Ночь он провел в матросских кабачках, где можно узнать все последние сплетни и новости обо всех мореплавателях и кораблях, странствующих по морям. Собранные им сведения были таковы, что на следующий же вечер он нанял за десять шиллингов маленькую шлюпку и отправился в Джексонову бухту, где стояла высокая, красивая трехмачтовая американская шхуна «Мэри Тернер».

Взойдя на палубу, он объяснил причину своего

появления, и его повели вниз в кают-компанию, где он сообщил, что его интересует, и его соответственно расспросили четверо мужчин, которых он тотчас же окрестил «сворой чудаков».

Доутри предварительно имел долгую беседу с только что оставившим это судно баталером и поэтому сразу узнал находившихся перед ним людей. Очевидно, сидевший поодаль старик с выцветшими светло-голубыми, казавшимися совсем белыми глазами был Бывший моряк. Длинные тонкие пряди серебристых нечесаных волос обрамляли, словно ореол, его лицо. Он был до ужаса тощ, с провалившимися щеками, причем кожа была морщинистой и, по-видимому, совершенно не покрывала мускулов. Она чудовищными складками свисала на шею и на адамово яблоко, которое только случайно, при глотании, высовывалось наружу из складок кожи, покрывающих его подобно пеленам мумии, и затем опять скрывалось из виду.

«Видать, что бывший моряк, — подумал Доутри. — Ему свободно можно дать и семьдесят пять, и сто пять, и сто семьдесят пять лет».

Начинаясь у правого виска, через скулу и нижнюю челюсть тянулся страшный рубец, исчезая в складках провалившихся щек и окон-

чательно теряясь в обильно свисающих складках шеи. Дряблые мочки ушей были проткнуты маленькими цыганскими золотыми серьгами. На скелетообразных пальцах правой руки старик носил не менее пяти колец — ни мужских, ни женских по форме; они были очень странными и оригинальными и, по мнению Доутри, стоили немало. На левой руке колец не было, потому что не на чем было их носить: на ней сохранился один большой палец, и у руки был такой вид, точно она была срезана тем же оружием, что разбило голову от виска до челюсти, и одному лишь Небу известно, как далеко оно прошлось по обвислой кожей шее.

Выцветшие глаза Бывшего моряка пронизывали Доутри насквозь — так Доутри, по крайней мере, чувствовал, — и ему стало так неловко, что он отступил на шаг назад. Это объясняется тем, что, нанимаясь в качестве слуги, он должен был стоять перед этими сидящими людьми, как будто они были судьями, а он преступником за решеткой. Несмотря на это, взгляд старика преследовал его до тех пор, пока, приглядевшись, он не решил, что эти глаза вообще его не видят. Ему казалось, что эти выцветшие глаза заполнены мечтой и что разум живет за этими подернутыми мечтой

глазами и за их пределы не выходит.

— На какое жалованье вы рассчитываете? — спросил его между тем капитан, совершенно не похожий на моряка, по мнению Доутри. Он напоминал вылощенного, живого дельца или же франта, только что выскочившего из парикмахерской.

— Он не будет участвовать в прибыли, — заговорил третий, громадный, ширококостный человек средних лет, которого Доутри узнал по рукам, похожим на окорока. По этим признакам Доутри определил фермера из Калифорнии.

— Всем хватит, — пронзительно закудахтал Бывший моряк так, что Доутри вздрогнул. — Целые горы, джентльмены, в бочках и сундуках, в бочках и сундуках лежат в песке, на глубине всего семи футов.

— Прибыли? В чем дело, сэр? — спросил Доутри, хотя он очень хорошо знал, в чем дело, так как прежний баталер проклинал день, когда он ушел из Сан-Франциско, прельстившись неопределенными барышами, а не заранее определенным жалованьем. — Это не важно, сэр, — прибавил он. — Я три года назад служил на китобойном судне и получил за все время лишь один доллар. Мне полагается шестьдесят золотых долларов в

месяц, считая, что вас всего четверо.

— И помощник, — прибавил капитан.

— И помощник, — повторил Доутри. — Очень хорошо, сэр. И никакого участия в прибыли.

— Но вы-то сами? — заговорил четвертый, громадный колосс, целая гора мяса и жира — армянский еврей, ростовщик из Сан-Франциско. Бывший баталер предупреждал Доутри относительно него. — В порядке ли ваши документы, рекомендации и свидетельства, получаемые при уходе с корабля?

— Я бы мог спросить, сэр, и о ваших бумагах, — нагло заявил Дэг Доутри. — Это ведь не настоящее торговое или пассажирское судно, так же, как и вы, джентльмены, не являетесь настоящей компанией судовладельцев с официальной конторой, которая легально ведет свои дела. Я даже не знаю, являетесь ли вы собственниками корабля или же срок вашего контракта давно истек и вас на берегу ожидает иск, и не уверен, что вы меня не бросите на каком-нибудь берегу, не задумываясь о моей судьбе. Как бы там ни было, — закричал он, не давая еврею прийти в ярость, — как бы там ни было, — вот они, мои бумаги!

Он быстрым движением запустил руку во внутренний карман куртки и выбросил на стол груду

бумаг с печатями и штемпелями, собранную им за сорок пять лет службы. Последняя из этих бумаг была выдана пять лет назад.

— Я не спрашиваю о ваших бумагах, — продолжал Доутри. — Я хочу только получать полностью свое жалованье, каждое первое число, шестьдесят долларов в месяц.

— Горы и горы сокровищ, золото и лучше золота, в бочках и сундуках, на семь футов под песком, — благосклонным кудахтаньем убеждал Доутри Бывший моряк. — Короли, князья, властители — это мы, самый ничтожный из нас. Больше того, гораздо больше, джентльмены. Широта и долгота мне известны, и я один знаю, где находятся горы, покрытые дубами, на берегу Львиной Головы. Только я один остался в живых изо всех храбрых, безумных членов нашей команды.

— Хотите подписать контракт? — прервал его еврей.

— Какой ваш конечный порт? — спросил Доутри.

— Сан-Франциско.

— Тогда я подпишу контракт до Сан-Франциско.

Еврей, капитан и фермер кивнули.

— Но я должен оговорить некоторые условия, —

продолжал Доутри. — Во-первых, я должен иметь свои шесть кварт в день. Я к этому привык и слишком стар, чтобы менять свои привычки.

— Спирта, по всей вероятности? — саркастически спросил еврей.

— Нет, пива, хорошего английского пива. Это должно быть оговорено прежде всего и независимо от того, как долго мы пробудем в море, запаса пива должно хватить на все время.

— Еще что? — спросил капитан.

— Да, еще вот что, сэр, — ответил Доутри. — Моя собака будет со мной.

— И еще что-нибудь? Жена или, быть может, семья? — поинтересовался фермер.

— У меня нет ни жены, ни семьи. Но у меня есть негр, очень хороший негр, и он тоже отправится со мной. Он подпишет договор на десять долларов в месяц, если будет работать все время. Но если он будет работать только на меня, то я ему позволю подписать на два с половиной доллара в месяц.

— Восемнадцать дней на баркасе, — Доутри вздрогнул от резкого голоса Бывшего моряка. — Восемнадцать дней на баркасе, восемнадцать дней палящего ада.

— Честное слово, — сказал Доутри, — старый джентльмен может довести до родимчика. Здесь

понадобится много пива.

— Судовые баталеры задают много форсу, — заметил фермер, забывая о Бывшем моряке, все еще возглашавшем о жаре на баркасе.

— Предположим, нам не с руки принять баталера, который привык путешествовать с таким форсом? — спросил еврей, вытирая шею цветным носовым платком.

— Тогда вы никогда не узнаете, какого хорошего баталера вы упустили, — весело возразил Доутри.

— Я думаю, что на берегу в Сиднее сколько угодно баталеров, — живо сказал капитан, — и в прежнее время я им платил гроши. Они стоили дешевле грязи, столько их было.

— Благодарю вас, мистер баталер, что вы подумали о нас, — с оскорбительной любезностью подхватил еврей мысль капитана. — Мы глубоко сожалеем, что не в состоянии согласиться на ваши условия.

— Но я видел, как они погружались в песок, на семь футов в глубину там, где увядают мангиферы, растут кокосовые пальмы и берег поднимается к Львиной Голове.

— Заткните фонтан! — раздраженно крикнул фермер в адрес еврея и капитана, как бы не за-

мечая Бывшего моряка. — Кто снарядил всю экспедицию? А я-то не имею права голоса? Моего мнения не спрашивают? Мне этот баталер нравится. Мне сдается, что он вполне нам подходит. Он не менее вежлив, чем мы все, и, видно, не станет умничать, получая приказания, и он ничуть не глуп.

— В этом-то все и дело, Гримшоу, — примирительно сказал еврей. — Принимая во внимание необычность нашей… экскурсии, нам подошел бы более глупый баталер, и в виде особой любезности, я просил бы вас не забывать, что в эту экспедицию вы не вложили ни одной полушкой больше, чем я.

— А где бы вы оба были без меня и без моего знания морского дела? — вызывающе спросил капитан. — Не говоря уже о закладной на мое имущество и на самый красивый доходный дом, выстроенный в Сан-Франциско после землетрясения.

— А кто до сих пор поддерживает все предприятие? Кто из вас, скажите мне, кто? — Фермер нагнулся вперед, положив руки на колени, причем его длинные пальцы свисали до половины ноги. — Вы, капитан Доун, не можете извлечь больше ни одного пенса из вашего имущества. На

моей же земле растет пшеница, приносящая нам наличные денежки. Вы, Симон Нишиканта, не вложили в это дело ни одного пенни, хотя ваши жульнические конторы продолжают по-прежнему делать дела, выдавая за безбожные проценты займы пьяным матросам. И вы задерживаете экспедицию здесь, в этой дыре, ожидая, чтобы мои агенты перевели мне вырученные за мою пшеницу деньги. Ладно, или мы подпишем с этим человеком контракт на шестьдесят долларов в месяц, со всем прочим, или же я вовсе бросаю вас и сажусь на первый отходящий в Сан-Франциско пароход.

Фермер внезапно встал и оказался такого роста, что Доутри поглядел, не ударился ли он головой о потолок.

— Вы мне все надоели до черта, да, — продолжал он. — Работать? Что ж! Давайте работать! Начнем с того, что мои деньги уже в пути. Завтра они будут здесь. Приготовимся к отплытию и начнем с того, что возьмем баталера, который годится для этой работы. Мне все равно, пусть везет с собой хоть две семьи.

— Вы совершенно правы, Гримшоу, — умиротворяюще сказал Нишиканта. — Это путешествие начинает действовать на нервы. Забудьте, если я

чем-нибудь вас задел. Конечно, мы примем этого баталера, если он вам нравится. Я думал, что он слишком форсист для нас.

Он повернулся к Доутри.

— Понятно, чем меньше будет о нас разговоров на берегу, тем лучше.

— Конечно, сэр. Я могу держать язык за зубами, но я должен сказать, что о вас немало ходит разговоров на берегу.

— О цели нашей экспедиции? — быстро спросил еврей.

Доутри утвердительно кивнул.

— Поэтому вы и захотели с нами ехать? — так же быстро последовал второй вопрос.

Доутри отрицательно покачал головой.

— Пока вы мне будете ежедневно давать мое пиво, сэр, я не подумаю интересоваться вашей охотой за кладом. Эти штуки мне не новы. Южные моря кишат такими охотниками…

Доутри готов был поклясться, что заметил тревожный огонек, блеснувший в затуманенных мечтой глазах Бывшего моряка.

— Должен сказать, сэр, — развязно прибавил он, говоря то, чего бы не стал говорить, если бы не заметил тревоги в глазах старика, — что Южное море кишит погребенными сокровищами. Не-

сметные богатства, миллионы миллионов фунтов стерлингов спокойно лежат, ожидая счастливца, который знает, где их найти.

Теперь Доутри мог поклясться, что заметил облегчение в глазах Бывшего моряка, подернувшихся опять дымкой мечты.

— Но мне нет дела до сокровищ, сэр, — закончил Доутри. — Было бы мне пиво. Вы можете спокойно сколько угодно гоняться за вашими сокровищами, пока я буду получать мои шесть кварт в день. Но прежде чем подписать контракт, я вас честно предупреждаю, сэр: как только пиво кончится, я суну нос в ваши дела. Игра начистоту — вот мой девиз.

— Вы считаете, что мы будем оплачивать еще и ваше пиво? — спросил Симон Нишиканта.

Это было так удачно, что просто не верилось. Надо было воспользоваться желанием еврея заключить мир с фермером, получающим от своих агентов деньги за пшеницу.

— Конечно, это ведь входит в наши условия, сэр. В какое время завтра днем вам будет удобно подписать со мной контракт в агентстве?

— Бочки и сундуки, бочки и сундуки, несметные богатства на семь футов глубины, — бормотал Бывший моряк.

— Все вы тут слегка тронутые, — усмехнулся Доутри. — Но это меня не касается, пока вы будете давать мне пиво, платить каждое первое число все, что мне полагается, и рассчитаетесь со мной окончательно в Сан-Франциско. Пока вы исполняете ваши обязательства, я готов ехать с вами хоть к дьяволу и обратно, и любоваться тем, как вы будете потеть, выкапывая ваши сокровища. Все, что мне нужно, это ехать с вами, если вы этого хотите и согласны на мои условия.

Симон Нишиканта посмотрел на него. Гримшоу и капитан Доун кивнули головами.

— Завтра в три в агентстве, — сказал еврей. — Когда вы приступите к вашим обязанностям?

— Когда вы думаете отплыть, сэр? — спросил Доутри вместо ответа.

— Послезавтра на рассвете.

— Значит, я буду на борту и приступлю к работе завтра вечером.

Выходя из кают-компании, он слышал бормотание Бывшего моряка:

— Восемнадцать дней на баркасе, восемнадцать дней палящего ада.

Глава X

Майкл покинул «Макамбо» так же, как и появился, — через иллюминатор. Дело происходило тоже ночью, и опять руки Квэка приняли его. Все было выполнено быстро и смело под покровом сгущающихся сумерек. Дэг Доутри, с помощью блока и веревки, обвязанной под мышками Квэка, спустил своего прокаженного слугу в ожидающую их лодку.

По дороге в каюту он встретил капитана Дункана, который нашел нужным предупредить его:

— Не устраивай никаких штук с Киллени-боем, баталер. Он должен вернуться с нами в Тулаги.

— Конечно, сэр, — согласился Доутри. — Я поэтому из предосторожности и держу его взаперти. Хотите поглядеть на него, сэр?

Искренний тон приглашения возбудил подозрения капитана Дункана, и у него мелькнула мысль, что, может быть, этот похититель собак успел припрятать Киллени-боя где-нибудь на берегу.

— Что же, я охотно приласкаю его, — ответил он.

Дункан искренно удивился, когда, войдя в ка-

юту баталера, увидел свернувшегося клубком на полу только что проснувшегося Майкла, но его удивление перешло бы в возмущение, если после своего ухода он бы мог через закрытую дверь увидеть все, что происходило в каюте. Через открытый иллюминатор Доутри непрерывным потоком сыпал куда-то вниз находящиеся в каюте вещи. Уходило все, что только ему принадлежало, включая черепаховые щиты и украшавшие стены фотографии и календари. Последним был передан Майкл, которому строго-настрого было запрещено лаять. Остался только корабельный сундук и два чемодана, не пролезающие в иллюминатор, даже полностью освобожденные от своего содержимого.

Когда через несколько минут Доутри брел по палубе, останавливаясь поболтать с таможенным чиновником и помощником капитана, дежурившим у сходней, капитан Дункан и не подозревал, что случайный взгляд, брошенный им на баталера, будет последним. Он заметил, что баталер сходит на берег с пустыми руками и что Майкл, против обыкновения, не бежит по его пятам, затем Доутри исчез в свете электрических фонарей на набережной.

Спустя десять минут после того, как капитан

Дункан в последний раз видел его широкую спину, Доутри сидел в шлюпке, нагруженной его имуществом и направлявшейся к бухте Джексона. Он наклонился к Майклу и ласкал его, в то время как Квэк тихо напевал что-то, радуясь тому, что при нем находится все ему дорогое, и лишний раз ощупывая карман своей легонькой куртки, чтобы убедиться, здесь ли его любимый варганчик.

Дэг Доутри расплачивался за Майкла, и основательно расплачивался. Между прочим, не решаясь возбуждать подозрений, он не требовал причитающейся ему доплаты жалованья у «Бэрнс, Филп и Ко» и терял, таким образом, двадцать фунтов, то есть как раз ту сумму, которую он надеялся выручить за Майкла в тот вечер на берегу Тулаги. Он украл его, чтобы продать, а теперь сам платил за него сумму, которая тогда соблазнила его.

Хорошо было сказано кем-то: лошадь принижает низкого и облагораживает благородного. То же относится и к собаке. Кража собаки с целью продать ее являлась унижением, причиной которого был Майкл. Но тот же Майкл облагородил Доутри, побудив его заплатить за него из великой любви, которая не остановится перед любой жертвой.

И теперь, когда шлюпка под южным звездным небом с тихим плеском пересекала спокойную гладь гавани, Дэг Доутри готов был отдать свою жизнь за то, чтобы сохранить собаку, которую он вначале рассматривал лишь как оплату нескольких дюжин пива.

«Мэри Тернер» на рассвете была выведена на буксире из бухты, и Доутри, Квэк и Майкл в последний раз в жизни любовались Сиднеем.

— Пришлось все-таки моим старым глазам снова увидеть эту прекрасную гавань, — бормотал стоявший позади их Бывший моряк, и Доутри невольно отметил, как фермер и ростовщик насторожили уши и многозначительно переглянулись. — Это было в пятьдесят втором, в тысяча восемьсот пятьдесят втором году, в такой же великолепный день, мы с вином и песнями выходили из Сиднея на «Ясном». Прекрасное судно, сэр, прекрасное, великолепное судно. А команда — молодец к молодцу, все от первого до последнего, никому из нас не было сорока лет, сумасшедшая, веселая компания! Капитану — он был самый старший из нас джентльмен — двадцать восемь лет, третьему помощнику — восемнадцать; на щеках, не знакомых с бритвой, у него был пушок, как бархат. Он тоже погиб на

баркасе. А капитан испустил дух под пальмами, на безымянном острове, и темнокожие девушки плакали над ним, охлаждая опахалами жаркий воздух.

Дэг Доутри дальше не слышал, потому что ему надо было спуститься вниз и заняться своими обязанностями. Но, пока он менял на койках белье и наблюдал, как Квэк старается отмыть грязный пол, он покачивал головой и бормотал: «Он тонкая штука, тонкая штука; не все так глупы, как выглядят».

Прекрасные очертания «Мэри Тернер» объяснялись тем, что она была построена для охоты на тюленей. Поэтому палубы ее были широки и просторны. Бак, рассчитанный на двенадцать человек, был занят всего лишь восемью матросами-шведами. Пять кают были приспособлены для трех охотников за кладами, Бывшего моряка и штурмана — толстого добродушного финна, которого все называли Джексон, потому что не могли выговорить имя, которое он подписал на контракте.

Первая от кормы каюта отделялась от остальных плотной перегородкой и выходила прямо на палубу. Здесь же, на палубе, между кормой и каютами, находился камбуз. Первая каюта была

значительно больше всех остальных, взятых вместе; в ней помещалось шесть коек, каждая вдвое шире, чем койки на баке, и все они были снабжены занавесями.

— Что, хороша каюта, а, Квэк? — обратился Доутри к своему семнадцатилетнему темнокожему папуасу с иссохшим старческим лицом, ногами живого скелета и торсом старого японского борца с большим животом. — А, Квэк! Что ты об этом думаешь?

Испуганный таким богатством, Квэк красноречиво вращал глазами в знак согласия.

— Вам нравится эта коечка? — подобострастно спросил кок, маленький пожилой китаец, рукой приглашая Доутри занять его койку.

Доутри утвердительно покачал головой. Он давно уже знал, что с коками надо ладить, потому что они легко выходят из себя и по малейшему поводу нападают на своих товарищей с ножами и резаками в руках. Кроме того, такая же точно койка была и по другую сторону каюты. Квэку Доутри назначил койку рядом с койкой китайца, оставляя себе с Майклом всю правую сторону каюты. Соседнюю с собой койку он окрестил Киллени-бой и поставил об этом в известность Квэка и китайца. Доутри видел, что А Мой — так

звали кока — был не очень доволен этим распределением мест, но он не придал этому значения, и ему только казалось любопытным, что китаец считает для себя унизительным спать в одной каюте с собакой.

Возвращаясь через полчаса после уборки кают к себе, чтобы послать Квэка за бутылкой пива, Доутри видел, что А Мой перенес свои пожитки на третью койку с правой стороны. Таким образом, он оказался в одном ряду с Доутри и Майклом, а Квэк остался в полном одиночестве на левой стороне. Любопытство Доутри возросло.

— Что случилось с китаезой? — спросил он Квэка. — Он не хочет твой быть рядом койка? Почему? Черт побери, в чем дело? Мой очень сердит китаеза.

— Может, китаеза думать мой будет его кайкай? — усмехнулся Квэк, что с ним случалось очень редко.

— Ладно, — заключил баталер. — Посмотрим, в чем дело. Перенеси твой вещи мой койка, а мой вещи твоя койка.

После нового перемещения, когда Квэк, Майкл и А Мой оказались на правой стороне, а Доутри на левой, он вышел на палубу и принялся за свою работу.

Вернувшись через некоторое время, он застал А Моя переносящим свои пожитки на левую сторону, но на этот раз он выбрал себе крайнюю от двери койку.

«Этот мошенник, кажется, возымел ко мне особую симпатию», — улыбнулся про себя баталер.

Иначе он не мог объяснить себе, почему А Мой старается держаться подальше от Квэка.

— Моя любит менять, — объяснил старый китаец, примирительно и заискивающе глядя на баталера в ответ на прямой вопрос. — Моя менять, всегда менять, понимаешь?

Доутри не понимал и покачал головой, потому что косые глаза китайца не выдавали больше того страха, с которым он украдкой разглядывал согнутые на левой руке пальцы Квэка и его лоб, где кожа между бровями слегка потемнела и чуть уплотнилась, причем на ней наметились три короткие вертикальные линии, или складки, придающие этой части головы какое-то сходство со львом: на языке врачей и специалистов это называлось «львиный лик».

В последующие дни баталер после пятой бутылки пива в шутку менялся местами с Квэком. И неизменно А Мой перекочевывал на другую сторону, но Доутри не замечал, что он ни разу

не занял койки, на которой раньше спал Квэк. Он ничего не понял и дальше, когда после того как Квэк успел перебывать на всех койках, А Мой сделал себе гамак из холста, подвесил его к потолку и спокойно, никем не потревоженный, раскачивался в нем.

Доутри выкинул все это из головы, считая, что поведение кока — лишь одно из проявлений непонятного и своеобразного склада ума китайцев. Он все же отметил, что Квэку вход на кухню был воспрещен. Заметил он и другую особенность китайца. Он говорил: «Это самый чистоплотный китаец, какого только видел мир. Камбуз вылизан, каюта вылизана, всюду чистота. Когда он не стирает себя самого, своего белья или простынь, то шпарит крутым кипятком блюда и тарелки. Ручаюсь, что он каждую неделю кипятит свое одеяло!»

Баталер не искал объяснений необыкновенного поведения китайца, потому что его голова была занята другим. Изучение пяти субъектов, занимавших кормовые каюты, и выяснение их взаимоотношений поглощало много времени. Затем его очень интересовал маршрут «Мэри Тернер». Нет такого моряка, который бы не интересовался направлением корабля и не желал бы

знать, каков будет ближайший порт.

— Мы как будто идем по линии, проходящей к северу от Новой Зеландии, — строил Доутри свои предположения, в сотый раз украдкой заглядывая в нактоуз. Но на этом и кончались все сведения о направлении корабля, какие он только мог заполучить: капитан Доун сам делал все необходимые наблюдения и самолично разрабатывал их, не допуская к этому штурмана и самым тщательным образом запирая на ключ все карты. Доутри знал о горячих спорах, происходивших в кают-компании, — спорах, главной темой которых служило определение долгот и широт, но больше он ничего узнать не мог, так как ему сразу было заявлено, что единственное место, где нечего делать в такие минуты, — кают-компания. Итак, ему оставалось только заключить, что эти совещания были настоящими сражениями, где господа Доун, Нишиканта и Гримшоу орали друг на друга и колотили кулаками по столу, за исключением тех моментов, когда они терпеливо и вежливо, но упорно расспрашивали Бывшего моряка.

«Он, видимо, держит в руках их план», — решил про себя баталер; но сколько он ни старался, не мог разгадать, каким же образом. Чарльз Стоу

Гринлиф звали Бывшего моряка, и это было все, чего Доутри у него добился, кроме бессвязных речей о жаре на баркасе и о сокровищах, лежащих в песке на глубине семи футов.

— Здесь некоторые из нас ведут игру, а другие смотрят и любуются, — закинул как-то Доутри удочку. — И я думаю, что мне придется на этих днях полюбоваться интереснейшей игрой. Чем больше я смотрю, тем больше мне это нравится.

Бывший моряк мечтательно поглядел на Доутри своими невидящими глазами.

— На «Ясном» все были юны, почти мальчики, — пробормотал он.

— Да, сэр, — шутливо согласился Доутри. — Из ваших слов я заключаю, что «Ясный» со своими молодчиками был очень приятным судном. Да, они, верно, мало походили на нашу компанию старых хрычей на этой шхуне. Но я не думаю, сэр, чтобы все эти молодчики так ловко вели бы игру, как ведут ее здесь, на борту. Я как раз восхищался ловкостью приемов, сэр.

— Я вам что-то скажу, — ответил Бывший моряк с таким таинственным видом, что Доутри наклонился к нему, чтобы лучше расслышать. — Ни один баталер на «Ясном» не умел так приготовить мои любимые коктейли, как умеете вы. В те дни

мы не знали коктейлей, у нас был только херес и настойки. Но это прекрасные аперитивы[41], — да, великолепные аперитивы.

Я вам хочу сказать, — продолжил старик, когда, казалось, его речь была окончена, как раз вовремя, чтобы помешать третьей попытке Доутри разобраться в подлинном положении вещей на «Мэри Тернер» и понять, какую роль в этом деле играет Бывший моряк. — Скоро пробьет пять, и мне бы очень хотелось получить один из ваших прелестных коктейлей, перед тем как идти к обеду.

После этого Доутри стал еще подозрительнее приглядываться к старику. Но дни проходили, и он все более и более убеждался в том, что Чарльз Стоу Гринлиф просто дряхлый старик, искренне убежденный в существовании погребенного где-то в Южных морях клада.

Однажды, занятый чисткой медных поручней в кают-компании, Доутри подслушал, как старик рассказывал Гримшоу и армянскому еврею историю ужасного рубца и недостающих пальцев. Эта парочка старалась подпоить его в надежде развязать ему язык и вытянуть из него какие-нибудь

[41] notes: 41

Аперитив — возбуждающий аппетит напиток, который пьют перед обедом.

новые подробности.

— Дело происходило на баркасе, — раздался кудахтающий голос старика. — Бунт вспыхнул на одиннадцатый день. Мы на нашем конце лодки дружно защищались от них. Все это было сплошным безумием. Мы жестоко страдали от голода, но жажда доводила нас прямо до сумасшествия. Все началось из-за воды. Видите ли, мы обычно слизывали росу с лопастей весел, планшира, банок и всех внутренних обшивок. Все покрывавшиеся росой поверхности были точно распределены между нами. Например, румпель, верхняя часть руля и половина правой стороны обшивки нашего конца баркаса принадлежали второму офицеру. Никто из нас не посмел посягнуть на его собственность. Третьему офицеру было всего восемнадцать лет, это был храбрый и очаровательный мальчик. Он делил со вторым офицером правую сторону внутренней обшивки. Они наметили линию раздела, вылизывали скудные капли осевшей за ночные часы росы, и ни одному из них в голову не приходило перейти свою границу. Они были слишком порядочными людьми.

Однако о матросах этого сказать было нельзя. Они дрались из-за покрытых росинками поверх-

ностей, и предыдущей ночью один из них пырнул другого ножом. Но этой ночью, ожидая падения росы на принадлежащую мне поверхность, я услыхал, как кто-то лижет за шкафутом, который был предоставлен мне от скамейки до кормы. От кошмарных мечтаний о кристальных родниках и полноводных реках я вернулся к действительности и стал прислушиваться, боясь, чтобы ночной любитель не перешел на мои владения.

Он подходил к ним все ближе, и я ясно слыхал, как он вздыхал и кряхтел, вылизывая сырое дерево, точно ночью на пастбище, когда животное щиплет траву, все больше к вам приближаясь.

К счастью, у меня в руках была подножка для гребцов, и я хотел собрать осевшую на нее росу. Я не знал, кто это, но когда он перешел за мою линию и, охая и кряхтя, принялся вылизывать драгоценные капли росы, я треснул его подножкой. Удар пришелся как раз по носу — это оказался наш боцман, — и бунт вспыхнул. Нож боцмана полоснул меня по лицу и отхватил мои пальцы. Третий помощник — восемнадцатилетний мальчик, славно дрался бок о бок со мной и спас меня. Нам удалось выкинуть боцмана за борт, и я потерял сознание.

Шарканье ног и движение в каюте вернули До-

утри к оставленной им на время работе. Усердно натирая медные поручни, он пробормотал про себя: «Старику, видно, пришлось побывать в здоровых переделках. Такие вещи иногда случаются на море».

— Нет, — высоким фальцетом продолжал Бывший моряк, отвечая на чей-то вопрос. — Я потерял сознание не от ран. Напряжение борьбы отняло у меня все силы. Я был слишком слаб. Нет, в моем теле было так мало влаги, что вышло очень немного крови. Самым удивительным при этих обстоятельствах была быстрота, с какой все зажило. На следующий день второй офицер зашил мои раны при помощи костяной зубочистки и вытянутой из парусины нитки.

— Разрешите узнать, мистер Гринлиф, были кольца на отрезанных пальцах? — услыхал Доутри вопрос Симона Нишиканты.

— Да, и одно очень красивое. Я потом нашел его на дне баркаса и подарил торговцу сандаловым деревом, который мне помог. Это был крупный алмаз. Я заплатил за него в Барбадосе сто восемьдесят гиней английскому матросу. Он украл его где-то — кольцо, без сомнения, стоило гораздо больше. Это был прекрасный камень. Торговец сандаловым деревом мне за него не только спас

жизнь, но и истратил более сотни фунтов на мою экипировку и билет от острова Вознесения до Шанхая.

— От этих колец никак не отделаешься, — услышал вечером Доутри разговор Симона Нишиканты и Гримшоу на корме. — Вы теперь таких не увидите. Это очень старинные кольца. Теперь так называемые «джентльмены» таких не носят. Эти кольца принадлежали настоящим джентльменам, я хочу сказать, знатным вельможам. Хотел бы я, чтобы какая-нибудь штука в этом роде попала ко мне в заклад. Они стоят больших денег!

— Скажу тебе, Киллени-бой, что, может, я еще до конца путешествия пожалею о том, что поехал на жалованье, а не на доле в прибылях, — делился своими мыслями с Майклом Доутри, возвратившись в каюту и осушая шестую бутылку, в то время как Квэк снимал с него сапоги. — Поверь мне, Киллени, этот старый джентльмен знает, что говорит, — он был большим барином в свое время. У людей даром пальцев на руках не отрубают и не оставляют им на память рубцов через все лицо, и эти люди не станут щеголять кольцами, от которых у еврея-ростовщика текут слюнки.

Глава XI

Сидя как-то в трюме, среди бочек с пресной водой, Доутри, смеясь от всего сердца, перекрестил шхуну в «Корабль глупцов». Но это произошло только через несколько недель, пока же Доутри так усердно исполнял свои обязанности, что даже капитан Доун не мог выразить и тени недовольства.

Особенно усердно ухаживал он за Бывшим моряком, которым очень восхищался — почти любил его. Старик был создан из другого материала, чем все остальные: то были любители наживы, и вся их жизнь свелась к погоне за долларами. Доутри, по характеру благородный и беззаботный, сразу оценил широкую натуру Бывшего моряка, очевидно, неплохо пожившего в свое время, а теперь готового поделиться со всеми сокровищем, которое им предстояло найти.

— Вы получите свою часть, баталер, хотя бы мне пришлось ее выделить из своей, — часто уверял он Доутри, когда последний проявлял к нему особое внимание. — Там добра несметное множество, а я одинокий человек и недолго проживу еще на свете, мне и незачем так много!

Итак, «Корабль глупцов» плыл все дальше, и находящиеся на нем люди дурачили друг друга, начиная от добродушного финна с искренними глазами, которому запах ожидаемых богатств настолько щекотал ноздри, что он при помощи двойного ключа выкрадывал из стола капитана Доуна записи о положении судна в море, и кончая коком А Моем, который всячески сторонился Квэка, но никого не предупредил об опасности постоянного соприкосновения с носителем такой ужасной болезни.

Сам Квэк никогда не думал и не беспокоился о своей болезни. Он знал, что такая болезнь поражает иногда некоторых людей. Болей он никаких не чувствовал, и в его тупую голову не приходила мысль, что его господин ни о чем не подозревает. По этой же причине он не понимал, отчего А Мой так сторонится его. Не было у него никаких забот. Его бог, которому он поклонялся больше всех морских и лесных богов, был с ним, и рай был для него там, где находился его бог — его любимый баталер.

То же происходило и с Майклом. Еще сильнее, чем любил и обожал шестиквартового баталера Квэк, любил и обожал его Майкл. Для Майкла и Квэка ежедневное и ежечасное пребывание с Дэ-

гом Доутри и лицезрение его было равносильно пребыванию в раю. Богом господ Доуна, Ниши-канты и Гримшоу был идол золото. Бог Квэка и Майкла был живым богом, его голос они могли постоянно слышать, его руки были теплы, и в каждом движении и прикосновении его чувствовалось биение живого сердца.

У Майкла не было большей радости, как часами сидеть с баталером и петь с ним все, что тот напевал ему. Более одаренный, чем Джерри, Майкл учился быстро, и так как его обучали пению, то он скоро оставил Джерри далеко за собой.

Майкл подвывал — или, вернее, пел (потому что его вытье было очень нежно и тонко) — все песни, которые ему напевал баталер, находя их доступными для его регистра. Кроме того, он и один безошибочно пел такие простые вещи, как «Мой дом, мой дом», «Английский гимн» и «Милочку». Поощряемый стоящим за несколько шагов от него баталером, он поднимал морду и пел даже «Шенандоа» и «Свези меня в Рио».

Когда баталер бывал занят, Квэк украдкой вынимал свой варганчик, и варварские ритмы примитивного инструмента принуждали Майкла подпевать дьявольским напевам острова Короля Вильгельма. Скоро появился и другой учитель

пения, от которого Майкл был в восторге. Его звали Кокки — под этим именем он представился Майклу при первой встрече.

— Кокки, — объявил он смело, не делая никаких попыток к бегству, когда Майкл бросился на него. Человеческий голос — голос белого бога, выходящий из горла маленькой белоснежной птички, заставил Майкла попятиться, и он быстро осмотрел палубу и обнюхал воздух, чтобы найти человека, произнесшего это слово. Но человека не было нигде… был только маленький какаду, дерзко наклонивший головку набок, повторяя: «Кокки, Кокки…»

Майкл еще в первые дни жизни на острове Мериндж узнал, что цыплят трогать нельзя. Мистер Хаггин и его товарищи внушили ему, что цыплят не только нельзя трогать, но что хорошая собака должна защищать их. Но это существо — не цыпленок, а просто лесная птичка, за которой так весело охотиться в лесах. И вот это существо заговорило с ним голосом белого бога.

— Убери лапу! — так повелительно вскричала птичка, что Майкл вздрогнул и опять оглянулся, ища человека. Затем послышалось китайское лопотанье, настолько похожее на голос А Моя, что Майкл снова, в последний раз, оглянулся.

Тогда Кокки разразился таким диким и пронзительным хохотом, что Майкл навострил уши и наклонил голову набок. В этом хохоте он уловил оттенки смеха всех людей, находящихся на судне.

Итак, Кокки — маленькая, весящая несколько унций, птичка, хрупкое построение из нежных косточек, покрытых горсточкой перьев, но с сердцем столь же смелым и мужественным, как многие сердца на «Мэри Тернер», — очень скоро стал другом и даже учителем Майкла. И Майкл, который нечаянным движением своей лапы мог переломать нежные косточки и навсегда угасить свет в глазах Кокки, сразу же бережно отнесся к нему. Кокки была разрешена тысяча вольностей, о которых никогда не посмел бы мечтать Квэк.

Майклу еще с тех времен, когда на земле появилась первая собака, передался инстинкт «защиты своей пищи». Он не думал об этом. Автоматически и непроизвольно, как работало его сердце и дыхание, он защищал кусок, на который ему удалось положить лапу и в который он вонзил свои зубы. Одному лишь баталеру, при невероятном напряжении воли, он разрешал трогать кусок, который начал есть. Даже Квэк, кормивший его под наблюдением баталера, знал, что безопасность

пальцев и рук требует не трогать начатой Майклом пищи. Но Кокки, эта кучка перьев, клочок света и жизни с голосом бога, смело и спокойно нарушал табу Майкла — неприкосновенность его пищи.

Усевшись на краю миски, этот крохотный выходец из темного мира на солнечный свет, покачиванием своего оранжево-красного хохолка, быстрым расширением бусинок зрачков и резким повелительным окриком заставлял Майкла уступать и позволять ему распоряжаться лучшими кусками. Кокки знал, как держать себя с Майклом, — о, он очень хорошо это знал! Непреклонный в выражении своего желания, он умел льстить и ластиться, как первая женщина, изгнанная из рая, или как последняя в нашем поколении. Когда Кокки, покачиваясь на одной ножке, другой теребил шерсть Майкла у шеи и, прильнув к его уху, нежно ласкался к нему, колючая шерсть Майкла ложилась мягкими волнами, и он с глупо блаженным видом готов был исполнить любое желание или каприз Кокки.

Дружбе Кокки и Майкла способствовало то обстоятельство, что А Мой очень скоро отказался от своей птицы. Он за восемнадцать шиллингов купил ее у матросов в Сиднее и битый час тор-

говался из-за нее. Но, увидев в один прекрасный день Кокки, сидевшего на согнутых пальцах левой руки Квэка, почувствовал столь внезапное отвращение к Кокки, что даже восемнадцать шиллингов за обладание птицей потеряли для него всякую цену.

— Васа любит он? Васа хоцет он? — предложил он.

— Менять, на что менять? — спросил Квэк, полагая, что птица предлагалась в обмен, и беспокоясь, не прельстился ли маленький старичок его драгоценным варганчиком.

— Нет менять, — ответил А Мой. — Васа хоцет он. Хоросо — васа берет он.

— Как моя берет? — спросил Квэк, путая свой австралийский морской жаргон с китайским жаргоном. — Если моя ницего нет, цто васа хоцет?

— Нет менять, — повторил А Мой. — Васа хоцет, васа любит он, — все хоросо, цестное слово.

Итак, этот смелый комочек оперенной плоти с сильным сердцем, называемый людьми Кокки, рожденный в девственных лесах острова Санто на Новых Гебридах, пойманный двуногим чернокожим людоедом и проданный за шесть пачек табаку и кремневый топор шотландскому

купцу, умершему вскоре от лихорадки, затем передавался с рук на руки, сначала за четыре шиллинга торговцу птицами, потом за черепаховый гребень, вырезанный английским кочегаром по старинному испанскому образцу, проигран был в поккер кочегарами на баке, обменен на подержанный аккордеон, стоивший по крайней мере двадцать шиллингов, и, наконец, продан за восемнадцать шиллингов старому китайцу. Кокки, столь же смертный или бессмертный, как всякое живое существо на нашей планете, перешел от судового кока А Моя, — сорок лет назад зарезавшего в Макао за измену свою молодую жену и бежавшего на море, — Квэку, прокаженному папуасу, рабу Дэга Доутри, который сам, в свою очередь, был слугой и должен был почтительно поддакивать другим, платившим ему людям: «да, сэр», «нет, сэр» и «благодарю вас, сэр».

Майкл нашел себе еще одного друга, хотя Кокки в этой дружбе не участвовал. Это был Скрэпс, косолапый ньюфаундлендский щенок, не имевший другого хозяина, кроме самой шхуны «Мэри Тернер», потому что никто — от носа до кормы — не заявлял на него прав и никто не признавался в доставке его на борт. Итак, его назвали Скрэпсом и, не принадлежа никому, он принадлежал всем.

Джексон обещал снести А Мою голову, если тот будет плохо кормить щенка, а Сигурд Хальверсен на баке задал здоровую трепку Генрику Иертстену, когда последний пинком убрал с дороги путавшегося в ногах Скрэпса. Больше того. Когда громадный, жирный Симон Нишиканта, постоянно малевавший нежные, пошловатые дамские акварели, запустил складным стулом в неловко толкнувшего мольберт Скрэпса, огромная рука Гримшоу так тяжело опустилась на его плечо, что он завертелся на месте и чуть не сел на палубу, а плечо еще долго болело и было разукрашено синяками.

Майкл, уже взрослый, оставался веселым и добродушным и целыми днями занимался нескончаемой возней со Скрэпсом. В его крепком теле жил настолько сильный инстинкт игры, что он, играя, доводил Скрэпса до полного изнеможения… Тот валился на палубу и, тяжело дыша и ловя ртом воздух, лишь слабо отбивался передними лапами от настойчивых атак Майкла. Все же Скрэпс был большим задирой и постоянно взбирался на Майкла, так же мало заботясь о тяжести своих лап и всего своего тела, как слоненок, топчущий луг, покрытый маргаритками. Отдышавшись, Скрэпс снова был готов на любую

шалость, и возня начиналась сначала. Эти игры являлись для Майкла великолепной гимнастикой и, укрепляя его физически, развивали в нем одновременно и смекалку.

Глава XII

Так шло плавание на «Корабле глупцов». Майкл играл со Скрэпсом, уважал Кокки, обожал баталера и пел с ним, а Кокки то командовал Майклом, то ласкался к нему. Доутри выпивал ежедневно свои шесть кварт пива, аккуратно получал жалованье и считал Чарльза Стоу Гринлифа самым умным человеком на борту. Квэк служил своему господину и любил его, а кожа на лбу его все темнела и утолщалась по мере развития страшной болезни. А Мой избегал папуаса, как чумы, постоянно полоскался и еженедельно кипятил свои одеяла. Капитан Доун правил судном и беспокоился о своем доме в Сан-Франциско. Гримшоу, положив свои огромные, похожие на окорока, руки на колени, издевался над ростовщиком, предлагая ему внести в предприятие ту же сумму, которую он внес из своих доходов по продаже пшеницы. Симон Нишиканта вытирал свою шею грязным шелковым платком и малевал бесконечные акварели; штурман терпеливо выкрадывал при помощи подобранного ключа пометки и записи капитана, а Бывший моряк услаждал себя шотландскими смесями, курил душистые гаван-

ские сигары — на доллар три штуки — и вечно бормотал что-то о палящей жаре на баркасе, о безвестных берегах и о сокровище, лежащем в песке на глубине семи футов.

Часть океана, которую исследовала в данный момент «Мэри Тернер», по мнению Доутри, была подобна всякой другой его части и ничем от нее не отличалась. Водное пространство нигде не прерывалось землей, корабль в центре и горизонт казались неподвижными и вечными, лишь магнитная стрелка указывала на ту точку, вокруг которой вращалась шхуна. Солнце вставало неизменно на востоке и садилось неизменно на западе, по законам, выработанным и проверенным отклонением, уклонением и склонением магнитной стрелки, а ночью звезды и созвездия совершали свой путь по небесному своду.

И именно теперь посылались на мачту вахтенные, которые дежурили от восхода солнца до наступления вечерних сумерек, когда «Мэри Тернер» ложилась в дрейф. Время шло, и Бывший моряк как будто начал чувствовать близость цели; тогда трое участников предприятия сами стали взбираться на мачту. Гримшоу довольствовался

тем, что устраивался на грот-салинге[42], капитан Доун забирался выше и усаживался на выступе фок-мачты, упираясь расставленными ногами на фор-марс[43]. Симон Нишиканта отрывался от вечного малевания всевозможных оттенков неба и моря, достойных кисти пансионерки, и при помощи двух стройных, ухмыляющихся матросов, поднимавших его огромное тело по выбленкам[44] бизань-мачты, взбирался до салинга, где и оставался, взором, алчущим золота, осматривая в лучший из оставшихся у него в закладе бинокль освещенную солнцем морскую поверхность.

— Странно, очень странно, — бормотал Бывший моряк. — Это должно быть здесь. Тут не может быть ошибки. Я доверяю этому молоденькому помощнику абсолютно. Ему было только восемнадцать лет, но он управлял судном лучше, чем капитан. Разве он не сумел найти направление после восемнадцатидневного пребывания

---

[42] notes: 42

Грот-салинг — деревянная или железная рама, помещаемая на верхней части мачты у верхнего колена составной мачты.

[43] notes: 43

Фор-марс — площадка из досок в верхней части первой мачты.

[44] notes: 44

Выбленки — тонкие деревянные веревки поперек канатов, поддерживающих мачту, идущие параллельно одна другой, а также и грузовой ватерлинии. Служат для всхода на марсель-салинги.

в баркасе? Компаса у нас не было, был только секстант, а вы знаете, как выглядит горизонт с маленького судна во время бури. Юноша умер, но направление, которое он нам оставил, было правильным, и я на следующий же день после того, как его тело было погребено в волнах океана, достиг намеченной цели.

Капитан Доун пожал плечами и вызывающим взглядом ответил на полный недоверия взгляд, брошенный ему ростовщиком.

— Провалиться он не мог, — тактично поторопился нарушить неприятную паузу Бывший моряк. — Ведь этот остров не какая-нибудь там отмель или риф. Высота Львиной Головы три тысячи восемьсот тридцать пять футов, я сам видел, как капитан и третий офицер измеряли ее.

— Я рыскал по всем направлениям и как гребнем прочесал всю эту местность, — резко вмешался капитан Доун. — Гребень у меня был частый, так что пик в три тысячи футов никак не мог проскользнуть незамеченным.

— Странно, очень странно, — бормотал Бывший моряк, отчасти про себя, отчасти обращаясь к искателям сокровищ. Затем, внезапно просветлев, заявил: — Да, да, конечно, мы не учли возможных отклонений, капитан Доун. Учли ли

вы все происшедшие за пятьдесят лет изменения? Это могло бы дать нам совсем новые данные. Насколько я понимаю, хотя и не знаю навигации, склонение магнитной стрелки в те дни не было так хорошо изучено, как теперь.

— Широта всегда была широтой, а долгота — долготой, — возразил капитан. — Склонение и девиация[45] принимаются во внимание при исчислении курса и вычислении отсчетов по лагу.

Все это было тарабарской грамотой для Симона Нишиканты, и он быстро принял сторону Бывшего моряка.

Но Бывший моряк был очень умен. Он то соглашался с ростовщиком, то для равновесия признавал доводы капитана Доуна.

— Очень жаль, — обратился он к капитану, — что у вас на суше имеется лишь один хронометр. Может быть, все дело в том, что он неправильно показывает. Как это вы отправились в путь с одним только хронометром?

— Я-то настаивал на двух хронометрах, — вступился ростовщик. — Помните, Гримшоу?

---

[45] notes: 45

Магнитный меридиан не совпадает с географическим, а составляет с ним угол, который называется склонением. Девиация — отклонение магнитной стрелки компаса под влиянием больших металлических масс, находящихся на корабле.

Фермер неохотно кивнул головой, а капитан сердито воскликнул:

— Да, но три хронометра вы считали излишней роскошью!

— Так, но если два хронометра не лучше одного, как вы сами только что говорили, — Гримшоу свидетель, — то и три хронометра, не принеся никакой пользы, увеличили бы только наши расходы.

— Но если у вас два хронометра, и они показывают по-разному, каким способом вы определите, какой из них врет? — спросил капитан Доун.

— Почем я знаю, — недоверчиво пожимая плечами, ответил ростовщик. — Если вы не можете определить, какой из двух хронометров врет, как же вы определите ошибку, имея под руками две дюжины хронометров? С двумя вы всегда имеете пятьдесят процентов вероятности на стороне каждого из них.

— Но разве вам не понятно…

— Мне понятно, что все эти выспренные рассуждения о мореплавании — сущий вздор. Я у себя в конторах найду вам четырнадцатилетних мальчишек, которые обведут вас вокруг пальца с вашим мореплаванием. Спросите их: если так выходит, что два хронометра не лучше одного,

то почему две тысячи хронометров окажутся лучше? Они вам быстренько ответят, что если два доллара не стоят больше одного, то и две тысячи долларов не будут стоить больше. Это простой, здравый смысл.

— Все равно, вы не правы в основном, — заговорил Гримшоу. — Я говорил тогда, что мы берем с собой капитана Доуна только потому, что нам нужен моряк, а ни вы, ни я в этом деле ни аза не смыслим. Вы согласились, а затем, когда дело дошло до покупки трех хронометров, сразу оказалось, что вы знаете морское дело так же хорошо, как он. Вы просто испугались расходов. Такие соображения не вмещаются в вашей башке. Вы ходите вокруг да около и хотите вырыть из земли миллионный клад подержанной плохонькой лопатой, красная цена которой восемь центов.

Дэг Доутри не преминул подслушать некоторые из этих разговоров, походивших скорее на ожесточенные препирательства. Финал этих споров неизменно был одинаков: на Симона Нишиканту, по морскому выражению, «накатывало семь чертей», и он часами ходил злой, ни с кем не разговаривал и никого к себе не подпускал. Он напрасно принимался за свои акварели и, наконец, в порыве ярости рвал их в клочья и топтал

ногами, а затем бежал за своим крупнокалиберным автоматическим ружьем и, устроившись поудобнее на носу, старался попасть в играющих дельфинов или альбатросов. Ему, казалось, становилось намного легче, когда, всадив пулю в играющее в волнах великолепно окрашенное животное, он останавливал навсегда его радостную игру и заставлял перекувырнуться и медленно погрузиться в глубины океана.

Иногда, когда мимо шхуны проплывали стада китов, Нишиканта приходил в восторг, если ему удавалось ранить кого-либо из них. Его пули, достигая компании левиафанов[46], поражали их, как удары бичей, причем каждый из них — подобно жеребенку, невзначай получившему удар хлыста, — подскакивал в воздухе или, взмахнув хвостом, нырял и бешено мчался прочь, вздымая облака пены.

Бывший моряк только печально покачивал головой, а Доутри, возмущенный этим бесцельным мучительством невинных животных, выражал ему свое сочувствие, принося для успокоения новую, дорогую — три штуки на доллар — сигару. Гримшоу презрительно кривил губы и бормотал:

---

[46] notes: 46

Левиафан (в Библии) — чудовищный морской зверь. Вообще — нечто громадное, чудовищное.

«Этакая гадина! Ни один человек, у которого сохранилось хоть что-нибудь человеческое, не стал бы мучить эти безобидные создания. Он из тех, кто если вас не взлюбит, либо если вы осмелитесь критиковать его, способен пристукнуть вашу собаку… или подсыпать ей яду. В доброе старое время мы таких ребят просто вздергивали, чтобы очистить и оздоровить воздух».

Но капитан Доун запротестовал самым решительным образом.

— Послушайте, Нишиканта, — сказал он, побледнев, с дрожащими от злости губами. — Это — гадость, и ничего, кроме гадости, из этого не получится. Я знаю, что говорю. Вы не имеете права рисковать нашей жизнью из-за вашей игры. Лоцманское судно «Анни-Майн» было потоплено китом как раз у Золотых Ворот. Я еще мальчишкой, младшим помощником на бриге «Бернкасль», отстаивал у Хакодате двойные вахты, потому что на нас налетел кит. Разве прекрасно оснащенное китобойное судно «Эссекс» не утонуло у западных берегов Южной Америки, за двенадцать тысяч миль от ближайшего берега, и все это только потому, что крупный кит вдребезги разбил все судно.

Симон Нишиканта, на которого «накатило

семь чертей», не удостаивал капитана ответом и продолжал посылать пули вдогонку последнему киту, не успевшему скрыться из его поля зрения.

— Я помню эту историю с «Эссексом», — обратился Бывший моряк к Доутри. — Судно было потоплено китом и его детенышем. Оно было нагружено на две трети и пошло ко дну меньше чем за час. Одна из шлюпок пропала бесследно.

— Но попала ли одна из шлюпок на Гавайские острова, сэр? — почтительно спросил Доутри. — Тридцать лет назад в Гонолулу я как-то встретил одного парня, который уверял, что служил гарпунщиком на китобойном судне, которое было потоплено китом у берегов Южной Америки. Я тогда в первый и последний раз слышал о нем, пока вы не заговорили об этом. Это было, вероятно, то же самое судно, не правда ли?

— Вероятно, разве что два разных китобойных судна были потоплены китами у западных берегов, — ответил Бывший моряк. — Но гибель «Эссекса» совершенно достоверна, это исторический факт. Очень возможно, баталер, что человек, которого вы встретили, был именно с «Эссекса».

Глава XIII

Капитан Доун напряженно работал, наблюдая кривую, описываемую Солнцем, стараясь определить с помощью бесконечных уравнений аберрацию, вызванную движением Земли по громадной ее орбите, и вычерчивая бесконечные таблицы, пока голова у него не шла кругом.

Симон Нишиканта открыто издевался над несостоятельностью его науки и продолжал малевать акварели, когда бывал спокоен, и стрелять в морских животных и птиц, когда в нем начинали бушевать страсти и рождалось разочарование от ненависти к морю, скрывающему Львиную Голову — остров сокровищ Бывшего моряка.

— Я докажу вам, что я совсем не скряга, — заявил Симон Нишиканта в один прекрасный день, хорошенько прожарившись на мачте в течение пяти часов. — Капитан Доун, на какую сумму должны были мы, по-вашему, купить хронометров в Сан-Франциско, — хороших, конечно, подержанных хронометров?

— Скажем, долларов на сто, — ответил капитан.

— Прекрасно. Я не просто так говорю. Этот

расход должен был лечь на нас троих. Я беру на себя всю сумму. Скажите матросам, что я, Симон Нишиканта, заплачу сто долларов золотом тому, кто первый из них увидит землю на широте и долготе, указанной мистером Гринлифом.

Но карабкавшимся по мачтам матросам суждено было разочароваться, ибо всего лишь два дня пришлось им наблюдать за океаном в надежде на хорошую награду. Виноват оказался не только Доутри, несмотря на то, что одного его желания было совершенно достаточно, чтобы отнять у них все шансы на получение долларов.

Находясь как-то внизу в трюме, он вздумал пересчитать ящики с пивом. Сосчитав, он усомнился в правильности своего счета, зажег еще несколько спичек, пересчитал снова и затем тщетно обыскал все помещение, в надежде найти сложенные где-нибудь в другом месте ящики.

Доутри уселся прямо под трапом и на целый час погрузился в размышления. Конечно, это дело рук ростовщика, того самого, который был согласен снабдить «Мэри Тернер» двумя хронометрами, но упорно отказывался от трех и сам согласился на условия, по которым баталеру полагалось в день шесть кварт пива. Для верности он еще раз пересчитал ящики. Их было всего три. Поскольку

в каждом из них было две дюжины кварт, а его ежедневная порция состояла из полудюжины, то было совершенно ясно, что наличный запас пива иссякнет через двенадцать дней. Между тем за двенадцать дней еле-еле можно было добраться до какого-нибудь порта, где запас пива мог быть обновлен.

Раз решившись на что-нибудь, баталер уже не терял времени. Часы показывали без четверти двенадцать, когда он вылез из трюма, спустил трап и поспешил накрыть на стол. Во время обеда он обносил кушанья, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не вывернуть миску горохового супа на голову Симона Нишиканты. Его удерживало только сознание, что созревший в его голове план мести будет приведен в исполнение еще сегодня — внизу, в трюме, там, где хранятся бочки с пресной водой.

Около трех, когда предполагалось, что Бывший моряк дремлет у себя в каюте, а капитан Доун, Гримшоу и половина вахты взобрались на мачты, стараясь вызвать из сапфировых вод вожделенный риф Львиной Головы, Дэг Доутри спустил трап из люка в трюм. Здесь длинными рядами стояли на подпорках бочки с пресной водой.

Из-за пазухи Доутри вынул нужный ему ин-

струмент и, опустившись на колени, принялся долбить дно первой бочки, пока вода не хлынула на пол и не полилась вниз по желобку в подводную часть судна. Он быстро работал, переходя от бочки к бочке, и дошел до конца ряда, погруженного в полумрак. Там он остановился, прислушиваясь к журчанию воды, стекающей бесчисленными ручейками по желобкам вниз, обрекая экипаж на жажду и гибель. Его тонкий слух уловил подобные же звуки, доносившиеся к нему с правой стороны прохода. Внимательно вслушиваясь, он готов был поклясться, что услыхал звук железа, ударяющего о твердое дерево.

Минутой позже, он, хорошенько спрятав собственный инструмент, опустил руку на плечо человека, которого в темноте разглядеть не мог; человек этот стоял на коленях и, задыхаясь, усердно долбил дно бочки. Преступник не делал никаких попыток к бегству, и Доутри, зажигая спичку, уставился на перекошенное волнением лицо Бывшего моряка.

— Вот так штука, — пробормотал озадаченный баталер. — Какого черта вы выпускаете воду?

Нервная дрожь сотрясала все тело старика, и сердце Доутри сразу смягчилось.

— Ладно, все в порядке, — прошептал он. — Не

бойтесь меня. Сколько бочек вы уже продолбили?

— В этом ряду все, — прозвучал шепот. — Вы не выдадите меня, тем… другим?

— Выдам? — мягко рассмеялся баталер. — Мне незачем говорить вам, что мы играем с вами в одну и ту же игру, хотя и не знаю, зачем вам это понадобилось. Я только что продолбил весь правый ряд. Теперь — я вам советую, сэр, — выбирайтесь-ка отсюда скорее, пока проход свободен. Все наверху, и никто вас не заметит. Я один закончу все дело; воды останется дней на двенадцать.

— Я бы хотел поговорить с вами… объяснить, в чем дело, — прошептал Бывший моряк.

— Прекрасно, сэр, вы сами понимаете, что я схожу с ума от любопытства. Я приду к вам в каюту, скажем, минут через десять, и мы с вами заварим кашу. Во всяком случае, что бы вы ни затеяли, — я с вами. Во-первых, мне с руки попасть поскорее в порт, а затем, сэр, я вас очень полюбил и чувствую к вам большое уважение. Теперь скорее выбирайтесь отсюда, а я буду у вас через десять минут.

— Я вас очень люблю, баталер, — прерывающимся голосом сказал старик.

— И я вас люблю, сэр, и намного больше, чем

этих пройдох наверху. Но об этом после. Выбирайтесь скорее, а я выпущу остальную воду.

Четверть часа спустя, когда трое пройдох все еще пребывали на своих мачтах, Чарльз Стоу Гринлиф сидел у себя в каюте, потягивая свою любимую смесь, а Доутри, стоя по другую сторону стола, тянул пиво прямо из бутылки.

— Вы, может быть, не догадались, — говорил Бывший моряк, — что это мое четвертое путешествие за одним и тем же кладом.

— Вы хотите сказать?.. — спросил Доутри.

— Вот именно. Никакого клада не существует. Его никогда не было, как и Львиной Головы, и баркаса, и безвестных берегов.

Потрясенный Доутри взъерошил свои седеющие космы и признался:

— Да, вы поймали меня, сэр. Я сам поверил в эти сокровища.

— Должен сознаться, баталер, что меня это очень радует. Значит, я еще на что-нибудь пригоден, если мог провести такого человека, как вы. Очень нетрудно провести человека, у которого вся душа полна жаждой наживы. Но вы не таковы. Вы — бескорыстный человек. Я наблюдал за вами, когда вы играли со своей собакой. Я наблюдал, когда вы бывали со своим негром. Я

наблюдал, когда вы пили ваше пиво. И именно потому, что вам нет дела до погребенного где-то сокровища, вас труднее обмануть. Те, у кого все сердце стремится к наживе, поразительно легко попадаются на удочку. Это дешевая публика. Предложите им дельце, дающее сто процентов прибыли, и они, как голодные щуки, бросятся на приманку. Предложите им тысячу или десять тысяч процентов прибыли, и они совершенно ошалеют. Я уже стар, очень стар… мне хочется хорошо дожить свой век, я хочу сказать — в приличной обстановке, с комфортом, пользуясь уважением окружающих.

— И вы любите далекие путешествия? Я начинаю понимать, сэр. Как только они близко подходят к тому месту, где должны быть скрыты сокровища, какое-нибудь происшествие, вроде нехватки воды, загоняет их обратно в порт, и затем вся музыка начинается сначала.

Бывший моряк кивнул головой, и его выцветшие глаза заблестели.

— Так было с «Эммой-Луизой». Я ее продержал в пути восемнадцать месяцев с лишним при помощи водных и всяких иных происшествий. Кроме того, они за четыре месяца до начала путешествия содержали меня в одном из лучших

отелей в Новом Орлеане и дали мне на руки хорошенький аванс.

— Но расскажите подробнее, сэр. Меня это ужасно интересует, — попросил Доутри, закончив свой несложный отчет о пиве в кладовой. — Это прекрасная штука. Я готов поучиться у вас — на старости лет может пригодиться. Но, честное слово, сэр, я вам не стану поперек дороги. Как это ни привлекательно, я, пока вы живы, за это дело не примусь.

— Для начала вам надо поймать людей с деньгами — с большими деньгами, так что некоторый расход их не остановит. Затем их гораздо легче заинтересовать…

— Они более жадны, — прервал баталер. — Чем больше денег, тем больше их надо.

— Совершенно верно, — продолжал Бывший моряк. — В конечном счете, они свое получают. Такие морские путешествия чрезвычайно полезны для здоровья. В результате я им не делаю ни малейшего зла и не разоряю их, а морские путешествия идут им только на пользу.

— Но этот рубец на вашем лице и недостающие на руке пальцы? Разве не боцман полоснул вас ножом во время борьбы на баркасе? Где же вы, черт побери, получили это все? Минуточку, сэр. Я

сначала наполню вам стакан.

Держа в руках наполненный до краев бокал, Чарльз Стоу Гринлиф начал рассказывать историю шрама:

— Прежде всего, баталер, вы должны иметь в виду, что я, — да, я — джентльмен. Мое имя известно было в Соединенных Штатах еще до того, как они стали Соединенными Штатами. Я вторым окончил курс в университете… каком — это безразлично. Поэтому имя, под которым меня все знают, не мое имя. Я старательно составил его из имен других людей. У меня были большие неудачи. Я служил на корабле, но никогда моей ноги не было на «Ясном» — корабле, который был мною выдуман, и теперь, на старости лет, дает мне средства к жизни.

Вы спрашиваете о рубце и о недостающих пальцах? Вот как это случилось. Катастрофа произошла утром. Я ехал в пульмановском вагоне. Народу было полно, и мне пришлось занять верхнее место. Катастрофа произошла на следующий день. Дело было несколько лет тому назад. Я уже тогда был стариком. Мы ехали из Флориды. Столкновение произошло на высоком виадуке. Поезд сплющило, несколько вагонов свалилось с высоты в девяносто футов вниз, прямо в рус-

ло высохшей речки. Она вся высохла, кроме небольшой лужицы, футов десять в диаметре и нескольких дюймов глубины. Кругом были одни лишь камни, и я попал прямо в эту воду. Вот как это все произошло. Я только что оделся и собирался сойти со своей койки. Я как раз сидел на ее краю, спустив ноги вниз, когда произошло столкновение локомотивов. Проводник уже привел в порядок койки напротив.

Когда все это случилось, я сидел со спущенными ногами, не имея понятия о том, на виадуке мы или едем по ровному месту. Я соскользнул с верхней койки и, пробив стекло головой, вылетел из окна на противоположной стороне вагона. Сколько раз я перевернулся в воздухе, лучше не вспоминать. Каким-то чудом я попал в самую середину этой воды. Глубина ее была всего одиннадцать дюймов. Но я ударился о воду плашмя, и это спасло меня. Изо всего вагона уцелел я один. Мой вагон рухнул на бок, на расстоянии сорока футов от меня. Из него вытащили лишь мертвых, но меня вынули из воды живехоньким. Когда я вышел из хирургической лечебницы, то на моей руке недоставало четырех пальцев, через все лицо проходил рубец, и хотя вы и не подозреваете об этом, но у меня недоставало еще трех ребер.

О, мне не на что было жаловаться. Подумайте о моих соседях по вагону — все они были убиты. К несчастью, я ехал по бесплатному билету и не мог поэтому преследовать железнодорожную компанию судом. Но все же вы видите перед собой единственного в мире человека, который с высоты девяноста футов нырнул в воду глубиной одиннадцать дюймов и выжил, чтобы рассказать об этом. Баталер, не наполните ли вы мне стакан…

Доутри исполнил его просьбу и, возбужденный рассказом старика, открыл для себя новую бутылку пива.

— Продолжайте, говорите, сэр, — хрипло пробормотал он, вытирая губы. — А как заварилось все дело с кладом? Я умираю от любопытства. Пью ваше здоровье, сэр!

— Можно сказать, баталер, — продолжал Бывший моряк, — что я родился с серебряной ложкой во рту и что эта ложка плавилась до тех пор, пока я не обратился в настоящего блудного сына. Кроме серебряной ложки, я получил в дар еще и гордость, которая плавиться не пожелала. Ни эта глупая железнодорожная катастрофа, ни другие катастрофы, случавшиеся как до, так и после нее, не могли побудить меня обратиться к моей се-

мье. Они предоставляли мне право умирать, как мне будет угодно, а я… я предоставлял им право жить, как им будет угодно. В этом все дело. Я не беспокоил моей семьи. Помимо того, моя семья была здесь не при чем. Я никогда ни на что не жаловался. Я расплавил остатки моей серебряной ложки — южно-океанский хлопок, какао из Тонга, юкатанский каучук и красное дерево. И в конце концов мне пришлось спать по ночлежкам, есть остатки по ист-эндским обжоркам и частенько простаивать в очередях благотворительных организаций, гадая, потеряю ли я сознание от голода, пока дойдет мой черед.

— И вы никогда не просили ничего у вашей семьи? — восторженно прошептал Дэг Доутри.

Бывший моряк распрямил плечи, откинул назад голову, затем отрицательно кивнул:

— Нет, я никогда не клянчил. Я попал в дом призрения, или на «работный дом», как они это называют. Я жил ужасно. Я жил, как животное. Шесть месяцев подряд я жил этой жизнью, а затем я увидел просвет. И тогда я принялся за постройку «Ясного». Я строил его доска за доской, скреплял их крепкой медью, сам выбирал мачты и каждое бревнышко, следил за установкой каждой части корабля в отдельности, лично наблюдал за по-

стройкой, находил богатых евреев, снаряжавших мое судно, и затем отправился в Южные моря к сокровищам, зарытым на семь футов в песке. Как видите, — пояснил он, — я проделал это в моем воображении, пока сидел заложником на рабочей ферме среди сломленных жизнью людей.

Лицо Бывшего моряка вдруг побледнело, и в нем показалось что-то свирепое. Он захватил руку Доутри своей высохшей, но крепкой как сталь рукой.

— Долгим и тяжелым путем пришлось мне выбираться из рабочей фермы и скопить денег для маленького, ничтожного «путешествия» на «Ясном». Знаете ли вы, что мне два года пришлось проработать в прачечной за полтора доллара в неделю? Одной здоровой рукой и остатками другой я сортировал грязное белье и складывал простыни и наволочки, пока мне тысячу раз не казалось, что моя старая спина сломится надвое, и пока я миллион раз не чувствовал в своей груди каждый дюйм недостающих ребер. Вы еще молодой человек…

Доутри усмехнулся, теребя седеющие космы волос.

— Вы еще молодой человек, баталер, — раздраженно повторил Бывший моряк. — Вы никогда

не были выброшены из жизни. В работном доме человек выбрасывается из жизни. Там нет места уважению, нет не только к годам, но и к человеческой жизни. Как бы это выразить? Человек не мертв. Но он и не жив. Он то, что когда-то было живым и теперь на пути к тому, чтобы умереть. Так обращаются с прокаженными. Таковы сумасшедшие. Я помню, когда я, еще юнцом, плавал на корабле, один из наших товарищей сошел с ума. Иногда на него находило бешенство, и мы боролись с ним, скручивая ему руки и причиняя ему боль, и крепко связывали его, чтобы он не мог причинить вреда себе или другим. И он, еще живой человек, для нас был уже мертв. Вы это понимаете? Он перестал быть одним из нас, подобным нам. Он стал чем-то другим. Вот именно — *другим*. И вот мы в работном доме, — мы, еще живущие на земле, — были *другими*. Вы не раз слыхали мою болтовню об адской поездке на баркасе. Но ад баркаса — приятное развлечение по сравнению с работным домом. Пища, грязь, оскорбления, побои — вся это скотская жизнь там!

Два года я проработал в прачечной лишь за полтора доллара в неделю. Представьте себе меня — меня, который сумел расплавить серебряную

ложку своего наследства, и основательную серебряную ложку, представьте себе меня, мои старые, больные кости, мой несчастный желудок, который хорошо помнил пищу прежних лет, все еще изысканный вкус, не пресыщенный всеми изощрениями молодости, — говорю вам, баталер, представьте себе меня, который никогда не умел считать денег и щедро разбрасывал их налево и направо, сохраняющим, как скупец, в неприкосновенности эти полтора доллара, никогда не тратящим и пенса на табак, никогда не позволяя себе побаловать каким-нибудь лакомством мой желудок, страдающий от грубости и неудобоваримости жалкой пищи. Я таскал табак — скверный, дешевый табак у несчастных бедняков, стоящих на краю могилы. Да, и когда я как-то рано утром увидел, что мой сосед по койке, Сэмюэль Мерривэйл, ночью умер, то сначала обшарил карманы его ветхих штанов, чтобы найти полпачки табаку, — я знал, что это все его имущество, — и только тогда сообщил о его смерти.

О баталер, я так дрожал над своими долларами. Вы ведь понимаете? Я был узником, который крохотным стальным напильником выпиливает себе дорогу в жизнь, и я выпилил ее себе! — Торжество звучало в резком кудахтанье его

голоса. — Баталер! Я выбрался на свет!

Дэг Доутри поднял свою бутылку и сказал серьезно и искренне:

— Честь и слава вам, сэр!

— Благодарю вас, сэр, вы все поняли, — со спокойным достоинством ответил на тост Бывший моряк, чокаясь стаканом о бутылку Доутри, и они выпили, глядя друг другу в глаза.

— Мне следовало получить сто пятьдесят шесть долларов, когда я покидал работный дом, — продолжал старик. — Но я потерял две недели из-за инфлюэнцы и одну неделю из-за скрытого плеврита. Таким образом, я вырвался из этого места живых мертвецов, имея всего сто пятьдесят один доллар и пятьдесят центов.

— Итак, сэр, — с искренним восхищением перебил его Доутри, — крошечный напильник превратился в лом, и с его помощью вы проломили себе вход в жизнь.

Изуродованное лицо и выцветшие глаза Чарльза Стоу Гринлифа засияли, когда он, подняв свой стакан, сказал:

— Ваше здоровье, баталер, вы все поняли! И это хорошо сказано. Я возвращался обратно в жизнь и должен был проломить себе ход. Эти жалкие крохи, собранные двухлетним каторжным трудом,

были моим ломом. Подумайте только! В те дни, когда серебряная ложка еще не расплавилась, я не задумываясь ставил такие деньги на карту! Но, как вы уже сказали, я должен был вломиться в жизнь, и я поехал в Бостон. У вас прекрасная образная речь, баталер. Пью ваше здоровье!

Бутылка и стакан чокнулись снова, и каждый выпил, глядя другому в глаза, твердо зная, что его взгляд встречается со взглядом честного и понимающего человека.

— Но мой лом был весьма непрочен, баталер, и я не мог воспользоваться им как рычагом. Я занял комнату в небольшом, но приличном, устроенном на европейский лад отеле. Я, кажется, говорил уже, что это было в Бостоне. О, как бережно относился я к своему лому! Я ел ровно столько, чтобы душа не рассталась с телом. Но для других я заказывал дорогие, изысканные напитки — заказывал с видом богатого человека, что внушало доверие к моим рассказам. С моим вином они поглощали и мои стариковские бредни о «Ясном», о баркасе, о безвестных берегах и о сокровищах, зарытых в песке, — на семь футов в песке; это было литературно, это било на психологию: вино имело привкус соленого моря, смелых пиратских похождений и разграбления

Испанского наследства[47].

Вы заметили самородок, что я ношу на часовой цепочке, баталер? В те времена я не мог еще раздобыть его, но зато я много говорил о золоте, о Калифорнии, о самородках, несметных сокровищах и золотых приисках. Это было очень романтично и красочно. Позднее, после моего первого путешествия, я уже был в состоянии приобрести себе самородок. Он оказался приманкой, на которую люди шли, как рыба. И, как рыба, они попадались на нее. Эти кольца — тоже приманка. Теперь вы таких не найдете. Как только я получил немного денег, я купил их. Возьмем этот самородок: рассказывая о сокровищах, зарытых нами в песок, я бессознательно играю этим брелоком. Вдруг он как бы пробуждает во мне новые воспоминания. Я начинаю говорить о баркасе, о нашей жажде и голоде и о третьем помощнике, красивом мальчике со щеками, не тронутыми бритвой, который пользовался этим самородком, как грузилом, когда мы пытались

[47] notes: 47

Испанское наследство, оставшееся после смерти бездетного испанского короля Карла II Габсбургского (1700), было предметом притязания французского короля Людовика XIV и Леопольда I, римско-германского императора (сына Марии-Анны Испанской). На почве этих споров возникла тягостная для Испании война (война за Испанское наследство), в которую была втянута почти вся Европа.

заняться ловлей рыбы.

Но вернемся к Бостону. Я рассказывал им бесконечные сказки, делая вид, что нахожусь под хмельком, — им, всем этим приятелям, этим безмозглым олухам, которых я в душе презирал. Но слова были услышаны, и в один прекрасный день ко мне явился какой-то юный репортер, чтобы проинтервьюировать меня относительно сокровища и судьбы «Ясного». Я был возмущен и рассержен... Тише, баталер, тише!.. Я торжествовал, отказавшись принять этого репортера, потому что прекрасно знал, что мои «приятели» снабдили его достаточным запасом подробностей!

И утренние газеты отвели моей истории целых два столбца с заманчивым заголовком. Ко мне стали являться разные посетители, и я хорошенько изучал их. Многие хотели пуститься на поиски сокровищ, не имея никаких средств. От таких я старался отделаться и продолжал выжидать капиталиста, сокращая расходы на еду, по мере того как таяли мои деньги.

А затем, наконец, явился он — мой юный, веселый доктор философии и очень богатый человек к тому же. Мое сердце взыграло, когда я его увидел. У меня оставалось всего двадцать восемь

долларов, а потом мне предстояло выбирать между работным домом и смертью. Я твердо решил скорее умереть, чем вернуться в эту мрачную дыру, в компанию живых мертвецов. Но мне не пришлось ни возвращаться в богадельню, ни умирать… Кровь закипела в жилах юного доктора при мысли о Южных морях, его ноздри чувствовали дуновение напоенного цветами воздуха тех далеких стран, и перед глазами стояло прекрасное видение неба и облаков страны пассатов и муссонов, островов, поросших пальмовыми лесами, и коралловых рифов.

Он был юн и весел, как щенок, беззаботен и великодушно щедр, бесстрашен, как молодой львенок, гибок и прекрасен, как леопард. Быстро сменявшиеся фантазии и причуды как бы опьяняли его. Судите сами, баталер. Перед отплытием «Глостера», купленной доктором рыбачьей шхуны, похожей на яхту и более быстроходной, чем многие из них, он пригласил меня к себе для обсуждения своей личной экипировки. Мы просматривали его гардероб, когда он вдруг воскликнул:

— Интересно, как отнесется к моему продолжительному отсутствию моя леди? Как вы думаете? Может она ехать с нами?

Я не знал, что у него есть жена или дама сердца. На моем лице ясно были видны удивление и недоверие.

— Вот именно потому, что вы мне не верите, я возьму ее с собой! — безумно расхохотался он мне прямо в лицо. — Пойдемте, я познакомлю вас с ней!

Доктор привел меня прямо в свою спальню, подвел к кровати и, откинув одеяло, показал мне спящую все тем же сном, каким она спала тысячелетия, мумию хрупкой египетской девушки.

И она проделала с нами весь путь к Южным морям и обратно, и, даю вам слово, баталер, я сам полюбил эту очаровательную девушку.

Бывший моряк мечтательно поглядел в стакан, и Дэг Доутри воспользовался паузой для вопроса:

— А молодой доктор? Как он принял неудачу своей экспедиции за сокровищами?

Лицо Бывшего моряка просияло:

— Он похлопал меня по плечу и назвал очаровательным старым мошенником. Знаете, баталер, я полюбил этого молодца, как родного сына. Не снимая руки с моего плеча, он сказал, что еще с самого начала путешествия разгадал меня, и в жесте его руки было нечто большее, чем простая доброта. Смеясь и похлопывая меня по плечу,

причем это служило выражением ласки, а не веселости, он указал мне на некоторые противоречия в моих рассказах (благодаря ему я потом исправил все, баталер, и хорошо исправил) и сказал, что путешествие было очень удачно и что он навеки останется моим должником.

Что мне было делать? Я открыл ему всю правду и даже назвал свое настоящее имя, которое скрыл, чтобы спасти его от позора.

Он положил мне руку на плечо и…

Внезапная хрипота помешала Бывшему моряку продолжать рассказ, и слезы показались на его щеках.

Дэг Доутри молча чокнулся с ним, и он, выпив глоток вина, опять взял себя в руки.

— Он сказал, что я должен поселиться у него, и по возвращении в Бостон привез меня прямо в свой большой одинокий дом. Он сказал также, что поговорит со своими адвокатами — эта мысль очень забавляла его — о том, чтобы усыновить меня вместе с Иштар. Иштар звали девушку — маленькую египетскую мумию.

Вот я вернулся к жизни, баталер, и должен был получить легальное, настоящее имя. Но жизнь — великая обманщица. Через восемнадцать часов мы нашли его мертвым в постели, рядом

с египетской девушкой. Разрыв сердца или какого-нибудь кровеносного сосуда в мозгу — я так и не узнал. Я молил его родных похоронить их обоих вместе. Но это были сухие, холодные, новоанглийского покроя люди — все его тетки и кузины. Они передали мумию Иштар в музей, а мне в недельный срок велено было оставить дом. Я оставил его через час, и они перед моим уходом обыскали мой скудный багаж.

Я поехал в Нью-Йорк. Там я начал ту же игру, только у меня было больше денег, и я мог ее разыграть с большим форсом. То же самое повторилось в Новом Орлеане и в Гальвестоне. Затем я поехал в Калифорнию. Это мое пятое путешествие. Мне пришлось очень туго, пока удалось заинтересовать эту тройку. Пока они подписали наш договор, мои сбережения закончились. Они были невероятно скупы. Как, дать мне на руки аванс!? Самая мысль об этом им казалась нелепой. Я все же выждал время, представил им кругленький отельный счетец и, наконец, заказал прекрасный набор моих любимых напитков и сигар и послал им счет на шхуну. То-то было дело! Они долго бесились и чуть не рвали на себе волосы… и на мне тоже. Они решительно отказывались платить по счету. Тогда я сразу заболел. Я сказал им, что они

действуют мне на нервы и я заболел. Чем больше они бесновались, тем хуже мне становилось. Тогда они уступили. Сразу же мне стало легче. И вот, наконец, мы здесь без воды и, очевидно, помчимся к Маркизским островам, чтобы наполнить наши бочки. Затем они вернутся обратно и снова будут отыскивать сокровища.

— Вы так думаете, сэр?

— Я припомню новые, еще более важные для меня данные, баталер, — улыбнулся Бывший моряк. — Без сомнения, они вернутся. О, я вижу их насквозь. Жалкие, тупые, жадные глупцы!

— Глупцы! Одни глупцы! Корабль глупцов! — торжествовал Дэг Доутри, повторяя то, что ему пришло в голову в трюме, когда, продолбив последнюю бочку, он прислушивался к журчанию убегающей пресной воды, радуясь открытию, что Бывший моряк ведет с ним одну игру.

Глава XIV

На заре следующего дня утренняя вахта, обычно набиравшая запас воды для кухни и кают, обнаружила, что бочки пусты. Джексон так разволновался, что немедленно сообщил об этом капитану Доуну, и прошло едва несколько минут, как тот призвал Гримшоу и Нишиканту, чтобы сообщить им об этом несчастье.

Завтрак прошел в большом волнении. Трио искателей кладов бесновалось и скулило, а Бывший моряк и Дэг Доутри внутренне торжествовали. Особенно расстроился капитан Доун. Симон Нишиканта превзошел себя, описывая, каким негодяем был совершивший это злодеяние человек и каким жестоким карам его следовало подвергнуть. Гримшоу все время сжимал свои огромные кулаки, словно ему хотелось перервать чье-то горло.

— Помнится, это было в сорок седьмом — нет, сорок шестом — да, сорок шестом году, — бормотал Бывший моряк. — Мы попали в такое же и еще худшее положение. Дело происходило на баркасе, нас было шестнадцать человек. Мы дер-

жали курс на Глистер-риф[48]. Он был так назван после того, как наша команда в одну из темных ночей открыла его и сложила на нем свои кости. Этот риф можно найти на морских картах адмиралтейства. Капитан Доун может подтвердить…

Никто не слушал его, кроме Дэга Доутри, который восхищался им, подавая горячие пирожки. Вдруг Симон Нишиканта сообразил, что старик мелет какую-то историю, и бешено зарычал:

— Замолчите наконец! Заткните пасть! Вы мне надоели с вашими вечными воспоминаниями!

Бывший моряк искренне удивился, точно упустил что-то в своем рассказе.

— Да нет же, уверяю вас, — продолжал он. — Это, верно, мой старый язык не то сболтнул. Это был не «Ясный», а бриг «Глистер». Разве я говорил «Ясный»? Нет, это был «Глистер», нарядный, маленький бриг, совсем игрушка. Он был подбит медью и напоминал очертаниями дельфина и так быстро шел, что, казалось, перегонял ветер. Клянусь вам, джентльмены, вахтенным не приходилось скучать за работой. Этим судном можно было управлять, как волчком. Я был судовым приказчиком. Мы отплыли из Нью-Йорка,

---

[48] notes: 48
Glisten-ter *(англ.)* — блистать, светиться.

направляясь, по-видимому, к северо-западным берегам, с запечатанным приказом.

— Ради самого Бога, замолчите! Вы меня с ума сведете вашей болтовней! — вскричал Нишиканта в нервном возбуждении. — Пожалейте меня, старик! Какое мне дело до вашего «Глистера» и до ваших запечатанных приказов!

— Запечатанные приказы, — сияя, продолжал Бывший моряк. — Запечатанные приказы — это магические слова. — Он точно смаковал их. — В те дни, джентльмены, корабли, отплывая из порта, получали запечатанные приказы. И в качестве судового приказчика я вложил свою долю в предприятие и, участвуя в прибылях, я командовал капитаном. Запечатанные приказы находились не у него, а у меня. Уверяю вас, что я и сам не знал, что в них написано. Только обогнув мыс Стифф и выплыв в Тихий океан, мы сломали печать и узнали о том, что цель нашего пути — земля Ван-Димена. В те времена остров назывался землей Ван-Димена…

Это был день открытий. Капитан Доун застал своего помощника тогда, когда тот при помощи подобранного ключа похищал из его стола записи о положении корабля. Произошла неприятная сцена, но за пределы вежливого разговора она

не вышла, ибо финн имел фигуру столь внушительную, что особого желания померяться с ним силой у капитана Доуна не возникло, и он, характеризуя поведение помощника, ограничился повторением: «да, сэр», «нет, сэр» и «весьма сожалею, сэр!»

Однако самым важным было открытие Дэга Доутри, хотя он тогда еще не оценил всего его значения. Это случилось после того, как «Мэри Тернер» переменила курс и, подняв паруса, шла к Тайохаэ на Маркизские острова, как по секрету сообщил Доутри Бывший моряк. Доутри весело приступил к бритью, хотя его слегка смущало сомнение, найдется ли в таком заброшенном месте, как Тайохаэ, хорошее пиво.

Он намылил себе лицо и только собрался провести бритвой по щеке, как заметил темное пятно на лбу между бровями и выше. Окончив бритье, он дотронулся до этого пятна, недоумевая, как на таком месте мог появиться загар. Но он не почувствовал прикосновения своей руки — темное пятно словно онемело. «Чудеса», — подумал он, вытер лицо и сразу забыл об этом. Он не понял, каким зловещим было это пятно, и не знал, что косые глаза А Моя уже давно заметили его и изо дня в день с возрастающим ужасом следили за

его увеличением.

Погоняемая попутным юго-восточным пассатом, «Мэри Тернер» шла в далекий путь, к Маркизским островам. На баке все были очень довольны. Команда, получавшая лишь матросское жалованье, радостно приветствовала эту стоянку у тропических островов. На корме трое искателей кладов были весьма расстроены, и Нишиканта открыто издевался над капитаном Доуном и выражал сомнение в том, что тот сумеет найти Маркизские острова. В носовой каюте царила всеобщая радость: Дэг Доутри радовался своему жалованью и ожидаемому возобновлению запаса пива; Квэк был счастлив счастьем своего хозяина; и А Мой радовался возможности бежать с этой шхуны и избавиться от неприятного соседства с двумя прокаженными.

Майкл разделял всеобщую радость и усердно старался выучить наизусть пятую песенку — «Веди нас, благой свет…» В этом пении, которое по сути являлось лишь обработанным воем, Майкл стремился к чему-то, чего он сам определить не мог. Вероятно, это была тоска по утраченной стае — стае далеких-далеких времен, когда собака еще не подходила к очагу человека, времен, когда человек не знал еще своего очага и не был

человеком.

Майкл недавно появился на свет и прожил всего два года, так что сам он об утраченной стае ничего знать не мог. Уже тысячи поколений отделяли его от своей стаи. Но где-то в глубинах его существа, в каждой клеточке его тела и нервов, жило веками неизгладимое воспоминание о тех днях, когда отдаленные его предки бегали стаями на воле.

Иногда во время сна эти воспоминания всплывали в его подсознании. Эти сны казались ему чем-то реальным, но, проснувшись, едва помнил их. Лишь во время сна или пения с баталером он вспоминал и оплакивал утраченную стаю и пытался искать давно забытый к ней путь.

Наяву у Майкла была своя реальная стая. Она состояла из баталера, Квэка, Кокки и Скрэпса, и он бегал с ними, как бегали когда-то со своей стаей его отдаленные предки, охотясь в лесах. Логовищем этой стаи была передняя рубка, а помимо этой рубки стае принадлежал весь мир, заключавшийся для нее в «Мэри Тернер», которая, покачиваясь, пересекала изменчивую поверхность безбрежного моря.

Но передняя рубка и ее обитатели были для Майкла чем-то большим, чем простая стая. Рубка

была также небом, где находилось его божество. Люди рано придумали себе бога — иногда из камня, иногда из глины или огня — и искали его то на деревьях, то на горах, то среди звезд. Это случилось оттого, что люди поняли: вне семьи, рода или какой-нибудь группы, являющейся по существу человеческой стаей, человек пропадает и погибает. И человек не захотел оставаться вне своей стаи. Он в своем воображении создал себе новую стаю, с которой мог пребывать вечно и с которой ему не было никакой необходимости разлучаться. Человек боялся темной неизвестности, в какую погружаются все умирающие существа, и создал себе в этой неизвестности прекрасную область, богатую охоту, веселое и обширное помещение для празднеств и оргий — и назвал все это «раем».

Подобно некоторым первобытным, примитивным народам, Майкл никогда не подумал об обожествлении собственной тени. Он вообще не поклонялся теням. Он поклонялся и обожествлял настоящего, несомненного бога, созданного не по его собственному четвероногому и обросшему шерстью подобию, но бога, явившегося перед ним в образе двуногого белолицего баталера.

Глава XV

Если бы пассат не прекратился на следующий день после того, как «Мэри Тернер» направила курс к Маркизским островам; если бы капитан Доун за обедом не стал снова ворчать по поводу наличия только одного хронометра; если бы это обстоятельство не привело в бешенство Симона Нишиканту и он не вышел со своим ружьем на палубу, чтобы убить какого-нибудь обитателя моря; и если бы обитатель моря, оказавшийся почти у самого борта, был простым дельфином или альбатросом, а не громадным, в восемьдесят футов длины, китом со своим детенышем, — если бы хоть одного звена недоставало в цепи событий, то «Мэри Тернер», несомненно, достигла бы Маркизских островов, наполнила бы свои бочки пресной водой и вернулась к прерванным поискам сокровищ; тогда и судьба Майкла, Доутри, Квэка и Кокки оказалась бы совсем иной и, возможно, менее ужасной.

Но в данном случае все звенья этой цепи были налицо. Среди мертвой тишины шхуна, чуть поскрипывая снастями, пересекала безбрежную гладь океана, когда Симон Нишиканта всадил

пулю в маленького кита. По невероятной случайности этот выстрел оказался смертельным. Это было так же невероятно, как убить слона из игрушечного ружья. Кит умер не сразу. Он перестал играть и некоторое время пролежал на поверхности воды, содрогаясь всем телом. Его мать плыла за ним в тот момент, когда пуля поразила его, и люди, стоящие у борта, как раз над нею, отлично видели ее испуг и отчаяние. Она пыталась подтолкнуть его своим огромным плечом, описывала вокруг него круги и затем снова подплывала к нему, пытаясь подтолкнуть и вернуть к прерванной игре.

Все обитатели «Мэри Тернер» стояли у борта и со страхом следили за движениями чудовища, не уступавшего по величине самой шхуне.

— Что, если она проделает с нами то же самое, что другая проделала когда-то с «Эссексом»? — заметил Дэг Доутри Бывшему моряку.

— Мы лучшего не заслужили, — последовал ответ. — Это была ничем не вызванная, гнусная жестокость.

Майкл, чуя, что за бортом нечто происходит, чего он не может видеть из-за высоты фальшборта, вскочил на крышу капитанской рубки и, увидев чудовище, вызывающе залаял.

Все глаза с испугом обратились на него, и баталер шепотом приказал ему замолчать.

— Чтоб это было в последний раз! — еле сдерживая злобу, прошипел Гримшоу, обращаясь к Нишиканте. — Если вы еще раз во время нашего пути выстрелите в кита, я вам сверну вашу поганую шею! Можете мне поверить! Я вам глаза вышибу!

Еврей кисло улыбался и хныкал:

— Ничего не случится. Никогда не поверю, чтобы «Эссекс» был потоплен китом.

Понуждаемый своею матерью, издыхающий кит делал, между тем, тщетные усилия плыть дальше, но только барахтался на одном месте, переворачиваясь с боку на бок.

Кружа около своего детеныша, кит-самка случайно наткнулась плечом на подкормовую часть, и «Мэри Тернер» накренилась вправо, причем корма поднялась на ярд с лишком из воды. Это был всего-навсего нечаянный, легкий толчок. Наткнувшись на какое-то постороннее тело, кит испугался и взмахнул хвостом. Удар пришелся по перилам, перед фок-вантами и пробил громадную щель с такой легкостью, словно это был сигарный ящик, а не борт шхуны.

Это было все, и экипаж шхуны с ужасом следил

за морским чудовищем — оно было убито горем и словно оплакивало свое издыхающее дитя.

Шхуна и оба кита неслись по волнам дальше, и маленький кит несколько раз пытался самостоятельно поплыть. Так прошел целый час, а затем он весь содрогнулся и начал отчаянно бить хвостом по воде.

— Это агония, — сказал Бывший моряк.

— Проклятие, он все-таки издох, — заявил капитан Доун минут пять спустя. — Кто бы мог этому поверить? Простая ружейная пуля! Я готов молить небеса послать нам хоть на полчаса попутный ветер, чтобы избавить нас от этого соседства.

— Мы чуть-чуть не погибли, — сказал Гримшоу.

Капитал Доун покачал головой, и его взгляд озабоченно скользнул по вяло повисшим парусам, затем окинул водное пространство.

— О чем вы беспокоитесь, все в порядке, — ободрил его Гримшоу, — видите, она куда-то хочет его переправить.

— Понятно, все идет великолепно, да и раньше все шло хоть куда, — рисовался Нишиканта, после того как вытер пот с лица и шеи и поглядел вместе с остальными вслед уплывающему ки-

ту… — Храбрая вы, видно, компания — никогда рыбы близко не видели!

— Положим, я что-то заметил, как у вас вся желтизна с лица сошла, — съязвил Гримшоу. — Видно, вся желчь прилила к сердцу.

Капитан Доун облегченно вздохнул. Он обрадовался, что удалось избежать опасности, и ему было не до пересудов.

— Вы пропитаны желчью насквозь, — продолжал Гримшоу и, указывая головой на Бывшего моряка, сказал: — Вот это настоящий мужчина. Он и глазом не моргнул, хотя я готов поручиться, что ему опасность нашего положения была яснее, чем вам. Если бы мне пришлось выбирать, с кем из вас очутиться после кораблекрушения на необитаемом острове, я бы предпочел его. А если бы…

Тут отчаянные крики матросов прервали его речь.

— Милостивый Боже, — простонал капитан Доун.

Громадный кит повернул обратно и мчался прямо на шхуну с быстротой, подобной скорости дредноута или океанского парохода.

— Держись крепче! — крикнул капитан Доун.

Все приготовились к толчку. Генрик Иертстен,

стоявший на руле, широко расставил ноги и присел, крепко ухватившись руками за ручки штурвала. Некоторые матросы побежали со шкафута на ют, другие бросились к вантам. Доутри одной рукой крепко ухватился за поручни, а свободной рукой прижал к себе Бывшего моряка.

Все ухватились за что-нибудь. Кит ударил шхуну как раз за фок-вантами. И в тот же миг произошло несколько неуловимых по быстроте событий. Один из матросов сорвался с вантов и с концом в руках полетел вниз головой, но запутался ногой в тросах и повис в воздухе, пока один из товарищей не освободил его, в то время как вся шхуна затрещала и так накренилась вправо, что вода хлынула поверх фальшборта. Майкл соскользнул с гладкой крыши капитанской рубки и по крутому наклону покатился еще дальше куда-то на корму, пытаясь удержаться и громко огрызаясь по пути. Ванты с левой стороны фок-мачты сорвались с вант-путенсов[49], и фор-стеньга[50], как пьяная, склонилась к правому борту.

— Черт возьми, — сказал Бывший моряк. — Вот

---

[49] notes: 49
Вант-путенсы — железные планки на борту судна.

[50] notes: 50
Фор-стеньга — верхнее продолжение фок-мачты.

так удар!

— Джексон! — позвал капитан Доун помощника. — Посмотрите, нет ли воды в трюме.

Помощник повиновался, но не сводил обеспокоенного взгляда с кита, быстро плывшего по направлению к востоку.

— Видите, до чего вы доигрались! — прохрипел Гримшоу Нишиканте.

Нишиканта кивнул головой и, вытирая со лба пот, пробормотал:

— Я вполне удовлетворен. Я добился своего. Я не верил, что киты на это способны. Больше я в китов стрелять не буду.

— Возможно, что вам и не придется, — отрезал капитан. — Мы так дешево не отделаемся. Кит, потопивший «Эссекс», делал атаку за атакой, и я думаю, что природа китов не успела измениться за последние несколько лет.

— В трюме воды нет, — доложил штурман результаты своего расследования.

— Он возвращается! — крикнул Доутри.

Отплыв за полмили, кит круто повернул и мчался обратно на шхуну.

— Эй, там, на носу, поберегись! — крикнул капитан Доун матросу, вынырнувшему из люка на бак с вещевым мешком в руках, — над голо-

вой матроса качалась, вот-вот готовая рухнуть, фор-стеньга.

— Он уже подготовился к бегству, — прошептал Доутри на ухо Бывшему моряку. — Он, как крыса, собирается бежать с тонущего корабля.

— Все мы крысы, — был ответ. — Я в этом убедился, когда жил среди паршивых крыс в работном доме.

Общее возбуждение экипажа захватило Майкла. Он взобрался обратно на крышу капитанской рубки, откуда мог видеть все происходящее на море, и рычал на приближающееся чудовище, в то время как все люди старались крепко ухватиться за что-нибудь, чтобы удержаться при неминуемом толчке.

Удар пришелся как раз за бизань-вантами. Судно настолько накренилось вправо, что Майкл позорно слетел со своего наблюдательного пункта; треск расколовшегося дерева был слышен всем. Изо всех сил уцепившийся за штурвал Генрик Иертстен силой удара был буквально поднят на воздух. Он полетел прямо на капитана Доуна, который тем же ударом был оторван от поручней. Они вместе покатились по палубе, не будучи в силах даже перевести дух. Нишиканта с проклятиями прислонился к стене капитанской

рубки, — отрываясь от фальшборта, он обломал себе все ногти на руках.

Пока Доутри обвязал веревкой Бывшего моряка, прикрепляя его к снастям бизань-мачты, и дал ему конец в руки, капитан Доун, задыхаясь, дополз до фальшборта и попытался выпрямиться.

— Киту это, видно, понравилось! — хрипло прошептал он, обращаясь к штурману и прижимая руку к боку, чтобы унять боль. — Посмотрите, что делается в трюме, и оставайтесь там все время.

Несколько матросов воспользовались перерывом между толчками и, быстро пробежав под готовой сорваться фор-стеньгой, нырнули в кубрик и спешили уложить свои вещи. Когда А Мой появился из передней рубки со своим круглым вещевым мешком, Доутри велел Квэку идти уложить все принадлежащее обоим имущество.

— В трюме воды нет, — послышалось донесение помощника.

— Продолжайте свои наблюдения, Джексон, — приказал капитан более сильным голосом, начиная приходить в себя от удара, полученного при столкновении с рулевым. — Продолжайте свои наблюдения. Вот он возвращается, а наша шхуна совсем не была рассчитана на такую переделку.

Тем временем Доутри подхватил Майкла под мышку и держал свободную руку наготове, чтобы при следующем толчке уцепиться за снасти.

Поворачивая, кит потерял направление и проплыл на расстоянии двадцати футов от кормы «Мэри Тернер». Несмотря на это, волнение, поднятое его быстрым броском, так сильно подняло корму, что нос шхуны окунулся в воду, точно отвешивая придворный поклон.

— Да-а, если б он ударил... — прошептал капитан Доун и умолк.

— Нам была бы крышка, — закончил Доутри. — Он начисто срезал бы нам корму, сэр.

Отплыв на этот раз не более чем за двести ярдов, кит снова повернул, не описав полного полукруга. Новый удар пришелся в носовую часть шхуны, с правой стороны. Спиной кит задел форштевень[51] и, казалось, чуть задел мартин-штаг, но все же «Мэри Тернер» осела кормой в воду, пока фальшборт не сравнялся с уровнем моря. Но это было не все. Мартин-штаг и все штаги левого борта вплоть до бушприта разлетелись в разные стороны, — бушприт отлетел под прямым углом влево и увлек за собой остальные штаги. Фок-

[51] notes: 51
Форштевень — носовое ребро судна.

мачта некоторое время раскачивалась в воздухе, затем рухнула на палубу, нос окунулся в воду, бушприт оторвался и поплыл рядом со шхуной.

— Уберите собаку! — дико заорал Нишиканта Доутри. — Если вы не…

Майкл на руках баталера грозно рычал не только на кита, но и на все враждебные силы, вызвавшие панику у двуногих богов его плавучего мира.

— Вот именно, поэтому, — огрызнулся Доутри, — пусть он себе поет, сколько вздумается. Вы заварили эту кашу, и если вы поднимете руку на мою собаку, вам не придется услышать конца всей музыки, поганый вы ростовщик этакий!

— Совершенно правильно, так его, — кивнул одобрительно Бывший моряк. — Не можете ли вы, баталер, достать какой-нибудь кусок паруса или одеяла, или чего-нибудь более широкого и мягкого, чем эта веревка, которая врезается мне как раз в место недостающих ребер.

Доутри сунул Майкла старику в руки.

— Подержите его, сэр, — сказал он. — Если этот ростовщик чем-нибудь заденет Киллени, плюньте ему в лицо или укусите его — как хотите. Я мигом обернусь, и он не успеет вас тронуть. Кит вернется еще не так скоро. Пусть Киллени лает,

сколько ему вздумается. Один его волосок ценнее, чем полчища таких гадин-ростовщиков.

Доутри ринулся в общую каюту и вернулся с подушкой и тремя простынями; связав простыни вместе, он с помощью принесенной подушки удобно устроил Бывшего моряка, а затем взял Майкла на руки.

— Вода появилась, — доложил помощник. — Шесть дюймов, — нет, семь дюймов, сэр.

Матросы через рухнувшую фор-стеньгу помчались в кубрик, чтобы уложить свои вещи.

— Приготовьте шлюпку к спуску с правого борта, Джексон, — приказал капитан, глядя вслед уплывающему в облаках морской пены киту, готовящемуся к новой атаке. — Не спускайте ее. Пусть будет подвешена на канатах, а то эта проклятая рыба расплющит ее. Держите ее наготове, пусть люди собирают вещи и грузят на шлюпку припасы и пресную воду.

Найтовы[52] были ослаблены, и шлюпка приготовлена к спуску до возвращения кита.

Кит ударил «Мэри Тернер» на этот раз посередине левого борта. С кормы можно было увидеть, а также и услышать, как весь левый борт погнул-

---

[52] notes: 52
Найтов — обвязка, скрепление веревкой.

ся, а затем принял прежнее положение, точно был сделан из фанеры. Шхуна качнулась вправо, и весь правый борт очутился под водой. Бешеным усилием шхуна выпрямилась, и вода прокатилась по палубе, заливая по колени стоящих у шлюпки людей, и затем вылилась обратно в море из желобов левого борта.

— Поднимайте шлюпку! — приказал с кормы капитан Доун. — Тяните канат! Поднимайте шлюпку! Держите концы! Живее!

Шлюпка была уже за бортом и стала в уровень с фальшбортом «Мэри Тернер».

— Десять дюймов, сэр, и быстро прибывает, — сообщил помощник, измерив футшток[53].

— Пойду за своими приборами, — заявил капитан Доун, направляясь к себе в каюту. Наполовину исчезнув в люке, он остановился и, обращаясь к Нишиканте, насмешливо прибавил: — И за своим единственным хронометром.

— Полтора фута, и прибывает! — крикнул ему вслед помощник.

— Нам бы тоже не мешало уложиться, — следуя за капитаном, обратился Гримшоу к Нишиканта.

— Баталер, — сказал Нишиканта, — сойдите

---

[53] notes: 53

Футшток — шест с делением на футы и дюймы, устанавливаемый для измерения уровня воды.

вниз и уложите мою постель. Об остальном я позабочусь сам.

— Мистер Нишиканта, вы можете убираться к черту, сэр, вместе со всеми вашими пожитками, — спокойно ответил Доутри и, не переводя дыхания, почтительно обратился к Бывшему моряку: — Подержите Киллени, сэр. Я позабочусь о ваших вещах. Есть ли у вас вещи, которыми вы особенно дорожите, сэр?

Джексон сошел вниз и присоединился к людям, торопливо укладывающим свои вещи. В это время кит снова ударил «Мэри Тернер». Захваченные врасплох, они все были отброшены влево, и из каюты Симона Нишиканты послышались жалобные проклятия — он при падении налетел боком на край койки. Но невероятный треск и грохот на палубе заглушили все.

— Одни щепки — вот и все, что останется от шхуны, — сказал в наступившей тишине капитан Доун, осторожно выползая из каюты и крепко прижимая к груди свой хронометр.

Передав его на хранение одному из матросов, капитан вернулся к себе в каюту и с помощью Доутри вытащил наверх свой чемодан. В свою очередь, он помог баталеру вытащить наверх чемодан Бывшего моряка. Затем капитан Доун

и Доутри при помощи растерянных матросов проникли через люк в кладовую и начали выбрасывать оттуда провиант — ящики с рыбными и мясными консервами, вареньем и бисквитами, масло и молоко в банках — словом, всевозможные запаянные, высушенные, заготовленные впрок и консервированные продукты, которыми в наше время снабжаются пароходы для пропитания находящихся на них людей.

Доутри и капитан вышли из кладовой последними, и оба невольно подняли глаза вверх, на то место, где за несколько минут перед тем возвышались грот- и бизань-стеньги. Затем они посмотрели на обломки мачт, лежащие на палубе, — бизань-стеньга рухнула, порвав контр-бизань, и, поддерживаемая вертикально стоящими парусами, колотилась взад и вперед при всех движениях парусов, а грот-стеньга лежала поперек разрушенной передней рубки.

Пока кит, разрушающий в своем отчаянии шхуну, отплыл на необходимое ему для нового разбега расстояние, все руки на «Мэри Тернер» были заняты спущенной за борт и готовой к окончательному спуску шлюпкой. Основательная груда ящиков, бочонков с пресной водой и сундуков лежала на палубе. При взгляде на нее

и на снующих взад и вперед по палубе людей было ясно, что шлюпка будет катастрофически перегружена.

— Матросы идут с нами во что бы то ни стало, — нам нужны гребцы, — сказал Симон Нишиканта.

— Но вы-то нам нужны ли? — мрачно спросил Гримшоу. — Вы занимаете вашей особой слишком много места, и, кроме того, вы — большая скотина.

— Полагаю, что я буду весьма желанным пассажиром, — заметил ростовщик, раскрывая рубашку с такой стремительностью, что четыре пуговицы отлетели, показывая кольт-44. Кобура была привязана прямо на голом теле, под мышкой левой руки, таким образом, что правая рука в надлежащий момент могла сразу выхватить оружие. — Полагаю, что я буду весьма желанным пассажиром. Но мы всегда можем отделаться от нежеланных.

— Если вы так на этом настаиваете, — насмешливо согласился фермер, между тем как его громадные руки невольно сжимались, точно он душил кого-то за горло. — Кроме того, если у нас возникнут трудности с провиантом, вы будете весьма желанным — в количественном отношении, конечно, — а не в каком-либо ином. Ну,

а кого же вы признаете нежеланным? Негра? У него ведь нет оружия.

Но эти шутки были сразу прекращены новой атакой кита — удар пришелся по корме, снес руль и разрушил все рулевые приводы.

— Высота воды? — спросил капитан Доун помощника.

— Три фута, сэр, я только что измерял, — был ответ. — Я полагаю, сэр, что следовало бы разгрузить судно и после следующего удара окончательно спустить шлюпку, бросить в нее остальную поклажу, разместиться самим и удирать.

Капитан Доун кивнул.

— Придется поторопиться, — сказал он. — Будьте наготове все. Баталер, вы первый прыгаете вниз, и я вам передам хронометр.

Нишиканта воинственно выпрямился во весь свой огромный рост перед капитаном, приоткрыл рубашку и выставил свой револьвер.

— Наша лодка перегружена, — сказал он, — и баталер не поедет с нами. Поняли? Зарубите себе это на носу. Баталер из тех, кому незачем ехать с нами.

Капитан Доун спокойно разглядывал револьвер, и в его сознании пронеслось видение доходных домов в Сан-Франциско.

Он пожал плечами.

— Наша шлюпка все равно будет перегружена всем этим хламом. Ступайте первым, если хотите настоять на своем, но запомните, что капитан — я, и если вы хотите еще раз увидеть свои ростовщические лавочки, то рекомендую вам немного поберечь меня. Баталер!

Доутри подошел вплотную.

— Для вас здесь не будет места… и для двоих или троих еще, весьма сожалею…

— Великолепно, — сказал Доутри. — Я как раз боялся, что вы потребуете, чтобы я ехал с вами, сэр. Квэк, тащить мой вещи на другой шлюпка, другой сторона.

Квэк повиновался. Штурман тем временем в последний раз измерил воду в трюме — три с половиной фута, — а матросы побросали остальную, более легкую поклажу в готовую к спуску шлюпку.

Длинный, тощий, сутуловатый матрос-швед, шести с половиной фута роста, похожий на жердь, с бледно-голубыми, как бы выцветшими глазами и с волосами и кожей под тон, бросился помогать Квэку.

— Эй, долговязый Джон! — окликнул его штурман. — Вы едете с нами. Работайте здесь!

Швед смущенно улыбнулся и, запинаясь, объяснил:

— Я хотел идти вместе с коком.

— Бросьте, пусть его едет, где хочет; чем меньше народа, тем легче, — вмешался Нишиканта. — Еще кто-нибудь пойдет на ту шлюпку?

— Конечно, — усмехнулся Доутри ему в лицо. — Все оставшееся пиво пойдет ко мне. Надеюсь, вы ничего не имеете против?

— За два цента… — в притворном бешенстве захлебнулся Нишиканта.

— Вы и за два биллиона центов не рискнете связаться со мной, кровопийца вы этакий, — отрезал Доутри. — Их вы забрали в руки, но я-то вам цену знаю. Вы и за два биллиона биллионов центов не захотите меня раздразнить… Долговязый Джон! Тащите этот ящик пива и этот тоже на нашу шлюпку… Эй, Нишиканта, попробуйте возразить, если у вас хватит духу.

Симон Нишиканта не посмел или не сообразил, что бы ему сказать, но был выведен из затруднения криком:

— Кит возвращается!

Все бросились к поручням, чтобы удержаться при толчке. Кит разнес на куски несколько балок, и «Мэри Тернер» медленно закачалась на

волнах.

— Спускай шлюпку! Ходу! Живее!

Приказание капитана было быстро исполнено. Шлюпку оттянули, подняли на блоках и спустили на воду рядом с палубой, откуда был брошен последний багаж и провиант.

— Я могу помочь вам, сэр, раз вы так спешите! — сказал Доутри, взяв из рук капитана хронометр и готовясь передать его ему в лодку.

— Идите же, Гринлиф, — позвал Гримшоу Бывшего моряка.

— Сердечно благодарен, сэр, но мне кажется, что в другой лодке будет просторнее, — последовал ответ.

— Кок должен ехать с нами, — закричал Ниишиканта со своего места на корме. — Эй ты, желтая обезьяна! Поди сюда! Прыгай!

Но старенький, сморщенный А Мой колебался. Он, видимо, размышлял, хотя никто не знал подлинных его мыслей. Перед ним был выбор между оружием жирного ростовщика и проказой Квэка и Доутри, и, взвешивая все шансы, он в то же время учитывал перегруженность одной шлюпки и легкость другой.

— Моя идет другой шлюпка, — сказал он, наконец, и потащил свой мешок на другую сторону

палубы.

— Отваливай! — скомандовал капитан.

Скрэпс, этот толстый ньюфаундлендский щенок, играл и забавлялся все время; теперь, заметив, что люди с «Мэри Тернер» попрыгали в рядом стоящую шлюпку, он перемахнул через низко стоящий в воде фальшборт и кубарем повалился на груду сложенных вещевых мешков и ящиков с припасами.

Шлюпка качнулась, и Нишиканта, держа револьвер наготове, заорал:

— Назад его! Швырните его обратно!

Матросы повиновались, и пораженный Скрэпс после короткого перелета оказался лежащим на спине на палубе «Мэри Тернер». Он принял это лишь за грубую шутку и в восторге катался и извивался по палубе в ожидании новых забав и игр. С добродушным, заигрывающим ворчанием он приблизился к Майклу, но был встречен брюзгливым, свирепым рычанием.

— Видно, придется и его присоединить к нашей компании, а, сэр? — заметил Доутри, урывая минуту, чтобы приласкать голову щенка, за что тот благодарно лизнул ему руку.

Первоклассному корабельному баталеру приходится отличаться от всех прочих людей своей

ловкостью и расторопностью. Дэг Доутри был первоклассным корабельным баталером. Усадив Бывшего моряка в безопасный уголок и поручив Долговязому Джону приготовить шлюпку к спуску и закрепить концы, он послал Квэка в трюм наполнить бочонки скудными остатками пресной воды, а кока А Моя — на кухню, забрать остальную провизию.

Переполненная людьми, провиантом и вещами, первая шлюпка быстро удалялась от опасного центра, каким являлась «Мэри Тернер». Ей едва удалось отплыть за сотню ярдов, как кит, миновав шхуну, повернул на полном ходу и, вздымая столбы воды, чуть-чуть не столкнулся с ней. Кит прошел так близко, что гребцы втянули весла в шлюпку. Перегруженная лодка накренилась и зачерпнула воду. Нишиканта, стоявший на ногах, около своего удобного места, чуть не слетел. Инстинктивным судорожным усилием удерживая равновесие, он выронил револьвер за борт.

— Ха-ха! — издевался над ним Доутри. — Пропал Нишиканта! Я его насквозь вижу, и теперь он у вас в руках. Он вам пригодится еще на обед. Неважное кушанье, по-моему! Когда дело дойдет до голода, съешьте его первым. Конечно, он — гад, и мясо его будет пахнуть гадом, но немало поря-

дочных людей ели тухлятину в плохие минуты. Вам все-таки придется продержать его ночку в соленой воде!

Гримшоу, занимавший не слишком удобное место, сразу, как Доутри, оценил положение и, быстро поднявшись, схватил жирного ростовщика за шиворот и совсем не любезно приподнял его и швырнул лицом вниз на дно шлюпки.

— Ха-ха, — на расстоянии ста ярдов послал им вдогонку Доутри.

Затем Гримшоу не спеша занял освободившееся более удобное место.

— Хотите ехать с нами? — крикнул он Доутри.

— Нет, благодарю вас, сэр! Нас тут целая компания, и мы хорошо разместимся на другой шлюпке.

Гребцы бешено налегли на весла, и шлюпка быстро удалялась. Тем временем Доутри с А Моем проникли в кладовую, чтобы выбрать оттуда остатки провизии.

Они все еще возились в кладовой, когда кит задел шхуну посередине левого борта и взмахом своего мощного хвоста вчистую сорвал вант-путенсы и ванты бизань-мачты. Новая волна качнула шхуну, и вся бизань-мачта рухнула.

— Черт побери, вот так кит! — обратился Доут-

ри к А Мою, когда они, выбравшись на палубу, увидели последние разрушения.

А Мой побежал за продуктами на кухню, а Доутри, Квэк и Долговязый Джон налегли общим весом на фалы, приподняли шлюпку через борт и спустили ее на воду.

— Подождем следующего удара, тогда спрыгнем в шлюпку, нагрузим ее и двинем подальше отсюда, — сказал баталер Бывшему моряку. — У нас еще масса времени. Шхуна не будет погружаться скорее, чем сейчас.

Но палуба уже стояла вровень с водой, и шхуна медленно опускалась.

— Э-эй! — вспомнив что-то, вдруг крикнул Доутри вслед удаляющейся шлюпке капитана Доуна. — Каков курс на Маркизские острова? А как велико отсюда расстояние, сэр?

— Северо-северо-восток, — четверть румба, на восток! — слабо донеслось в ответ. — Идем на Нука-Хиву! Около двухсот миль! Держите по юго-восточному ветру, и вы доберетесь до нее.

— Благодарю вас, сэр, — поблагодарил баталер и затем побежал к нактоузу, вынул из него компас и вернулся с компасом к себе в шлюпку.

Кит новых атак не предпринимал, и им казалось, что он уже забыл про шхуну. Пока они

выжидали, наблюдая плавающего в отдалении кита, «Мэри Тернер» медленно погружалась в воду.

— Пожалуй, рискнем… — совещался Доутри с Долговязым Джоном, как вдруг откуда-то снизу раздался жалобный голос: «Кокки, Кокки!» Затем раздраженно, злобно: «Черт побери! Черт побери! Черт побери!»

— Да нет же, конечно, — крикнул Доутри и бросился бежать по палубе, пробираясь через рухнувшие снасти грот-мачты, загораживающие ему дорогу. Крохотный белый комочек жизни, нахохлившись, сидел на краю койки, играл хохолком и проклинал человеческим голосом превратности судьбы и судьбу кораблей и людей на морях.

Кокки прыгнул на протянутый ему Доутри указательный палец, быстро взобрался по рукаву рубашки до плеча и так крепко вцепился коготками в легкую ткань, что больно оцарапал кожу, затем прильнул головой к его уху и с благодарностью и облегчением сказал: «Кокки, Кокки!»

— Эх ты, вояка, — прошептал Доутри.

— Здорово! — ответил Кокки голосом столь похожим на голос Доутри, что тот вздрогнул.

— Эх ты, вояка! — повторил, прижимаясь ухом к оперенной головке попугая, Доутри. — А неко-

торые люди еще думают, что мир создан для человека.

Кит все еще медлил, а вода покрывала уже тонким слоем палубу, когда Доутри скомандовал всем разместиться в лодке. А Мой хотел сесть как можно дальше от Квэка и баталера.

Оттолкнувшись, они сбросили свои запасы и вещи со скамеек на дно шлюпки и заняли свои места. А Мой остался на носу, Долговязый Джон сидел рядом с Квэком, а Доутри так и остался с Кокки на плече. На сложенных на корме вещах стоял Майкл, не сводивший глаз с «Мэри Тернер», и сердито огрызался на глупого Скрэпса, готового начать свою возню. Бывший моряк стоял у рулевого весла и, когда все было готово, подал знак к отплытию.

Майкл вдруг ощетинился и зарычал, предупреждая о появлении кита. Но кит не делал новых атак. Он медленно кружил около шхуны, как бы разглядывая своего врага.

— Бьюсь об заклад, что все эти удары дают себя чувствовать и что у него разболелась голова, — засмеялся Доутри, главным образом, чтобы успокоить своих спутников.

Они едва сделали несколько взмахов весел, когда восклицание Долговязого Джона заставило

их посмотреть на бак, где судовая кошка гонялась за громадной крысой. Он заметил и других крыс — очевидно, вода выгнала их из нор.

— Нельзя же дать кошке погибнуть, — как бы про себя, но обращаясь ко всем, сказал Доутри.

— Конечно нельзя, — ответил Бывший моряк, налегая всем телом на рулевое весло и поворачивая шлюпку обратно. Кит, медленно описывая круги, два раза пересекал им дорогу, прежде чем они могли налечь на весла и отплыть от шхуны. На них он не обращал ни малейшего внимания. Смерть настигла его детеныша со шхуны, поэтому его ярость и месть были направлены только на шхуну.

Они уже отплывали, когда кит стал быстро удаляться, готовясь к новой атаке. Проплыв с полмили, он повернул и помчался обратно.

— Теперь, когда она полна воды, она его доконает, — сказал Доутри. — Давайте передохнем и посмотрим.

Удар пришелся как раз посередине и был сильнее всех предыдущих ударов. Обломки фальшборта и штаги полетели вверх, и шхуна почти перевернулась, блеснув на солнце медью обшивки. Затем она как бы замерла, грот-мачта раскачивалась, как пьяная, но не падала.

— Вот это удар! — вскричал Доутри, глядя на кита, бесцельно вздымавшего воду ударами своего гигантского хвоста. — Им обоим пришлось, видно, плохо!

— Шхуна кончить совсем, — заметил Квэк, когда фальшборты исчезли под водой.

Шхуна быстро погружалась, и через несколько минут исчезли и обломки грот-мачты. Теперь только кит плавал и барахтался на поверхности океана.

— Даже нечем похвастаться будет, — произнес Доутри эпитафию «Мэри Тернер». — Никто нам не поверит. Чтобы такое прекрасное судно было потоплено, начисто потоплено каким-то старым, глупым китом! Нет, сэр. Я никогда не верил этому хрычу в Гонолулу, когда он уверял, что «Эссекс» был потоплен китом, а теперь никто не поверит и мне.

— Прелестная шхуна, красавица-шхуна, — оплакивал «Мэри Тернер» Бывший моряк. — Я никогда не видел более изящной оснастки на трехмачтовом судне, и на свете не было другой шхуны, которая бы так красиво и легко шла по ветру.

Дэг Доутри, проживший всю жизнь свободным холостяком, оглядывал бывшее на его попече-

нии население шлюпки: Квэк — чудовищный чернокожий папуас, спасенный им когда-то от удовольствия быть съеденным своими собратьями; А Мой — маленький старенький судовой кок, о возрасте которого можно было только приблизительно догадываться, с ошибкой на десять лет в ту или иную сторону; Бывший моряк — благородный, любимый и уважаемый; Долговязый Джон — юный швед, великан ростом и младенец душой; Киллени-бой — чудо-пес, Скрэпс — неимоверно глупый толстый щенок; Кокки — белоснежный комочек жизни, властный, как острие ножа, и обаятельный, как дитя; и, наконец, судовая кошка — рыжая гибкая потребительница крыс, примостившаяся у ног А Моя. А Маркизские острова были за двести миль, если идти на парусах, но попутный ветер стих, хотя и должен был подняться утром, после восхода солнца.

Баталер тяжело вздохнул, и в его мозгу всплыла картина из его детской книжки — сказка о старушке, которая жила в башмаке. Тыльной стороной ладони он отер со лба пот и смутно почувствовал онемевшее место на лбу, между бровями.

— Ладно, ребята, — обратился он ко всем. — До Маркизских островов нам на веслах не добрать-

ся. Без ветра мы ничего не поделаем. Но все же следует отойти на милю-другую между нами и этой проклятой старой коровой. Вздумается ей вернуться или нет, неизвестно, но пока она близко, мне как-то не по себе.

Глава XVI

Два дня спустя, на пароходе «Марипоза», совершающем свой обычный рейс между Таити и Сан-Франциско, пассажиры бросили вдруг свои палубные игры, покинули карточные столы в курительной каюте, оставили недочитанные романы на креслах и, толпясь у перил, глазели на направлявшуюся к ним маленькую шлюпку. Когда Долговязый Джон с помощью А Моя и Квэка спустили парус и вынули мачту из степса[54], среди пассажиров раздались смешки и хихиканье. То, что они увидели, противоречило всем их представлениям о спасающихся после кораблекрушения моряках.

Шлюпка со своим багажом, постельными принадлежностями, ящиками провианта и пива и население ее напомнили пассажирам Ноев ковчег. Здесь были кошка, две собаки, беленький попугай, китаец, негр, белобрысый великан, седой Дэг Доутри и даже Бывший моряк, удивительно дополнявший картину. Какой-то веселый малый, отдыхающий от занятий в архитектурной

---

[54] notes: 54

Степс — гнездо, в которое ставится нижний конец мачты.

конторе, прозвал его Ноем и приветствовал:

— Эй, Ной! Хорош потоп, а? Едем на Арарат?

— Рыбы много наловили? — закричал другой юнец, перегибаясь через перила.

— Поразительно! Поглядите-ка на их пиво! Хорошее английское пиво! Запишите за мной один ящик!

Никогда еще потерпевших кораблекрушение не спасали с таким весельем и хохотом. Веселые юнцы уверяли, что старик Ной собственной персоной явился на «Марипозу» с остатками вымерших племен, и рассказывали пожилым дамам душераздирающие сказки о тропическом острове, погибшем от вулканических извержений и землетрясений.

— Я — баталер, — обратился Дэг Доутри к капитану «Марипозы», — и буду счастлив и благодарен, если вы поместите меня с вашим баталером. Долговязый Джон — матрос, и его можно устроить на баке. Китаец был у нас коком, а негр принадлежит мне. Но мистер Гринлиф — джентльмен и достоин самой лучшей каюты на вашем судне, сэр.

Когда на пароходе разнеслась весть о том, что эти люди спаслись с трехмачтовой шхуны, обращенной в щепки и потопленной китом, то

пожилые дамы поверили этому рассказу не более, чем сказкам о погибшем острове.

— Капитан Хэйворд, — обратилась одна из них к капитану. — Может ли кит потопить «Марипозу»?

— Она еще никогда не бывала потоплена таким образом, — был ответ.

— Я так и знала! — заявила она. — Это не дело для корабля — быть потопленным каким-то китом. Верно, капитан?

— Совершенно верно, сударыня. Но все пятеро настаивают на этом.

— Моряки ведь известны своей фантазией, не так ли? — в форме вопроса высказала она свое плоское представление о моряках.

— Я больших врале́й не видывал, сударыня. Поверите ли, проплавав сорок лет по морям, я даже сам себе перестал верить.

Девять дней спустя «Марипоза» вошла в Золотые Ворота и стала на якорь в Сан-Франциско. Юмористические заметки в местных газетах, написанные обычным стилем неотесанных, только что сошедших со школьной скамьи юных репортеров, чуть задели фантазию Сан-Франциско историей о спасенных «Марипозой» моряках, потерпевших столь странное и дикое кораблекру-

шение, что ему не верили даже сами репортеры. Так уж повелось, что глупость и неправдоподобность газетных отчетов заставляет всякую необычную реальность казаться ложью. Для начинающих репортеров, газет и тупоумных обывателей, получающих все новые впечатления в кинематографе, реальный мир и весь мировой простор словно не существуют.

— Потоплен китом? — переспрашивает обыватель. — Ерунда. Самая настоящая ерунда. Вот «Приключения Элинор» — замечательный фильм! Можете мне поверить! Вот там я видел…

Итак, Дэг Доутри и его экипаж сошли на берег во Фриско, никем не приветствуемые и не воспетые, а утренние газеты были полны ночными измышлениями репортеров о нападении гигантской медузы на итальянского рыбака. Долговязый Джон исчез из виду, устроившись в одном из матросских общежитий; через неделю он записался в союз моряков и поступил грузчиком на паровую шхуну, идущую за красным деревом в Бандон, Орегон. А Мой, едва выйдя на берег, был задержан Федеральным иммиграционным управлением и отправлен на ближайшем тихоокеанском почтовом пароходе в Китай. Кошку усыновили на баке «Марипозы», и она поехала обратно на

Таити. Скрэпса отвезли на берег и оставили на попечении одной семьи.

Дэг Доутри сошел на берег и на свои небольшие сбережения снял две крохотные комнаты для себя и своих питомцев, то есть Чарльза Стоу Гринлифа, Квэка, Майкла и Кокки. Но Бывшему моряку он недолго позволил прожить вместе с ними.

— Это нас не устраивает, сэр, — сказал он ему. — Нам сейчас нужен капитал. Заинтересовать и привлечь капитал — эта роль принадлежит вам. Нам сегодня же придется купить два чемодана, взять автомобиль и торжественно подкатить к подъезду «Бронкс-отеля», как богачи, которым наплевать на все. Это прекрасный отель, и вы можете там очень недорого устроиться. Есть ведь и небольшие комнаты, выходящие во внутренний двор, а есть вы можете на стороне — это выйдет гораздо дешевле.

— Но ведь у меня нет денег, — запротестовал Бывший моряк.

— Прекрасно, сэр. Я поддержу вас, насколько хватит сил.

— Но, дорогой мой, вы знаете, что я старый мошенник. А у вас тянуть я не могу. Вы… вы же мой друг, разве вы не понимаете разницы?

— Конечно, понимаю и очень благодарен за

эти слова, сэр. Поэтому-то я и с вами. Когда вам навернется другая компания охотников за кладами и ваш корабль будет готов к отплытию, вы возьмете меня с собой в качестве баталера, вместе с Квэком, Киллени и остальным семейством. Вы усыновили меня, и теперь я ваш великовозрастный сын, и вам приходится меня слушаться. «Бронкс-отель» — отлично звучит — это именно то, что нам надо. Это создает обстановку. Народ прислушивается к вашим речам, но и придает большое значение названию вашего отеля. Уверяю вас, что когда вы откинетесь на глубоком кожаном кресле и — с дорогой сигарой во рту и стаканом двадцатицентового питья на столике — будете рассказывать о сокровище, это само по себе будет стоить сокровища. Тогда они сразу вам поверят. Пойдемте, сэр, купим чемоданы.

Бывший моряк решительно подъехал на автомобиле к «Бронкс-отелю», старинным почерком написал «Чарльз Стоу Гринлиф» и принялся с новыми силами за дело, которое годами спасало его от работного дома. Не менее решительно Дэг Доутри принялся за поиски работы. Это было крайне необходимо при его расточительном образе жизни. Семья его состояла из Квэка, Майкла и Кокки и нуждалась в пище и приюте; содержа-

ние Бывшего моряка в первоклассном отеле тоже обходилось недешево. Затем приходилось еще утолять собственную, шестиквартовую, жажду.

Но, как на грех, это был момент промышленного кризиса. Проблема безработицы в Сан-Франциско стояла острее, чем когда-либо. Что касается пароходов и парусных судов, то на каждое место баталера претендовало по три кандидата. Доутри не мог найти никакой постоянной работы, а случайные заработки не покрывали его текущих расходов. Он даже проработал три дня на муниципальных земляных работах, но, по правилу, должен был уступить затем работу другому безработному.

Доутри охотно устроил бы Квэка на работу, но это было совершенно невозможно. Негр никогда в жизни не бывал в большом городе и только с борта парохода видел Сидней. Он знал только свой пароход, далекие острова Южных морей и родной остров Короля Вильгельма в Меланезии.

Итак, Квэк оставался дома, готовил и убирал две крохотные комнатки и ухаживал за Майклом и Кокки. Для Майкла, привыкшего к простору парохода, коралловых бухт и плантаций, эта обстановка была тюрьмой.

Однако по вечерам Майкл вместе с баталером

отправлялся бродить по городу. Иногда Квэк сопровождал их несколько шагов. Белые боги, кишмя кишевшие на тротуарах, поразили своим количеством Майкла, и он потерял всякое уважение к ним. Но тем выше поднялся в его глазах обожаемый баталер. Майкл растерялся в этом множестве богов, и баталер, более чем когда-либо, являлся единственным оплотом, той тихой пристанью, куда не доходят горе и грубость жизни.

«Не давай наступать себе на ноги!» — вот основной лозунг городской жизни двадцатого века. Майкл скоро понял это, охраняя свои лапы от бесчисленных башмаков бегущих куда-то людей, не обращающих на него ни малейшего внимания и не признающих права на существование для маленького четвероногого ирландского терьера. Вечерние прогулки с баталером неизменно приводили их из одного бара в другой. Люди в барах стояли у длинных стоек, на усыпанном опилками полу, или сидели за столиками, пили и разговаривали. Баталер тоже пил и разговаривал, пока его шестиквартовая жажда не была утолена, а затем отправлялся домой в постель. Немало знакомств завязалось за это время у него и у Майкла. В большинстве случаев это были моряки, плававшие вдоль берега и в бухте Сан-Франциско, но

попадались среди них и матросы, работавшие на берегу, и портовые рабочие.

Один из таких моряков, капитан небольшой шхуны, совершающей рейсы взад и вперед по бухте и по рекам Сакраменто и Св. Хоакина, обещал Доутри взять его к себе в качестве кока и матроса. Вместимость шхуны была восемьдесят тонн, включая и палубный груз, и капитан Иоргенсен самым демократическим способом разгружал и нагружал ее вместе со своим коком и матросами. Шхуна плавала день и ночь, при всякой погоде — один человек у штурвала, остальные отдыхали. Им всем приходилось нести двойную и тройную нагрузку, но пища была обильной, а жалованья набегало от сорока пяти до шестидесяти долларов в месяц. Жаловаться в общем было не на что.

— Вот вам мое слово, — говорил капитан Иоргенсен. — Этот Гансон — сапожник, а не кок, я скоро спроважу его, тогда вы поедете с нами… и ваш песик тоже. — С этими словами он ласково опустил свою крупную рабочую руку на голову Майкла. — Это чудесный пес, и он очень нам пригодится на нашей плоскодонке, когда мы будем спать в доках или на стоянках.

— Спровадьте Гансона поскорее, — побуждал его Доутри.

Но капитан медленно покачал своей упрямой тугодумной головой.

— Сначала я должен его хорошенько вздуть.

— Так вздуйте его сейчас и затем спровадьте, — настаивал Доутри. — Вот он как раз торчит здесь в углу.

— Нет, он должен дать мне повод. У меня давно зуб против него. Но мне нужен повод, очевидный для всех. Он должен вызвать меня на драку, чтобы каждый мог сказать: «Урра, капитан, так его, так и надо!» Тогда место будет за вами, Доутри.

Если бы капитан Иоргенсен не так основательно и всесторонне обдумывал предстоящую Гансону трепку, и если бы Гансон не замешкался дать к ней повод, Майкл сопровождал бы своего баталера на шхуну «Говард», и вся последующая жизнь Майкла сложилась бы иначе, чем это было ему предначертано. Но от судьбы не уйдешь, и к ней его вел целый ряд случайностей, над которыми Майкл был не властен и о которых он подозревал так же мало, как и его баталер. В этот период его жизни самая дикая фантазия не могла бы предугадать грядущей эстрадной карьеры и сцен кошмарной жестокости, какие ему пришлось пережить. А судьбу Дэга Доутри и Квэка не могло бы предсказать самое безумное,

отравленное наркотиками сновидение.

Глава XVII

Однажды вечером Дэг Доутри сидел за столиком в одном из своих любимых кабачков. Обстоятельства складывались сложные. Случайную работу найти было труднее, чем когда-либо, а сбережения его пришли к концу. Перед тем он имел телефонный разговор с Бывшим моряком, сообщившим, что как раз сегодня здорово клюнул какой-то отставной врач-шарлатан.

— Позвольте мне заложить мои кольца, — не в первый раз упрашивал его по телефону Бывший моряк.

— Ни в коем случае, — неизменно отвечал Доутри. — Они необходимы для дела. Это наш запасной капитал. Они создают настроение и обстановку, они красноречивы, как говорится по-вашему. Я сегодня обдумаю кое-что, и мы с вами утром увидимся. Не расставайтесь с кольцами и не слишком усердствуйте с вашим доктором. Пусть он сам придет к вам. Это единственный путь. Добыча не так-то легко дается, и вы должны быть на высоте. Не беспокойтесь, сэр. Дэг Доутри стоит пока твердо.

Но сидя в баре, он чувствовал, что все пропало.

В кармане была как раз та сумма, которую он должен был хозяйке за следующую неделю. Он уже просрочил три дня, и хозяйка, женщина с неприятным, грубым лицом, шумно требовала уплаты. Дома, при строгой экономии, еды должно было хватить на следующий день. Отельный счет Бывшего моряка не оплачивался уже две недели — громадная сумма, принимая во внимание, что отель был первоклассный; у самого Бывшего моряка в кармане болталась всего лишь пара долларов, которыми надо было позвякивать, пуская пыль в глаза охочему до кладов доктору.

Однако самым катастрофическим обстоятельством было то, что Дэгу Доутри пришлось урезать наполовину свою ежедневную порцию пива — он не решался прикасаться к квартирным деньгам, которые спасали его и его семью от ночлега на улице. Поэтому он сидел сейчас за столиком с капитаном Иоргенсеном, который только что вернулся с грузом сена из Петалумы. Иоргенсен уже дважды заказывал по паре пива, и его жажда, казалось, была утолена. Он протяжно зевал, устав от продолжительного труда и бдения, и поглядывал на часы. А Доутри не хватало еще трех кварт! Кроме того, Гансон еще своей взбучки не получал, и место кока на шхуне все еще рисовалось в

туманном и отдаленном будущем.

В своем отчаянии Доутри натолкнулся на удачную мысль.

— Послушайте, капитан, — начал он. — Вы не знаете какой молодец мой Киллени-бой. Он умеет считать не хуже нас с вами.

— Хо-хо, — пробурчал капитан Иоргенсен. — Я насмотрелся считающих собак. Это фокусы. Лошади и собаки считать не могут.

— Эта собака может, — спокойно продолжал Доутри. — Вы ее не собьете. Держу пари, что сейчас я закажу два бокала пива так, что она услышит число два, а затем тихо шепну, чтобы принесли только один, и вы увидите, какой шум подымет Киллени-бой, когда лакей принесет этот единственный бокал!

— Хо-хо! А на сколько вы держите пари?

Баталер нащупал в кармане монету в десять центов. Если Киллени-бой подведет, то квартирная плата ухнет. Но Киллени не может и не захочет подвести его, решил он, и сказал:

— На два пива.

Они подозвали лакея и, дав ему секретную инструкцию, позвали Майкла, лежавшего у ног Квэка в углу. Когда баталер придвинул стул и посадил его у стола, Майкл понял, что от него

что-то требуется. Он баталеру нужен, он что-то должен сделать. Он был счастлив не перспективой проявить свои таланты, а возможностью доказать баталеру свою любовь. В мозгу Майкла любовь и служба любимому сливались в одно понятие. Он прыгнул бы в огонь ради баталера и теперь готов для него был сделать все, что только баталеру может быть угодно. Вот чем для него была любовь. Любовь — это служба любимому.

— Официант! — громко позвал баталер, и, когда официант подошел вплотную, сказал: — Два пива. Понял, Киллени? Два пива.

Майкл заерзал на стуле, импульсивно положил лапу на стол и, высунув свой красный язычок, чуть не лизнул в лицо наклонившегося к нему баталера.

— Он запомнит, — сказал, улыбаясь, Доутри капитану.

— Мы его заговорим, — был ответ, — и собьем с толку. Я скажу, что место кока — ваше, как только я задам трепку Гансону. А вы скажете, что мне следовало бы оттрепать его сейчас. А я скажу, что Гансон сначала должен дать мне повод к трепке. А затем мы раскричимся и поднимем такой шум, что только держись. Вы готовы?

Доутри кивнул головой, и они громко заспори-

ли, а Майкл смирно сидел, переводя внимательный взор с одного на другого.

— Я выиграл, — объявил капитан Иоргенсен, когда официант подошел к ним с одним бокалом пива. — Ваш пес давно забыл про два бокала, если он вообще что-нибудь понял. Ему кажется, что мы с вами здорово поспорили. Соображения об одном или двух бокалах исчезли из его головы, как исчезают смытые волной слова, написанные на песке.

— Полагаю, что сколько бы вы шума ни поднимали, он своей арифметики не забудет, — сказал Доутри, хотя в его душе этой уверенности не было. — Я ему напоминать не буду, — прибавил он с некоторой уверенностью. — Вы увидите, что он сам вспомнит.

Высокий бокал пива был поставлен перед капитаном, и он быстро схватил его. Майкл, напряженный, как струна, стоял на задних лапах; он знал, что от него что-то требуется, вспомнил прежние уроки на «Макамбо» и тщетно вглядывался в непроницаемое лицо баталера — затем оглянулся и увидел один бокал вместо двух. Он очень хорошо усвоил разницу между одним и двумя, и до его сознания сразу дошло, что на столе стоит всего один бокал, когда было заказано

два. Как это случилось, самый глубокий психолог вряд ли знает больше, чем он знает о самой сущности мысли. Майкл внезапно вскочил, положил обе передние лапы на стол и сердито залаял на официанта.

Капитан Иоргенсен ударил кулаком по столу.

— Ваша взяла, — загремел он. — Я плачу за пиво. Официант, еще бокал!

Майкл посмотрел на баталера, чтобы себя проверить, и рука баталера, положенная на его голову, дала ему надлежащий ответ.

— Начнем снова, — сказал окончательно проснувшийся и заинтересованный капитан, вытирая тыльной стороной ладони пену со своих усов. — Один и два — это он понимает. Но как насчет трех? Или четырех?

— То же самое, капитан. Он считает до пяти и знает, что предметов бывает больше, чем пять, но дальше не знает.

— Эй, Гансон! — через весь бар закричал капитан Иоргенсен коку с «Говарда». — Эй ты, глупая башка! Иди сюда, выпей с нами!

Гансон подошел и взял себе стул.

— Я плачу за пиво, — сказал капитан, — но заказывайте вы, Доутри. Послушайте, Гансон, это замечательный пес! Он знает счет лучше вас.

Нас трое, и Доутри заказывает три пива. Пес ясно слышит три. Я показываю официанту два пальца — вот так — видите? — и он приносит всего два бокала. Вы посмотрите, какую бурю поднимет наш песик.

Все произошло как по писаному, и Майкл неистовствовал, пока приказание Доутри не было исполнено в точности.

— Он вовсе не считает, — решил Гансон. — Он видит, что перед одним из вас пусто. Вот и все. Он знает, что перед каждым должен стоять бокал. Вот он и лает.

— Прекрасно, — похвастался Доутри. — Нас трое. Закажем четыре бокала, тогда у каждого будет по бокалу, но вы увидите, что Киллени все равно закатит официанту скандал.

Так все и случилось. Майкл вошел в роль и лаял на официанта, пока тот не принес четвертый бокал. Тем временем вокруг их столика собралась толпа, и всем хотелось угостить Доутри пивом, чтобы испытать таланты Майкла.

— Великолепно, — философствовал Доутри. — Чудно устроена жизнь. То нечего было выпить, а через минуту тебя уже готовы утопить в пиве.

Некоторые даже хотели купить Майкла, предлагая за него смехотворную цену в пятнадцать и

двадцать долларов.

— Вот что я вам скажу, — шепнул капитан Иоргенсен, увлекая Доутри в угол. — Отдайте мне этого пса, и я сейчас же оттреплю Гансона. Вы завтра придете на работу — место за вами.

Владелец бара увлек Доутри в другой угол и там предложил ему:

— Приходите сюда каждый вечер с вашим псом. Это поднимет торговлю. Пива будете получать сколько угодно и пятьдесят центов наличными за вечер.

Это предложение натолкнуло Доутри на блестящую мысль. Вернувшись домой и предоставив Квэку расшнуровывать свои башмаки, он обратился к Майклу:

— Мы на правильном пути, Киллени. Если этот трактирщик даст нам вволю пива и пятьдесят центов в вечер… значит вы этого стоите, сынок, да, пожалуй, не только этого. Ведь трактирщик гонится за наживой. Поэтому он продает свое пиво вместо того, чтобы его выпить… Киллени, ты ведь не прочь поработать на меня, знаю… знаю… Нам здорово нужны деньги. У нас ведь есть Квэк и мистер Гринлиф, и Кокки, не говоря уже о нас с тобой, и нам столько всего нужно! Нелегко раздобыть денег на квартиру, а достать

работу еще труднее. Что скажете, сынок, побродим-ка завтра и посмотрим, сколько нам удастся набрать монет!

Баталер обеими руками держал голову Майкла, и Майкл, сидя у него на коленях глаза в глаза и нос к носу, вертелся и ерзал от счастья, высовывал язык и крутил обрубком хвоста. Все, что бы баталер ни сказал, было прекрасно, раз это исходило от него.

Глава XVIII

Седеющий баталер и мохнатый ирландский терьер стали заметными фигурами ночной жизни «Варварского берега». Доутри разработал представления со счетом, включив в число исполнителей и Кокки. Теперь, когда официант не приносил положенного числа бокалов, Майкл оставался совершенно спокоен, пока Кокки, по тайному знаку баталера, не начинал, стоя на одной ножке, теребить другой шею Майкла и нашептывать ему что-то на ухо. Только тогда Майкл, окинув взглядом стол со стоящими на нем бокалами, начинал распекать официанта.

Но поворотный пункт карьеры наступил, когда Доутри и Майкл в первый раз спели вместе «Свези меня в Рио». Это случилось в матросском «дансинге»[55] на Пасифик-стрит. Танцы сразу прекратились, и матросы шумно требовали все новых и новых песен. Хозяин ничего на этом не потерял, никто не уходил — наоборот, народ набился плотной стеной, чтобы прослушать репертуар Майкла: английский гимн, «Милочку»,

---

[55] notes: 55
Дансинг — танцевальный зал; ресторан с танцевальным залом.

«Благой свет, веди», «Мой дом» и «Шенандоа».

Уже пахло чем-то большим, чем даровое пиво, потому что, когда Доутри выходил, хозяин «дансинга» сунул ему в руку три серебряных доллара и просил вернуться на следующий день.

— За эти гроши? — спросил Доутри, с презрением глядя на доллары.

Хозяин поторопился прибавить еще два доллара, и Доутри обещал вернуться.

— Прекрасно, Киллени, сын мой, — говорил он Майклу, укладываясь в постель. — Я думаю, что вы и я стоим больше пяти долларов за сеанс. Ведь таких экземпляров, как вы, еще мир не видал. Поющий пес, который может пропеть несколько дуэтов со мной и с полдюжины песен соло! Говорят, Карузо за вечер получает тысячу долларов. Конечно, ты не Карузо, но ты — пес-Карузо, один на весь мир. Сынок, я буду твоим антрепренером. Если мы с тобой не зашибем двадцати долларов за вечер, — знаешь, сынок, переберемся в более шикарные кварталы. Наш старик в «Бронкс-отеле» перейдет в лучшую комнату. Квэка мы с тобой хорошенько разоденем. Киллени, мальчик мой, мы с тобой так разбогатеем, что если старик не подцепит дурака, мы сами раскошелимся, купим ему шхуну и пошлем на поиски клада. Мы

сами будем этими дураками — ты и я, и даже с удовольствием…

«Варварский берег» был старым матросским поселком в те дни, когда Сан-Франциско считался самым недоступным портом Семи морей, а затем развивался вместе с городом, пока половина его заработков не стала зависеть от кутящих компаний, щедрой рукой оставлявших деньги в его отдаленных закоулках. У многих представителей высших классов общества вошло в обычай после обеда проводить несколько часов, разъезжая на автомобиле из «дансинга» в «дансинг» и из одного матросского кабачка в другой. Это даже вошло в программу развлечений приезжих. Одним словом, «Варварский берег» стал такой же местной достопримечательностью, как «Китайский квартал».

Незадолго до этого времени Дэг Доутри получал свои двадцать долларов за вечер за два двадцатиминутных сеанса и отказывался от угощений, которых бы хватило, чтобы удовлетворить дюжину парней с шестиквартовой жаждой. Никогда еще ему не жилось так великолепно; нельзя отрицать и того, что Майкл был счастлив таким положением вещей. Счастлив, главным образом, за своего баталера. Майкл служил ему, и эта

служба отвечала всем сокровенным желаниям его сердца.

Теперь Майкл был кормильцем всей семьи, и все ее члены благоденствовали. Квэк расцвел, надев рыжие башмаки, котелок и серый костюм с безупречной складкой на брюках. Он пристрастился к кинематографу и тратил от двадцати до тридцати центов в день, терпеливо высиживая два сеанса подряд. Они ели по ресторанам, и хозяйство отнимало у Квэка очень мало времени. Бывший моряк в своем «Бронкс-отеле» не только переехал в более нарядную, с окнами на улицу комнату, но, по настоянию Доутри, приглашал иногда нужных ему людей в театр или концерт, отвозя их потом на автомобиле домой.

— Мы вечно так жить не будем, Киллени, — говаривал баталер Майклу. — Мы только дотянем, пока старику не удастся набрать новую компанию денежных мешков, любителей охоты за кладами. Затем — синее море, сынок, хорошенькое суденышко под тобой и брызги морской воды в лицо! Поедем-ка лучше в Рио, чем петь об этом перед кучей праздных олухов. Пусть они сидят по своим гнусным городам. Море — вот наше место, твое и мое, Киллени-сынок, и старика, и Квэка, и нашего Кокки. Мы не созданы для городской

жизни. Она нам во вред. Ты мне, может, сынок, не поверишь, но я как-то сдал. Я потерял всю гибкость. Я устал, и мне надоело болтаться лодырем и разгуливать вместо дела по кабачкам. У меня сердце сжимается, когда вспомню, как наш старик говаривал мне: «Полагаю, баталер, что сейчас перед обедом было бы очень кстати получить хорошенький коктейль!» В следующий раз мы возьмем с собой для его коктейлей маленький ледничок.

Погляди только на Квэка, Киллени. Этот климат ему не годится. Он решительно тает. Если он будет так бегать по кинематографам, то добегается до чахотки. Ради его здоровья и ради нас всех нам надо поскорее сняться с якоря и вернуться в страну пассатов, где ветер обдает тебя солеными и живительными брызгами морской воды.

И правда, Квэк, никогда ни на что не жаловавшийся, таял на глазах. В правой подмышечной впадине у него постепенно образовалась большая опухоль. Безболезненная вначале, она потом слабо, но непрестанно давала себя чувствовать. Квэк стал плохо спать, и хотя он лежал на левом боку, но просыпался от боли по три и по четыре раза в ночь. Если бы А Мой не был отправлен в Китай властями, то мог бы ему объяснить зна-

чение опухоли. Мог бы он объяснить Доутри и причину того, почему у него все увеличивалась площадь онемения между бровями, где начинали явственно вырисовываться небольшие вертикальные «львиные морщинки». И мог рассказать, что случилось с мизинцем на левой руке. Доутри сначала решил, что это растяжение сухожилия. Затем предположил, что это хронический ревматизм, полученный в сыром и туманном климате Сан-Франциско. Это еще больше усиливало его тоску по морю и тропическому солнцу, которое сразу бы выжгло все ревматизмы.

Доутри — по профессии баталер — привык соприкасаться с представителями высших кругов общества. Но в первый раз за всю жизнь, здесь, на этом «дне» Сан-Франциско, он встречался с этими людьми как равный. Более того, они сами искали его общества. Они заискивали перед ним, добивались чести быть приглашенными к его столу и уплатить за его пиво в любом из веселых кабачков, где он давал свои представления. Они охотно тратили бы огромные суммы на вино, если бы он не был упрямо привязан к пиву. Некоторые из них пытались пригласить его к себе — «приходите попеть песенку-другую с вашей чудесной собачкой», но Доутри, гордясь Майклом,

получающим такие приглашения, неизменно отклонял их под тем предлогом, что профессиональная жизнь настолько утомительна, что они не могут позволить себе подобных развлечений. Майклу он пояснил, что если им предложат за сеанс пятьдесят долларов, то оба они побегут, «задрав хвост».

Среди многочисленных новых знакомых двоим было суждено сыграть решающую роль в жизни Доутри и Майкла. Первый — политик и доктор, Уолтер Меррит Эмори, — несколько раз присаживался к столику Доутри, когда Майкл, по установившемуся обычаю, сидел за столом на своем стуле. Между прочим, в благодарность за подобную любезность со стороны Доутри доктор Эмори дал ему карточку с адресом своего кабинета и просил разрешения бесплатно лечить хозяина и собаку в случае какого-либо заболевания. По мнению Доутри, доктор Уолтер Меррит Эмори был большой умницей и прекрасным врачом, но жестоким, как голодный тигр, в достижении своих целей. Ввиду изменившихся обстоятельств Доутри мог позволить себе заявить с грубой прямотой:

— Док, вы прямо чудо! Это ясно с первого взгляда. Если вам чего захочется, вы своего добьетесь.

Вас ничто не остановит, разве что…

— Разве что?..

— О, разве что этот предмет будет прибит гвоздями к полу, заперт на замок или будет охраняться полицией. Я бы не хотел обладать чем-нибудь, что возбуждает ваши желания.

— Так, но вы этим как раз обладаете, — заявил доктор, выразительным кивком головы указывая на Майкла, сидящего между ними на своем стуле.

— Б-р-р-р! — вздрогнул Доутри. — Вы меня вогнали в дрожь. Если бы я вам поверил, то и двух минут не оставался бы в Сан-Франциско. — Он на мгновение задумался над своим бокалом, затем облегченно рассмеялся. — Никто у меня этой собаки не отнимет. Я на месте убью каждого, кто захочет это сделать. Я скажу ему это, как говорю сейчас вам, и он поверит мне, как мне верите вы. Вы знаете, что это правда. И он тоже будет знать это. Ведь эта собака…

Не будучи в состоянии выразить глубины своих чувств, Дэг Доутри остановился и утопил конец фразы в своем бокале.

Совершенно к иному типу принадлежал другой роковой человек. Гарри Дель Мар — называл он себя; и Гарри Дель Мар — было то имя, что

появлялось на афишах «Орфеума» во время его гастролей. Дель Мар был дрессировщиком животных и сейчас отдыхал от работы, но Доутри об этом и не подозревал.

Он тоже угощал Доутри за его столом. Молодой, ему еще не было тридцати лет, с темной кожей и большими карими, окаймленными длинными ресницами глазами (он был уверен, что его взгляд магически действует на окружающих), с губами и чертами лица херувима, он поражал своей деловитостью в разговоре.

— Но у вас не хватит денег, чтобы купить его, — отвечал Доутри, когда тот увеличил предложенную за Майкла сумму в пятьсот долларов до тысячи.

— Я вам дам тысячу долларов, если дело в этой сумме.

— Нет, — покачал Доутри головой. — Дело в том, что я не отдам его ни за какие деньги. Да зачем? На что он вам понадобился?

— Мне он нравится, — отвечал Дель Мар. — Как это случилось? Почему толпа валит сюда? Почему люди вообще тратятся на вино, держат скаковых лошадей, афишируют связи с актрисами, становятся священниками или книжными червями? Им это нравится. Разгадка только в этом. Мы все

делаем то, что нам нравится, когда мы можем себе это позволить. Итак, мне нравится ваша собака. Я хочу ее иметь. Я готов за нее дать тысячу долларов. Посмотрите на этот бриллиант на руке той женщины. Я полагаю, что он ей очень понравился, ей захотелось иметь его — и она его получила, не обращая внимания на цену. Цена интересовала ее меньше, чем бриллиант. Итак, этот пес…

— Не любит вас, — прервал его Дэг Доутри. — Это очень странно. Обычно он ластится ко всем. Но с первого же раза он вас невзлюбил и весь ощетинился, когда вы вошли. Ни один человек не должен гнаться за собакой, которая его не любит.

— Это не имеет никакого значения, — спокойно сказал Дель Мар. — Мне она нравится, а любит она меня или нет, это мое дело, и я думаю, что отлично сумею с ней справиться.

В этом человеке под безмятежностью херувима Доутри сразу почувствовал бездну жестокости, усугубленной еще холодной расчетливостью. Правда, свое впечатление он формулировал не в таких словах; он только почувствовал это, а чувства не нуждаются в словах, чтобы быть понятыми.

— Здесь поблизости есть ночной банк, — продолжал Дель Мар. — Я напишу чек, и через полчаса деньги будут у вас.

Доутри покачал головой.

— Как деловое предложение, оно ничего не стоит. Судите сами. Собака зарабатывает двадцать долларов в вечер. Положим для удобства, что она работает двадцать пять дней в месяц. Итого в месяц пятьсот, или в год — шесть тысяч долларов. Предположим для удобства счета, что это пять процентов с капитала в сто двадцать тысяч и что мои траты и жалованье равны двадцати тысячам. Тогда собака сама по себе стоит сто тысяч долларов. Для справедливости разделим эту сумму пополам — итак, собака стоит пятьдесят тысяч. А вы предлагаете за нее тысячу.

— Очевидно, вы предполагаете, что собака будет жить вечно, — спокойно улыбнулся Дель Мар.

Доутри сразу увидел западню.

— Если она проработает пять лет, это будет тридцать тысяч. Если один год — шесть. А вы предлагаете мне одну тысячу за шесть. Это не выгодно мне… и ей. А когда она не сможет работать и за нее не дадут и цента, мне она будет дороже миллиона, и, если мне кто-нибудь его предложит,

я в ответ только подниму цену.

Глава XIX

— Мы еще с вами увидимся, — закончил Гарри Дель Мар четвертый разговор о покупке Майкла.

На этот раз Гарри Дель Мар ошибся. Он никогда больше не видел Доутри, потому что Доутри сначала встретился с доктором Эмори.

Беспокойный сон Квэка стал мешать Доутри спать. Проведя несколько тревожных ночей, Доутри расследовал, в чем дело, и решил, что Квэк уже достаточно болен, чтобы нуждаться в медицинской помощи. Поэтому в одно прекрасное утро он, взяв с собой Квэка, в одиннадцать часов подошел к кабинету Уолтера Меррита Эмори и стал ожидать своей очереди в переполненной приемной.

— Боюсь, что у него рак, сэр, — говорил Доутри, пока Квэк снимал свою куртку и рубашку. — Он никогда не жалуется и не хнычет. Все негры таковы. Я ничего и не знал, пока он не начал вертеться и стонать во сне. Вот! Что вы скажете? Рак или простая опухоль? Что еще может это быть, а?

Но острый глаз Уолтера Меррита Эмори не упустил из виду двух согнутых пальцев на левой руке Квэка. Его глаза были не только остры, но

и «наметаны на проказу». Он на Филиппинах специально изучал эту болезнь и видел столько прокаженных, что при первом взгляде безошибочно определял проказу и мог ошибиться, лишь если болезнь была в самом зачатке. От согнутых вследствие разрушения чувствительных нервов пальцев — анестетическая[56] форма — и львиных морщин на лбу — та же форма — его глаз обратился к опухоли в подмышечной впадине, и диагноз был быстро поставлен: бугорковая форма проказы.

Так же быстро мелькнули в мозгу доктора две мысли. Первая из них была аксиомой: где бы и когда бы ни встретился один прокаженный, ищи второго. Вторая мысль: ирландский терьер, принадлежавший Доутри, с которым Квэк долгое время жил вместе. Уолтер Меррит Эмори прекратил свои исследования. Ему было неизвестно, что именно знал о проказе Доутри и знал ли он что-нибудь об этой болезни вообще, и он боялся пробудить в нем подозрения. Как бы случайно посмотрев на часы, он обратился к Доутри:

— Я бы сказал, что его кровь не в порядке. Он очень истощен. Он не привык к городскому

---

[56] notes: 56

Анестетическая — от слова «анестезия» — потеря чувствительности.

образу жизни и к городской пище. Я проведу исследование, чтобы определить, рак ли это или доброкачественная опухоль, но думаю, что здесь дело не в этом.

При этих словах его взгляд с легким колебанием скользнул поверх бровей Доутри. Этого было достаточно. Его опытный глаз сразу различил «львиную» печать проказы.

— Вы сами здорово сдали, — вкрадчиво продолжал он. — Бьюсь об заклад, что вы не в своей тарелке, а?

— Да, не могу сказать, чтобы все шло гладко, — согласился Доутри. — Я думаю, что мне надо вернуться на море, чтобы тропическое солнце выжгло из меня прочь мой ревматизм.

— Где у вас ревматизм? — словно мимоходом спросил доктор, делая вид, что внимательно продолжает исследовать опухоль Квэка.

Доутри протянул ему левую руку, где некоторая скрюченность мизинца указывала на больное место. Бросив притворно небрежный взгляд из-под опущенных век, Уолтер Меррит Эмори увидел, что палец припух и слегка согнут, причем его кожа приобрела особый, характерный, атласистый блеск. Повернувшись к Квэку, он снова, на мгновение, остановил свой взгляд на лбу Доутри.

— Ревматизм все еще представляет собой загадку, — словно увлеченный этой мыслью, сказал он, оборачиваясь к Доутри. — Ревматизм почти всегда индивидуален и чрезвычайно многообразен. В каждом случае он проявляется по-своему. Чувствуется ли онемение?

Доутри старательно крутил свой мизинец.

— Да, сэр, — отвечл он. — Палец потерял гибкость.

— Ага, — успокоительно прошептал Уолтер Меррит Эмори. — Пожалуйста, присядьте в это кресло. Может, я и не сумею вас вылечить, но обещаю направить вас в такое место, где вы найдете все нужные условия для выздоровления. Мисс Джадсон!

Пока молодая женщина в костюме сестры милосердия усаживала под его наблюдением Дэга Доутри на эмалированное медицинское кресло и доктор Эмори обмокнул кончики своих пальцев в самый сильный из имеющихся у него антисептический раствор, в его мозгу вспыхнуло видение: желанный мохнатый ирландский терьер, который отзывается на имя Киллени-бой и показывает фокусы по матросским кабачкам и «дансингам».

— Ревматизмом поражены и другие места, кро-

ме мизинца, — уверил он Доутри. — Вот здесь, как раз на вашем лбу, бьюсь об заклад. Минуточку, пожалуйста. Скажите, когда будет больно. Сидите смирно, потому что я вовсе не хочу причинять вам боль. Я только хочу убедиться в правильности своего диагноза. Вот так. Скажите, когда вы что-нибудь почувствуете. Ревматизм очень причудливая болезнь. Поглядите-ка, мисс Джадсон, держу пари, что вы еще такой формы ревматизма не видели. Поглядите. Он ничего не чувствует. Он думает, что я еще не начинал.

Но, переставая говорить, доктор проделал нечто, чего Доутри не мог бы и вообразить и что заставило смотревшего на них Квэка подумать, не сон ли это — так невероятно и неправдоподобно это было. Длинной иглой доктор Эмори исследовал темное пятно на лбу Доутри. Он не делал уколов, но ввел иглу под кожу с одной стороны пятна и вывел ее наружу, через всю нечувствительную зону инфильтрата[57]. Квэк глядел, выпучив глаза, но его хозяин не дрогнул и не шелохнулся за все время этой операции.

— Чего же вы не начинаете? — потеряв терпение, спросил Доутри. — Мой ревматизм вообще

[57] notes: 57

Инфильтрат — скопление в тканях организма болезненных продуктов — гноя, сыворотки и т. п.

не идет в счет. Все дело в опухоли этого парня.

— Вам надо серьезно лечиться, — уверял его доктор Эмори. — Ревматизм трудно поддается излечению. Его запускать нельзя. Я вам назначу курс. Теперь вы можете встать, посмотрим вашего негра.

Но перед тем как Квэк улегся, доктор Эмори разложил поверх кресла простыню, которая насквозь чем-то пропахла. Он уже приготовился осмотреть Квэка, но словно спохватился и поглядел на часы. Увидев, который час, он с упреком обернулся к своей помощнице.

— Мисс Джадсон, — холодно и внушительно сказал он, — вы меня подвели. Вот уже без двадцати двенадцать, а вы ведь знаете, что мне ровно в половине двенадцатого надо было переговорить с доктором Хэдли. Воображаю, как он меня проклинает! Вы же знаете, какая он брюзга!

Мисс Джадсон, смиренно признав свою вину, кивнула головой, точно ей все это было хорошо известно. На самом деле она насквозь видела своего патрона, но до этой минуты ничего не слыхала о предстоящем ему в одиннадцать тридцать свидании.

— Доктор Хэдли принимает здесь напротив, — пояснил доктор Эмори, обращаясь к Доутри. —

Наш разговор не займет и пяти минут. Мы с ним расходимся во мнениях. Он поставил диагноз — хронический аппендицит и хочет оперировать больного, а я утверждаю, что это пиорея, распространившаяся из полости рта и заразившая желудок, и больного надо лечить, смазывая эметином рот, а тогда сам собой поправится и желудок. Вы, конечно, в этом не разбираетесь, но все дело в том, что я убедил доктора Хэдли пригласить на консилиум доктора Гренвилля — он дантист и специалист по пиорее. Они оба ждут меня целых десять минут. Я бегу! Через десять минут я вернусь, — крикнул он в дверях. — Мисс Джадсон! Пожалуйста, успокойте пациентов в приемной.

Он вошел в кабинет доктора Хэдли, хотя здесь никакого больного аппендицитом или пиореей не было, да и вообще не было живой души. Он сразу подошел к телефону и набрал один за другим два номера: первый — председателя санитарного управления, второй — начальника полиции. Ему повезло, он застал обоих на службе и, фамильярно называя их по именам, с большим жаром сообщил им какое-то секретное известие.

Вернувшись к себе в кабинет, он явно был горд собою.

— Я так и сказал ему, — обратился он к мисс Джадсон, удостаивая по пути своим доверием и Доутри. — Доктор Гренвилль поддержал меня. Самая настоящая пиорея, конечно. Операция тут не требуется. Мы теперь хорошенько смажем ему эметином все гнойники. Ба! Приятно оказаться правым. Я заслужил хорошую сигару. Что, верно, мистер Доутри?

И пока баталер кивал головой, доктор Эмори закурил толстую гавану, продолжая хвалиться вымышленной победой над коллегой. Разговаривая, он забыл о своей сигаре и, случайно прислонившись к креслу, по явной небрежности не заметил, что горящий конец сигары уперся в конец одного из согнутых пальцев Квэка. Кивок в сторону наблюдавшей за ним мисс Джадсон предупредил ее не удивляться ничему, что последует дальше.

— Знаете, мистер Доутри, — с энтузиазмом продолжал Уолтер Эмори, гипнотизируя своим взглядом Доутри все время, пока горящий конец сигары упирался в палец Квэка, — чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь в том, что врачи часто непродуманно и слишком поспешно прибегают к операциям.

Огонь все еще жег живую плоть, и легкая струя

дыма, отличная по цвету от обычного сигарного дыма, поднималась от места соприкосновения пальца Квэка с сигарой доктора Эмори.

— Возьмите пациента доктора Хэдли. Я спас его не только от рискованной операции, но и от расходов на врачей и на лечение. Я с него ничего за это не возьму. Хэдли тоже получит какой-нибудь пустяк. Доктор Гренвилль всего-навсего возьмет с него за весь курс какие-то жалкие пятьдесят долларов. Итак, не говоря уже об опасности, угрожавшей его жизни, и обо всех связанных с операцией волнениях, я спас ему в общем тысячу долларов круглым счетом — на врачей и больничный уход.

Пока он, все еще гипнотизируя глазами Доутри, разглагольствовал, запах паленого мяса начал распространяться по кабинету. Доктор Эмори с наслаждением вдыхал его. Мисс Джадсон давно почуяла его, но она была предупреждена и не подавала виду. Она не смотрела на руку Квэка, но ее обоняние говорило ей, что сигара все еще жжет его палец.

— Что здесь горит? — вдруг спросил Доутри, потянув в себя воздух и озираясь вокруг.

— Довольно гнусная сигара, — заметил доктор Эмори, поднимая ее и критически разглядывая.

Он поднес ее к носу, и на лице его выразилось отвращение. — Я не думаю, что это даже капустные листья. Я скорее готов признать, что это дрянь, которой я не знаю и знать не хочу. В этом все и дело. Они выпускают хороший новый сорт сигар, всячески их рекламируют, а, когда сигары получают широкое распространение, подмешивают плохой табак. Больше я их не беру, благодарю покорно. С этого дня я меняю марку!

С этими словами он бросил сигару в плевательницу. А Квэк, откинувшись на самом удивительном кресле, на каком ему когда-либо приходилось сидеть, и не подозревал, что его палец прожжен на целые полдюйма, и только спрашивал себя, когда же, наконец, доктор перестанет разговаривать о пустяках и приступит к осмотру его опухоли.

И вот тут-то Дэг Доутри в первый и в последний раз в своей жизни потерпел крушение. Крушение его было безвозвратное и окончательное. Жизнь с ее плаваньем по бурным морям, на вздымаемой волной палубе, через волшебную страну пассатов, из порта в порт — все это окончилось для него здесь, в кабинете Уолтера Меррита Эмори, пока невозмутимая мисс Джадсон глядела и удивлялась тому, что человек может не чувствовать,

как горит его собственная рука.

Доктор Эмори продолжал разглагольствовать и, несмотря на переполненную приемную, взял новую сигару и произнес не слишком длинную, но весьма оживленную и интересную речь на тему о сигарах, о табачных листах и о приготовлении табака во всех странах земного шара, производящих этот продукт.

— Теперь — насчет опухоли, — начал он, приступая к запоздавшему осмотру Квэка. — На первый взгляд, я бы сказал, что это и не рак, и не доброкачественная опухоль, и даже не фурункул. Я бы сказал…

Стук в потайную дверь заставил его выпрямиться с поспешностью, которую он и не пытался скрыть. Кивком головы он послал мисс Джадсон открыть дверь, и в кабинет вошли два полисмена, полицейский сержант и какой-то господин с торжественными баками, в форме и с гвоздикой в петличке.

— Доброе утро, доктор Мастерс, — приветствовал доктор Эмори господина с баками, а затем обратился к остальным: — Как дела, сержант? Алло, Тим! Алло, Джонсон, вас давно перевели сюда из Китайского квартала?

После этого он продолжал прерванную речь:

— Я хочу сказать, что это самая подлинная и явная язва «bacillus leprae», какую врач Сан-Франциско имел когда-либо честь предложить вниманию санитарного управления.

— Проказа! — воскликнул доктор Мастерс.

При этом слове все вздрогнули. Сержант и оба полисмена так и отшатнулись от Квэка; мисс Джадсон с подавленным криком прижала обе руки к сердцу; и Дэг Доутри, потрясенный, но все еще не веря, спросил:

— Что это вы нам плетете, доктор?

— Тихо! Не двигаться! — повелительно обратился Уолтер Меррит Эмори к Доутри. — Я хочу, чтобы вы обратили внимание, — прибавил он, обращаясь к остальным, слегка дотрагиваясь зажженным концом сигары до темного пятна на лбу Доутри. — Сидите смирно, — прикрикнул он на Доутри. — Подождите минутку. Я еще не кончил.

И пока потрясенный и смущенный Доутри ожидал, удивляясь тому, что доктор Эмори не приступает к какому-либо действию, сигара жгла его лоб, пока все не увидели дым и не почувствовали запах горящего мяса. С резким торжествующим смехом доктор Эмори отступил на шаг.

— Ладно, приступайте же к делу, — проворчал

Доутри, оглушенный непонятностью и быстротой хода событий. — Когда вы кончите, я бы хотел, чтобы вы мне объяснили, что вы хотели сказать вашими словами о проказе и об этом чернокожем мальчике. Он — мой мальчик, и вы не смеете наговаривать такое на него… и на меня.

— Джентльмены, вы все свидетели, — сказал доктор Эмори. — Два несомненных случая, хозяин и слуга, у слуги болезнь развилась сильнее, и вы видите соединение обеих форм — бугорчатой и анестетической; у хозяина выражена лишь форма анестетическая. Видите, вот его мизинец. Уберите их. Доктор Мастерс, я вам настоятельно советую хорошенько окурить после них помещение.

— Послушайте… — воинственно начал Доутри.

Доктор Эмори бросил предостерегающий взгляд на доктора Мастерса. Доктор Мастерс властно поглядел на сержанта, который, в свою очередь, бросил повелительный взгляд на полисменов. Но полисмены не стали набрасываться на Доутри. Напротив, они отступили еще на один шаг, подняли свои дубинки и с угрозой посмотрели на Доутри. Поведение полисменов было для Доутри более убедительным, чем все остальное. Они явно боялись прикоснуться к нему.

Когда он сделал шаг, они концом своих вытянутых дубинок ткнули его в бок.

— Не вздумайте подходить ближе, — предупредил его один из них, размахивая дубинкой у него над головой. — Стойте на месте до нового приказания.

— Надень рубашку и стань рядом с хозяином, — приказал доктор Эмори Квэку, внезапно поднимая кресло и сбрасывая его на пол.

— Ради всего святого, — начал Доутри, но его прежний друг, не обращая на него ни малейшего внимания, обратился к доктору Мастерсу:

— Чумной барак свободен с тех пор, как умер тот японец. Я отлично знаю, какая банда трусов сидит у вас в управлении, и поэтому советую вам дать дезинфекционный материал этой парочке — пусть они сами продезинфицируют свое помещение.

— Ради всего святого, — умолял Доутри, утратив всю свою воинственность при мысли об ужасающей болезни, которой он был поражен. Он дотронулся пальцем до онемелого места на лбу, затем понюхал его и узнал запах горелого мяса, а он даже не почувствовал, что горел именно его лоб. — Ради всего святого, не спешите так. Раз я болен, тут ничего не поделаешь. Но это еще не

причина, чтобы мы не могли сговориться с вами, как это приличествует белым людям. Дайте мне два часа сроку, и я покину этот город, и через двадцать четыре часа нас и духу не будет в этой стране. Я сяду на корабль и…

— И будете впредь представлять собой угрозу общественной безопасности, — вмешался доктор Мастерс, ясно увидевший перед собой столбцы вечерних газет с трагическими заголовками. Он знал, что будет выведен героем, новым святым Георгием, охраняющим своим копьем город Сан-Франциско от дракона проказы.

— Уберите их, — сказал Уолтер Меррит Эмори, избегая смотреть Доутри в глаза.

— Готово! Марш! — скомандовал сержант.

Оба полисмена с вытянутыми дубинками приблизились к Доутри и Квэку.

— Ступайте прочь отсюда, — злобно зарычал один из них. — Слушаться, а то раскрою` башку. Выходите вон! Скажите-ка негру, пусть он держится рядом с вами.

— Док, позвольте мне вам сказать два слова? — взмолился Доутри.

— Время разговоров прошло, — последовал ответ. — Вы теперь изолированы. Доктор Мастерс, не забудьте о моем кабинете, когда пристроите

этот груз.

Итак, процессия под предводительством врача санитарного управления, с сержантом и двумя полисменами в арьергарде, выходила из дверей.

На пороге Доутри, рискуя целостью своего черепа, обернулся и крикнул:

— Док! Мой пес! Вы ведь его знаете!

— Я вам его доставлю, — быстро согласился доктор Эмори. — Ваш адрес?

— Комната семь-восемь, Клэй-стрит, меблированные комнаты Баухэд. Вы это место знаете, как раз за углом от кабачка Баухэд. Вы мне его пошлете, куда бы они меня теперь ни поместили, правда?

— Конечно, пошлю, — сказал доктор Эмори. — У вас, кажется, и попугай был?

— Вы правы, Кокки! И, пожалуйста, пришлите их обоих, сэр!

— Поразительно, — сказала мисс Джадсон вечером, обедая с юным интерном[58] госпиталя святого Иосифа. — Доктор Эмори прямо чародей. Не удивительно, что ему так везет. Вы только себе представьте. Сегодня на наш прием явилось двое отвратительных прокаженных. Один из них

---

[58] notes: 58

Интерн — воспитанник учебного заведения, живущий в нем (в интернате).

был негр. Доктор с первого взгляда понял, в чем дело. Он — воплощенная осторожность. Вы не поверите, что он проделал со своей сигарой. А они и не подозревали, что он, собственно, делает. Он взял сигару и…

Глава XX

Собака, как и лошадь, низкого делает еще ниже. Желание во что бы то ни стало получить Майкла заставило Уолтера Меррита Эмори пасть еще ниже. Если бы не Майкл, его поведение было бы совершенно иным. Он поступил бы с Доутри так, как, по словам последнего, и следовало поступать людям белой расы. Он предупредил бы Доутри о его болезни и дал бы ему возможность уехать в Южные моря, Японию или в другие страны, где прокаженные не подвергаются изоляции. Доутри не представлял бы собой угрозы в этих странах, ибо там, по закону и обычаю, прокаженные пользовались полной свободой, а доктор Эмори избавил бы Доутри и Квэка от ада чумного барака, к которому он их, по своей низости, приговорил на весь остаток их дней.

Далее, если сосчитать расходы по содержанию вооруженной стражи, денно и нощно охраняющей чумной барак в течение нескольких лет, то Уолтер Меррит Эмори сохранил бы несколько тысяч долларов плательщикам города и округа Сан-Франциско, и эти деньги при ином употреблении могли бы уменьшить перегрузку школьных

помещений, обеспечить хорошим молоком детей бедняков или же увеличить площадь парков для запертых в душных трущобах горожан. Но если бы Уолтер Меррит Эмори принял бы все это во внимание, то не только Квэк и Доутри уехали бы далеко-далеко через океан, но с ними уехал бы и Майкл.

Никогда еще пациенты не были так скоро отпущены, как в тот день, когда доктор Эмори закрыл дверь за Дэгом Доутри и его свитой. Не дожидаясь завтрака, доктор Эмори уже катил на своей машине по направлению к «Берегу», направляясь к меблированным комнатам Боухэда. По дороге, благодаря своему влиянию в городе, он захватил с собой начальника сыскной полиции. Присутствие последнего оказалось полезным, ибо хозяйка решительно запротестовала против увоза собаки, принадлежащей ее жильцу. Но начальник сыскной полиции Миликен был ей слишком хорошо известен, и она склонилась перед законом, символом которого он являлся в ее глазах. Сам закон ей представлялся чем-то темным и неизвестным.

Когда Майкла на веревке выводили из комнаты, с подоконника раздался жалобный голос крохотного белоснежного попугая:

— Кокки, — крикнул он. — Кокки!

Уолтер Меррит Эмори оглянулся, и один момент казалось, что он колеблется.

— Мы пришлем за птицей потом, — сказал он хозяйке, которая, все еще причитая и жалуясь, провожала их вниз по лестнице и не заметила, что начальник Миликен по небрежности оставил дверь в комнату Доутри полуоткрытой.

Но Уолтер Меррит Эмори был не единственный низкий человек, которого желание обладать Майклом сделало еще более низким. Сидя в глубоком кожаном кресле и положив ноги на другое такое же кресло, Гарри Дель Мар в своем яхт-клубе сонно предавался пищеварению после весьма плотного завтрака, лениво просматривая выпуск дневной газеты. Его глаза остановились на напечатанном крупными буквами заголовке и коротеньких пяти строчках сообщения. Ноги его тотчас же соскользнули с кресла, и он живо встал. Подумав секунду, он снова сел, надавил на кнопку звонка и, ожидая прихода клубного лакея, перечитал крупный заголовок и коротенькие пять строчек.

В таксомоторе, спешащем к «Берегу», Гарри Дель Мар предавался золотым мечтаниям. Эти мечтания воплощались в двадцатидолларо-

вые золотые, в желтые банкноты Соединенных Штатов, в чековые книжки и купоны, и все это заслонялось образом мохнатого ирландского терьера, который, стоя на ярко освещенной эстраде, открыв пасть и подняв нос к блистающим огням рампы, пел, постоянно пел, как не пел до него ни один пес на свете.

* * *

Кокки первый заметил, что дверь в коридор приоткрыта, и смотрел на нее, явно желая использовать это обстоятельство (если так можно определить мыслительный процесс птицы, каким-то таинственным путем воспринимающей новые впечатления и готовой к действию или воздержанию от него, в зависимости от влияния этих новых впечатлений). Люди поступают именно таким образом, и некоторые из них называют это «свободной волей». Кокки, глядя на открытую дверь, как раз решал вопрос о том, стоит ли ближе ознакомиться с этим ходом в широкий мир, знакомство с которым, в свою очередь, должно было определить, стоит ли знакомиться с самим этим миром, когда его глаза встретились с глазами другого исследователя, заглядывающего в эту комнату.

Это были хищные глаза желто-зеленого цвета, и зрачки их быстро расширялись и суживались. Кокки сразу понял грозящую ему опасность — опасность неминуемой, страшной смерти. Но Кокки не двинулся с места. Страх не коснулся его сердечка. Неподвижно сидя на подоконнике, он одним глазом смотрел поверх головы и глаз тощей кошки, просунувшей в дверь свою голову.

Бесконечно прозорливые, быстрые и осторожные, эти глаза с блестящими черными зрачками, вертикально прорезанными на изумительно зелено-опаловом фоне, рыскали по комнате. При виде Кокки они словно зажглись. По голове чувствовалось, что кошка вся напряглась, припала к земле и словно застыла. Выжидание отразилось в глазах, и их выражение было подобно выражению глаз сфинкса, смотревшего через безотрадные вековые пески пустыни. Взгляд этих глаз, казалось, был устремлен на Кокки века и тысячелетия.

Кокки тоже застыл. Склонив набок головку, он не моргнул глазом, и ни одно перышко не дрогнуло, выдавая обуревавшие его чувства. Оба как бы окаменели, глядя друг на друга извечным взглядом охотника и добычи, хищника и жертвы.

Это продолжалось довольно долго, пока голова

в дверях, слегка повернувшись, не исчезла. Если бы птица могла вздыхать, Кокки бы наверняка вздохнул. Но он не двигался с места, прислушиваясь к медленным шаркающим шагам за дверью, удалявшимся вниз по лестнице.

Прошло несколько минут, и так же внезапно голова появилась вновь, но на этот раз за головой проскользнуло и длинное туловище, и кошка уселась на пол посреди комнаты. Глаза впивались в Кокки, тело было неподвижно, и только длинный хвост резким и однообразным движением извивался из стороны в сторону.

Не спуская глаз с Кокки, кошка медленно подкрадывалась и остановилась на расстоянии шести футов от окна. Лишь хвост ее непрерывно изгибался справа налево, и глаза, освещенные льющимся из окна полным светом, сверкали, как драгоценные камни, а зрачки сузились до едва различимой черной вертикальной полоски.

И Кокки, который не мог представить себе смерть со всей ясностью человеческого представления, все же прекрасно понимал, что конец ужасающе неизбежен. Увидев, что кошка, готовясь к прыжку, припала к полу, Кокки, этот милый клочок жизни и света, выдал свой вполне простительный страх.

— Кокки! Кокки! — жалобно крикнул он глухим, бесчувственным стенам.

Этим криком он обращался ко всему миру, ко всем существам более сильным, чем он, ко всем двуногим созданиям и главным образом — к баталеру, Квэку и Майклу. Понять этот крик можно было так: «Это я, Кокки. Я очень мал и хрупок, а это чудовище собирается меня сожрать. Я люблю свет и простор мира и хочу жить на свете, я так мал, и я ведь славный парень, сердечко у меня доброе, и я не могу бороться с этим громадным, косматым, голодным зверем, который хочет меня сожрать, и я прошу вас, спасите меня, спасите, спасите! Я Кокки! Меня все знают! Я Кокки!»

Это и еще многое заключалось в его двукратном призыве.

Но глухие стены не давали ответа, молчали и соседние комнаты, молчал и весь мир, и Кокки, поддавшийся на минуту чувству страха, стал опять самим собой. Он сидел неподвижно на подоконнике и, склонив голову набок, не моргая глазом, смотрел на пол, где так близко от него сидел извечный враг всего птичьего рода.

Звук человеческого голоса испугал кошку, она забыла о прыжке, прижала уши назад и припала ближе к полу.

В наступившей тишине большая синяя муха жужжала у окна, изредка тяжело ударяясь о стекло. Очевидно, муха переживала трагедию узника, обманутого прозрачностью препятствия, отделяющего его от мирового простора, сверкавшего непосредственно за этими стеклами.

Но и кошка переживала свою трагедию, и кошке не легко жилось на свете. Она долго голодала, и голод истощил ее сосцы, а ей приходилось кормить семерых пищавших слепых котят, забавно неустойчивых на своих тонких, слабых лапках. Инстинктивно она вспомнила о них, почувствовав пустоту в сосцах. Она как бы увидела их перед собой, и, благодаря какому-то неуловимому процессу в мозгу, перед ее глазами встал поломанный вентилятор и внизу, в темном погребе под лестницей, — ее логовище и кучка крошечных котят.

Это видение и чувство голода дали ей новый импульс: она подобралась и смерила расстояние для прыжка. Но Кокки уже был самим собой.

— Черт побери! Черт побери! — крикнул он самым громким и воинственным тоном, нахохлившись и глядя на кошку; та вздрогнула, припала ближе к полу, плотно прижала уши, сердито забила хвостом и завертела головой,

проникая взглядом во все темные углы в поисках человека, произнесшего эти слова.

Она проделала все это, несмотря на полную несомненность того, что человеческий голос исходил от белой птички, сидящей на подоконнике.

В наступившей тишине муха снова ударилась о стенки своей невидимой тюрьмы. Внезапно приняв решение, кошка нацелилась и прыгнула на то место, где за секунду до того сидел Кокки. Кокки отпрянул в сторону, но кошка, прыгнув на подоконник, зацепила его сбоку лапой, и Кокки взлетел вверх, хлопая по воздуху не привыкшими к полету крылышками.

Кошка встала на задние лапы и движением ребенка, ловящего своей шляпой бабочку, ударила лапой по воздуху. Но лапа была тяжела, и когти ее вытянулись, как крючки.

Схваченный этой лапой, смятый и растерзанный Кокки потоком белых перьев упал на пол. Перья еще долго, как снежинки, крутились в воздухе, и некоторые из них опустились на спину тяжело спрыгнувшей на пол кошки, раздражая своим легким касанием ее натянутые нервы, заставляя ниже припадать к земле и озираться пугливо по сторонам.

Глава XXI

В меблированном доме Баухэда Гарри Дель Мар нашел лишь несколько белых перышек на полу комнаты Дэга Доутри, а у хозяйки узнал обо всем, что случилось с Майклом.

Первым делом Гарри Дель Мар, предусмотрительно удержавший свой таксомотор, поехал посмотреть резиденцию доктора Эмори и, убедившись в том, что Майкл заперт в отдельном помещении на заднем дворе, взял билет на пароход «Юматилла», отходящий на заре следующего дня в Сиэтл. Затем он упаковал свои вещи и заплатил по счету.

Тем временем в кабинете доктора Эмори происходило словесное сражение.

— Этот человек прямо волком воет, — сообщал доктору Мастерс. — Полиции пришлось пустить в ход дубинки. Он бушевал вовсю. Он требовал свою собаку. Так не годится. Это слишком жестоко. Вы не имеете никакого права отнимать у него его собаку. Он поднимет вой в газетах.

— Хм! — ответствовал доктор Эмори. — Я бы хотел посмотреть на того репортера, который подойдет на расстояние голоса для беседы с про-

каженным из чумного барака. И недурно бы было увидеть редактора, который не сжег бы письма из чумного барака в ту же секунду, как узнал, откуда оно послано (допуская даже, что письмо каким-то контрабандным способом прошло мимо стражи). Не волнуйтесь, доктор. Шума в газетах никакого не будет.

— Но проказа! Общественная безопасность! Собака жила в близком соприкосновении с хозяином. Собака сама по себе представляет собой постоянный источник инфекции.

— Слово «контагий»[59] лучше и технически правильнее, — спокойно сказал Уолтер Меррит Эмори с высоты своей эрудиции.

— Ладно, контагий, так контагий, — согласился доктор Мастерс. — Но надо считаться с публикой. Она не должна подвергаться опасности инфекции.

— Заразы, — мягко поправил другой.

— Называйте как хотите, не в словах дело. Публика…

— Вздор, — сказал Уолтер Меррит Эмори. — Все то, чего вы не знаете о проказе, и все то, чего не знает все остальное санитарное управление,

---

[59] notes: 59

Контагий — живой возбудитель болезни, переносимой из больного организма на здоровый.

может дать материал для большего количества книг, чем написано до сих пор людьми, специально посвятившими себя изучению этой болезни. Но привить проказу какому-либо иному существу, кроме человека, не мог никто, хотя эти опыты проделывались бесконечное число раз и продолжаются еще и теперь. Лошади, кролики, крысы, ослы, обезьяны, мыши и собаки — им всем по сто тысяч раз прививалась проказа, и ни одна из этих прививок не удалась. Ни разу не удалось даже привить проказу от одного человека другому. Вот, посмотрите сами.

И Уолтер Меррит Эмори взял с книжных полок несколько толстых томов.

— Поразительно… чрезвычайно любопытно… — время от времени восклицал доктор Мастерс, просматривая книги под руководством опытного врача. — Я никогда не подозревал… какое невероятное количество работ было проделано. Но, — сказал в заключение Мастерс, — всеми вашими книгами вам не удастся переубедить среднего обывателя. И мне не удастся убедить его. Я и пытаться не стану. Да помимо всего — человек этот приговорен к пожизненному заключению в могиле чумного барака. Вы сами знаете, какая это мерзкая дыра. Он обожает свою собаку. Он по

ней с ума сходит. Отдайте ее ему. Это гадость и жестокость, и я вам в этом помогать не стану.

— Нет, станете, — хладнокровно заявил ему Уолтер Меррит Эмори. — И я вам охотно скажу, почему.

Он сказал. Он говорил вещи, какие ни один врач не должен бы был говорить другому врачу, но какие политик мог сказать и нередко говорил другому политику: вещи, какие нельзя повторять оттого, что они слишком унизительны для национального достоинства; о внутренних тайнах управления североамериканских муниципалитетов; об этих тайнах не должен подозревать средний американский гражданин, свободно подающий голос на выборах и искренне убежденный в том, что управление находится в его руках; эти вещи в редких случаях частично всплывают на поверхность и быстренько хоронятся в многотомных отчетах всевозможных комитетов и федеральных комиссий.

И Уолтер Меррит Эмори отстоял перед доктором Мастерсом свое желание иметь Майкла; в ознаменование своей победы он пообедал с женой в шикарном ресторане, а затем повез ее в театр смотреть Маргарет Энглен; вернувшись в час ночи домой, он в одной пижаме вышел, чтобы

поглядеть на Майкла, но Майкла уже не было.

Чумной барак в Сан-Франциско, как всегда бывает со всеми чумными бараками во всех американских городах, помещался в самом мрачном, отдаленном, затерянном и жалком месте изо всех принадлежащих городу земель. Он был плохо защищен со стороны Тихого океана, холодные ветры печально кружились и свистели в песчаных дюнах, и нередко всю местность затягивал густой туман. Веселых пикников в этой части города не устраивали, и сюда никогда не забегали мальчишки поискать птичьи гнезда или поиграть в диких индейцев. Единственными посетителями этих печальных мест были уставшие от жизни самоубийцы; они искали подходящей обстановки для сведения последних счетов с жизнью и, раз покончив с этим делом, понятно, своих визитов не повторяли.

Вид из окна не мог никому внушить бодрости. На четверть мили вокруг виднелись лишь жалкие песчаные холмы, а за ними Дэг Доутри мог видеть сторожевые будки и вооруженную стражу, готовую скорее убить его, чем дотронуться до него руками и попытаться убедить его вернуться обратно в тюрьму.

С противоположной стороны росли деревья.

Это были эвкалипты, но они мало походили на своих царственных собратьев, произрастающих на родной почве. Эти были небрежно посажены, и за ними плохо ухаживали. Враждебные климатические условия не дали им свободно развиться, и деревья, сумевшие, несмотря на это, устоять и выжить, протягивали теперь в воздухе скрюченные, словно агонизирующие ветви. Рост их был ничтожен, потому что большая часть скудной пищи поглощалась корнями, враставшими глубоко в песок, чтобы крепче держаться и противостоять бурям и штормам.

Дэгу Доутри и Квэку не разрешалось доходить до будок караула. Демаркационная[60] линия проходила от них на расстоянии ста ярдов. Стража торопливо приносила к этой линии пищу, лекарства и письменные наставления врача и так же торопливо убегала обратно. Здесь находилась большая классная доска, на которой Дэг Доутри мог большими, видными на известном расстоянии буквами писать свои просьбы и требования. И на этой доске он уже много дней подряд писал не просьбы о пиве — хотя его шестиквартовый рацион и был сразу прекращен, — а заявления

[60] notes: 60
Демаркационная — пограничная, разделяющая линия.

вроде следующих:

Где моя собака?
Это ирландский терьер.
У него мохнатая шерсть.
Его зовут Киллени-бой.
Я требую, чтобы мне вернули мою собаку.
Я хочу поговорить с доктором Эмори.
Передайте доктору Эмори, что я жду письма о моей собаке.

Наконец, в один прекрасный день Дэг Доутри написал:

Если я не получу свою собаку, то убью доктора Эмори.

Тем временем газеты известили публику, что печальный случай с двумя прокаженными в чумном бараке получил трагическую развязку и белый больной сошел с ума. Граждане с сильно развитыми гражданскими чувствами писали письма в редакцию, протестуя против близости такого опасного элемента и требуя, чтобы правительство Соединенных Штатов выстроило национальный лепрозорий на каком-либо

необитаемом острове или на изолированной горной вершине. Но в семьдесят два часа слабое волнение, поднятое этим происшествием, успокоилось окончательно, и желторотые репортеры занимали публику рассказами о взъерошенной собаке из Аляски, которая наполовину была медведем, а также вопросом о том, действительно ли Криспи Анжелотти разрезал на мелкие куски труп Джузеппе Бартольди и в мешке из-под зерна сбросил в залив с пристани Фишермана; занимали они рассказами и о явно враждебных намерениях Японии против Гавайи, Филиппин и Тихоокеанского побережья Северной Америки.

Ничто не нарушало однообразия заключения Дэга Доутри и Квэка. Но однажды в корзине с фруктами, переданной якобы от воспитанниц пансиона мисс Фуут, Доутри нашел записку, искусно спрятанную в сердцевине яблока; в этой записке его просили в следующую пятницу всю ночь держать на окне зажженную лампу. Этой ночью готовилась буря. Ветер только еще поднимался. В пять часов утра к Доутри пришел посетитель.

Это был Чарльз Стоу Гринлиф собственной персоной. Он более двух часов плелся глубокими песками эвкалиптового леса и без сил упал

у порога чумного барака. Когда Доутри открыл дверь, его обдало порывом сырого, посвежевшего ветра. Доутри подхватил старика на руки и довел его до стула. Но, вспомнив о своей болезни, он так внезапно отпустил руки, что тот буквально упал на стул.

— Честное слово, сэр, — сказал Доутри, — вам, видно, здорово пришлось потрудиться. Эй, Квэк, господин насквозь промок. Снять башмаки господину, живо!

Но раньше чем опустившийся на колени Квэк мог дотронуться до шнурков, Доутри вспомнил, что Квэк также нечист, и отбросил его назад.

— Честное слово, я не знаю, как быть, — прошептал Доутри, беспомощно озираясь вокруг и соображая, что это дом прокаженных и что стул, на котором сидит старик, и пол, на котором отдыхают его измученные ноги, — все это заражено страшной болезнью.

— Я очень рад вас видеть, чрезвычайно рад, — задыхаясь выговорил Бывший моряк, протягивая ему руку.

Дэг Доутри отклонил руку.

— Как дела с охотой за сокровищами? — весело спросил он. — Имеется что-нибудь на примете?

Бывший моряк кивнул головой и, переведя дух

и собравшись с силами, шепотом выпалил:

— Мы должны отплыть с отливом в семь часов утра. Шхуна стоит наготове, это прелестное судно. Наш «Вифлеем» очень красив, у него хороший ход и удобные каюты. Раньше, до конкуренции пароходов, он вел торговлю с Таити. Провиант хороший, все в полном порядке. Я сам наблюдал за всем. Не могу сказать, чтобы капитан мне нравился, — я встречал этот тип людей раньше. Превосходный моряк, он прирожденный пират и к тому же — здорово злой старик. Но и патрон не лучше. Годы его средние, слава у него плохая, и он ни в какой мере не может быть назван джентльменом, но денег у него уйма: сначала он зашибал их на калифорнийской нефти, а затем вошел в компанию с одним дельцом в Британской Колумбии и обошел его при дележе доходов с открытой ими богатой жилы и раз в шесть удвоил свой первоначальный капитал. Весьма нежелательный и неприятный тип. Но он верит в свое счастье и убежден, что наживет на этом предприятии не менее пятидесяти миллионов и что ему удастся провести меня и забрать себе и мою долю. Он такой же пират, как и приглашенный им капитан.

— Мистер Гринлиф, поздравляю вас, сэр, — сказал Доутри. — Вы меня растрогали, сэр, растро-

гали до глубины души, проделав в эту ужасную ночь такой далекий путь и подвергая себя такой опасности, чтобы попрощаться с несчастным Дэгом Доутри, который был неплохим парнем в свое время и которому не повезло.

Но пока он от всего сердца произносил эти слова, перед ним сияющим видением встала шхуна, вольно направляющая свой путь по простору Южных морей, и сердце его сжалось от сознания, что для него существуют лишь чумной барак, песчаные дюны и унылые эвкалипты.

Бывший моряк внезапно выпрямился.

— Сэр, вы оскорбляете меня. Вы оскорбляете меня до глубины души.

— Что вы, сэр, что вы, — заикаясь, бормотал в свое оправдание Доутри, недоумевая, чем он мог оскорбить старого джентльмена.

— Вы мой друг, сэр, — важно и строго продолжал он. — А я ваш друг. И вы даете мне понять, что думаете, будто я пришел сюда, в эту чертову дыру, чтобы попрощаться с вами. Я пришел сюда за вами, сэр, и за вашим негром, сэр. Шхуна ждет вас. Все устроено. Вы записаны. Ваш контракт подписан в морском агентстве. И контракт вашего негра также. Вчера эти подписи были даны подставными лицами — я сам разыскал их с

этой целью. Один из них барбадосский негр. Я раздобыл его и белого в матросском общежитии на Коммерческой улице и заплатил по пяти долларов каждому, чтобы они явились в агентство и подписали контракт.

— Но, Боже мой, мистер Гринлиф, вы, кажется, не хотите считаться с тем, что он и я — прокаженные?..

Внезапно вскочив, словно от электрического тока, Бывший моряк, с лицом, пылавшим негодованием оскорбленной в своем благородстве души, крикнул:

— Но, сэр, это вы, кажется, совершенно не хотите считаться с тем, что вы мой друг, а я ваш. — Резким движением под давлением овладевшей им ярости он протянул руку.

— Баталер Доутри, мистер Доутри, сэр, или как бы я вас ни называл, это уже не сказки о баркасе, о безвестных берегах и о сокровище, зарытом на семь футов в песке. Это совершенно реально. У меня есть сердце. Итак, сэр, — здесь он сунул свою руку под нос Доутри, — вот моя рука. Вам нужно и необходимо сейчас же проделать одну вещь — только одну. Вы должны взять эту руку в свою и пожать ее и вложить в это пожатие свое сердце, как я вкладываю свое.

— Но, но… — заикался Доутри.

— Если вы этого не сделаете, — я не сойду с этого места. Я здесь останусь и здесь умру. Я знаю о вашей болезни. Вам нечего напоминать о ней. Вот моя рука. Возьмете вы ее? Мое сердце здесь, на ладони; оно живет и пульсирует в ноготке каждого пальца. Если вы его не примете, то, предупреждаю вас, я так и останусь сидеть на этом стуле до своей смерти. Я хочу, чтобы вы, сэр, поняли, что я мужчина и джентльмен. Я умею быть другом и товарищем. Я не дрожу за свою шкуру. Я живу сердцем и головой, сэр, а не этой жалкой, временной оболочкой. Берите руку. Говорить будем потом.

Дэг Доутри нерешительно протянул свою руку, но Бывший моряк схватил ее и до боли сжал своими тонкими, старчески высохшими пальцами.

— Теперь можно и поговорить, — сказал он. — Я хорошо продумал это дело. Мы отплываем на «Вифлееме». Когда наш старикан поймет, что из моих легендарных сокровищ ему не извлечь и одного пенни, мы его покинем. Он сам будет рад от нас избавиться. Мы — вы, я и ваш негр — высадимся на Маркизских островах. Там прокаженные гуляют на свободе. Там нет особых законов по отношению к ним. Я сам видел их. Мы будем

совершенно свободны. Страна эта — настоящий земной рай. Мы обзаведемся собственным хозяйством. Крытая тростником хижина — большего нам не надо. Работа там — сущие пустяки. Весь простор моря и гор будет принадлежать нам. Вы будете кататься на лодке, плавать, ловить рыбу и охотиться. Там вы найдете горных коз, диких кур и других зверей. Бананы и смоковницы, яблоки и всевозможные другие плоды будут созревать над нашими головами. У дверей будет расти красный перец, у нас будут свои куры и яйца. Квэк займется кухней. И пиво там найдется. Я знаю вашу неутолимую жажду. Там вы будете получать шесть кварт в день и больше, гораздо больше.

Живо! Пора двигаться. Мне очень тяжело сообщить вам, что не мог разыскать вашу собаку. Я даже заплатил сыщикам, но они оказались мошенниками. Доктор Эмори украл у вас Киллени-боя, но в течение двенадцати часов Киллени-бой был украден у него. Я перевернул все вверх дном. Киллени-бой исчез, как исчезнем из этого проклятого города и мы.

Машина ждет нас. Шоферу хорошо заплачено. Я обещал убить его, если он нарушит свое слово. Надо только пробраться через песчаные дюны в северо-восточном направлении — там проходит

дорога, огибающая этот нелепый лес… Так, все на месте. Двинемся в путь. Поговорим после. Смотрите! Начинает светать. Стража не должна заметить нас…

Бушевал шторм, когда они вышли из барака; Квэк, полуобезумевший от счастья, составлял арьергард. Вначале Доутри старался держаться поодаль, но при первом порыве ветра, грозившем свалить с ног хрупкого старика, Дэг Доутри рукой охватил его и, помогая ему и увлекая его вперед, рядом с ним поднимался и спускался через песчаные дюны.

— Благодарю вас, баталер, благодарю вас, мой друг, — шептал Бывший моряк в минуты затишья.

Глава XXII

Несмотря на свою нелюбовь к Дель Мару, Майкл вполне добровольно последовал за ним во мраке ночи. Необычайно тихо и осторожно, как тать в ночи, пробрался этот человек на задний двор дома доктора Эмори. Дель Мар слишком хорошо знал это место, чтобы рискнуть таким банальным мелодраматическим эффектом, как электрический фонарь. Он в темноте нашел дорогу к двери, снял щеколду и тихо вошел, ощупью разыскивая Майкла.

И Майкл, хоть и собака, но по духу человек и лев, ощетинился в момент появления незнакомца, но лаять не стал. Он обнюхал его и признал. Не любя этого человека, он все же позволил обвязать веревку вокруг своей шеи и молча последовал за ним на улицу, где за углом их ожидало такси.

Его рассуждения — если не отрицать за ним способности к таковым — были весьма просты. Этого человека он неоднократно встречал в обществе баталера. Раз они сидели за одним столиком и вместе выпивали, очевидно, их связывала дружба. Баталер исчез. Майкл не знал, где его найти, и сам был пленником на заднем дворе ка-

кого-то чужого дома. То, что случилось раз, могло случиться снова. Ведь сидели же прежде баталер, Дель Мар и Майкл за одним столиком. Возможно, что это сочетание повторится опять, возможно, что это произойдет сейчас, и возможно, что и впредь Майклу придется сидеть на стуле за столиком ярко освещенного кабачка, а по сторонам будут сидеть Дель Мар и баталер со своим вечным бокалом пива. Все это мы называем «умозаключением», и, опираясь на него, действовал Майкл.

Конечно, Майкл не мог логически додуматься до такого вывода и не мог сформулировать его словами. «Дружбы» — как понятия — для него не существовало. Возникали ли в его мозгу образы и картины, сопоставлял ли он их между собой в стройное целое — это для нас загадка, требующая еще своего разрешения. Все дело в том, что он действительно думал. Если мы станем отрицать это, то придется признать, что все его поступки были продиктованы одним лишь инстинктом, а это будет гораздо удивительнее, чем допущение, что в его голове происходил какой-то неясный нам мыслительный процесс.

Как бы там ни было, пока такси мчалось по лабиринту улиц Сан-Франциско, Майкл лежал спокойно у ног Дель Мара, не выказывая ему осо-

бого дружелюбия, но и не демонстрируя своего отвращения к его личности. Майкл с самого начала почувствовал низость Гарри Дель Мара, еще более унизившего себя корыстолюбием, которое проявилось в желании им овладеть. Когда при первой встрече, в кабачке «Берега», Майкл весь ощетинился и принял воинственную позу, он не думал о характере этого человека и не пытался анализировать его. Что-то было в этой руке фальшивое — сердечность прикосновения была чисто внешней, хотя и могла ввести в заблуждение постороннего наблюдателя. В самом ощущении что-то было не так: рука передает подлинные чувства, идущие от ума и сердца человека, а эта рука не передавала ни теплоты, ни сердечности. Одним словом, сигнал, поданный этой рукой, не был добрым сигналом, и Майкл, не размышляя, весь ощетинился — он хорошо знал, в чем дело, знал тем знанием, которое зовется людьми интуицией.

Электрические огни набережной, горы сундуков и ящиков, одуряющий шум портовых рабочих и матросов, толпа баталеров в белом, с ручным багажом в руках, дежурные матросы у сходней; сходни круто поднимаются, и у входа на палубу еще больше матросов и офицеров с

золотыми нашивками; смятение и давка на узкой палубе — все это Майклу было знакомо, и он понял, что возвращается на море, где он впервые встретился с баталером и где жил с ним вплоть до последних, кошмарных дней в большом городе. В его сознании вспыхнули также образы и воспоминания о Квэке и Кокки. С визгом он натянул удерживающий его за ошейник ремень, и, несмотря на сновавших кругом людей, обутых в грубые башмаки, которые угрожали его лапам, он обнюхивал палубу в поисках Кокки, Квэка и, главным образом, баталера.

Майкл примирился с тем, что не сразу встретил своих друзей, ибо с первого проблеска сознания он понял подчиненное положение собаки по отношению к человеку. Эта мысль была облечена у него в форму терпения. Он терпеливо ждал в те вечера, когда ему хотелось домой, а баталер продолжал разговаривать, сидя за бутылкой пива, терпеливо переносил веревку вокруг своей шеи и узкую комнату с запертой дверью, которую он не умел отпирать, но которую так легко и просто отпирали люди. Итак, он позволил увести себя мяснику, ведавшему всеми перевозимыми на «Уматилле» собаками. Водворенный в крохотной каморке, в трюме, загроможденном ящиками

и сундуками, крепко привязанный за веревку, обвивавшую его шею, он с минуты на минуту ждал, что дверь откроется и перед ним появится радость его жизни — сам баталер.

Вместо него в двери появился мясник и отвязал его — Майкл в тот момент и не подозревал, что это делалось по приказанию Дель Мара — и затем передал стюарду, который отвел его в каюту Дель Мара. Весь путь до каюты Майкл был уверен, что его ведут к баталеру. Но в каюте находился лишь Дель Мар. «Нет баталера», — было первою мыслью Майкла, но он решил терпеливо подчиниться дальнейшей отсрочке встречи со своим возлюбленным господином, со своим богом, собственным белым богом среди множества окружавших его людей.

Майкл помахал хвостом, прижал уши к голове, слегка шевельнул своим сморщенным, поврежденным ухом, улыбнулся и обнюхал каюту, чтобы убедиться, что баталера здесь не было; затем улегся на пол. Когда Дель Мар заговорил, он поднял голову и посмотрел на него.

— Итак, сударь, времена изменились, — заявил Дель Мар холодным резким тоном. — Я из тебя сделаю актера и научу, как следует себя держать. Во-первых, поди сюда… сюда!

Майкл повиновался не торопясь, но и не мешкая; он подошел к Дель Мару спокойно, но особого рвения не выказывал.

— Тебе придется эти штуки оставить, мой милый, и прибавить огонька, когда я с тобой разговариваю, — сказал Дель Мар. В самом звуке его голоса была угроза, и Майкл сразу ее почувствовал. — Теперь посмотрим, могу ли я проделывать с тобой этот номер. Слушай хорошенько и пой, как пел со своими прокаженными.

Он вытащил из кармана губную гармонику и, приложив ее к губам, начал: «Шагая по Джорджии».

— Сидеть, — скомандовал он.

Майкл снова повиновался, хотя все его существо восставало против повиновения. Он весь задрожал, услышав пронзительно-сладкие звуки гармоники. Его горло и грудь напряглись от желания подать голос, но он подавил готовые вырваться наружу звуки, потому что не хотел петь для этого человека. Он ждал от него лишь одного: что тот приведет его к баталеру.

— Эге, да ты, кажется, упрямишься, — усмехнулся Дель Мар. — Все дело в том, что ты чистокровный пес. Ладно, милый, я твою породу знаю и полагаю, что могу заставить тебя поработать

на меня, как ты работал на своего прокаженного. Ну, действуй!

Он перешел к «Лагерным встречам». Но Майкл был тверд. Он владел собой, пока мягкие звуки «Старого дома в Кентукки» не поплыли в воздухе и не пронзили его: тогда он, не выдержав, мягко и мелодично завыл — это был словно призыв в глубь истекших тысячелетий. Под гипнозом этой музыки он мог лишь выть и тосковать по забытой жизни в стае, когда мир был еще юн и собака не была приручена к дому человека.

— Ага, — холодно фыркнул Дель Мар, не подозревая о глубине вековых воспоминаний, пробужденных в Майкле звуками гармоники.

Громким стуком в перегородку какой-то сонный сосед выразил свое неодобрение.

— Ладно, этого хватит, — резко сказал он, опуская свою гармонику. Майкл перестал выть и возненавидел его. — Как видно, ты у меня теперь в руках. Не воображай только, что останешься здесь и будешь ловить своих блох и мешать мне спать.

Он нажал на кнопку звонка и, когда служитель вошел, передал ему Майкла для обратного водворения в заваленную сундуками каморку.

В течение нескольких дней и ночей, прове-

денных на «Уматилле», Майкл понял, что за человек Гарри Дель Мар. Он не знал ничего о его происхождении и биографии и все же почуял, из какого круга он вышел. Ему не было известно, например, что настоящее имя Дель Мара было Персиваль Грунский и что в начальной школе девочки звали его «брауни» — темненький, а мальчики — «блэкки» — черненький. Не больше знал Майкл и о том, что он, не окончив гимназии, перешел в коммерческое училище и что, пробыв два года на службе в колонии для малолетних преступников, был извлечен оттуда Гаррисом Коллинзом, добывавшим средства к жизни — и к тому же немалые — дрессировкой животных. Еще меньше мог Майкл знать о шести годах, проведенных Дель Маром у Коллинза, где он в качестве помощника участвовал в дрессировке животных и постоянно тренировался сам.

Но Майкл твердо знал, что Гарри Дель Мар не имел родословной и был ничтожеством по сравнению с такими чистокровными представителями старой культуры, как баталер, капитан Келлар и мистер Хаггин в Мериндже. Это Майкл уразумел весьма скоро и просто. В течение дня Майкла выводили на палубу к Дель Мару. Последний бывал всегда окружен восторженными

молодыми леди и матросами, расточавшими ласки Майклу. Он спокойно принимал их, хотя и весьма тяготился; но притворные ласки и сердечность Дель Мара были ему совершенно невыносимы, потому что он отлично знал холодную неискренность этого человека. Вечером в каюте голос Дель Мара звучал холодно и резко, все время угрожая, а прикосновение руки было жестко и твердо, как сталь или дерево, в нем отсутствовал всякий элемент сердечной нежности и задушевности.

Этот двуличный человек мог в разные моменты совершенно по-разному держать себя. Чистокровное, воспитанное в определенных принципах существо не может быть двуличным и держит себя всегда одинаково. Чистокровное существо с горячей кровью всегда искренно. Но это ничтожество искренности не знало, оно было двулично. Горячая кровь кипит, и сердце чистокровного существа полно страстей, но этот поскребыш страстей не знал. Его кровь была холодна, как и ум, и все поступки были строго обдуманы. Майкл не думал об этом. Но он ясно это чувствовал, как каждое существо чувствует влечение или отвращение.

В довершение всего в последний вечер на «Ума-

тилле» Майкл вышел из терпения и проявил свой темперамент в борьбе с этим человеком, совсем лишенным темперамента. Дело дошло до открытой борьбы. Майклу не повезло. Он яростно боролся и бросался на врага, дважды отброшенный ударами наотмашь, пониже уха. Как Майкл ни был ловок в борьбе с неграми, но он не мог вонзить клыки в тело этого человека, занимавшегося в течение шести лет дрессировкой животных у Гарриса Коллинза. Когда Майкл прыгнул с разинутой пастью на Дель Мара, тот, вытянув правую руку, захватил в воздухе его нижнюю челюсть и, перекувырнув, бросил на спину, прямо на пол. Майкл снова прыгнул на него с разинутой пастью, но был отброшен с такой силой на пол, что у него захватило дыхание. Следующий прыжок был последним. Дель Мар схватил его за горло и нажал большими пальцами сонные артерии, проходящие возле горла. Приток крови к голове прекратился, и Майклу показалось, что наступил конец. Потеря сознания наступила гораздо скорее, чем при приеме любого анестезирующего средства. Мгла заволокла все. Дрожа, он с трудом приходил в себя, возвращаясь к жизни и к человеку, небрежно зажигающему папиросу и осторожно наблюдающему за ним одним глазом.

— Валяй дальше! — подстрекал Дель Мар. — Я твою породу знаю. Ты надо мной верха не возьмешь, а может, и мне тебя не скрутить, но работать на себя я тебя заставлю. Ну, что же, валяй!

Майкл так и сделал. Чистокровный пес, он, несмотря на оба поражения, прыгнул, обнажив клыки, стараясь вцепиться в горло этого человека, в котором было так мало человеческого. В нем было что-то чуждое и неуязвимое, и нападать на него было так же бесполезно, как нападать на стену, дерево или на скалу.

Опыт был повторен. Горло Майкла было вновь схвачено, и большие пальцы вновь нажали на сонные артерии — приток крови к мозгу снова прекратился, и Майкл вновь потерял сознание. Если бы он был сверхнормальным чистокровным псом, то продолжал бы атаковать своего неуязвимого врага, пока бы сердце не разорвалось в груди или с ним не сделался бы припадок. Но он был вполне нормален. Это существо было неприступно и твердо, как алмазная скала. Победа над ним так же невероятна, как победа над асфальтовым тротуаром. Это был дьявол — в нем совмещались твердость и холод, злоба и мудрость, свойственные дьяволу. Он был воплощением зла, как баталер — воплощением добра.

Оба были двуногими белыми богами. Но этот был богом зла.

Майкл не рассуждал об этом или о чем-либо ином. Но определить его чувства к Дель Мару и описать их на человеческом языке можно только этими словами. Если бы Майкл боролся с настоящим человеком, то яростно и слепо напал бы, нанося и получая удары в разгаре драки, и человек с горячей кровью также получал бы и наносил свою долю ударов. Но этот двуногий бог-дьявол не знал слепой ярости и не был способен к страстному самозабвению. Он, как ловко сложенная стальная машина, проделывал вещи, какие Майкл никак не мог ожидать, — вещи, известные лишь немногим людям, кроме профессиональных дрессировщиков: *его мысль всегда предвосхищала мысль Майкла*, — поэтому и его действие всегда предвосхищало действие Майкла. Этому его научили в школе Гарриса Коллинза, который был нежным и страстным супругом и отцом, но оставался дьяволом в обращении с животными. Он создал ад для животных, царствовал в этом аду и обратил его в доходное предприятие.

* * *

В Сиэтле Майкл стремительно сбежал со сходней, так сильно натягивая при этом ремень, что раскашлялся и чуть не задохся. Дель Мар холодно обругал его, но Майкл, ожидая встречи с баталером, искал его на первом же перекрестке, а затем и на всех следующих с неослабевающим рвением. Но среди множества людей, окружавших его, баталера не было. Вместо радостной встречи Майкл оказался в кладовой отеля «Новый Вашингтон», где день и ночь горело электричество и где громоздились груды сундуков. Сундуки эти постоянно передвигались с места на место, их снимали и уносили прочь или нагромождали новые. Между этими сундуками привязали Майкла и поручили надзор за ним одному из носильщиков.

В этой ужасной обстановке он провел три дня. Носильщики полюбили его и приносили ему неимоверное количество остатков из ресторана. Но Майкл был слишком разочарован и опечален, чтобы объедаться, а Гарри Дель Мар, зашедший в кладовую, устроил носильщикам скандал за нарушение инструкции о кормлении собаки.

— Этот парень не очень-то хорош, — заявил

старший носильщик своему помощнику после ухода Дель Мара. — Он больно лоснится. Я никогда не любил жирных брюнетов. Моя жена — брюнетка, но, благодарение Создателю, ее кожа не лоснится.

— Верно, — согласился помощник. — Я таких ребят знаю. Если ткнут в него нож, то и тогда не покажется кровь. Потечет сало.

Излив свои чувства, они немедленно угостили Майкла еще большим количеством мяса, но он не мог проглотить ни кусочка — так велико было желание увидеть баталера.

Тем временем Дель Мар послал в Нью-Йорк две телеграммы. Одна была адресована в школу дрессировки Гарриса Коллинза, где находились его собаки на время его отсутствия.

> «Продайте моих собак. Вы знаете, что они умеют делать и какова их стоимость. С ними кончено. Вычтите за содержание, остаток передадите при встрече. Везу чудо-собаку, все прежние номера меркнут. Это — боевик. Увидите сами».

Вторая телеграмма была адресована его агенту.

«Приступайте к делу. Рекламируйте вовсю. Известите всех. Успех обеспечен. Боевик. Назначайте цены выше повышенных цен. Подготовьте к моему приезду выступления с моей собакой. Вы меня знаете. Знаю, что говорю. Повышенные цены все время, где бы мы ни выступали».

Глава XXIII

Затем появилась клетка. Увидев Дель Мара, входящего в кладовую с клеткой в руке, Майкл сразу подозрительно отнесся к ней. Минутой позже его подозрения оправдались в полной мере. Дель Мар предложил ему войти в нее, но Майкл отказался. Ловким движением схватив его за ошейник, Дель Мар приподнял его и сунул в клетку, вернее — просунул в клетку часть туловища, потому что Майкл уперся передними ногами в порог. Дрессировщик не терял времени. Кулаком свободной руки он быстро ударил по передним лапам. От боли Майкл поднял лапы — и в следующую секунду оказался уже внутри. Он рычал от негодования, яростно и тщетно бился о прутья клетки, а Дель Мар тем временем запирал дверцу.

Затем клетку вынесли и поставили на грузовик среди прочего багажа. Дель Мар, заперев дверцу, исчез, и Майкл остался на грузовике с двумя незнакомыми ему людьми. Дорогой грузовик подбрасывало на всех камнях. Клетка была мала, и Майкл едва помещался в ней и не мог вытянуть головы. Крышка давила на голову, грузовик при

каждой выбоине подскакивал со своим грузом, и голова Майкла больно ударялась о крышку клетки.

Кроме того, клетка была коротка, и Майкл был вынужден упираться носом в прутья. Выскочивший из-за угла автомобиль заставил шофера внезапно затормозить. Клетка сразу остановилась, и Майкл стремительно полетел вперед. Затормозить свой ход он не мог, единственный тормоз, находившийся в его распоряжении, был его нос, и Майкл остановился только тогда, когда ткнулся носом в прутья.

Он пытался устроиться лежа на этом небольшом пространстве, хотя при толчках его губы с силой прижимались к зубам, были порезаны и сочились кровью. Но худшее было впереди. Одна из передних лап выскользнула через прутья и осталась на дне грузовика, где с визгом и скрипом подпрыгивали чемоданы. При толчке ближайший чемодан покачнулся и слегка сдвинулся с места. Качнувшись на прежнее место, чемодан придавил лапу. Майкл взвыл от неожиданной боли и инстинктивно, изо всех сил пытался втащить раздавленную лапу обратно в клетку. Пытаясь втащить лапу, он вывихнул себе плечо, и боль поэтому только усилилась. Майклом

овладел страх, свойственный всем животным и людям, — *страх западни*. Он вышел из себя, бешено бился в клетке, напрягая все связки и мускулы поврежденного плеча и лапы. Положение все ухудшалось, и боль становилась все невыносимее. Майкл даже вцепился зубами в прутья, стараясь достать чудовище, захватившее в плен его лапу и не желавшее ее отпустить. При следующей выбоине чемодан качнулся как раз настолько, что Майклу удалось бешеным усилием вытащить из-под него лапу.

На вокзале клетку сняли с грузовика. Носильщик был не груб, но так небрежен, что клетка выскользнула из его рук и перевернулась; ему удалось подхватить ее на лету, пока она еще не успела удариться об асфальтовый пол. Но Майкл беспомощно скатился вниз, на другой конец клетки, и всей тяжестью тела налег на поврежденную лапу.

— Так, — сказал немного погодя Дель Мар, добравшийся до платформы, где стояла тележка, нагруженная назначенными к отправлению вещами, между которыми находилась и клетка Майкла. — Тебе, никак, раздавило дорогой лапу. Ладно, это научит тебя не высовывать лап наружу.

— Коготь-то пропал, — заявил один из приемщиков багажа, только что рассмотревший лапу через прутья клетки. Дель Мар наклонился для более точного исследования.

— Да, и весь палец тоже, — сказал он, вытаскивая карманный нож и открывая лезвие. — Я приведу все в порядок в один миг, если вы мне поможете.

Он открыл клетку и вытащил Майкла своим обычным приемом. Майкл, задыхаясь, боролся, выбивался из рук и колотил по воздуху как поврежденной, так и неповрежденной лапой и только увеличивал этим свои страдания.

— Держите лапу, — командовал Дель Мар. — Готово, с одного раза. Больше резать не понадобится.

Операция была кончена в один маг, и Майкл был водворен обратно в клетку, имея на один палец меньше, чем при своем появлении на свет. Кровь лилась из раны, нанесенной жестокой, но умелой рукой, и Майкл лежа зализывал ее; он был совершенно подавлен сознанием ужасной судьбы, ожидавшей его в близком будущем. Никогда еще за всю его жизнь с ним так не обращались. Размеры клетки сводили его с ума, напоминая западню. Он попал в западню и беспомощно сидел

в ней, в то время как самое страшное на свете случилось с баталером — очевидно, он был поглощен небытием, уже поглотившим Мериндж, «Эжени», Соломоновы острова, «Макамбо», Австралию и «Мэри Тернер».

Вдруг издали донесся невероятный гам и шум, и Майкл в ожидании новой катастрофы насторожил уши и весь ощетинился. Шум этот производила целая свора лающих, визжащих и воющих собак.

— Черт побери! Опять эти проклятые цирковые собаки! — проворчал приемщик, обращаясь к своему подручному. — Хоть бы издали закон против дрессировки собак! Это просто мерзость!

— Это труппа Петерсона, — сказал другой. — Они прибыли при мне на прошлой неделе. Одна из них околела дорогой, и, насколько я понимаю, она была избита насмерть.

— Очевидно, Петерсон задал ей здоровую трепку в последнем городе, а затем бросил в клетку к остальным собакам и спокойно предоставил ей околевать дорогой.

Шум увеличился, когда собак из вагона перенесли на ручную тележку; едва тележку подкатили ближе к Майклу, он увидал гору нагроможденных друг на друга клеток с собаками. Тридцать

пять собак различных пород — главным образом полукровок — помещалось в этих клетках; и что этим собакам приходилось далеко не сладко, было видно по их поведению. Некоторые выли, другие визжали, третьи ворчали или огрызались друг на друга через прутья клеток; многие же были настолько подавлены, что лежали без сил и не подавали голоса. Некоторые лизали поврежденные лапы. Маленькие, более мирные собаки были напиханы по две в одиночные клетки. Полдюжины борзых сидели в двух более крупных клетках, но размер и этих клеток никак нельзя было признать достаточным.

— Это собаки-акробаты, — сказал первый багажный приемщик. — Поглядите только, как он их укомплектовал. Петерсон не станет платить за багаж больше, чем полагается. Этим собакам требуется вдвое больше места. Воображаю, что за пытка для них эти переезды из города в город.

Но приемщик не знал, что и в городах эта пытка продолжается, что и в городах собаки содержатся в этих маленьких клетках и что фактически они являются пожизненными пленниками. Только в редкие часы представлений они выпускаются из клеток. С коммерческой точки зрения, хороший уход за собаками не окупался. Собаки-полукровки

дешевы, и гораздо выгоднее заменить околевшую собаку новой, чем ухаживать за ней и беречь ее здоровье.

Приемщик не подозревал, что Петерсон отлично знал: изо всех тридцати пяти собак его первоначальной труппы, набранной им четыре года назад, не сохранилось ни одной и ни одна из этих собак не покинула его труппы. Единственным путем из клетки и из труппы была смерть. Но Майкл не знал даже и того, что было известно приемщику. Он знал лишь, что здесь — царство страданий и мук и что, по-видимому, его ожидает та же участь.

Воющих и визжащих собак перенесли в багажный вагон, и вместе с ними поехал и Майкл. В этом собачьем аду ему пришлось провести около суток. Поезд шел на восток, и в каком-то большом городе собак выгрузили; Майкл продолжал свой путь в более спокойной и комфортабельной обстановке, хотя его поврежденная лапа продолжала болеть, и при передвижении клетки по вагону рана открывалась снова.

Что все это значит, почему его держат в этой отвратительной клетке и зачем везут в этом ужасном вагоне, Майкл не спрашивал. Он принимал это, как принимал все другие горести,

выпадавшие ему на долю. Такие вещи случались. Такова была жизнь, а в жизни много зла. Объяснений он не искал. Он встречался с явлениями и иногда понимал, как они происходят. Подлинная сущность вещей оставалась за пределами его сознания. Вода была мокрая, огонь — горячий, железо — твердое, мясо — вкусное. Он принимал явления так же спокойно, как принимал вечное чудо света и темноты: они были чудом не больше, чем его жесткая шерсть, биение сердца или работа его мысли.

В Чикаго клетку перенесли на ручную тележку и по грохочущим улицам огромного города перевезли на другой вокзал; здесь клетку поставили в товарный вагон, и Майкл продолжал свой путь на восток. В Нью-Йорке странствие окончилось, и Майкла отправили к Гаррису Коллинзу на Лонг-Айленд.

Первым делом Майклу пришлось познакомиться с Гаррисом Коллинзом и с тем адом животных, где он царствовал. Но сначала необходимо сказать, что Майкл никогда больше не видел Гарри Дель Мара. Многие люди уходили в неведомое небытие, и Дель Мар тоже ушел из жизни Майкла и из жизни вообще. Уход Гарри Дель Мара надо понимать буквально. Катастрофа на железной до-

роге, паническая свалка уцелевших пассажиров, карабкавшихся и цеплявшихся по фермам[61] и столбам пути, неосторожный шаг — и Гарри Дель Мар был поглощен небытием. Люди называют это смертью, и смерть действительно — небытие, ибо поглощенные ею никогда не появляются больше на дорогах жизни.

[61] notes: 61

Ферма — в строительном искусстве — совокупность прочно связанных между собой отдельных частей, деревянных или металлических (например, балок, железных перекрещиваний при постройке моста), составляющих самостоятельное целое и имеющих свое особое назначение.

Глава XXIV

Гаррису Коллинзу было пятьдесят два года. Он был строен и гибок, приветлив и любезен и производил на людей самое чарующее впечатление. По виду его можно было принять за преподавателя воскресной школы, директора женской гимназии или председателя благотворительного общества.

Цвет лица у него был бело-розовый, руки его соперничали мягкостью с руками его дочерей, и весил он сто двенадцать фунтов. К тому же он боялся своей жены, боялся полисменов, боялся физического насилия и жил в постоянном страхе перед ночными грабителями. Одни лишь дикие звери — львы, тигры, леопарды и ягуары — не внушали ему ни малейшего страха. Он знал свое дело и спокойно входил в клетку самого строптивого льва с палкой от метлы в руках.

Науку эту он получил в наследство от отца — тот был еще более хрупок на вид и еще более боялся всего на свете, кроме диких зверей. Ноэль Коллинз до эмиграции в Америку занимался дрессировкой животных в Англии. В Америке он с успехом продолжал свое дело и основал школу дрессировки в Сидеруайльде. Его сын перестроил

школу и поставил дело на более широкую ногу. Гарри Коллинз так хорошо справился со своей задачей, что школа была признана образцом благоустройства и порядка. Многочисленные посетители восхищались внимательным отношением к животным и духом кротости и милосердия, царствовавшим здесь. Но присутствовать при дрессировке им не разрешалось. Время от времени школа показывала результаты своей работы, и эти представления только укрепляли блестящую репутацию школы. Но если бы зрителям удалось увидеть дрессировку новичков, эффект получился бы иной. Возможно, дело дошло бы до открытого возмущения. Пока что школа представляла собой зоологический сад с бесплатным входом, доступный для всех. Кроме животных, которых Гарри Коллинз дрессировал, покупал и продавал, в школе помещалось множество животных и цирковых трупп, владельцы которых в данный момент не имели ангажемента или же только собирались устроиться и организовать свое дело. По первому же требованию Гарри Коллинз мог достать любое животное — от мышей и крыс до верблюдов и слонов, а при случае — и носорога или парочку гиппопотамов.

Когда предприятие «Бродячих братьев», чьей

специальностью был трюк с тремя кольцами, в одну из тяжелых зим прогорело и было описано судебными властями, он взял к себе весь зверинец и конюшни и в три месяца заработал на них пятнадцать тысяч долларов. Более того, перед аукционом он заложил все свое имущество и купил дрессированных лошадей, пони, слона, стадо жираф; за шесть месяцев он распродал их всех, кроме пони, и на этой операции получил барыш в пятнадцать тысяч долларов. Пони же полгода спустя был продан за две тысячи. Гаррис Коллинз удачно использовал банкротство этого цирка — это была самая блестящая финансовая операция его жизни, но немало выгод извлекал он, беря себе на время дрессированных животных. Посылая животных на зимние представления на ипподроме, он делился доходами с их владельцами, однако частенько забывал это делать, отдавая животных на прокат для кинематографических съемок.

Среди дрессировщиков он считался не только самым ловким и оборотистым дельцом, но и королем дрессировщиков и самым замечательным укротителем, когда-либо входившим в клетку дикого зверя. Видевшие его на работе утверждали, что у него нет души. Но жена, дети и близкие

друзья на работе его не видели и считали, что более мягкого человека нет на свете. Голос его был тих и нежен, движения мягки, и миросозерцание его было миросозерцанием кроткого, добродушного человека. Он таял от ласкового слова. Разжалобить его ничего не стоило. Он жертвовал во все местные благотворительные общества и целую неделю после гибели «Титаника» ходил совершенно подавленный. И все же товарищи по ремеслу считали его самым жестоким и хладнокровным из всех дрессировщиков Америки. Тем не менее, больше всего на свете он боялся, как бы его дородная супруга не опрокинула ему на голову тарелку горячего супа. В первые годы их брака она однажды проделала это в припадке гнева. Боясь повторения такого припадка, он искренне и преданно любил ее и своих семерых детей. Для них ничто не казалось ему слишком хорошим или слишком дорогим.

Он настолько любил их, что с самого начала не допускал к своей работе и выбрал для них другой путь. Старший сын — Джон выбрал карьеру литератора, а пока разъезжал в собственном автомобиле и вел образ жизни, принятый в Хью-Гэвене. Гарольд и Фредерик занимались в колледже, созданном для сынков миллионеров,

в Пенсильвании; а младший, Кларенс, учился в Массачусетсе и колебался между карьерой врача и авиатора. Три дочери — две из них были близнецами — воспитывались, как настоящие леди. Элси заканчивала курс в колледже Вассар, а близнецы Мэри и Мадлена готовились для поступления туда же в самом изысканном и дорогом пансионе. Все это требовало больших денег, и Гаррису Коллинзу приходилось энергично повышать доходность своей школы. Он очень много работал, хотя его жена, четверо сыновей и три дочки и не подозревали, что ему лично приходится заниматься дрессировкой животных, им казалось, что он лишь направляет работу и наблюдает за ней, и они пришли бы в ужас, увидев, как он с хлыстом в руке укрощает сорок собак, отбившихся от рук и возмутившихся в процессе дрессировки.

Большую часть работы выполняли помощники, но Гаррис Коллинз постоянно обучал их теории и практике ремесла, а в более важных и ответственных случаях собственноручно укрощал животных, подтверждая практикой свои теоретические наставления. Его проницательный взор и интуиция помогали ему подбирать подходящих для дела людей — в большинстве

случаев это были юноши, выходящие из колоний для малолетних правонарушителей. Он искал сдержанных, умных и хладнокровных людей, а обычно эти качества влекут за собой и жестокость. Горячая кровь, великодушные порывы и чувствительность не подходили для его делового предприятия, а Сидеруайльдская школа дрессировки была деловым предприятием и только. Коротко говоря, Гаррис Коллинз в общей сложности причинил животным больше страдания и горя, чем все вивисекционные[62] лаборатории на свете.

И в этот ад попал Майкл — хотя его появление и совершилось не по вертикальной, а по горизонтальной плоскости, — проделав три тысячи пятьсот миль в той же клетке, в какую он был посажен в Сиэтле, в отеле «Новый Вашингтон». За все время пути его ни разу не выпускали из клетки, и он был грязен и совершенно разбит. Благодаря крепкому здоровью рана на ампутированном пальце благополучно заживала. Но он весь был облеплен грязью, и блохи заедали его.

Сидеруайльд при первом взгляде казался прямой противоположностью аду. Бархатные

---

[62] notes: 62

Вивисекция — рассечение живых животных с научной целью.

лужайки, посыпанные гравием, грядки цветов и дорожки для пешеходов и лошадей приводили посетителя к группе длинных и низких деревянных и бетонных строений. Гаррис Коллинз не вышел навстречу Майклу. Он сидел в своем кабинете и писал записку секретарю, поручая ему осведомиться на железной дороге и в транспортном обществе, где находится собака, отправленная Гарри Дель Маром из Сиэтла в Сидеруайльд. Майкла встретил светлоглазый юнец в комбинезоне, который расписался в его получении и перенес клетку в бетонную комнату с покатым полом. Комната была тщательно продезинфицирована, и запах испугал Майкла.

Окружающая обстановка произвела на Майкла сильное впечатление, но он не обратил никакого внимания на юнца, который засучил рукава и облачился в клеенчатый передник, перед тем как открыть клетку. Майкл выскочил наружу и зашатался — слишком долго он был без движения. Этот белый бог его не интересовал. Он был так же холоден, как бетонный пол, и методичен, как машина. Теперь он приступил к мытью и дезинфекции Майкла. Школа Гарриса Коллинза работала по последнему слову науки и гигиены, и Майкл был вымыт по научному методу, без

нарочитой жестокости, но и без малейшего признака мягкости.

Естественно, что Майкл ничего не понял. В довершение всех испытаний его привели в эту пропахшую дезинфекцией комнату, и хотя он ничего не знал о палачах и о камерах пыток, она казалась ему местом последней разлуки с жизнью, а этот бог, очевидно, собирался погрузить его во тьму, поглотившую все, что он знал и любил. Майкл понимал, что окружающая обстановка враждебна ему. Сняв с него ошейник, юнец схватил его за загривок; но когда на Майкла была направлена струя воды из кишки, он возмутился и запротестовал. Юнец работал по строго установленным правилам и, крепко держа его, приподнял одной рукой с пола, а другой рукой направил струю воды прямо в открытую пасть, усиливая напор воды до предела. Майкл боролся вовсю, но был совершенно оглушен и задыхался.

После этого он уже не сопротивлялся и был вымыт, вычищен и продезинфицирован при помощи кишки, жесткой щетки и большого количества карболового мыла. Мыло щипало ему нос и глаза, и Майкл яростно чихал и проливал обильные слезы. Он прекрасно сознавал, что от юнца нечего ждать добра и готовился к самому

худшему. Не протестуя, претерпел он все, пока его, вымытого и освеженного, не перевели в другое, более уютное и чистое помещение, где он мог хорошенько выспаться с дороги и где его, казалось, на время забыли. Это был лазарет, или изоляционная камера, и ему пришлось провести здесь целую неделю. За эту неделю выяснилось, что он совершенно здоров; его хорошо кормили, поили свежей водой и держали в абсолютной изоляции, только юнец, как автомат, ухаживал за ним.

Теперь Майклу предстояло встретиться с Гаррисом Коллинзом. До сих пор он только издали слышал его негромкий, но повелительный голос. Что голос этот принадлежал главному богу, Майкл понял сразу. Так повелительно мог говорить только главный бог — господин над остальными богами. В этом голосе слышалась сильная воля и привычка командовать. Другая собака на месте Майкла так же скоро поняла бы это. И другая собака так же бы поняла, что обладателю этого голоса чужды доброта и кротость и что любить его не за что и невозможно.

Глава XXV

В одиннадцать часов утра бледнолицый юнец надел на Майкла ошейник, вывел его на цепочке из изоляционной камеры и передал другому темноволосому юнцу, который не стал терять времени на дружелюбное приветствие. Майкла, как пленника, повели куда-то, и дорогой он встретил других пленников, идущих в том же направлении. Это были медведи, тяжело переваливающиеся с лапы на лапу, и Майкл, никогда в жизни не видевший медведей, ощетинился и тихо зарычал. В силу наследственности он узнал (как корова узнает волка) своих врагов в незапамятные времена лесной жизни. Но он много путешествовал, много видел и был слишком умен, чтобы напасть на них. Вместо этого он, следуя за темноволосым богом, напряженно и осторожно втягивал носом незнакомый запах этих созданий.

Навстречу ему неслись все новые незнакомые запахи. Майкл не знал еще этих зверей, он только впоследствии научился распознавать по запаху львов, леопардов, обезьян, павианов, тюленей и морских львов. Обыкновенная собака

была бы оглушена этой обстановкой и сбита с толку; Майкл же весь насторожился, но повел себя необычайно сдержанно. Ему казалось, что он попал в неведомый, населенный чудовищами лес и не знает ни его расположения, ни его обитателей.

Ступив на арену, он отпрянул и еще более насторожился, шерсть на его шее и спине ощетинилась, и он глухо зарычал. Навстречу ему шли пять слонов. Слоны были невелики, но ему они казались огромными и напоминали кита, разрушившего «Мэри Тернер». Они не обратили на Майкла ни малейшего внимания и спокойно покидали арену, причем, следуя установленному порядку, каждый из них хоботом держал хвост идущего впереди.

Майкл, а за ним и медведи вышли на арену. Формой и размером она ничем не отличалась от обычных цирковых арен, но в центре ее было устроено квадратное помещение со стеклянной крышей. Вокруг этой арены не было мест для зрителей — зрители сюда не допускались. Один лишь Гаррис Коллинз, его помощники, продавцы и покупатели зверей и профессиональные дрессировщики могли присутствовать при истязаниях, каким подвергались животные в процессе обу-

чения трюкам, заставляющим публику смеяться или разевать от изумления рты.

Медведей сразу увели на другой конец арены, и Майкл забыл о них. На минуту его внимание привлекли люди, катившие перед собой громадные ярко раскрашенные бочки. На этих бочках сидели раньше слоны, и они были настолько прочны, что слоны не могли раздавить их. Человек, приведший Майкла, остановился, и Майкл с громадным интересом принялся разглядывать пегого шотландского пони, лежавшего на арене. На нем сидел человек. Пони непрестанно поднимал голову и целовал в губы сидевшего на нем человека. Майкл ничего больше разглядеть не мог, но чувствовал, что тут что-то не так. Он не знал, в чем дело и не мог проверить свое впечатление, но ему было ясно, что в этом трюке есть что-то жестокое и неискреннее. Майкл не видел длинной булавки в руках человека и не знал, что при каждом уколе в плечо пони от боли рефлекторно поднимает голову, а человек, ловко наклоняясь вперед, якобы целует его в губы. Зрителям казалось, что этим движением пони выражает свою любовь и привязанность к хозяину.

Немного поодаль стоял другой, черный как

смоль шотландский пони. Но с ним происходило нечто странное и непонятное. Его передние ноги были обвязаны веревкой, а с обеих сторон его стояли люди, державшие в руках концы этих веревок. Спереди стоял третий человек — он коротким бамбуковым хлыстом ударял пони по коленям, и стоявшие по сторонам люди разом дергали веревки. Тогда пони падал на колени перед человеком с хлыстом. Пони сопротивлялся, расставлял ноги, мотал головой, вертелся на месте и тяжело валился на бок или садился на покрытый опилками пол. Но его быстро ставили на ноги, выравнивали — и работа начиналась сначала. Так обучали пони преклонять колени, а этот трюк всегда приводит в восторг зрителей, видящих только результаты обучения и не подозревающих о его способах. Майкл быстро сообразил, что наука преподается здесь по методу насилия и что Сидеруайльдскую школу дрессировки было бы правильнее назвать школой страдания. Гаррис Коллинз кивком головы подозвал к себе черноволосого юнца и окинул Майкла испытующим взглядом.

— Собака Дель Мара, — сказал юнец.

Глаза Коллинза загорелись, и он еще внимательнее оглядел Майкла.

— Знаете ли вы, что она умеет делать? — спросил он.

Юнец отрицательно покачал головой.

— Гарри был тонкая штучка, — продолжал Коллинз, как бы обращаясь к юнцу, но в сущности он разговаривал с собой: у него была привычка думать вслух. — Он утверждал, что эта собака вне конкуренции. Но что у нее за номер? Вот в чем все дело. Бедняга Гарри погиб, а мы не знаем, в чем тут дело… Снимите с него цепь.

Майкла освободили, и он смотрел на главного бога, ожидая, что с ним будут делать в дальнейшем. Болезненный вой одного из медведей как бы предупредил его о готовящейся горькой участи.

— Сюда! — сказал Гаррис своим холодным, жестким голосом.

Майкл подошел к нему и остановился.

— Ложись!

Майкл повиновался, но проделал это с рассчитанной медлительностью и отвращением.

— Проклятый чистокровный пес! — усмехнулся Коллинз. — Не хочешь ли подбавить огня в свои движения, а? Ладно, мы уж об этом позаботимся! — Вставай! — Ложись! — Вставай! — Ложись! — Вставай!

Приказания звучали резко и отрывисто, как

выстрелы или удары бича, и Майкл все так же медленно и неохотно повиновался им.

— Он во всяком случае понимает по-английски, — сказал Коллинз. — Интересно, не делает ли он двойных курбетов? — прибавил он, высказывая заветную мечту всякого дрессировщика. — Давайте испытаем его. Закрепите цепочку. Подите сюда, Джимми. Наденьте ему подпругу.

Другой юнец подошел к ним и закрепил вокруг поясницы Майкла подпругу. К подпруге был прикреплен тонкий ремень.

— Выровняйте его, — скомандовал Гарри Коллинз. — Готово?.. Начинайте!

Здесь на Майкла обрушилось нечто совершенно непонятное и оскорбительное. При слове «начинайте» его одновременно дернули за цепочку ошейника — вверх и назад, а за ремень подпруги вниз и вперед, причем Коллинз коротким хлыстом сильно ударил его под челюстью. Если бы он мог предвидеть этот маневр, то избавил бы себя от излишних мучений и сам прыгнул бы и перевернулся в воздухе. Но теперь ему показалась, что его разрывают на части, а от удара хлыста у него посыпались искры из глаз. Яростно перевернувшись в воздухе, он упал на затылок на покрытую опилками арену.

Поднявшись, он пытался прыгнуть на своих мучителей; шерсть его стояла дыбом, он рычал и обнажил клыки, готовый запустить их в главного бога, если бы юнцы не держали его крепко, по всем правилам искусства дрессировки. Юнцы знали свое дело. Один из них натянул ремень подпруги, другой цепочку ошейника, и Майкл в бессильной злобе мог лишь ощериваться и рычать. Ни вперед, ни назад, ни даже в сторону он не мог сделать и шага. Юнец, стоявший впереди, не пускал его назад, а стоявший сзади не давал прыгнуть на стоящего впереди, и оба они мешали ему напасть на Коллинза, который, несомненно, был здесь главным — в этом мире страданий и истязаний.

Ярость и беспомощность Майкла достигли своего апогея. Он мог лишь щетиниться и надсаживать рычанием свои связки. Но Коллинзу все это было давно знакомо и давно уже успело наскучить. Он воспользовался этим моментом, чтобы осмотреть арену и проверить, как идет работа с медведями.

— Эх ты, чистокровный пес! — презрительно усмехнулся он, обращаясь к Майклу. — Отпустите его! Вот так!

Как только Майкл почувствовал себя сво-

бодным, он прыгнул на Коллинза, но тот, по многолетней привычке рассчитав время и расстояние, ударом под челюсть опрокинул Майкла назад на пол.

— Держите его! — приказал Коллинз. — Выровняйте его!

И юнцы, потянув в противоположные стороны цепочку и ремень, опять привели Майкла в состояние полнейшей беспомощности. Коллинз кинул взгляд на противоположную сторону арены, где появились две парных запряжки тяжелых битюгов. За ними следовала молодая женщина, шикарно одетая; ее костюм был сшит по последнему крику моды.

— Очевидно, он никогда не делал курбетов, — заметил Коллинз, возвращаясь к вопросу о Майкле. — Снимите с него подпругу, Джимми, и ступайте помогать Смиту. Джонни, отведите его в сторонку, но смотрите — берегите ноги. Надо провести первую репетицию мисс Мари, а этот болван, ее муж, не умеет с ней справляться.

Юнец вместе с Майклом отошел в сторону и остановился посмотреть на приготовления к репетиции. Майкл ничего не понимал из разыгравшийся перед ним сцены, но почувствовал, что эта женщина, как и он, была пленницей, и

что с ней, как и с ним, были жестоки эти люди. Действительно, ей было очень трудно заставить себя проделать все, что от нее требовалось. Она вела себя молодцом до момента испытания, но при виде лошадей, поставленных парами по обе ее стороны, мужество изменило ей — она отшатнулась, вся поникла и закрыла руками лицо. Ей приходились быть промежуточным звеном между тянущими в разные стороны запряжками и поддерживать руками крючки, которыми кончался надетый на ее спине аппарат.

— Нет, нет, Билликенс, — взмолилась она, обращаясь к мужу, еще молодому, но дородному человеку. — Я не могу. Я боюсь. Мне страшно.

— Глупости, сударыня, — вмешался Коллинз. — Этот фокус совершенно безопасен. И это великолепный номер, необычайно доходный. — Он ощупал аппарат на ее плечах и спине. — Все в порядке. — Он провел руками по ее рукавам. — Ладно! Выпускайте крючки! — Она тряхнула руками, и из-под воздушной кружевной манжетки выпали железные крючки, прикрепленные к тонкой стальной проволоке, которая, очевидно, шла вдоль рукавов. — Не так! Публика не должна их видеть! Спрячьте обратно! Попробуйте повторить. Крючки должны незаметно скользнуть в

ладони. Вот так. Посмотрите… Теперь хорошо. Понятно, в чем дело?

Женщина пыталась овладеть собой, то и дело бросая умоляющие взгляды на Билликенса, стоявшего поодаль с недовольно сдвинутыми бровями.

Конюхи подвели к ней обе запряжки и подняли двойные колодки, чтобы ей удобнее было захватить их своими крючками. Она пыталась проделать это, но мужество опять изменило ей.

— Если у вас что-нибудь испортится, лошади вырвут мне руки, — заявила она.

— Наоборот, — успокаивал ее Коллинз. — Скорее пострадает ваш жакет. В худшем случае публика увидит, в чем тут дело, и поднимет вас на смех. Но аппарат в полном порядке. Я вам объяснял уже: лошади тянут совсем не вас — одна лошадь тянет другую. Только публике кажется, что тянут вас. Попробуйте еще раз. Вам надо ухватиться руками за колодки и в тот же момент спустить крючки и закрепить их… Валяйте!

Его голос звучал резко. Она вытряхнула крючки из рукавов, но отступила перед колодками. Коллинз, скрывая свое раздражение, посмотрел в сторону на пегого и черного пони, покидавших арену. Но ее муж возмущенно напал на нее.

— Черт побери, Джулия, ты меня подвести хочешь этими штуками!

— О, я постараюсь справиться с собой, — взмолилась она. — Право же, постараюсь. Видишь! Я больше не боюсь.

Она протянула руки и захватила колодки. С еле заметной усмешкой Коллинз проверил положение ее рук и проверил, правильно ли закреплены крючки.

— Теперь готовьтесь! Расставьте ноги! Стойте прямо! — Он выровнял ее руки и плечи. — Помните, что в первый же момент ваши руки должны быть вытянуты в одну линию. Когда проволока натянется, вы уже при всем желании не сможете согнуть рук. Но если в момент первого натяжения ваши руки не будут вытянуты, проволока может содрать с них кожу. Помните же — руки и плечи должны быть в одной линии с аппаратом. Вот так. Теперь готово!

— О, подождите минуточку, — попросила она. — Я сделаю это. Я все сделаю, только, Билликенс, поцелуй меня прежде, тогда мне будет все равно, вырвут ли мне лошади руки или нет!

Черноволосый юнец, державший Майкла на цепочке, и остальные зрители фыркнули. Коллинз скрыл усмешку и пробормотал:

— Пожалуйста, сударыня, подождем, сколько хотите. Все дело в том, чтобы в первый раз фокус был проделан чисто. Потом публика будет относиться к вам с большим доверием. Билль, вы бы лучше приласкали ее перед началом.

Билликенсу все это опротивело, он сердито и смущенно подошел к жене, обнял ее и равнодушно поцеловал. Ей было около двадцати лет, она была очень хорошенькая женщина с детским лицом и стройным, хорошо развитым телом, весом сто сорок фунтов.

Ласка и поцелуй мужа придали ей сил. Она взяла себя в руки и, сжав губы, пробормотала:

— Готово!

— Начинайте! — скомандовал Коллинз.

Понукаемые конюхами, лошади лениво начали тянуть свои запряжки.

— Подхлестните-ка их! — крикнул Коллинз, не сводя с нее глаз и убедившись в правильном положении аппарата.

Под ударами бича лошади поднимались на дыбы и пытались помчаться прочь; при этом их громадные, величиной с тарелку, копыта вздымали тучи опилок.

Билликенс потерял самообладание. Страх за любимую женщину отразился на его лице при

этом ужасном зрелище. А ее лицо отражало калейдоскоп чувств. Вначале на нем были написаны напряжение и страх, и оно напоминало лицо христианского мученика, брошенного на съедение львам, или лицо преступника, попавшего в ловушку. Очень быстро страх сменился удивлением и облегчением. Под конец ее лицо сияло горделивой радостью и его озаряла улыбка торжества. Она гордилась собой и улыбкой посылала Билликенсу свою гордость и любовь к нему. У Билликенса отлегло от сердца, и он послал ей ответную улыбку.

— Улыбаться здесь нечего, — закричал в ту же секунду Гаррис Коллинз. — Уберите прочь эту улыбку. Публика должна думать, что это вы сдерживаете лошадей. Вы должны убедить ее в этом. Лицо должно быть напряжено до последней степени. На нем должны отражаться ваша решимость и сила вола. Напрягайте все мускулы. Расставьте шире ноги. Пусть все мускулы играют, точно вы действительно их напрягаете. Нагнитесь слегка в одну сторону, затем в другую. Расставьте ноги. Следите за своим лицом, пусть публике кажется, что вас вот-вот разорвут на куски и что вы устояли до сих пор лишь благодаря вашей сильной воле. Вот моя мысль! В этом

все дело! Этот номер — боевик, Билль! Он вне конкуренции. Подхлестните-ка лошадей! Пускай они попрыгают! Пусть они все силы друг из друга вытянут!

Бичи хлестнули по лошадям, чудовищные битюги вздымались на дыбы и казалось, сейчас разорвут молодую женщину. Действительно, это зрелище могло вызвать одобрение публики. Каждая из лошадей весила около тысячи восьмисот фунтов, и зрителям казалось, что семь тысяч двести фунтов разрывают на куски стройную, тонкую женщину в элегантном костюме, весящую всего-навсего сто сорок фунтов. От такого зрелища женщины в цирке в ужасе вскрикивают и закрывают лицо.

— Отпустите лошадей! — скомандовал Коллинз конюхам. — Леди победила, — объявил он, подражая распорядителям. — Билли, этот номер сущий клад. Отцепите крючки, сударыня, отцепите крючки!

Мари повиновалась, и с крючками, болтающимися из-под ее рукавов, бросилась к Билликенсу; обняв его одной рукой за шею, она воскликнула:

— Билликенс, я все время знала, что смогу это сделать. Я хорошо держала себя, правда?

Сухой голос Коллинза нарушил ее восторжен-

ное состояние.

— Никуда не годится! Эти крючки видела вся публика. Они должны исчезнуть под рукавом в тот момент, когда вы отпускаете колодки, и еще: когда вы кончили ваш номер, нечего сбрасывать с себя маску. Незачем показывать, что это было легко. Пусть они думают, что это адский труд. Вы должны казаться слабой, готовой потерять сознание от напряжения. Колени ваши подгибаются, плечи поникли. Распорядитель подбегает и быстро подхватывает вас, чтобы вы не упали в обморок. Вот в чем заключается ваша роль. Затем возьмите себя в руки и гигантским напряжением воли заставьте себя выпрямиться — все дело в силе воли — это смысл всей этой комедии. Затем пошлите публике воздушный поцелуй и попытайтесь изобразить на лице слабую улыбку. Публика подумает, что, хотя у вас сердце готово выскочить из груди и вам сейчас место в больнице, вы все же стараетесь улыбаться и посылать воздушные поцелуи. Уверяю вас, они переломают все стулья и будут обожать вас. Поняли, сударыня? Вы, Билль, схватили мою мысль? Вбейте ей это в голову. Готово теперь? Посмотрите-ка пристальнее на лошадей. Вот так! Никто не заметил крючков, вы очень хорошо закрепили их. Стойте

прямо… Начинайте!

И снова три тысячи шестьсот фунтов с одной стороны пытались перетянуть три тысячи шестьсот фунтов с другой, а зрителям казалось, что каждая запряжка тянет Мари к себе.

Номер был повторен и в третий раз, и в четвертый, а в промежутке Коллинз послал в свой кабинет человека за телеграммой Дель Мара.

— Теперь дело в шляпе, — заявил он супругу Мари, возвращаясь мысленно к Майклу. — Проведите с ней еще с полдюжины репетиций. Имейте в виду, что каждый раз, как какой-нибудь дурак-фермер захочет испытать своих лошадей, вы должны с ним побиться об заклад, что ваша запряжка побьет его запряжку. Придется заранее объявлять об этом и тратиться на рекламу, но это с лихвой окупится. Распорядитель будет на вашей стороне, и ваша запряжка всегда выиграет. Если бы я был молод и свободен, то не мечтал бы о лучшем, чем турне с таким номером.

Бросая время от времени взгляды на Майкла, Гаррис Коллинз перечитал посланную ему Дель Маром телеграмму:

«Продайте моих собак. Вы знаете, что они умеют делать и какова их стоимость.

С ними кончено. Вычтите за содержание, остаток передадите при встрече. Везу чудо-собаку. Все прежние номера меркнут. Это — боевик. Увидите сами».

— Дель Мар сам был чудом, — сказал он Джонни, держащему Майкла на цепочке. — Раз он хотел продать всех своих собак, значит он имел в виду нечто лучшее, а здесь перед нами всего-навсего один пес, и к тому же проклятой чистокровной породы. Дель Мар утверждал, что этот пес — чудо. Возможно, но, черт побери, — какая у него специальность? Курбетов он в жизни не делал, тем более двойных. Что вы об этом думаете, Джонни? Пошевелите-ка, мозгами. Дайте мне какую-нибудь мысль.

— Может, он умеет считать? — предположил Джонни.

— Считающие собаки идут теперь за бесценок. Ладно, во всяком случае можно попробовать.

Но Майкл, умевший безошибочно считать, теперь от счета отказался.

— Если его когда-либо дрессировали, он должен уметь ходить на задних лапах, — пришло затем в голову Коллинзу. — Испытаем его.

И Майклу пришлось пережить унизительное

испытание. Джонни ставил его на задние лапы, а Коллинз хлыстом ударял под челюстью и по коленям. В бешенстве Майкл пытался укусить главного бога, но цепочка не пускала его. Когда Майкл вздумал выместить свою злобу на Джонии, то этот невозмутимый юноша вытянул руку и, вздернув его на воздух, чуть не задушил.

— И это не вышло, — утомленно сказал Коллинз. — Раз он не умеет стоять на задних лапах, то и в бочонок не сумеет прыгнуть — вы ведь слыхали о Руфи, Джонни. Она была вне конкуренции. Она прыгала из одного утыканного гвоздями бочонка в другой, все время держась на задних лапах. Она могла проделать этот помер с восемью бочонками, ни разу не опустившись на все четыре лапы. Я помню, как она репетировала, когда жила у нас в школе. Это было сокровище, но Карсон не умел с ней обращаться, и она у него околела от воспаления легких.

— Может, он умеет вертеть на носу тарелки, — подсказал Джонни.

— Да ведь он не стоит на задних лапах, — опровергнул эту догадку Коллинз. — Затем этот трюк меньше всего на свете похож на чудо. У этого пса своя специальность. В нем есть нечто свое, особенное. Очевидно, он умеет проделывать ка-

кие-то необыкновенные вещи и проделывает их в совершенстве. Нам надо только суметь найти их. Гарри так внезапно умер, оставив мне в наследство эту головоломку. Как видно, мне придется немало поломать себе голову над ее разрешением. Отведите его, Джонни, в восемнадцатый номер. Позже мы его переведем в отдельное помещение.

Глава XXVI

Номер восемнадцатый был обширным отделением или, вернее, клеткой в длинном ряду клеток для собак. По размерам оно было приспособлено для целой дюжины таких ирландских терьеров, как Майкл. У Гарриса Коллинза дело было поставлено хорошо! Собаки, жившие в Сидеруайльдской школе, получали все необходимое для того, чтобы оправиться от трудов и мук турне по циркам. Поэтому школа и была так популярна, и в ней охотно помещали дрессированных животных на то время, когда их владельцы отдыхали или находились без ангажемента. Животные находились в абсолютно гигиенических условиях и в идеально приспособленной ко всем их потребностям обстановке. Одним словом, здесь они обновлялись и восстанавливали свои силы для новых турне и цирковых сезонов.

Слева от Майкла, в номере семнадцатом, жило пять причудливо остриженных французских пуделей. Майкл видел их только в тех случаях, когда его проводили мимо их клетки, но он чувствовал их запах и слышал все, что у них происходит. В своем одиночестве он развлекался

ссорами и стычками с Педро, самым большим из пуделей, игравшим в труппе роль клоуна. Эти пудели считались аристократами среди прочих дрессированных животных, и распря Майкла и Педро была скорее игрой и развлечением, чем настоящей враждой. Если бы их свели вместе, они сразу бы стали лучшими друзьями. Но в длинные однообразные часы пребывания в клетке они разыгрывали притворные сцены ярости и злобы, лаяли и рычали друг на друга, причем в глубине души каждый из них отлично сознавал, что настоящей вражды здесь нет и в помине.

Справа, в номере девятнадцатом, помещалась печальная свора полукровок. Их содержали в абсолютной чистоте, но пока ни для каких определенных целей не дрессировали. Они представляли собой нечто вроде запасного сырого материала, который можно было переработать для пополнения трупп или для замены почему-либо выбывших собак. Для них всех арена в часы дрессировки являлась настоящим адом. В свободные минуты Коллинз или его помощники устраивали им испытания, отыскивая в них особые способности к каким-либо упражнениям или трюкам. Одну из собак, напоминающую болонку, несколько дней подряд заставляли скакать на

спине пони и прыгать на полном ходу через обручи, возвращаясь на спину пони. После многих падений и увечий она была признана негодной, и ее перевели на другое упражнение — она должна была жонглировать тарелками. Но и из этого ничего не вышло, и ей пришлось качаться на качелях и быть оттертой на задний план в труппе из двадцати собак.

Номер девятнадцатый был местом постоянных свар и страданий. Собаки, возвращаясь в клетку после дрессировки, зализывали свои раны, жаловались и выли и приходили в ярость по малейшему поводу. Их постоянно куда-то уводили и на их место приводили новых собак. При их появлении все обитатели клетки волновались, и дело неизменно оканчивалось общей свалкой, пока новая собака своей победой не отвоевывала себе место или же без сопротивления подчинялась и покорно принимала то, что ей предоставляли остальные.

Майкл игнорировал обитателей девятнадцатого номера. Они могли сколько угодно фыркать и воинственно рычать на него через разделявшую их перегородку, но он не обращал на них ни малейшего внимания, занятый постоянным разыгрыванием сцен раздора и ссор с Педро.

Кроме того, Майкл проводил больше времени на арене, чем кто-либо из них.

— Гарри не мог ошибиться в оценке этой собаки, — решил Коллинз и постоянно пытался выяснить, какие же именно качества Майкла заставили Дель Мара провозгласить его чудом и мировым боевиком.

В поисках специальности Майкла его подвергали самым невероятным и унизительным испытаниям: заставляли прыгать через препятствия, стоять на передних лапах, скакать верхом на пони, кувыркаться и играть роль клоуна. Пытались заставить его танцевать вальс, причем на все лапы были надеты петли, и помощники Коллинза дергали веревки, направляя его движения. При некоторых упражнениях на него надевали ошейник, утыканный гвоздями, чтобы помешать ему уклониться в сторону или прыгнуть вперед или назад. Ударами бича и бамбукового хлыста ему повредили нос. Ему пришлось играть роль голкипера в футбольной партии между двумя «командами» заморенных и забитых полукровок. Наконец, его втаскивали по лестницам, заставляя нырять в бассейн, полный холодной воды.

Самым мучительным испытанием был «пробег петли». Подгоняемый ударами бичей, он должен

был бежать по наклонному желобу и, развив максимальную скорость, вбежать в петлю, подняться вверх и, пробежав ее верхнюю часть вниз головой, как муха на потолке, спуститься с другой стороны и выбежать из петли на арену. Если бы он захотел, то прекрасно справился бы с этой задачей, но исполнять то, чего от него требовали, он не хотел и старался, сбегая с желоба, спрыгнуть в сторону, либо — если инерция увлекала его, — он, подымаясь по петле назад, тяжело расшибался об пол арены.

— Я не думаю, чтобы Гарри имел в виду именно эти фокусы, — говаривал Коллинз, поучая своих помощников. — Но при их помощи я надеюсь почувствовать, в чем же, наконец, заключается его специальность, приведшая в такое восхищение беднягу Гарри.

Во имя любви, ради своего обожаемого баталера Майкл постарался бы обучиться всем этим трюкам и, вероятно, с большинством из них прекрасно бы справился. Но здесь, в Сидеруайльде, любви не знали, а его чистокровная природа заставляла его отказываться делать по принуждению то, что он охотно бы сделал во имя любви. В результате Коллинз, который не был по-настоящему культурным человеком, постоянно свирепо

наказывал его. Майкл быстро понял, что счастье не на его стороне. Он постоянно бывал побежден в этих схватках, и его — по выработанным дрессировщиками правилам — били еще до того, как он пытался бороться. Ни разу ему не удалось вонзить клыков в Коллинза или в Джонни. У него было слишком много здравого смысла, чтобы продолжать безнадежную борьбу, в которой он мог лишь окончательно погибнуть или потерять рассудок. Он просто замкнулся в себе, стал угрюм и необщителен. Правда, он никогда не просил снисхождения и всегда был готов зарычать и ощетиниться, обнаруживая этим свою подлинную природу и внутреннюю неукротимость, но своей ярости и бешенства он больше открыто не выказывал.

Через некоторое время его начали выпускать без цепочки, и Джонни перестал сопровождать его. Теперь он целые дни проводил с Коллинзом на арене. Он из горького опыта уразумел, что должен всюду следовать за Коллинзом — он повиновался, но с ненавистью, и эта ненависть отравляла его.

На физическом здоровье это не отразилось — Майкл был слишком здоров для этого. Однако поскольку влияние ненависти должно в конце

концов сказаться, то она отравила его душу, сердце, способность восприятия, словом, всю внутреннюю жизнь. Он все больше и больше замыкался в свое и постоянно о чем-то раздумывал. Все это было очень вредно и тяжелым бременем ложилось на душу. Прежде Майкл был безудержно весел и шумлив, гораздо веселее и игривее, чем Джерри, а теперь он ходил за Коллинзом мрачный, раздражительный и унылый. Ему больше не хотелось ни играть, ни прыгать, ни носиться, как бывало раньше. Он научился управлять своим телом, как и душевными волнениями и переживаниями. Такому спокойствию люди научаются в тюрьме. Безнадежно усталый и равнодушный, он часами простаивал рядом с Коллинзом, пока тот терзал какое-нибудь животное, добиваясь от него совершенства в исполнении заданного упражнения.

Майклу многое пришлось увидеть за это время. Немало терзали на его глазах борзых, обучая их прыжкам в высоту и в ширину. Они старались изо всех сил, но Коллинз и его помощники хотели достигнуть необычных, чудесных результатов, если можно назвать словом «чудесный» результат, превышающий естественные данные и способности собак и требующий сверхъестественных

данных их способностей. Собаки делали все, что только было в их силах. Но сверхъестественные усилия, требуемые от них Коллинзом, убивали некоторых из них и укорачивали жизнь всем. Прыгнувшую с трамплина собаку подстерегал помощник Коллинза и ударами бича заставлял ее прыгнуть еще выше. Дабы избежать ударов, собака старалась прыгнуть возможно выше, напрягаясь изо всех сил в безнадежной попытке прыгнуть так высоко, чтобы длинные бичи не могли ее настигнуть в воздушном полете и впиться, словно скорпионы, в напряженное, как струна, тело.

— Собака никогда не дает своего максимума, — говорил Коллинз помощникам, — пока ее к этому не принудят. Это уж ваше дело. В этом и заключается разница между прыгунами, которых я выпускаю из своей школы, и собаками неумелых дрессировщиков-любителей. Их собаки проваливаются даже на самых захолустных сценах.

Коллинз непрестанно поучал своих помощников. Окончание Сидеруайльдской школы и рекомендательное письмо Коллинза играли роль первоклассного диплома в мире дрессировщиков.

— Ни одна собака от природы не умеет ходить

на задних лапах, а тем более на передних, — говаривал Коллинз. — Они к этому не приспособлены. *Их надо принудить к этому* — вот и все. В этом заключается весь секрет дрессировки. Вам приходится приспособлять их. Как — это уже ваше дело. Пересоздавайте их. Тот, кто на это не способен, не пригоден для нашего дела. Вдолбите себе это хорошенько в голову и принимайтесь за работу.

Майкл видел эффект седла, утыканного колючками и надетого на мула, но не вполне понял, в чем, собственно, заключалось все дело. В первый день своего появления на арене это был жирный и добродушный мул. До того он был любимцем и баловнем целой семьи и встречал в жизни лишь ласку и любовь, вызывая веселый смех детей своими выходками. Но острый глаз Коллинза приметил его: он сразу оценил здоровую силу и долговечность мула, а также комический эффект его появления на арене.

Сценическое имя мула было Барней Барнато — так его назвали в день великого перелома его жизни. Он не подозревал о колючках, и пока на седле никого не было, они не давали себя чувствовать. Но когда клоун, негр Сэмуэль Бэкон, вскочил в седло, колючки вонзились мулу в спину. Негр знал об этом и заранее приготовился. Но

Барней от неожиданности и боли выгнул спину и в первый раз в жизни брыкнул в воздухе задними ногами. Глаза Коллинза блеснули удовлетворением, а Сэм отлетел на двенадцать футов и покатился по усыпанной опилками арене.

— Ловко, — похвалил Коллинз. — Когда я продам мула, вы поедете с ним в турне — или я ничего не понимаю в деле. Это будет замечательный номер. Надо бы найти еще двух парней, по крайней мере, которые бы ничего не боялись и умели ловко падать. Работайте! Валяйте сначала!

И для Барнея наступила полоса мучительной дрессировки. Впоследствии покупатель его выручил на нем больше, чем мог бы выручить, разъезжая с лучшим водевильным репертуаром по всей Канаде и Соединенным Штатам. День за днем продолжались мучения Барнея. Седлом его терзали недолго, а негр вскакивал прямо на неоседланную спину мула. Но от этого Барнею не стало легче, потому что теперь колючки были прикреплены ремнями к ладоням Сэма. В конце концов Барней стал так чувствителен, что начинал брыкаться, стоило кому-нибудь посмотреть на его спину. Боясь новых уколов, он вертелся на месте и отчаянно брыкался, ибо ему казалось, что посмотревший на него человек собирает-

ся вскочить ему на спину и причинить новые страдания.

В конце четвертой недели дрессировки была устроена генеральная репетиция номера Барнея Барнато. Кроме него и Сэма, участвовали еще два клоуна — белые. Зрителем был будущий покупатель Барнея, стройный, похожий на француза джентльмен с нафабренными усами. После просмотра он купил Барнея, не торгуясь, по назначенной Коллинзом цене, и пригласил Сэма, а также и обоих клоунов-белых. Коллинз устроил репетицию по всем правилам, как полагается для настоящего сценического выхода: отгородил канатом часть арены и сам выступил в роли распорядителя.

Жирный и добродушный Барней был введен в отгороженное канатом пространство. Недоуздок с него сняли, и он был совершенно свободен. Он тотчас же забеспокоился, прижал уши и повел себя, как норовистое животное.

— Запомните одно, — сказал Коллинз покупателю. — Если вы его купите, то вам придется быть распорядителем, и ни в коем случае ни одного раза нельзя будет самому уколоть его. Когда он поймет это, вы в любую минуту сможете приласкать его или утихомирить. Он по природе очень

добродушен, и изо всех виденных мною в жизни мулов он — самый ласковый и благодарный. Он полюбит вас и возненавидит остальных троих. Но должен вас предостеречь: если он испортится и начнет кусаться — вырвите ему зубы и кормите отрубями и размолотым пареным зерном. Я дам вам рецепт питательных веществ, какие вам придется подбавлять в его похлебку. Теперь — внимание!

Коллинз вошел в отгороженное пространство и приласкал Барнея. Тот ему очень обрадовался и, подталкивая Коллинза, старался пробраться за протянутые канаты, чтобы избежать всего дальнейшего.

— Видите, — пояснил Коллинз. — Он мне доверяет. Он знает, что я его никогда не трогал и что в конце концов это я всегда освобождаю его. Я — его добрый гений, и вам придется играть ту же роль, если вы его возьмете. Теперь поглядите на представление. Вы, конечно, можете его дополнить по желанию.

Бог дрессировки выступил из отгороженного канатами пространства и, подойдя к воображаемой черте, остановился и посмотрел вниз, наверх, а затем окинул взглядом все пространство, как бы вглядываясь в оркестр и публику райка и

партера.

— Леди и джентльмены! — обратился он к пустой арене, как будто перед ним находился битком набитый публикой зрительный зал. — Перед вами Барней Барнато, самый большой шутник изо всех мулов на свете. Он ласков, как ньюфаундлендский щенок, — вот поглядите!

Отступив к канатам, Коллинз протянул через них руку со словами:

— Поди ко мне, Барней, и покажи всем, кого ты любишь больше всех.

И Барней, стуча маленькими копытцами, подбежал к нему, обнюхал ладонь, приткнувшись ближе, тыкался носом в плечо и, приподымаясь на дыбы, как бы старался перебраться через протянутый канат и обнять его. В действительности он пытался упросить и умолить Коллинза увести его прочь отсюда и избавить от ожидавших его мучений.

— Вот видите, как много значит то, что я никогда его не трогал, — бросил Коллинз человеку с нафабренными усами и снова подошел к воображаемой линии над воображаемым оркестром и обратился к воображаемой публике.

— Леди и джентльмены, Барней Барнато — большой шутник. В каждой ноге у него по сорок

фокусов, и не родился еще на свет человек, которому удастся продержаться на его спине шестьдесят секунд подряд. Я только хочу чистосердечно предостеречь вас, а затем уж я внесу свое предложение. Вам это пустяком покажется — не правда ли? — всего лишь одну минуту, шестидесятую часть часа, точнее, шестьдесят секунд, усидеть на спине такого ласкового шутника, как Барней. Ладно, выходите-ка сюда, ребята-наездники. Каждый, кто усидит на спине Барнея в течение одной минуты, немедленно получит пятьдесят долларов, а за две полных минуты получит пятьсот.

Теперь пришло время выступать Сэмуэлю Бэкону. Смущенно ухмыляясь, он перешел арену. Коллинз протянул ему руку, как бы помогая взобраться на сцену.

— Ваша жизнь застрахована? — спросил Коллинз.

Сэм, ухмыляясь, отрицательно покачал головой.

— Чего же вы вздумали ввязываться в эту историю?

— Мне нужны деньги, — сказал Сэм. — Мне как раз не хватает для дела.

— Какое же у вас дело?

— Это не ваше дело, мистер, — здесь Сэм ух-

мыльнулся, как бы прося прощения за свою дерзость, и переминался с ноги на ногу. — Я мог бы купить билеты в лотерею, но не хочу. Я у вас деньги-то получу? Это уже будет *нашим* делом!

— Конечно, получите, — отвечал Коллинз, — если заработаете. Постойте здесь, в сторонке и подождите минутку. Леди и джентльмены, подарите мне еще несколько минут, я должен вызвать охотников. Кто из вас желает? Пятьдесят долларов за шестьдесят секунд. Почти доллар в секунду… если вы выиграете. Еще лучше! Я готов дать по доллару в секунду. Итак, шестьдесят долларов мальчику, мужчине, женщине или девочке, усидевшим на спине Барнея в течение одной минуты. Ну что же, идите сюда, сударыни! Имейте в виду, что сегодня день равноправия. Сегодня вы можете перещеголять ваших мужей, братьев, сыновей, отцов и дедушек. Возраст не имеет значения. Бабушка, не хотите ли попробовать? — обратился он к воображаемой пожилой леди в одном из передних рядов. — Видите, — повернулся он к будущему покупателю, — я заготовил для вас все представление. Вы с двух репетиций справитесь с ним. Вы можете проделать все это здесь бесплатно, в счет покупки.

Оба клоуна перешли через арену, и Коллинз

опять сделал вид, что помогает им взобраться на сцену.

— Вы можете менять вашу речь в зависимости от города, — пояснил он французу. — Вам нетрудно будет узнать названия самых заброшенных и отдаленных пригородов и деревень, и тогда мальчишки градом посыплются на вас оттуда.

Продолжая свою речь, Коллинз дал сигнал к началу представления. Первая попытка Сэма сразу потерпела неудачу. Он не успел взобраться на мула, как был сброшен на пол. Полдюжины новых попыток оказались едва ли удачнее: в последний раз он усидел около десяти секунд на спине Барнея, но затем самым забавным образом перелетел через голову мула. Сэм удалился со сцены, покачивая огорченно головой и с рукой на бедре, словно пытаясь утишить боль. Тогда оба клоуна принялись за работу. Они хорошо знали свое дело — и слетали со спины Барнея самым неожиданным и забавным образом. Тем временем Сэм оправился и вернулся. В конце все трое объединились и вместе напали на Барнея с разных сторон, стараясь одновременно взобраться ему на спину. Но мул неизменно сбрасывал их, и они разлетались в разные стороны или валились друг на друга. Как-то раз оба клоуна, едва пере-

водившие дыхание и стоявшие поодаль, были сбиты с ног летящим на землю Сэмом.

— Имейте в виду, что это великолепный мул, — заявил Коллинз человеку с нафабренными усами. — Если кто-нибудь со стороны захочет заработать на вас, тем лучше. Он очень скоро получит свое. Нет на свете человека, который мог бы продержаться на его спине минуту… если вы будете устраивать ему репетиции с колючками. Он должен постоянно бояться колючек. Не давайте ему забывать их. Если вы дадите ему несколько дней передышки — прорепетируйте раза два с колючками до открытого представления, иначе он о них забудет и рассмешит весь театр, протрусив кругом арены с первым попавшимся мужланом на спине.

И представьте себе парня с цепкими руками и ногами, который сможет удержаться на нем и просидит положенные шестьдесят секунд. Пусть тогда Сэм или один из клоунов незаметно подойдет к нему и уколет мула. Вот вам и до свидания, сударь! Вы проиграть не можете, а публика надорвет себе со смеху животики.

Перейдем теперь к кульминационному пункту. Вот смотрите! Они все лопнут от смеха. Принимайтесь за дело, вы оба! Сэм! Готово!

В то время как оба клоуна пытались с обеих сторон влезть на спину Барнея, отвлекая этим его внимание, Сэм в порыве ярости и отчаяния перелетел через канаты и вскочил на шею мула, крепко охватил ее руками и ногами и плотно прижался головой к голове Барнея. И Барней поднялся на дыбы, как его учили, когда покалывали ему шею и голову.

— Он молодец! — заявил Коллинз, когда Барней стоял на задних ногах, пытался передними сбросить непрошеного седока и в такой позиции метался по арене. — Это не опасно. Он никогда не станет падать на спину. Этот мул слишком умен для этого. А затем, если это и случится, то Сэму останется только предоставить Барнею делать все, что ему вздумается, и отлететь в сторону.

Представление окончилось, и Барней с радостью дал надеть на себя недоуздок. Затем его вывели из отгороженного канатами пространства и подвели к французу.

— Он проживет очень долго — посмотрите на него хорошенько, — продолжал восхвалять свой товар Коллинз. — Вы получаете прекрасный номер. Включая вас, он состоит из четырех действующих лиц, кроме мула и дураков из публики. Все готово для выступлений, и пять тысяч, право

же, не деньги за такой номер.

Услышав эту сумму, француз заколебался.

— Вот вам расчет, — продолжал Коллинз. — Вы можете получить тысячу двести долларов в неделю, по крайней мере. Из этой суммы вам остается чистых восемьсот долларов. За шесть недель ваш номер окупится, а вы можете подписать контракт на сто недель — и то они будут вопить, что мало. Был бы я молодым и свободным, я сам отправился бы с таким номером и скопил бы себе монету.

И Барней был продан и перешел из Сидеруайльдской школы дрессировки в вечное рабство и зависимость от колючек, вызывая своими страданиями много смеха и радости во всевозможных увеселительных заведениях Америки.

Глава XXVII

— Дело в том, Джонни, что вы лаской не можете заставить собаку проделывать все эти штуки — в этом как раз и заключается разница между собакой и женщиной, — говорил Коллинз своему помощнику. — Вы же знаете, как это происходит с собаками. Вы, лаская, обучаете ее ложиться, вставать, кататься по полу, умирать и прочим дурацким штукам. Затем в один прекрасный день вы хотите похвастаться ее талантами перед приятелями, но окружающие условия изменились, собака возбуждена, сбита с толку — и вы ничего не можете с ней поделать. Так бывает и с детьми. В обществе они сразу теряются, забывают все, чему их учили, и подводят вас.

Но на сцене собакам приходится проделывать трудные, сложные фокусы, они не любят их, они ненавидят все эти штуки. Возможно, что им нездоровится, они простужены, заболели чесоткой или же у них просто нет настроения. Что же вам тогда остается делать? Просить у публики снисхождения? Да, кроме того, на сцене все ведь идет как по заведенному. Представление начинается по звонку, и вам приходится иногда

по семи раз повторять ваш номер в зависимости от условий вашего ангажемента. Все дело в том, что вашим собакам приходится быть наготове и исполнять все, что вы от них потребуете. Их нельзя ни ласкать, ни бранить, ни ждать, когда у них появится настроение. У вас в руках есть могущественное средство. Они должны знать, что если вы хотите начинать представление, то вы своего добьетесь.

— Собаки совсем не так глупы, — заметил Джонни. — Они отлично знают, серьезны ли вы или только шутите с ними.

— Да, конечно, — утвердительно кивнул Коллинз. — Как только вы их распустите, они черт знает что делают на работе. Вы начинаете ласково обращаться с ними — и они сразу путают и нечисто исполняют свой номер. Вам нужно внушить им страх — они должны вас бояться. Если это вам не удастся, то в один прекрасный день вам придется бегать, искать ангажементов по всяким захолустьям.

Полчаса спустя Майкл, ни слова не понимая, слушал, как бог дрессировки вкладывал другому помощнику один из основных законов ремесла.

— Нам, Чарльз, надо работать со скрещенными породами и дворняжками. Из десятка чистокров-

ных псов нам не подойдет и один, разве что в нем бьется сердце труса, но этим как раз чистокровные псы отличаются от всех остальных. У них кровь так же горяча, как и у породистых лошадей. Они чувствительны и горды. Их гордость мешает нам больше всего. Слушайте меня, Чарльз, хорошенько. Я родился в семье дрессировщика и всю жизнь изучал это дело. И я преуспел в нем. А преуспел я оттого, что по-настоящему его знаю. Зарубите себе на носу — я знаю это дело!

Кроме того, дворняги очень дешевы. Вам нечего бояться, что они подохнут или надорвутся на работе. Вы всегда достанете сколько угодно новых по дешевой цене. С ними много возиться не приходится и учить их нетрудно. Внушать им страх ничего не стоит. В этом вся загвоздка при работе с чистокровными псами. На них вы страха не наведете.

Задайте хорошую трепку дворняжке — и посмотрите, что за этим последует. Собака будет лизать вам руки, ползать перед вами на животе и покорно сделает все, что вы от нее потребуете. Такая у этих собак рабская душа. Они трусливы, но вам для дела храбрость и не нужна. Вам нужно, чтобы собака вас боялась. Теперь попробуйте задать трепку чистокровной собаке, что же у

вас получится? Иногда такая собака подыхает от оскорбления и ярости. Я знал таких. А если они выживают, то что же с ними делается после? Они или становятся упрямы, или злы, а иногда и то и другое вместе. Бывает, они бросаются на вас с пеной у рта. Вы можете убить их, но до последней минуты они будут бросаться на вас и пытаться вцепиться в вас зубами. Или же они замыкаются в своем упрямстве. Это уже конец. Я называю это пассивным сопротивлением. Они не желают бороться с вами. Вы можете засечь их насмерть, но это вам ничего не даст. Они похожи на первых христиан, которые давали себя жечь на кострах и бросать в кипящее масло. У них свои убеждения, и вы ничем на свете не сдвинете их с места. Они лучше подохнут… и подыхают. У меня бывали такие собаки. Я изучал их… и научился оставлять чистокровных собак в покое. Они выбивают вас из колеи. Они своего добиваются, но вам ничего не удается от них добиться. Они отнимают у вас время, терпение, и, наконец, они очень дороги.

Возьмите этого терьера, — кивнул Коллинз на Майкла, стоявшего несколько поодаль и мрачно поглядывавшего на все происходящее на арене. — В нем совместились все качества чистокровного пса, и поэтому он не годится. Я никогда

не задавал ему настоящей трепки и никогда не задам. Это было бы только потерей времени. Если вы на него приналяжете, он будет бороться с вами до смерти. Он слишком умен, чтобы бросаться на вас, пока вы его на это не вызовете. И если вы его не будете трогать, он так и будет стоять на месте, отказываясь чему-либо научиться. Я бы охотно сплавил его с рук, но Дель Мар знал, что у этой собаки своя специальность, какой-то особенный, замечательный трюк, а мне необходимо найти его.

— Может быть, эта собака не боится львов? — пришло в голову Чарльзу.

— Да, эта порода львов не боится, — согласился с ним Коллинз. — Но интересно, что же он проделывает со львом? Может быть, он сует ему в пасть свою голову? Я еще не слыхал, чтобы собака такое проделывала, это — идея! Мы можем испытать его. Мы уже столько всего с ним перепробовали.

— У нас ведь есть Ганнибал, — сказал Чарльз. — В труппе Сэйл-Синкера он проделывал этот трюк с женщиной.

— Но старик Ганнибал совсем свихнулся, — возразил Коллинз. — Я наблюдаю за ним все время и стараюсь сбыть его с рук. Всякое животное в конце концов может свихнуться, особенно часто

это случается с хищниками. Вы понимаете, этот образ жизни им не подходит. Но когда это с ними случается — до свидания! Вы теряете ваши деньги, и если недостаточно опытны в этом деле, то еще и жизнь.

И Майклу, наверное, устроили бы испытание, и он потерял бы свою голову в громадной пасти дикого зверя, если бы не вступилась за него сама судьба. Едва Коллинз успел договорить начатую фразу, как ему пришлось выслушать спешный доклад надзирателя за хищными зверями. Этому человеку было около сорока лет, но ему можно было дать вдвое больше. Его лицо было покрыто глубокими вертикальными морщинами, и, казалось, они были проведены когтями хищника, а не сложились естественно, отражая хищную натуру этого человека.

— Старик Ганнибал взбесился, — был краткий смысл его доклада.

— Глупости, — сказал Коллинз. — Это вы состарились и дали ему взять над собой верх. Я докажу вам это. Пойдемте все к нему. Мы минут на пятнадцать прекратим занятия, и я дам вам такое представление, какого еще не бывало ни на одной сцене… За него всюду бы предложили по десяти тысяч в неделю, но его не повторишь.

Старик Ганнибал себе все лапы перегрызет от оскорбленного достоинства… Идите все! Все решительно! Пятнадцать минут перерыва!

И Майкл последовал по пятам со своим последним и самым жестоким хозяином; эта пара пошла впереди, а за ними последовала целая толпа служащих и посетителей-профессионалов. Все знали, что Гаррис Коллинз выступает лишь перед избранными, перед сливками профессионального мира дрессировщиков.

Надзиратель за хищниками, с лицом, отражавшим свирепость его нрава, взвыл, когда увидел, как Коллинз собирается приступить к укрощению льва; все приготовления Коллинза заключались в том, что он взял палку от обыкновенной метлы.

Ганнибал был уже стар, но был известен как самый крупный изо всех укрощенных львов, было известно, что у него целы все зубы. Пока толпа заполняла пространство перед клеткой, Ганнибал тяжело расхаживал вдоль нее, раскачиваясь, как это делают все хищники в неволе. Он не обратил на людей ни малейшего внимания и продолжал мерить шагами клетку, мотая головой из стороны в сторону. Доходя до перегородки, он легко и гибко поворачивался, всем своим видом

демонстрируя какое-то определенное, принятое им решение.

— Он последние два дня все время так бродит по клетке, — хныкал надзиратель. — А когда подойдешь к клетке, он сразу бросается на тебя. Посмотрите, что он мне устроил. — Надзиратель вытянул правую руку, приподнял порванный в клочья рукав рубашки и показал параллельные полосы запекшейся крови — следы когтей льва. — Я к нему вовсе и не заходил. Я хотел только вычистить клетку, а он высунул лапу — да как хватит меня по руке! Если бы он еще при этом рычал! Но от него ни единого звука, только ходит взад и вперед.

— Где у вас ключ? — спросил Коллинз. — Так. Теперь впустите меня. Затем заприте клетку и выньте ключ. Забросьте его, забудьте о нем. Я могу сколько угодно ждать, пока вы найдете его и выпустите меня.

И Гаррис Коллинз, этот человек, живший в постоянном страхе, что мать его детей опрокинет за столом ему на голову тарелку с горячим супом, вошел в клетку льва перед критическими взорами своих служащих и профессиональных дрессировщиков, вооруженный лишь палкой от метлы. Затем дверцу закрыли, и, бросив небреж-

ный, но острый взгляд на льва, он повторил свое приказание и заставил надзирателя вынуть ключ из замка.

Ганнибал раз шесть прошелся взад и вперед по клетке, не обращая никакого внимания на вошедшего к нему человека. Тогда Коллинз, подождав, чтобы лев очутился к нему спиной, заступил ему дорогу и остановился. Возвращаясь, Ганнибал увидел на своем пути препятствие, но рычать не стал. Его мускулы как бы переливались под рыжей шкурой, и он собрался ударом лапы убрать с дороги мешавший ему предмет. Но Коллинз, знавший наперед все, что лев будет делать, действовал первый — и сильно ударил его по носу палкой от метлы. Ганнибал с рычанием отступил и снова собрался ударить человека своей мощной лапой. Но Коллинз опять опередил его и ударом по носу заставил отступить.

— Заставьте его наклонить голову — тогда вы в безопасности, — пробормотал бог дрессировки тихим, напряженным голосом. — Ага, ты хочешь? На же, получай!

Ганнибал в ярости приготовился к прыжку и поднял голову. Новый удар по носу заставил его опустить ее, и царь зверей пригнулся носом к полу клетки и снова отступил. Он зарычал и что-то

клокотало у него в горле и груди.

— Ступай, ступай, — говорил Коллинз, следуя за львом и с силой ударяя его по носу, ускоряя этим его отступление.

— Человек — господин, потому что у него работает голова, — проповедовал Коллинз, — и голова эта должна господствовать над телом. Вот и вся тайна — тогда его мысль будет всегда опережать мысль животного и действие человека будет предварять его действие. Но смотрите, как я его возьму в работу. Он совсем не так страшен, как воображает. И эту мысль надо из него выбить. Моя палочка отлично выполнит эту задачу. Смотрите!

Он заставил льва отступить по всей длине клетки, непрестанно ударяя его по носу и этим заставляя его пригнуть голову низко к земле.

— Теперь я загоню его в угол.

И Ганнибал, фыркая и ворча, отступил в угол, склонил вниз голову и короткими взмахами лап старался защитить свой нос от настойчивой палки. Он присел, подобрался весь, скорчился и, казалось, хотел вобрать в себя все свое огромное тело, чтобы занять возможно меньше места. Все время он держал нос совсем у земли и не мог решиться принять нужное для прыжка положе-

ние. Вдруг он медленно поднял голову и зевнул. Но он проделал это очень медленно, Коллинз, предвосхищавший все мысли и поступки Ганнибала, предвосхитил и зевок — и крепко ударил его по носу.

— Теперь он в моих руках! — объявил Коллинз. На этот раз в его голосе не чувствовалось никакого напряжения, он звучал громко и уверенно, как всегда. — Когда лев в разгаре борьбы начинает зевать, это значит, что у него мозги в порядке. Он не дурак. Он взялся за ум, и раз он начал зевать, то не станет больше бросаться на вас или пытаться ударить вас лапой. Он понимает, что победа не на его стороне и своим зевком как бы говорит вам: «Я бросаю игру. Ради всех святых, оставьте меня в покое. Мой нос совсем разбит. Я охотно задал бы вам, но не могу. Я сделаю все, что вы хотите, я буду паинькой, но только не трогайте больше мой несчастный нос».

Но человек — господин, и его так легко не возьмешь. Хорошенько вбейте ему в голову, что хозяин положения — вы. Пусть он себе зарубит это на носу. Заставьте его проглотить лекарство и облизать ложку. Пригните ему ногой шею к земле, и пусть он поцелует эту ногу. Заставьте его поцеловать палку, что била его. Вот, глядите!

И Ганнибал, самый крупный из всех плененных людьми львов, пойманный уже взрослым в родных лесах и сохранивший до сих пор все свои зубы, подлинный царь зверей, склонялся все ниже и весь подобрался в углу клетки перед угрожавшей ему палкой от метлы в руках человека-былинки. Его спина была согнута — положение, исключавшее всякую возможность прыжка, и он, окончательно униженный, все больше склонял свою голову, пряча ее на груди и удерживая вес тела одними локтями. Сидя так, он защищал свой несчастный нос массивными лапами, — одной из них он мог сразу, одним ударом, покончить с Коллинзом.

— Возможно, что он притворяется, — заявил Коллинз, — но ему все равно придется поцеловать мою ногу и палку. Глядите!

Он поднял левую ногу и без тени колебания, быстро и решительно поставил ее на шею льва. Палку он держал наготове, опережая мысли и поступки Ганнибала.

И Ганнибал выполнил то, что ему было предназначено. Он поднял голову, раскрыл громадную пасть, и клыки его блеснули, как бы готовясь вонзиться в тонкую, обтянутую шелковым носком лодыжку над открытой кожаной туфлей. Но

клыкам не удалось вонзиться в лодыжку. Лев едва только собрался с мыслями, как палка крепко ударила его по носу и снова принудила опустить голову, спрятать ее на груди и закрыть лапами от ударов.

— Он в полном уме, — сказал Коллинз. — Он понимает, насколько он вообще может понять, что я умнее его и что я раз навсегда одержал над ним верх. Если бы он был не в своем уме, он бы этого не понял, и я не мог бы следить за его мыслями и опережать его действия, и тогда он, конечно, раскидал бы мои внутренности по всей клетке!

Он тыкал Ганнибала концом своей палки, но всякий раз угрожал ему ударом по носу. И громадный лев мог лишь лежать и беспомощно рычать. При каждом уколе он поднимал нос все выше, пока из-за клыков не показался красный язык и он не лизнул ногу, попиравшую его шею, а затем лизнул и палку, наказывавшую его.

— Будешь теперь вести себя как следует? — спросил Коллинз, грубо толкая ногой шею Ганнибала.

Лев не мог удержаться и рычанием выразил всю свою ненависть к человеку.

— Будешь теперь вести себя как следует? — повторил Коллинз, еще грубее толкая ногой шею

Ганнибала.

И Ганнибал поднял нос и снова лизнул кожаную туфлю и тонкую, обтянутую шелковым носком лодыжку, которую он мог перегрызть в один момент.

Глава XXVIII

Майкл нашел себе друга в Сидеруайльдской школе дрессировки, но это была странная и печальная дружба. Звали его нового друга Сара — это была маленькая зеленоватая обезьянка из Южной Америки. Она, казалось, уже родилась в негодующем и истерическом настроении и была совершенно лишена чувства юмора. Иногда Майкл, следуя за Коллинзом по арене, встречал ее, ожидающую своей очереди. Несмотря на ее неспособность и нежелание поддаваться дрессировке, ее все же заставляли играть подсобную роль в представлениях других животных.

Но она всегда вносила с собой дух беспокойства, болтала, визжала от страха или же ссорилась с другими животными. Когда ее заставляли принимать участие в представлениях, она возмущенно протестовала; когда же ее пробовали понуждать силой, ее крики и вопли волновали остальных животных и задерживали работу.

— Ну ее! — сказал, наконец, Коллинз. — Она пригодится скоро для обезьяньего оркестра.

Это было самое ужасное, что могло случиться с обезьяной на сцене. Она становилась беспомощ-

ной марионеткой, и скрытые за кулисами люди дергали ее руки и ноги за скрытую от публики проволоку.

Но Майкл познакомился с ней до того, как приговор этот был приведен в исполнение. При первой встрече она внезапно вскочила на него — маленький, болтающий и кричащий чертенок, угрожавший ему своими коготками и зубками. Майкл, как всегда, погруженный в угрюмую задумчивость, спокойно поглядел на нее, не обнаруживая ни испуга, ни гнева. В следующую минуту он отвернулся, не обращая внимания на суету и злобу. Это остановило ее. Если бы он на нее бросился, зарычал или же иным способом обнаружил свою досаду, как это делали другие собаки, она подняла бы невероятный шум и визг, жалуясь всем на оскорбление, взывая о помощи и призывая всех присутствующих в свидетели несправедливого и необоснованного нападения.

Как бы там ни было, необычайное поведение Майкла поразило ее. Она подошла к нему, но на этот раз уже без шума и крика; мальчик, приставленный к ее особе, отпустил цепочку.

— Надеюсь, что этот пес перегрызет ее спину, — высказал он свое нечестивое пожелание: он всей душой ненавидел Сару и мечтал ухаживать за

львами или слонами, а не за этой сварливой обезьянкой, которую никак нельзя было урезонить.

И потому-то, что Майкл не обратил на нее никакого внимания, она и занялась им. Она обняла его и, обвив одной лапкой за шею, плотно прижалась головкой к его голове. Затем начались бесконечные рассказы. День за днем она в свободные минуты ловила его на арене и, тесно прильнув к нему, тихим голосом, не переводя духа, рассказывала ему историю своей жизни. Ее история вся сводилась к бесконечному ряду обид и оскорблений. Это была сплошная жалоба, возможно, что она жаловалась ему на свое здоровье, — ее мучил постоянный кашель, и ее грудь, очевидно, сильно болела, судя по тому, как она осторожно прикладывала к ней ладонь. Иногда она переставала жаловаться и ласкала и голубила его, причем ее нежный шепот напоминал тихие напевы.

Это была единственная ласка, полученная Майклом в Сидеруайльде. Сара всегда была нежна, никогда не щипала его и не тянула за уши. Поэтому и он стал ее единственным другом. Он по утрам искал встреч с ней на арене — несмотря на то, что их встречи неизменно кончались тяжелыми сценами: она вырывалась из рук мальчика, старавшегося оторвать ее от Майкла, и ее

крики переходили в вопли и сетования, причем окружавшие ее люди смеялись над романом маленькой обезьянки и ирландского терьера.

Но Гаррис Коллинз допускал и даже поощрял эту дружбу.

— Эти кисляи очень подходят друг другу, — говорил он. — Эта дружба идет им лишь на пользу. Дайте им интерес в жизни, и это оздоровит их. Но, помяните мое слово, в один прекрасный день она ему устроит какую-нибудь каверзу — и вся их дружба кончится трагедией.

Его слова наполовину оказались пророческими, и хотя она никогда Майклу никаких каверз не устраивала, их дружбе было суждено завершиться трагически.

— Возьмите, например, тюленей — они слишком умны, — пояснял Коллинз в одной из импровизированных лекций своим помощникам. — Им в течение всего представления приходится подсовывать рыбок. Если вы этого не сделаете, они отказываются что-либо делать и вы совершенно беспомощны. Со скрытой в рукаве соской с молоком вы легко можете заставить маленького поросенка проделывать разные штуки, но вы не можете полагаться на лакомства в представлении с дрессированными собаками.

Вам предстоит хорошенько продумать это. Неужели вы полагаете, что, посулив кусок мяса, можете заставить борзую рисковать жизнью?.. Только плеткой вы можете добиться выполнения опасных прыжков. Поглядите на Билли Грина. Иным способом вы собаку этому фокусу не научите. Лаской не заставите ее это проделывать. Заплатить вы ей не можете. У вас в руках одно средство — *заставить* ее.

Билли Грин в это время работал с крохотной кудрявой собачонкой неопределенной породы. На сцене он производил фурор, вытаскивая из кармана собачку и проделывая с ней головоломную штуку. Последняя из его собачек сломала себе при падении хребет, и теперь он готовил новую. Взяв эту крошку за задние лапки, он бросал ее вверх, и она, перевернувшись в воздухе, возвращалась к нему головой вниз и должна была передними лапками упасть на его ладонь и остаться стоять там, вытянув вверх свое маленькое тельце и задние лапки. Он беспрестанно повторял неудавшийся фокус сначала, но собачка замирала от страха и тщетно старалась выполнить все, что он от нее требовал. Она то и дело падала ему на руки, сжавшись в комочек, и не успевала встать на передние лапки; несколько

раз она чуть-чуть не слетела на пол; наконец, она упала на бок и так ушиблась, что у нее захватило дух. Ее хозяин воспользовался передышкой и стер струившийся по его лицу пот, а затем стал пинать ее носком сапога, пока она, шатаясь, не поднялась с пола.

— Еще не родилась на свет та собака, что будет проделывать эту штуку за кусок мяса, — продолжал Коллинз. — Тем более, не найдется собаки, которая будет гулять на передних лапах, если ее в свое время тысячу раз не хлестнули плеткой по задним. Возьмем этот номер. Он всегда производит фурор, особенно среди женщин. Подумайте только, как все это изящно и ловко! Хозяин вытаскивает из кармана свою собачку, и она так любит его и так доверяет, что спокойно позволяет швырять себя в воздух. Доверие и любовь, черт побери! Он просто внушил ей страх Божий — вот и все!

На публику очень хорошо действует, если вы время от времени даете животным какой-нибудь лакомый кусочек. Но это делается исключительно для публики, само по себе — это ерунда. Публика хочет верить, что животным очень нравятся все эти трюки, что им живется, как балованным детям, и что они обожают своих

хозяев. Но сохрани Господь нас и наши карманы, чтобы публика не проникла за кулисы! Все представления с дрессированными животными немедленно были бы сняты с репертуара, и нам всем пришлось бы искать другую работу.

Да, немало приходится проделывать жестоких штук и на сцене, перед зрителями. Удачнее всех других дурачила публику Лотти. Она разъезжала с труппой дрессированных кошек. Она обожала их и охотно демонстрировала свои чувства перед всей публикой, особенно в случаях какой-нибудь заминки. Что же она делала? Она брала кошку на руки и нежно целовала ее. После этого поцелуя кошка великолепно справлялась со своим номером, и глупая публика неистовствовала, аплодируя ее доброте и любви к животным. Ее поцелуи? Вы думаете, что она целовала кошек? Я скажу вам, что она делала. Она кусала кошку за нос.

Элинор Павало переняла этот трюк Лотти и пустила его в ход со своими крохотными собачками. Немало собак работает на сцене в ошейниках, а с внутренней стороны этих ошейников — колючки; и вы сами знаете: всякий толковый дрессировщик сумеет незаметно для публики ущипнуть собаку за нос. Но главное — это страх.

Собака должна бояться того, что ее ждет по окончании представления, если она плохо справилась со своим номером.

Вспомните капитана Робертса с его датскими догами. Правда, это были нечистокровные доги. У него их было штук двенадцать — самая свирепая компания, какую я когда-либо видел. Он у нас тут два раза останавливался со своей труппой. К ним без палки нечего было и заходить. Я приставил к ним одного мексиканца. Он тоже был не из мягкосердечных. Но они как-то опрокинули его и чуть не загрызли. Доктор положил ему сорок швов и всыпал полную порцию пастеровской сыворотки от собачьего бешенства. И он из-за этих псов на всю жизнь остался хромым на правую ногу. Эти собаки были вне конкуренции. При поднятии занавеса и появлении капитана Робертса публика сразу же приходила в восторг. Собаки прыгали вокруг него и, видимо, выражали ему свою любовь. Вы думаете, что собаки действительно любили его? Ничего подобного — они его ненавидели. Я видел, как здесь, в Сидеруайльде, он пробирался через их свору и с дубинкой в руках спокойно раздавал удары направо и налево. Понятно, им не за что было любить его. Но он прибегал к хитрой уловке и держал у себя в

кармане маленькие кусочки мяса, зажаренного на анисовом масле. Правда, этот трюк давал эффект только с очень большими собаками. Если бы на месте его великанов были обыкновенные собаки, то все это имело бы глупый вид. Да кроме того, они проделывали свой номер не ради мяса, а боясь дубинки капитана Робертса. Он сам был свирепой зверюгой, этот капитан.

Он постоянно говорил, что искусство дрессировки заключается в искусстве внушить животному страх. Впоследствии один из его помощников рассказывал мне про него всякие мерзости. Однажды в Лос-Анджелесе им пришлось месяц пробыть без дела, и капитан Робертс вбил себе в голову, что заставит собаку балансировать серебряным долларом на горлышке бутылки из-под шампанского. Как вы полагаете, можно лаской заставить собаку проделывать это? Помощник его рассказывал, что он извел столько же палок, сколько собак, а собак он забил шесть штук. Он покупал их на рынке за гроши; и когда одна собака околевала, следующая уже была наготове и ждала своей очереди. На седьмой собаке фокус удался. Уверяю вас, собака балансировала серебряным долларом на горлышке бутылки из-под шампанского. И через неделю после первого представления эта

собака околела от последствий дрессировки.

Я был еще мальчиком, когда к нам приезжал один англичанин. Его труппа состояла из пони, обезьян и собак. Он кусал обезьянам уши, и во время представлений ему достаточно было сделать движение — они сразу успокаивались и выполняли свой номер. У него был шимпанзе — сокровище. Вы не успевали сосчитать до четырех, а он уже четыре раза подряд перекувырнулся на спине скачущего пони. Так вот, этот шимпанзе два раза в неделю получал основательную трепку. Иногда эта трепка была слишком основательной, и шимпанзе лежал после нее совершенно больной. Но хозяин справился с этой задачей. Он перед началом каждого выступления бил обезьяну слегка, так, чтобы она не забывала «вкус» палки. Это помогало, хотя иногда обезьяне казалось легче получить трепку, чем выступить на сцене.

Как раз в этот день Гаррис Коллинз дал одному укротителю львов весьма ценный совет. Человек этот временно не имел ангажемента, и его львы жили в Сидеруайльде. Номер этих львов производил всегда потрясающее впечатление. Они рычали и скакали вокруг маленькой, тоненькой женщины, и казалось — вот-вот разорвут ее на

куски, а она, с одним лишь хлыстиком в руках, мужественно укрощала их.

— Горе в том, что они слишком к этому привыкли, — жаловался укротитель. — Айседоре не удается раздразнить их. Они внимания на нее не обращают.

— Я знаю их, — кивнул головой Коллинз. — Они здорово постарели, да и дух у них сломлен. Возьмем старика Сарка. Ему в уши выпалили столько холостых зарядов, что он теперь глух как пень. А Селим — он потерял все свои зубы. Португалец, укрощавший его для цирка Барнума и Бэйли, устроил ему это. Вы слыхали об этой истории?

— Я часто думаю об этом, — покачал головой дрессировщик. — Вот была-то, верно, катавасия.

— Да, немалая. Португалец пустил в ход железный прут. Селим был не в настроении и собирался дать ему лапой. Он только открыл пасть, чтобы зарычать, как тот сунул ему в зубы железный прут. Он сам рассказывал мне об этом. Зубы Селима посыпались на пол, как костяшки домино. Но португалец не должен был этого делать. Нельзя разрушать чужую собственность. Недаром они его потом за это укокошили.

— Так-то так, но они все трое сейчас не много стоят, — сказал их хозяин. — Они ни за что не

хотят рычать и прыгать вокруг Айседоры в конце представления, а в этом-то и была вся соль. Это делалось под занавес и всегда производило большое впечатление. Скажите, что же мне с ними делать? Покончить с этим номером? Или достать парочку молодых львов?

— Айседоре безопаснее иметь дело со старыми львами, — сказал Коллинз.

— Слишком уже безопасно, — возразил супруг Айседоры. — Конечно, с молодыми львами вся работа и ответственность ложатся на меня. Но нам ведь приходится зарабатывать на жизнь, ничего с этим не поделаешь.

Гаррис Коллинз покачал головой.

— Что вы об этом думаете? Вам ничего не приходит в голову? — живо спросил дрессировщик.

— Судя по тому, как они привыкли к неволе, они проживут еще очень долго, — развивал свою мысль Коллинз. — Когда вы тратите деньги на покупку молодых львов, вы всегда рискуете: вдруг они у вас околеют. И очень возможно, что готовый уже номер сорвется. Все, что вам остается, — это воспользоваться моим советом… — Бог дрессировки остановился, и тот открыл уже рот, чтобы сказать… — …который обойдется вам, — подумав, продолжал Коллинз, — скажем, триста

долларов.

— Только за совет? — быстро спросил укротитель.

— Гарантирующий успех дела. Сколько бы вам обошлась покупка новых львов? Здесь же вы получаете все, что вам надо, за триста долларов. Совет мой прост. Я могу высказать его в двух словах, причем каждое слово обойдется вам по сто пятьдесят долларов.

— Вы больно круто забрали, — возразил дрессировщик. — Мне ведь жить надо.

— И мне тоже, — уверил его Коллинз. — Поэтому я здесь и нахожусь. Я специалист, и вам приходится оплачивать совет специалиста. Это так просто, что вы на месте подскочите, когда я вам скажу, в чем дело. Между нами, я никак не пойму, как это случилось, что вы сами этого не знаете?

— А если ваше средство не подействует? — последовал вопрос.

— Если мое средство не подействует, вы не платите, вот и все.

— Я согласен, выкладывайте, — сдался укротитель.

— *Электризуйте клетку*, — сказал Коллинз.

Укротитель не сразу понял, затем лицо его

прояснилось.

— Вы хотите сказать?..

— Вот именно, — кивнул головой Коллинз. — Умнее вы ничего не придумаете. Вы прекраснейшим образом можете установить сухие элементы под клеткой. Айседоре останется только нажать кнопку, когда все будет готово. Если ваши львы не закричат и не запрыгают словно бешеные, как только ток ударит им в лапы, вы можете оставить себе ваши деньги, и я вам сам приплачу столько же. Я знаю, что говорю. Я видел, как применялся этот способ, и он всегда действовал без сбоя. Получается так, словно они пляшут на раскаленной докрасна печке. Они подскакивают в воздухе, и стоит им коснуться пола клетки, как ток снова бьет их по лапам. Но вам придется давать ток постепенно, — предупреждал Коллинз. — Я покажу вам, как это делается. Сначала включается слабый элемент, а затем ток постепенно усиливается к окончанию номера. К этому они никогда не привыкнут. Они до последнего дня будут плясать так же усердно, как и в первый раз... Ну-с, что вы об этом думаете?

— Вы правы, совет стоит трехсот долларов, — согласился дрессировщик. — Хотел бы и я так легко зарабатывать деньги.

Глава XXIX

— Очевидно, мне придется с ним расстаться, — заявил как-то Коллинз в разговоре с Джонни. — Дель Мар, конечно, не мог ошибаться, называя эту собаку сокровищем, но я никак не могу понять, в чем тут дело.

Эти слова были сказаны после жестокой схватки между Майклом и Коллинзом. Все более угрюмый и задумчивый, Майкл становился день ото дня сварливее и без малейшего повода напал на ненавистного ему человека; но ему, как и прежде, не удалось вцепиться в него зубами, и он только сам получил несколько сильных ударов под нижнюю челюсть.

— Этот пес вроде золотоносной жилы, — размышлял вслух Коллинз. — Но пусть меня повесят, если я знаю, как подступиться к нему. Да помимо того, он, что ни день, становится все злее. Поглядите-ка на него. За что он на меня набросился? Я с ним не был жесток.

Несколько минут спустя к Коллинзу подошел один из его клиентов, молодой человек с волосами, как пакля. Он занимался дрессировкой трех леопардов, живших в это время в Сидеруайльд-

ской школе, и в данный момент ему для работы требовалась еще одна собака.

— Я только что потерял одного пса, — объяснил он. — А мне для безопасности приходится работать с двумя.

— Что же приключилось с вашим псом? — спросил бог дрессировщиков.

— Альфонзо, самый крупный из моих леопардов, был сегодня не в духе и кинулся на него. Мне пришлось прикончить беднягу. Тот ему выпустил кишки, как на бое быков. Но меня он спас. Если бы не он, от меня бы ничего не осталось. На Альфонзо в последнее время что-то часто стали находить такие приступы. Уже вторую собаку он убил за это время.

Коллинз покачал головой.

— У меня подходящей собаки не найдется, — сказал он, затем его глаза случайно остановились на Майкле. — Попытайтесь поработать с этим терьером. Терьеры вполне для этого дела подходят.

— Я возлагаю все надежды на эрделей, когда мне приходится иметь дело со львами или леопардами, — колебался укротитель леопардов.

— Ирландский терьер будет очень хорош в этой роли. Поглядите на этого пса. Обратите внимание на его вес и размеры. Заберите его у меня, он как

раз вам подойдет. Он никому не уступит и никого не боится. Испытайте его. Если он вам подойдет, я вам дешево уступлю. Ирландский терьер в клетке леопарда — это новость.

— Если он заденет его кошек, они его живо прикончат, — сказал Джонни Коллинзу, когда Майкла увел укротитель леопардов.

— Возможно, что цирковая арена лишится великолепного номера, — ответил, пожимая плечами, Коллинз. — Но как бы там ни было, я рад от него избавиться. Когда собака начинает постоянно кукситься, то с ней все кончено. Тут уже ничего не поделаешь. У меня бывали уже такие экземпляры.

* * *

А Майкл приступил к выполнению назначенной ему роли и познакомился с Джеком — уцелевшей пока от когтей леопарда собакой. В громадной пятнистой кошке он признал исконного, древнего врага своего рода и, не входя еще в клетку, весь ощетинился, кожа на его затылке туго натянулась, и шерсть стала дыбом. Для всех участников момент появления новой собаки в клетке леопарда — момент очень жуткий и напряженный. Укротитель, именуемый на афишах

Рауль Кастлемон, но известный в дружеском кругу под именем Ральфа, находился уже в клетке. Джек был с ним, а снаружи клетки стояло несколько человек, вооруженных железными прутьями и длинными стальными вилами. Свое оружие они держали наготове, просунув между перекладинами клетки, угрожая леопардам, не желавшим подвергаться никакой дрессировке.

Леопарды сразу почуяли присутствие Майкла, зафыркали, забили по бокам длинными хвостами и приготовились к прыжку. В ту же секунду укротитель заговорил с ними повелительным тоном и поднял бич, а стоявшие снаружи люди угрожающе выдвинули свои прутья и вилы между перекладинами клетки. И леопарды, знакомые с железом по горькому опыту, замерли в своих позах, но продолжали сердито бить хвостами по бокам.

Майкл не был трусом. Он не спрятался за человека и не искал у него помощи. Но он был слишком умен, чтобы нападать на таких громадных животных. Ощетинившись, он гордо прошелся вдоль клетки, лицом к врагу, затем повернулся, гордо пошел обратно и остановился около Джека, который приветствовал его дружеским ворчанием.

— Он великолепно себя держит, — пробормотал укротитель странным, напряженным голосом. — Его они, пожалуй, не тронут.

Положение было очень серьезно, и Ральф вел дело с большой осторожностью. Он избегал резких движений, не спуская глаз с собак, с леопардов, а также и с людей, стоявших с прутьями и вилами перед клеткой. Он заставил леопардов переменить позу и отойти друг от друга. По его приказу Джек прошелся между ними, а за ним, по собственной инициативе, последовал и Майкл. Он, как и Джек, шел решительно и твердо, но все же был очень осторожен.

Один из леопардов, Альфонзо, неожиданно фыркнул на него. Майкл не остановился, но его шерсть вся стала дыбом, и он обнажил клыки в безмолвном рычании. В ту же секунду ближайший железный прут угрожающе прикоснулся к Альфонзо, и тот перевел свои желтые глаза с Майкла на железо, а затем обратно, но больше никакой враждебности не выказывал.

Первый день был самым трудным. Затем уже леопарды подпускали к себе Майкла, как они подпускали Джека. Ни симпатии, ни дружелюбия не было проявлено ни с той, ни с другой стороны. Майкл скоро понял, что человек и собаки были

в одном лагере и что человек и собаки должны крепко держаться друг за друга. Он ежедневно проводил в клетке до двух часов, наблюдая за работой укротителя, причем его роль, как и роль Джека, сводилась к готовности защищать человека в случае какого-либо несчастья. Иногда, когда леопарды, казалось, были покорны, Ральф позволял собакам ложиться спокойно на пол клетки. Но в остальное время он наблюдал за тем, чтобы собаки были всегда наготове прыгнуть между ним и леопардами.

Остальное время Майкл проводил с Джеком, которого перевели к нему в восемнадцатый номер. Как и за всеми животными в Сидеруайльдской школе, за ними был хороший уход — их мыли, скребли и избавляли от паразитов. Для трехлетней собаки Джек был очень спокоен и положителен. Он или никогда не умел играть, или успел позабыть об играх. Характер у него был кроткий и ровный, и злые вспышки Майкла не производили на него впечатления. В атмосфере тихой и спокойной дружбы Майкл вскоре отвык от сварливых выходок. Эта дружба не проявлялась в шумных играх и не нуждалась в выражении взаимной симпатии — им достаточно было часами лежать рядом, радуясь

ощущению близости друга.

Иногда к Майклу доносились крики и призывы Сары — он знал, что она зовет его. Однажды ей удалось вырваться из рук приставленного к ней мальчика, и она бросилась к Майклу, выходившему в этот момент из клетки леопардов. С резким, радостным криком она вскочила на него, крепко прильнула к его голове и истерически заболтала о всех своих страданиях за время разлуки. Укротитель леопардов отнесся к ней терпимо и дал ей наговориться. Но в конце концов приставленный к ней мальчик оторвал ее от Майкла, причем она, как настоящая ведьма, подняла крик на всю школу. Когда ему удалось ее отцепить, она бросилась на него и, прежде чем он успел схватить ее за горло, вонзила свои зубки в его большой палец и руку. Это происшествие развеселило всех присутствующих, но визг и крики Сары взволновали леопардов, и они фыркали и бросались на стенки клетки. Когда Сару уносили, она захныкала, как хнычут обиженные дети.

Несмотря на то что Майкл прекрасно справлялся со своей новой ролью, Рауль Кастлемон не купил его у Коллинза. Однажды утром Сидеруайльдская школа была приведена в смятение шумом и ревом, доносившимся из клетки лео-

пардов. Волнение было вызвано револьверными выстрелами и широко распространилось по школе. Все львы рычали, а собаки неистово лаяли. Занятия на арене прекратились, потому что животные были не в состоянии продолжать работу. Несколько человек, в том числе и Коллинз, бросились по направлению к клеткам. Приставленный к Саре мальчик отпустил цепь и побежал вслед за ними.

— Это Альфонзо — готов пари держать! — крикнул на бегу Коллинз одному из помощников. — Он теперь разделается с Ральфом.

Дело разыгралось не на шутку и подходило уже к развязке, когда Коллинз подбежал к клетке. Кастлемона только что вытащили из клетки, положили на пол и захлопнули дверцу. Внутри диким клубком свились и боролись Альфонзо, Джек и Майкл. Стоявшие снаружи люди метались во все стороны, стараясь разделить их железными прутьями. В отдаленном углу клетки остальные леопарды зализывали свои раны, рычали и бросались на железные прутья, не допускавшие их принять участие в сражении.

Появление Сары и все, что за этим последовало, было делом нескольких секунд. Цепочка волочилась за ней по земле, но эта маленькая

зеленоватая, хвостатая самочка, познавшая на земле любовь и истерию, отдаленная сестра наших женщин, бросилась к узким перекладинам клетки и протиснулась в нее. Внезапно клубок разлетелся в разные стороны. Майкла бросило об стенку клетки, он упал на пол, попытался вскочить, но весь сжался и опустился обратно на пол — кровь ручьем лила из его разодранного, сломанного плеча. Сара прыгнула к нему, обняла и нежно прижала его голову к своей плоской волосатой груди. Она издавала несвязные сочувствующие крики и, когда Майкл пытался подняться на сломанной лапе, с суровой нежностью напала на него и старалась увлечь его подальше от битвы. Она с ненавистью глядела на Альфонзо и выкрикивала какие-то проклятия по его адресу.

В этот момент внимание леопарда было отвлечено железным ломом. Он ударил по нему лапой, но когда лом снова ткнулся в него, Альфонзо бросился на него и принялся грызть железо зубами. Затем он одним прыжком очутился у стенки клетки и разодрал ударом своей лапы руку, державшую лом. Человек бросил свое оружие и отпрянул в сторону. Альфонзо одним прыжком очутился на Джеке, который к тому времени

уже выбыл из строя и, растерзанный, трепетал в агонии.

Майкл приподнялся на трех лапах и хромая пытался избавиться от удерживавшей его Сары. Бешеный леопард готов был прыгнуть на них, но снова был отвлечен железным прутом. Теперь он сразу бросился на человека и с такой яростью потрясал стенки клетки, что, казалось, вся клетка разлетится вдребезги. В клетку просунули новые прутья, но отвлечь Альфонзо было не так-то легко. Он приблизился к Майклу, и Сара встретила его неистово-диким визгом. Коллинз выхватил револьвер у одного из помощников.

— Не убивайте его! — закричал Кастлемон, хватая руку Коллинза.

Укротителю леопардов самому приходилось несладко. Одна рука его беспомощно болталась, и глаза заливала кровь, струившаяся из раны на голове; чтобы следить за событиями, он вытирал глаза о плечо Коллинза.

— Альфонзо — моя собственность, — протестовал он. — Он стоит дороже сотни таких дохлых обезьян и терьеров. И во всяком случае мы можем их вытащить. Помогите мне. Пожалуйста, вытрите кто-нибудь мне глаза. Я ничего не вижу. Нет ли у кого из вас холостых патронов? Я все

свои истратил.

В какой-то момент Сара, казалось, хотела броситься между Майклом и леопардом, отвлекаемым железными прутьями и вилами; затем она завизжала прямо в лицо громадной оскалившей клыки кошке, как будто проявление ее вражды могло испугать ту и принудить к отступлению.

Майкл, весь ощетинившись, рыча и увлекая ее за собой, протащился немного, ковыляя на трех лапах, но нечаянно наступил на изуродованную лапу и упал. И тогда Сара совершила свой великий подвиг. С яростным визгом она бросилась прямо на голову чудовищной кошки, царапая руками и ногами ее морду, и впилась зубами в ее ухо. Изумленный леопард взвился на дыбы, стараясь передними лапами сбросить и сорвать с себя крепко вцепившегося дьяволенка.

Борьба, а с нею и жизнь маленькой зеленоватой обезьянки длились еще каких-нибудь десять секунд. Но этого было достаточно, и Коллинз успел приоткрыть дверцу клетки и, схватив заднюю ногу Майкла, вытащить его и бросить на пол.

Глава XXX

Если бы не умелая и своевременная помощь, Майкл бы не выжил. Но опытный и искусный хирург принялся за него и произвел над плечом Майкла смелую операцию, какую он никогда бы не решился произвести над плечом человека. Майкла же эта операция спасла.

— Он останется хромым, — сказал хирург, вытирая руки и разглядывая неподвижно лежащего в гипсе Майкла. — Ему необходим хороший уход. Если температура поднимется, нам придется его прикончить. Сколько он стоит?

— Он ничего не умеет, — отвечал Коллинз. — Возможно, пятьдесят долларов, но сейчас он, вероятно, и этого не стоит. Хромую собаку ничему и учить не стоит.

Время доказало неправоту обоих собеседников. Майклу не было суждено остаться хромым, хотя в первое время плечо сохраняло чувствительность и по временам, при сырой погоде, он слегка прихрамывал, чтобы не растравлять боль. С другой стороны, он вскоре был оценен в крупную сумму и стал светилом цирковой арены, как это было предсказано Дель Маром.

Пока что он много скучных, томительных дней пролежал в гипсе. Уход за ним был превосходный, и за его температурой тщательно следили. Но этот уход не был вызван любовью к нему или вниманием, — нет, это просто входило в систему, создавшую Сидеруайльдской школе такую популярность. Когда гипс был снят, Майкл был лишен того инстинктивного удовольствия, какое животные получают при зализывании своих ран: на все раны были наложены искусные повязки. Когда их, наконец, сняли, нечего было зализывать, — ран уже не было, и лишь где-то глубоко в плече чувствовалась глухая боль. Через несколько месяцев и эта боль прекратилась.

Гаррис Коллинз не надоедал ему больше цирковыми упражнениями и в один прекрасный день одолжил его в качестве статиста одной чете, потерявшей трех собак от воспаления легких.

— Если он вам подойдет, вы можете получить его за двадцать долларов, — заявил Коллинз Уилтону Дэвису.

— А если он околеет? — спросил Дэвис.

Коллинз пожал плечами.

— Я о нем не стану плакать по ночам. Его ничему не научишь.

Майкла посадили в клетку, и он на грузови-

ке покинул Сидеруайльдскую школу. По всем данным ему не суждено было вернуться, потому что Уилтон Дэвис был известен среди своих собратьев по ремеслу жестокостью с собаками. Он еще стал бы ухаживать за собакой, умеющей выполнять какие-нибудь особенные трюки, но статисты были слишком дешевы, и с ними церемониться не стоило. Они обходились ему от трех до пяти долларов штука. Но Майкл, очевидно, достался ему совсем даром, и если бы он околел, то Дэвису пришлось бы только подыскать себе другую собаку.

Первые впечатления новой жизни не были особенно тяжелы, хотя клетка была настолько мала, что невозможно было выпрямиться и дорожная тряска тяжело отзывалась на его больном плече. Проехать пришлось лишь до Бруклина, и Майкл был доставлен в небольшой второразрядный театр. Уилтон Дэвис пользовался репутацией второстепенного дрессировщика, и ему никогда не удавалось выступить в крупных цирках.

Настоящие страдания были впереди. Клетку Майкла перенесли в большое помещение над сценой и поставили вместе с другими клетками. В этих клетках находились остальные собаки Дэвиса — жалкие и несчастные полукровки,

заморенные и окончательно павшие духом. У многих из них головы были покрыты болячками — следами палки Дэвиса. Никто не следил за их ранами, и им нисколько не помогала мазь, какой их мазали в дни представлений, чтобы скрыть раны от взоров публики. По временам некоторые из них начинали жалобно выть, и каждую минуту они были готовы лаять, словно это было все, что им оставалось делать в их крохотных клетушках.

Один лишь Майкл не принимал участия в общем хоре. Он перестал лаять уже давно, с тех пор как ненависть к Коллинзу породила в его характере черты угрюмости и мрачности. Он стал слишком необщителен, чтобы выражать вслух свое настроение. Он не мог подражать тем сварливым собакам, что ссорились и огрызались друг на друга из-за прутьев своих клеток. Настолько глубока была его мрачная задумчивость, что он не мог ссориться с себе подобными. Ему хотелось только одиночества, и одиночества он за первые сорок восемь часов имел в избытке.

Уилтон Дэвис заблаговременно привез свою группу в театр, и его выступление было назначено лишь через пять дней. Он воспользовался этим обстоятельством для поездки к родным жены в

Нью-Джерси и заплатил одному из служителей, чтобы тот кормил и поил его собак. Служитель, наверное, исполнил бы взятое им на себя обязательство, если бы, к несчастью, не ввязался в ссору с трактирщиком, и эта ссора не окончилась разбитой скулой и каретой скорой помощи. В довершение всего театр по требованию пожарной комиссии был закрыт на три дня для ремонта.

Никто не подходил близко к помещению, где находились собаки, и через несколько часов Майкл почувствовал голод и жажду. Время шло, и голод уступил место жажде. Ночью лай ни на минуту не прекращался, а к утру он перешел в жалобный вой. Майкл один не издал ни звука, безмолвно страдая в этом аду.

Наступило утро следующего дня. Время медленно тянулось, и приближалась вторая ночь. Ночная темнота покрыла собой сцены, превышающие всякое воображение и достаточные для запрещения всех представлений с дрессированными животными во всех цирках и ярмарочных палатках всего мира. Дремал ли Майкл или находился в полуобморочном состоянии, неизвестно, но как бы там ни было, он переживал всю свою жизнь — с рождения. Снова он маленьким щенком носился по широким верандам бунгало

мистера Хаггина в Мериндже; вместе с Джерри он крался по опушке леса, пробираясь к отмелям реки, чтобы посмотреть на крокодилов; или же мистер Хаггин и Боб натаскивали его, и он, подражая Бидди и Терренсу, считал чернокожих богами незначительными и презираемыми и учился держать их в повиновении.

Майкл отплывал с капитаном Келларом на шхуне «Эжени» и на берегу в Тулаги отдавал свое сердце баталеру с волшебными пальцами. Затем он с ним и Квэком отплывал на пароходе «Макамбо». Баталер отчетливо выделялся на туманном фоне судов и других людей, таких как Бывший моряк, Симон Нишиканта, Гримшоу, капитан Доун и маленький, старенький А Мой. Затем появились Скрэпс и Кокки — храбрая крошка, сумевшая красиво прожить свою короткую жизнь на земле. Майклу казалось, что с одной стороны к нему прильнул Кокки, болтая всякую всячину у него над ухом, а с другой стороны Сара ведет свою нескончаемую и непередаваемую повесть. Затем глубоко где-то он чувствовал прикосновение волшебных ласкающих пальцев возлюбленного баталера.

— Что-то мне не везет с ними, — скулил Уилтон Дэвис, разглядывая своих собак. Воздух, казалось,

еще дрожал от ругательств, в каких он излил свою злобу и недовольство.

— В другой раз не станешь доверяться пьянице, — спокойно заметила жена. — Я не удивлюсь, если половила их передохнет.

— Ладно, теперь не время для разговоров, — зарычал Дэвис, снимая пальто. — Надо приниматься за дело, дорогая, и ознакомиться с положением. Первым делом их надо напоить. Я дам им целую лохань воды.

В углу комнаты был водопроводный кран, и Дэвис наполнил водой большую железную лохань. Услышав звуки льющейся воды, собаки принялись выть и визжать. Некоторые пытались распухшим от жажды языком лизнуть грубо вытаскивавшую их из клетки руку. Более слабые ползли к лохани на брюхе, но были оттерты более сильными собаками. Для всех сразу не хватало места, и более сильные напились первыми, причем дело не обходилось без свар и драк — в ход были пущены даже клыки. В числе первых был и Майкл. Кусаясь и огрызаясь, он пробрался к живительной влаге. Дэвис вертелся тут же, раздавая удары направо и налево, так что доставалось решительно всем. Его жена помогала ему, разгоняя собак шваброй. Это был ад, и как только

собакам удавалось промочить пересохшее от жажды горло, они снова принимались визжать и выть, жалуясь на голод и боль.

Некоторые собаки были слишком слабы и не могли добраться до воды, и им эту воду подносили и насильно вливали в глотку. Казалось, собаки никогда не утолят своей жажды. Они без сил валялись по всей комнате, но поминутно то одна, то другая подползали к лохани и принимались лакать воду. Тем временем Дэвис развел огонь и наполнил котел картофелем.

— Как здесь воняет, — заметила миссис Дэвис, хорошенько напудрив кончик носа пуховкой. — Нам придется их выкупать, дружок.

— Хорошо, милочка, — согласился ее супруг. — И чем скорее, тем лучше. Пока картофель сварится и остынет, мы с ними справимся. Я их вымою, а тебе придется их обсушивать. Вытирай их хорошенько, вспомни про околевших от воспаления легких.

Это купание было жестокой, короткой операцией. Хватая любую собаку, что была поближе, Дэвис совал ее в лохань, из которой собаки только что пили. Когда испуганная собака пыталась сопротивляться, он колотил ее по голове щеткой или бруском мыла для стирки. На каждую собаку

он тратил всего несколько минут.

— Пей, проклятая, пей — на, вот тебе! — приговаривал он, окуная собаку с головой в грязную мыльную воду.

Казалось, он считал собак ответственными за ужасные условия, в каких он их нашел, и рассматривал их грязь и запущенность как личное оскорбление.

Майкл взвыл, когда его окунули в лохань. Он понимал, что купание необходимо, но в Сидерайльде эту операцию проделывали куда лучше и основательнее, а Квэк и баталер вкладывали в нее столько любви и нежности, что купание казалось лаской, а не гигиенической необходимостью. Итак, он терпеливо сносил все, пока Дэвис скреб и мыл его, и все сошло бы благополучно, если бы Дэвис ни вздумал окунуть его с головой в воду. Майкл вскинул голову и угрожающе зарычал. Вооруженная щеткой рука Дэвиса остановилась на полдороге, и изумленный Дэвис тихонько засвистал.

— Алло, — сказал он наконец. — Погляди-ка, кто у меня в руках! Милочка, вот тот ирландский терьер, которого я достал у Коллинза. Он ни на что не годится. Сам Коллинз говорил мне это. Только на роли статиста. Выходи! — скомандовал

он Майклу. — На первый раз достаточно. Но смотри, ты у меня скоро так запляшешь, что у тебя в глазах потемнеет.

Пока картофель остывал, миссис Дэвис своим резким голосом отгоняла собак от миски. Майкл угрюмо лежал в сторонке и не принял участия в общей свалке, когда, наконец, было получено разрешение приступить к еде. Теперь Дэвис снова вертелся среди собак, отгоняя более сильных и ловких от миски с картофелем.

— Если они будут кукситься после всего, что мы для них сегодня сделали, ткни их хорошенько палкой в ребра, душечка, — сказал он жене. — Вот тебе! Будешь, будешь еще? — Это относилось к большой черной собаке и сопровождалось бешеным пинком в бок. Животное взвыло от боли и, отбежав на некоторое расстояние, с тоской глядело на дымящуюся пищу.

— Ладно, теперь они уже не посмеют сказать, что я никогда не купаю своих собак, — заметил Дэвис, споласкивая руки у крана. — Что скажешь, душечка, мы здорово поработали с тобой сегодня! — Миссис Дэвис кивнула головой в знак согласия. — Репетиции мы им устроим завтра и послезавтра. Я еще вечерком зайду сюда и сварю им отрубей. После двухдневного поста им полага-

ется эксклюзивное блюдо.

Картофель был съеден, и собак рассовали обратно по клеткам. В мисочки им налили воду, а вечером по клеткам разнесли похлебку из отрубей и сухарей. Это было первой пищей Майкла, потому что он угрюмо отказывался приблизиться к картофелю.

Репетиции происходили на сцене и, на несчастье Майкла, происходили одновременно с выполнением одного музыкального номера. Предполагалось, что к моменту поднятия занавеса двадцать собак будут рассажены полукругом на стульях. Пока их рассаживали, перед занавесом исполнялся номер, стоявший по программе до номера Дэвиса. Поэтому от собак требовалось абсолютное молчание. Но затем, после поднятия занавеса, все собаки должны были хором залаять.

Майклу, в качестве статиста, приходилось лишь смирно сидеть на стуле. Но его надо было посадить на стул, и Дэвис, отдавая ему приказание, сопровождал его ударом по голове. Майкл угрожающе зарычал.

— Ого, вот как! — усмехнулся Дэвис. — Это ты, новичок, бунтуешь? Тебе придется от этих штук отвыкнуть и смириться, как и все остальные

смирились. Душечка, последи-ка за остальными собаками, а я пока задам новичку урок номер первый.

Чем меньше мы скажем о последовавших затем побоях, тем лучше. Майкл пытался бороться с человеком, но его положение было совершенно безнадежно. Избитый и окровавленный, он уселся, наконец, на стул, не принимая участия в представлении, а тоска его становилась все более глубокой и горькой. Ему не трудно было молчать до начала представления, но когда занавес взвился, он отказался принимать участие в общем хоре неистово лающих и воющих собак.

Поодиночке, а иногда и группами по две, три и более собаки по команде покидали свои места и показывали обычные фокусы — ходили на задних лапах, прыгали, танцевали и кувыркались. На репетициях Уилтон Дэвис был требователен и скор на расправу, что доказывалось резким визгом неповоротливых или непонятливых собак.

За полтора дня были устроены три основательные репетиции. Злоключения Майкла пока как будто прекратились. По команде он молча влезал на стул и молча на нем устраивался.

— Вот видишь, душечка, маленькая трепка идет только на пользу, — похвастался Дэвис

своей жене. Достойная чета не представляла себе, какой конфуз им устроит Майкл на первом представлении.

Все было готово на сцене позади занавеса. Собаки в унизительном молчании сидели по своим местам, а Дэвис и его жена находились тут же, понуждая их соблюдать тишину, пока перед занавесом Дик и Дэзи Белл услаждали на утреннем представлении публику пением и танцами. Все шло хорошо, и никому из зрителей и в голову не пришло бы, что за занавесом находится двадцать собак, если бы Дик и Дэзи в сопровождении оркестра не начали петь «Свези меня в Рио».

Майкл ничего не мог с этим поделать. Совершенно так же, как Квэк покорял его в прежнее время своим варганчиком, баталер — любовью, а Гарри Дель Мар — гармоникой, так и теперь он был увлечен звуками оркестра и голосами людей, певших старинную, знакомую всем с детства песенку, какой его когда-то научил баталер. Наперекор своей воле, наперекор угрюмости какая-то неведомая сила заставила его разжать челюсти и завыть в унисон.

Из зрительного зала послышались смешки женщин и детей, смешки перешли в хохот, и он заглушил голоса Дика и Дэзи. Уилтон Дэвис, испу-

стив невероятное проклятие, кинулся к Майклу. Но Майкл продолжал выть, а публика смеяться. Майкл все еще выл, когда Дэвис треснул его дубинкой. Невольно взвизгнув от боли, Майкл перестал подвывать пению.

— Разбей ему башку, голубчик, — посоветовала миссис Дэвис.

Затем началось генеральное сражение. Удары Дэвиса и рычание Майкла были отлично слышны в зрительном зале. Комическое убило впечатление от пения Дика и Дэзи Белл. Их номер пропал. Номер Дэвиса, по выражению Дэвиса, «прошел вверх тормашками». Голова Майкла была разбита в полном смысле этого слова. Публика по другую сторону занавеса искренне веселилась.

Дику и Дэзи пришлось прекратить пение. Публика требовала, чтобы ей показали, кто сидит за занавесом. Один из служителей унес Майкла за шиворот со сцены, и занавес взвился над собачьей труппой — пустовало лишь одно место. Мальчики в зрительном зале первые связали между собой такие разнородные явления, как пустой стул и раздававшиеся из-за занавеса вой и визг, и начали громко требовать, чтобы им показали недостающую собаку. Публика подхватила этот крик, собаки возбужденно лаяли, и всеобщее

веселье сбило их с толку. Когда, наконец, можно было начать представление, то собаки поминутно ошибались и путали, а Уилтон Дэвис бесился.

— Все пустяки, голубчик, — сценическим шепотом успокаивала его невозмутимая жена. — Мы покончим с этой собакой и достанем другую, более толковую. Во всяком случае, мы напакостили этой Дэзи Белл. Я тебе не успела еще рассказать, что она про меня говорила моим подругам на той неделе.

Спустя несколько минут ее супруг, улучив момент, пробормотал:

— Все этот проклятый пес виноват. Я ему покажу потом. Я из него все кишки выпущу.

— Хорошо, душечка, — согласилась она.

Публика веселилась вовсю. Когда, наконец, занавес опустился и собаки были водворены обратно в помещение над сценой, Уилтон Дэвис пустился на поиски Майкла. Майкл не стал трусливо прятаться по углам; он стоял между ног служителя, весь дрожа от оскорбления, готовый вступить в новый бой по первому вызову. По дороге Дэвис встретил парочку Белл. Бешенство жены выражалось слезами, а бешенство мужа выразилось иначе:

— Вы — тыква, а не дрессировщик, вот вы что

такое! — воинственно заявил он.

— Отвяжитесь от меня, не то я вам покажу, что я такое, — взревел Уилтон Дэвис, размахивая железным прутом. — Впрочем, подождите, коли желаете, и я позже расправлюсь с вами. Прежде всего я должен покончить с этим псом. Ступайте за мной — черт бы его побрал! Почем я мог знать, что так случится? Это — новичок. На репетициях он и голоса не подавал. Почем я мог знать, что он завоет, пока мы будем готовиться к вашему номеру за занавесом?

— Вы тут, черт знает что такое натворили, — «приветствовал» Дэвиса директор театра, когда последний, сопровождаемый Диком Беллом, двинулся на Майкла. Тот, весь ощетинившись, неподвижно стоял между ног служителя.

— Это еще цветочки в сравнении с тем, что сейчас будет, — отрезал Дэвис, крепче сжимая в руке железный прут и замахиваясь им на Майкла. — Я убью его! Я из него все кишки выпущу. Полюбуйтесь, пожалуйста!

Почуяв угрозу, Майкл зарычал и приготовился к прыжку, не спуская глаз с железного прута.

— Боюсь, что вам не придется его убивать, — заявил Дэвису служитель.

— Он мой, и что я хочу, то я с ним и сделаю, —

объявил, с глубоким убеждением в своем праве на жизнь и смерть Майкла, Дэвис.

— Я готов заложить против этого свой здравый смысл, — отвечал служитель. — Попробуйте только ударить его, и вы увидите, что с вами будет. Собака — это собака, а человек — человек, но будь я проклят, если я знаю, что вы такое. Вы не смеете быть жестоким с этим псом. Он в первый раз в жизни был на сцене после того, как чуть не околел от голода и жажды. О, я прекрасно знаю это, господин директор.

— Если вы убьете пса, вам придется заплатить один доллар мусорщику, чтобы он его отсюда унес, — вмешался директор.

— Охотно заплачу, — сказал Дэвис, снова замахиваясь своим оружием.

— Мне опротивели все эти негодяи-дрессировщики, — заявил служитель. — Вы заставляете меня выйти из себя. Слушайте, если вы его тронете вашим дурацким ломом, то я готов потерять свое место, но так вас отколочу, что вас придется отвезти в больницу.

— Послушайте, Джексон… — угрожающе начал директор.

— Вы ничего не можете со мной сделать, — отрезал тот. — Я готов на все. Если эта скотина

дотронется до собаки хоть одним пальцем, я его разделаю на славу. Мне давно осточертели эти гады, истязающие своих животных. У меня вся душа болит, хватит с меня!

Директор посмотрел на Джексона и беспомощно пожал плечами.

— Я думаю, не стоит поднимать все вверх дном, — посоветовал он. — Я не хочу терять Джексона, а он наверняка изувечит вас, если рассвирепеет. Отошлите собаку обратно тому, у кого вы ее получили. Ваша жена говорила мне о нем. Посадите ее в клетку и отошлите ее наложенным платежом. Коллинз не будет на вас в претензии. Он выбьет из нее это пение и научит чему-нибудь путному.

Кинув взгляд на свирепого Джексона, Дэвис начал сдаваться.

— Я устрою вам все, — продолжал убеждать его директор. — Джексон возьмет все хлопоты на себя. Правда, Джексон?

Служитель кивнул головой, затем наклонился и ласково погладил взъерошенную голову Майкла.

— Ладно, — согласился Дэвис, поворачиваясь на каблуках. — Охота же людям валять дурака из-за собаки. Поработали бы с мое…

Глава XXXI

«Его пение меня не устраивает», — объяснял Дэвис в посланной им Коллинзу открытке. Этими словами Дэвис бессознательно давал Коллинзу путеводную нить к тайне Майкла, а Коллинз так же бессознательно упустил ее и обратился к Джонни:

— Судя по следам побоев, нечему удивляться, что он запел. В этом-то и заключается беда наших дрессировщиков. Они не умеют беречь своей собственности. Он чуть голову собаке не проломил, а затем бесится, что собака не хочет быть покорной, как ангелочек. Уберите его, Джонни. Вымойте его хорошенько и наложите перевязки на все раны. Мне он ни к чему, и я скоро пристрою его в какую-нибудь собачью труппу.

Прошло две недели, и Гаррис Коллинз, по чистой случайности, открыл талант Майкла. В свободную минуту он послал за ним, чтобы показать дрессировщику, нуждавшемуся в статистах. Майкл вставал, ложился, подходил и уходил, но большего от него добиться нельзя было. Он отказывался проделывать самые элементарные трюки, известные каждой цирковой собаке, и

Коллинз отошел на другой конец арены, где готовили к выступлению оркестр обезьян.

Напуганных и сопротивляющихся обезьян привязывали к стульям и инструментам, а затем скрытые за кулисами помощники дергали за скрытые от публики проволоки, прикрепленные к рукам и ногам обезьян. Дирижер оркестра — старая раздражительная обезьяна — был тщательно привязан к вращающемуся табурету. Из-за кулис ее дразнили длинным шестом, она бесилась и выходила из себя. Тогда помощники принимались с помощью скрытых веревок вертеть ее табуретку. Публике же казалось, что обезьяна сердится на ошибки своих товарищей-музыкантов, и она смеялась над нелепостью этого зрелища. Недаром Коллинз утверждал:

— Обезьяний оркестр всегда производит фурор. Он вызывает смех, а смех заставляет людей раскошеливаться. Людям нравится смеяться над обезьянами, потому что они так похожи на нас и в то же время мы чувствуем свое превосходство над ними. Предположите, что мы с вами идем по улице и вы поскользнулись и падаете. Конечно, я буду смеяться. Это потому, что я буду чувствовать свое превосходство. Я-то ведь не упал. То же случится, если ветер унесет вашу шляпу. Понятно,

что я выше и лучше вас — моя шляпа сидит на мне крепко. То же происходит и с обезьяньим оркестром. Глупость обезьян подчеркивает наше превосходство… Нам кажется, что мы не так глупы. Поэтому мы охотно платим, чтобы полюбоваться их дурацким видом.

Эта репетиция устраивалась, собственно говоря, совсем не для обезьян. Скорее это была репетиция для людей, управлявших потайными нитями, заставлявшими обезьян дергаться. Гаррис Коллинз принимал в этой репетиции горячее участие.

— Ребята, ведь вы отлично могли бы заставить их играть по-настоящему. Это же зависит от вас, и вы можете легко устроить это. Давайте попытаемся. Над этим стоит поработать. Споем что-нибудь знакомое всем. Помните, что настоящий оркестр вас всегда вывезет. Ну, какую же песню все знают? Что-нибудь знакомое публике.

Он задумался над осуществлением своего плана и привлек к работе циркового наездника. Номер этого наездника состоял в том, что он, стоя на спине скачущего пони, играл на скрипке и, не переставая играть, кувыркался на своей ненадежной площадке. Коллинз попросил его медленно сыграть какую-нибудь несложную пе-

сенку, так, чтобы помощники могли овладеть ее ритмом и приладить инструменты и невидимые публике нити.

— Вам придется наврать, понятно, — пояснил им Коллинз. — Тогда вы хорошенько ткните дирижера и вертите изо всех сил табуретку. Публика так и покатится со смеху. Со стороны может показаться, что у этой обезьяны хороший музыкальный слух и что она сердится на музыкантов.

В самом разгаре репетиции к нему подошел Джонни с Майклом.

— Этот парень говорит, что он его и даром не возьмет, — доложил Джонни своему хозяину.

— Ну, хорошо, хорошо, отведите его обратно, — наскоро приказал Коллинз. — Эй, ребята, давайте все разом «Мой дом, мой дом». Валяйте, Фишер! А вы все следите за тактом! Вот так! В сопровождении полного оркестра вы сможете свободно вести мелодию. Поскорее, Симонс! Вы все время отстаете.

Вот тут-то все и открылось. Джонни не торопился с исполнением приказания и медлил, рассчитывая полюбоваться дирижером, бесящимся на вертящемся табурете. Майкл присел на задних лапах недалеко от скрипача. По знаку Коллинза скрипач с выражением медленно и

громко заиграл «Мой дом, мой дом».

Майкл ничего не мог поделать. Это было не в его власти, как не в его власти было не рычать, когда ему угрожали дубинкой; он не мог удержаться, как не удержался в тот день, когда, увлеченный звуками песни «Свези меня в Рио», погубил выступление Дика и Дэзи Белл; Джерри на палубе «Ариэля» так же невольно подпевал Вилле Кеннан, когда та, склоняясь к нему в ореоле своих волос, обнимала его и, лаская, заставляла возвращаться к времени древней стаи. То, что случилось с Джерри, случилось с Майклом. Музыка была для него сладким ядом мечтаний. Он тоже вспоминал утерянную стаю и искал ее в морозной ночной тьме, по голым, покрытым снегом холмам, под сверкающими звездами и ловил слабый ответный вой с далеких холмов, где собиралась его стая. Стая была безвозвратно потеряна, и тысячелетия прошли с тех пор, как предки Майкла стали жить у очага человека. Но магия звуков пробудила память Майкла и наполнила его видениями и образами *иного*, чего он в своей жизни не знал.

С мечтами об *ином* были связаны воспоминания о любимом баталере — с ним он учился петь эту песню, которую играл здесь цирковой

наездник-скрипач. Челюсти Майкла разжались, в горле что-то забилось, передние лапы задвигались, словно он бежал куда-то вдаль — в глубине своего существа он действительно бежал, — обратно к баталеру, обратно, через тысячелетия, к утерянной стае и с призрачными тенями своих собратьев он, выслеживая добычу, носился по покрытым снегом равнинам и лесам.

С открытыми глазами он предавался мечтам о потерянных собратьях: казалось, они окружали его, и он выл и перебирал лапами, забыв об окружающем его мире. Удивленный скрипач остановился; помощники раздразнили дирижера оркестра и вертели беснующуюся обезьяну на ее вращающемся табурете. Джонни хохотал. Но Гаррис Коллинз прислушался. Он ясно слышал, что Майкл подвывал в такт музыке. Он слышал, что Майкл пел — нет, не выл, а по-настоящему пел.

Наступила тишина. Дирижер оркестра перестал вертеться и бесноваться. Помощники, дразнившие его, опустили шесты и вертевшие табурет проволоки. Остальные обезьяны трепетали в ожидании грядущих издевательств и жестокостей. Скрипач изумленно таращил глаза. Джонни весь сотрясался от смеха. Но Гаррис Коллинз подумал, почесал затылок и снова задумался.

— Вы не скажете… — нерешительно начал он. — Я уверен. Я сам слыхал. Собака следит за мелодией. Или вы со мной не согласны? Предоставляю вам убедиться самим. Разве он не пел? Этот проклятый пес пел. Готов прозакладывать свою голову. Постойте, ребята, освободите обезьян. Этим стоит заняться. Скрипач, повторите-ка «Мой дом, мой дом», — предоставим его самому себе. Ускоряйте и замедляйте темп, играйте то громче, то тише. Эй вы, все, постойте, послушайте и скажите, следит ли этот пес за мелодией или это у меня ум за разум зашел… Вот вам! Что вы на это скажете? Вот оно самое!

Двух мнений быть не могло. Челюсти Майкла разжались, и он после нескольких тактов принялся неустанно перебирать передними лапами и запел. Гаррис Коллинз вплотную подошел к нему и подпевал в унисон.

— Гарри Дель Мар был прав, продав своих собак и утверждая, что эта собака — чудо. Он понимал в этом толк. Это — пес-Карузо. Это уже не похоже на хор воющих заморышей, которых Кингман развозил по всем циркам, — это настоящий певец-солист. Не удивительно, что он не хотел ничему учиться. У него была готовая специальность. Подумать только! А я-то его отдавал этому

убийце собак Дэвису. Хорошо, что он вернулся. Джонни, поухаживайте за ним теперь хорошенько. Приведите его ко мне на дом вечерком — я ему устрою настоящий экзамен. Моя дочка хорошо играет на скрипке. Послушаем, что он там пропоет с ней. Это сокровище, а не собака, поверьте мне!

Итак, талант Майкла был открыт. Вечернее испытание прошло в общем успешно. После многих неудачных попыток Коллинзу удалось выяснить, что Майкл умел или соглашался петь английский гимн и «Баюшки-баю». Много дней продолжались эти испытания. Коллинз тщетно пытался научить Майкла новым песням. Майкл интереса не проявлял и угрюмо молчал. Но стоило заиграть при нем песню, разученную когда-то с баталером, как он начинал петь. Он не мог удержаться от пения. Магия звуков была сильнее его воли. В конце концов Коллинзу удалось подобрать репертуар из пяти песен: английский гимн, «Баюшки-баю», «Веди, благой свет», «Мой дом, мой дом» и «Свези меня в Рио». «Шенандоа» Майклу петь не пришлось — ни Коллинз, ни его дочь не знали этой старой матросской песенки.

— Пять песен — вполне достаточно, если он и не выучится ничему новому, — решил Коллинз. — Он и так будет всюду гвоздем программы.

Это сокровище, а не собака. Повесьте меня, если бы я не поехал с ним сам, будь я только молод и свободен.

Глава XXXII

Итак, Майкл был окончательно продан за две тысячи долларов некоему Джекобу Гендерсону.

— Я вам его даром отдаю, — сказал Коллинз. — Если вы не откажетесь продать его за пять тысяч в течение ближайших шести месяцев, значит, я ничего не понимаю в деле. Он совершенно затмит вашу последнюю собаку, знающую счет, а главное — вам и пальцем шевельнуть не придется во время его номера. Вы будете последним идиотом, если не застрахуете его за пятьдесят тысяч, как только он приобретет известность. Я о лучшем бы и не мечтал, будь я молод и свободен.

Гендерсон коренным образом отличался от всех прежних хозяев Майкла. Это было совершенно безликое создание. Он не был ни зол, ни добр. Он не пил, не курил, не ругался. Но он не посещал церкви и не принадлежал к Христианскому союзу молодежи. Он был вегетарианцем, но без фанатизма, любил кино, особенно фильмы о путешествиях, и почти все свободное время про-

водил за чтением Сведенборга[63]. Он был лишен всякого характера. Никто не видал его сердитым, и все утверждали, что он терпелив, как Иов. Он робел перед полисменами, железнодорожными служащими и кондукторами, хотя и не боялся их. Он ничего не боялся и ничего на свете не любил, кроме творений Сведенборга. Его характер был так же бесцветен, как его одежда, свисающие на лоб волосы и глядящие на мир глаза. Он не был ни глупцом, ни ученым мужем, ни педантом. Он ничего не вносил в окружавший его мир и ничего от него не требовал. В водовороте цирковой жизни он жил, как отшельник.

Майкл ни любить его, ни ненавидеть не мог, он просто мирился с ним. Они объездили все Соединенные Штаты и никогда не ссорились. Гендерсон ни разу не повысил голоса, и Майклу ни разу не пришлось на него зарычать. Они терпели друг друга и существовали бок о бок, потому что жизнь свела их вместе. Сердечных уз между ними не существовало. Гендерсон был господином, Майкл — его собственностью. Майкл так же

---

[63] notes: 63

Сведенборг (1688–1772) — ученый-натуралист, впоследствии «духовидец» и теософ (теософия — мистическое направление, которое стремится познать Бога чувственно-восторженным восприятием), основатель существующей в разных странах, — особенно в Англии и Америке, — секты сведенборгиан.

не существовал для Гендерсона, как он сам не существовал в потоке жизни.

Но в деле Гендерсон был честен, справедлив, деловит и методичен. Ежедневно, за исключением дней, проводимых в пути, он основательно купал Майкла и основательно его обсушивал. Он проделывал эту операцию спокойно и не торопясь. Майкл сам не знал, нравились ли ему эти купания или нет. Это входило в общий план его жизни, и, очевидно, эти частые купания входили в общий план жизни Гендерсона.

Обязанности Майкла были не трудны, но очень однообразны. В те дни, когда он не странствовал, переезжая из города в город, ему проходилось каждый вечер выступать, а затем были ведь еще и утренние представления! Занавес поднимался, и он оставался один на сцене, как оно и приличествует такой знаменитости. Гендерсон из-за кулис наблюдал за ним. Оркестр играл те песни, которые он пел когда-то с баталером, и Майкл подпевал — его модулированный вой действительно очень походил на пение. На бис Майкл исполнял «Мой дом, мой дом». Публика неистово аплодировала собаке-Карузо, и на аплодисменты выходил Джекоб Гендерсон, кланялся и заученной улыбкой выражал свою благодарность.

Правой рукой он опирался на плечо Майкла, как бы подчеркивая существующие между ними дружелюбные отношения, затем оба они еще раз кланялись, и занавес благополучно опускался.

И все-таки Майкл был пленником — пленником до конца своих дней. Его кормили, купали, водили гулять, но свободы он не имел. В дороге он дни и ночи проводил в клетке — правда, эта клетка была достаточно велика, и он свободно мог стоять и лежать. Иногда в отелях маленьких городов он спал в одной комнате с Гендерсоном. В театрах, где единственной собакой программы был Майкл, ему предоставляли отдельное помещение, и он, свободный от клетки, наслаждался в течение своих гастролей этим относительным комфортом.

Но ему ни разу не удавалось побегать на свободе, забыв о клетке, четырех стенах, отделявших его от мира, о цепочке и об ошейнике. Днем, в хорошую погоду, Гендерсон брал его с собой на прогулку. Но он никогда не пускал Майкла бегать без цепочки. Эти прогулки неизменно приводили их в какой-нибудь парк, и Гендерсон, прикрепив свободный конец цепочки к скамейке, усаживался сам и погружался в своего Сведенборга. Майклу не предоставлялось ни малейшей свобо-

ды. Другие собаки бегали, играли и дрались друг с другом. Но если они приближались к Майклу, Гендерсон неизменно откладывал в сторону книгу и не принимался за нее до тех пор, пока ему не удавалось их отогнать.

Пожизненный пленник безжизненного тюремщика, Майкл потерял всякий вкус к жизни. Его угрюмость сменилась глубокой меланхолией. Жизнь и ее простор перестали его интересовать. Нельзя сказать, чтобы он смотрел на окружающий мир с завистью — нет, его глаза просто перестали его видеть. Отделенный от жизни, он ее не знал. Он обратился в раба-марионетку — ел, позволял себя купать, странствовал в своей клетке и постоянно спал.

Майкл был очень горд — гордостью породистых существ. Это была гордость обращенных в рабство североамериканских индейцев, которые, не жалуясь, но и не позволив сломить себя, умирали на плантациях Вест-Индии. Так и Майкл покорился клетке и цепи, потому что его мускулы и зубы не могли одолеть их. Он покорно выступал на сцене и повиновался Джекобу Гендерсону, но он не любил своего хозяина и не боялся его. Чувств и мыслей своих он никогда не показывал. Он много спал, размышлял и спокойно переносил свое

одиночество. Если бы Гендерсон пытался завладеть его сердцем, он бы пошел ему навстречу, но Гендерсон отдал свое сердце фантастическим умствованиям Сведенборга и рассматривал Майкла лишь как средство заработка.

Иногда Майклу приходилось круто, но он мирился с этими временными лишениями. Самым тяжелым было путешествие по железным дорогам зимой. Иногда его прямо из театра привозили на вокзал, и ему часами приходилось дожидаться своего поезда на открытой платформе. Однажды ночью, на вокзале в Миннесоте, две собаки на соседней платформе замерзли насмерть. Майклу было очень холодно, особенно тяжело отзывался мороз в раненном леопардом плече. Если бы не его здоровье и предшествующий хороший уход, он бы этой ночи не перенес.

По сравнению с другими выступающими на сцене животными ему жилось хорошо. Он не понимал и не подозревал многого из жизни своих сотоварищей по программам варьете. Один номер особенно стал притчей во языцех всех эстрадников. Самые жестокие из них всем сердцем ненавидели этот номер и дрессировщика, хотя Дэкворт и «Дрессированные кошки и крысы Дэкворта» пользовались большим успехом у

публики.

— Дрессированные кошки! — фыркала хорошенькая велосипедистка Перл-Ла-Перл. — Дохлые кошки — вот они что такое! Все кошачье из них выбито, и они сами стали крысами. Тут и говорить не о чем. Я сама это отлично знаю!

— Дрессированные крысы! — вспылил акробат Мануэль Фонсека, отказавшись выпить в баре отеля «Аннандэйл» с Дэквортом. — Отравленные крысы — можете мне поверить. Отчего это они не спрыгивают со своего каната, а цепляются за него и ползут по нему между двумя кошками? У них просто нет сил спрыгнуть: он пичкает их какой-то отравой, когда они попадают к нему, а затем уже морит голодом, чтобы сэкономить для своих ядовитых специй. Он их никогда не кормит. Тут и говорить не о чем. Я это сам отлично знаю. Куда же он девает от сорока до пятидесяти крыс в неделю? Когда он не может раздобыть их в городе, ему присылают партию крыс с кораблей.

— Б-боже мой! — протестовала мисс Мерл Мерриуэзер, аккордеонистка. На сцене ей можно было дать лет шестнадцать, но в жизни, окруженная внуками, она не скрывала своих сорока восьми. — Как это публика идет на такую удочку, выше моего разумения. Я заглянула туда вчера

утром, раненько. Из тридцати крыс семь околели с голода. Он никогда их не кормит. Они околевают от голода, когда ползут по канату. Поэтому-то они и ползут. Если бы у них в животишках было по кусочку хлеба с сыром, они бы спрыгнули и удрали от кошки. Но они околевают — околевают на наших глазах; они ползут, как пытался бы умирающий человек уползти от обезумевшего тигра. Б-боже мой! А тупоголовая публика сидит и аплодирует этому назидательному зрелищу!

Но что знает публика!

— Поразительные вещи достигаются добротой, — заявил один господин, совмещавший в своем лице функции банкира и церковного старосты. — Добротой можно внушить человеческие чувства и животным. Кошка и крыса были врагами с сотворения мира. Но сегодня мы видели их дружно участвующими в общей игре, причем кошки не проявляли никакой враждебности по отношению к крысам, а крысы, по-видимому, ничуть не боялись кошек. Человеческое сердце! Какое мощное орудие — доброта в руках человека!

— Лев и ягненок! — сказал другой. — Мы знаем, что в золотом веке лев и ягненок будут пастись вместе и мирно лежать бок о бок, дорогая, поду-

майте только, бок о бок! Человек этот предвосхитил золотой век. Кошки и крысы! Над этим стоит подумать. Какое убедительное доказательство власти доброты! Я позабочусь, чтобы достать нашим детям, нашим ангелочкам, каких-нибудь домашних животных. Пусть они с малолетства приучаются быть добрыми с собакой и кошкой, даже с крысой и с хорошенькой конопляночкой в клетке.

— Но, — сказала его дражайшая половина, — помнишь слова Блэйка:

Птичка крохотная в клетке
Огорчает небеса.

— Дорогая, но ведь мы же будем добры с ней. Я немедленно прикажу доставить нам несколько кроликов и одну или, лучше, парочку канареек. Какой породы собаку ты предпочла бы достать для наших бесценных крошек, душечка?

И его «душечка» поглядела на него, невозмутимо самодовольного в сознании своей доброты, и увидела себя — молоденькую сельскую учительницу, поклонявшуюся Элле Уилер Уилкокс и лорду Байрону и мечтавшую написать «Поэмы страсти»; она приехала в Топика-Таун и была поймана в сети брака этим положительным, по-

чтенным деловым человеком, наслаждавшимся зрелищем кошек и крыс, ползущих в дружном единении по канату, и пребывавшем в блаженном неведении, что она и была той крохотной птичкой, чье пленение и клетка огорчают небеса.

— Крысы совсем дохлые, — говорила мисс Мерл Мерриуэзер, — но посмотрите, что он проделывает с кошками. Я наверное знаю, что у него за последние две недели подохли три кошки. Они совсем простой породы, но все же они ведь живые существа. Он их губит этим дурацким «боксом».

Номер Дэкворта, пользовавшийся у публики большой популярностью, неизменно оканчивался боксом кошек. Две кошки с надетыми на их лапки перчатками для бокса ставились на стол. Понятно, что кошки, выступавшие вместе с крысами, на эти роли не годились. Боролись лишь кошки, недавно попавшие к Дэкворту и не потерявшие еще темперамента и силы. Их выпускали до тех пор, пока они окончательно не теряли кошачьего образа и подобия или же не подыхали от болезней и истощения. Публике казалась невероятно забавной эта карикатура на человека. Но кошкам было далеко не забавно. Предварительно их натравляли друг на друга

и, только раздразнив их вовсю, приносили на сцену. В ударах чувствовалась злоба, бешенство и страх. Перчатки скоро слетали с лапок, и кошки царапались и кусались так, что шерсть клочьями летела во все стороны. Публика принимала этот конец как нечто неожиданное, и занавес под смех и аплодисменты поднимался и открывал Дэкворта и одного из служителей, застигнутых якобы врасплох за разниманием дерущихся кошек.

Но при постоянной борьбе царапины и раны не заживали, засорялись, и вся кожа кошки покрывалась болячками. Некоторые кошки подыхали, а других, истощенных до такой степени, что не могли напасть на крысу, посылали исполнять номер на канате с опоенными, полудохлыми крысами, не имевшими сил убежать от них. И мисс Мерл Мерриуэзер была права: тупоголовая публика аплодировала «Дрессированным кошкам и крысам Дэкворта», как назидательному зрелищу.

Большой шимпанзе, выступавший в одном театре с Майклом, не переносил, когда его одевали. Подобно лошадям, не позволяющим надеть на себя узду, но не замечающим ее, когда она надета, шимпанзе выбивался из одевавших его рук. Одетый, он спокойно выходил на сцену и проделывал свой номер. Все затруднение состояло в одевании.

Хозяин шимпанзе и два служителя привязывали его к вбитому в стену кольцу и, одевая, держали крепко за горло — все это приходилось проделывать, несмотря на то что хозяин давно выбил ему передние зубы.

Майкл чувствовал все эти жестокости, не зная о них. И он принимал их и считал в порядке вещей, как принимал дневной свет и ночную тьму, леденящий холод унылых, не защищенных от ветра платформ, таинственную страну *Иного*, знакомую ему по мечтаниям и снам, и столь же таинственное *небытие*, поглотившее плантации Мериндж, корабли, океаны, людей и баталера.

Глава XXXIII

Два года Майкл пел по городам Соединенных Штатов, прославляя себя и обогащая Гендерсона. Они никогда не оставались без ангажемента. Успех Майкла был так велик, что Гендерсон отказывался от лестных предложений выступать по другую сторону океана, в Европе. Для Майкла каникулы наступили, когда Гендерсон заболел тифом в Чикаго.

Каникулы продолжались три месяца, и Майкл, в качестве пленника, пользующегося хорошим уходом, провел их в школе дрессировки Мулькачи. Мулькачи, один из лучших учеников Коллинза, подражая своему учителю, открыл школу дрессировки в Чикаго и вел дело, руководствуясь теми же принципами чистоты, гигиены и научно обоснованной жестокости. Майкла отлично кормили и содержали в идеальной чистоте; но, одинокий пленник, он в своей клетке ощущал вокруг себя атмосферу страданий и ужаса животных, терзаемых на потеху человека.

Мулькачи постоянно повторял афоризмы собственного сочинения. Самые характерные из них:

«Поверьте мне, вы ничего не поделаете с животным, если не можете причинить ему боли. Боль — это единственный учитель».

«Метелкой для стирания пыли вы не сломите упрямства. Чем толще череп — тем толще палка».

«Звери всегда сумеют переубедить вас. Первым делом выбейте из них дух противоречия».

«Сердечные узы между дрессировщиками и животными? Оставь эти штуки для газетных репортеров, сынок. Единственные сердечные узы, какие я признаю, — это крепкая палка, да еще с железным наконечником!»

«Конечно, вы можете приучить их есть из ваших рук. Но вся штука в том, чтобы они не отхватили вам руки. Холостой заряд прямо в нос — вот лучшее средство!»

Бывали дни, когда весь воздух содрогался рычанием и дикими воплями, возбуждая и удручая всех животных в клетках. Мулькачи недаром хвалился, что сумеет выбить дурь из любого животного, поэтому самые упрямые и неукротимые звери доставлялись именно ему. Считалось, что для него безнадежных случаев не существовало — бесстрашный, безжалостный и ловкий, он с честью поддерживал эту репутацию. Он не

отступал ни перед чем, и когда окончательно отказывался от животного Мулькачи, это было окончательным приговором. Тогда для животного оставалась лишь клетка, и оно в одиночном заключении заканчивало свои дни, бродило из угла в угол, ненавидя мир человека и изливая свою горечь и ненависть громким рычанием, заставляющим зрителей, к их великому удовольствию, содрогаться от страха.

За три месяца пребывания Майкла у Мулькачи два случая особенно выделились своей жестокостью. Повседневная жизнь шла своим ходом, и часы дрессировки каждый день являлись часами пыток, школа оглашалась воплями дрессируемых медведей, львов, тигров или слонов, истязаемых при обучении игре на барабане и стоянию на задних лапах. Но оба эти случая выделялись даже на этом фоне и удручающе подействовали на остальных животных. Так должен себя чувствовать человек, попавший в преддверие преисподней, слушая вопли своих сотоварищей, с которых сдирают живьем кожу.

Первый случай произошел с большим индийским тигром. Рожденный в девственных лесах, он вырос на свободе, а его доблесть и сила поставили его господином над всеми живыми существами,

включая его собратьев-тигров, но в конце концов он попал в западню человека. Из западни в тесной клетке, то на спине слона, то поездом, то пароходом, он проехал континент, пока не очутился у Мулькачи. Покупатели смотрели его, но купить не решался ни один. Но Мулькачи был непоколебим. Его горячая кровь вскипала при взгляде на эту великолепную полосатую кошку. Все звериное в нем вызывало его на поединок за превосходство. Две недели сплошного ада для тигра — и он был укрощен.

Бен-Болт назвали его люди, и Бен-Болт появился у Мулькачи, неукротимый и непримиримый, хотя почти парализованный восьминедельным путешествием в тесной клетке, стеснявшей все его движения. Мулькачи следовало бы сразу приступить к его укрощению, но он упустил две недели, справляя свой медовый месяц. За это время Бен-Болт в просторной железной клетке с цементным полом оправился от пути и вернул мускулам былую силу и гибкость. А ненависть к двуногим, ничтожным по сравнению с ним существам, хитростью и обманом завлекшим его в клетку, только возросла.

Итак, в это утро он был готов к встрече с людьми и жаждал этой встречи. Они появились воору-

женные определенным, хорошо разработанным планом действия, веревочными петлями и железными вилами. Пятеро из них закинули петли внутрь, через перекладины клетки. Тигр зарычал и бросился к извивающимся по полу веревкам, и в течение десяти минут громадный зверь, как бешеный, метался по клетке, но ему не хватало ума и терпения презренных двуногих существ. Затем ему надоели эти неодушевленные веревки, и он перестал обращать на них внимание, остановился и зарычал на стоящих вокруг клетки людей, причем одна из его задних лап попала в петлю. В следующую минуту железные вилы поддели петлю, люди стянули ее, и веревка впилась в лапу, уязвляя его гордость. Он прыгнул, зарычал и потерял голову от бешенства. Веревка обдирала ладони державших ее людей. Но прежде чем ему удалось освободиться и прежде чем он сообразил, в чем дело, новая петля обвилась вокруг одной из его передних лап. Все, что он проделывал до сих пор, было ничто по сравнению с тем, что он стал творить теперь. Но он был глуп и нетерпелив. Люди были мудры и терпеливы, и в конце концов и третья, и четвертая лапы попали в петлю; тогда стоявшие снаружи люди потянули веревки и, повалив его на бок, самым унизительным образом

подтянули к стенке клетки и так же унизительно вытащили между прутьями его лапы — самое страшное его оружие после грозных клыков.

А затем ничтожное человеческое создание, Мулькачи, посмел дерзко войти в его клетку и приблизиться к нему. Бен-Болт было прыгнул на него, или, вернее, пытался прыгнуть, но его связанные, вытащенные наружу лапы не позволили ему двинуться с места. И Мулькачи опустился рядом с ним на колени — посмел опуститься рядом с ним на колени — и набросил пятую петлю ему на шею. Затем его голову подтянули к перекладинам клетки, и он так же беспомощно должен был покориться этому, как покорился, когда вытаскивали через перекладины его лапы. Затем Мулькачи положил руку на его голову, уши и даже на нос — за какой-нибудь дюйм от его страшных клыков. И Бен-Болт ничего не мог поделать — он только рычал и задыхался, когда петля слишком сильно затягивала его горло.

Весь дрожа от бешенства, а не от страха, Бен-Болт должен был стерпеть, когда ему на шее закрепили широкий кожаный ошейник с толстой веревкой. После этого Мулькачи покинул клетку, а пять петель одна за другой осторожно были сняты с его лап и шеи. Пережив это послед-

нее унижение, он снова был свободен — внутри своей клетки. Он бешено привскочил на месте. Дыхание вернулось к нему, и он яростно взревел. Он ударил лапой по тянущейся за ним и раздражавшей его веревке, пытался разодрать стягивающий его шею ошейник, упал, покатился по земле, раздражаясь все больше и больше при каждом прикосновении веревки к телу и как бы обнаженным нервам, и истощил все свои силы за полчаса бесполезной борьбы с безжизненной вещью. Так укрощают тигров!

Обессиленный и утомленный нервным напряжением и собственною яростью, он улегся посреди клетки, махая хвостом и гневно сверкая глазами; с ошейником он примирился — он теперь по опыту знал, что не может его сбросить.

К его удивлению, если только в мыслительном процессе тигра возможно удивление, задняя дверца его клетки была кем-то открыта и оставлена открытой настежь. Он подозрительно и недоверчиво смотрел на нее. Но никто не появлялся, и казалось, никакая опасность ему оттуда не угрожала. Но его подозрение все возрастало. Он не знал, чего ждать от этих человеческих созданий, и не понимал их. Он предпочел бы остаться на месте, но с другой стороны клетки

раздались выстрелы и крики, щелканье бичей, а затем между прутьями клетки были просунуты длинные железные вилы. Волоча за собой веревку, не помышляя о бегстве и рассчитывая напасть на своих мучителей, он кинулся в коридор, проходящий позади клетки. В коридоре было пусто и темно, но в конце его виднелся свет. С яростным рычанием бросился он в этом направлении, а животные в своих клетках подняли бешеный вой и визг.

Гигантским скачком он очутился на свету и, ослепленный им, присел, размахивая длинным хвостом и знакомясь с обстановкой. Но он попал лишь в другую клетку, несравненно большую, чем та, в какой он до сих пор жил, — это была просторная арена, обнесенная со всех сторон решетками. Арена была пуста, но сверху, с перекладины крыши свешивались блок и крюк и семь основательных железных кресел. Эти кресла возбудили в нем подозрение, и он зарычал на них.

С полчаса тигр бродил по арене — за десять недель ему в первый раз было предоставлено такое большое пространство. Затем стоявшие снаружи люди просунули через решетку железный прут с крюком на конце, зацепили веревку, привязанную к его ошейнику, и потянули ее к

себе. Немедленно десять человек ухватились за эту веревку. Бен-Болт непременно кинулся бы к ним, если бы в эту минуту с противоположной стороны арены не вышел Мулькачи. Между человеком и тигром не было никаких решеток, и Бен-Болт приготовился напасть на человека. Но и готовясь к нападению, он все время подозревал что-то неладное: это маленькое хрупкое человеческое создание не спасалось от него бегством и не пригибалось от страха к земле, но спокойно ожидало его.

Бен-Болту не удалось напасть на Мулькачи. Сперва он, осторожно припав к земле и махая хвостом из стороны в сторону, изучал человека, казавшегося на первый взгляд такой легкой добычей. Мулькачи был вооружен длинным бичом и острозубыми железными вилами. За поясом торчал заряженный холостыми зарядами револьвер.

Припав к земле, Бен-Болт медленно подползал к нему, всеми движениями напоминая кошку, подстерегающую мышь. Когда их разделяло лишь расстояние прыжка, он припал еще ниже, весь подобрался и повернул голову, чтобы посмотреть на людей, стоявших снаружи за его спиной. О веревке, привязанной к ошейнику и находящейся

в их руках, он забыл.

— Ну, теперь, старина, тебе придется покориться, — обратился к нему Мулькачи мягким и ласковым голосом, делая шаг к нему и выдвигая вперед железные вилы.

Это движение точно раздразнило громадное великолепное создание. Тигр испустил глухое, напряженное ворчание, прижал уши назад и прыгнул, вытянув вперед лапы и выпустив все когти; хвост его напрягся и торчал прямо, как длинная палка. Человек не пригнулся к земле и не бежал от него, но все же тигру не удалось до него добраться. На высоте прыжка веревка туго стянула его шею, он кувырнулся в воздухе и тяжело рухнул на бок.

Он не успел еще вскочить на ноги, как Мулькачи, крикнув своей небольшой аудитории: «Вот увидите, как я выбью из него всю дурь!», уже был на нем. И Мулькачи действительно принялся выбивать из него дурь ударами рукоятки бича по носу и железных вил по ребрам. Он осыпал тигра ударами по самым чувствительным местам. Едва Бен-Болт пытался вскочить и отомстить за все оскорбления, как люди тянули веревку, и он опять падал, и снова Мулькачи тыкал его вилами в бок и изо всех сил хлестал рукояткой

бича по носу. Ему было невероятно больно, особенно тяжело приходилось носу. А создание, наносившее ему эти удары, было так же свирепо и грозно, как он, — нет, оно было страшнее, ибо — умнее. Очень скоро тигр не взвидел света от боли и, потрясенный невозможностью напасть и уничтожить своего мучителя, потерял всякое присутствие духа. Он униженно бежал от ничтожного двуногого создания, оказавшегося более страшным, чем взрослый бенгальский тигр. В ужасе он подпрыгнул высоко в воздух; заметался туда и сюда и, пригибая к земле голову, пытался избегать сыпавшихся на него ударов. Наконец он бросился к решеткам, прыгал и тщетно пытался влезть по скользким вертикальным прутьям. Но Мулькачи, как злой дух, всюду настигал его и бил, скрежеща сквозь зубы: «Будешь рассуждать, будешь? Я покажу тебе, что значит рассуждать! Вот тебе! Получай еще! И еще! Получай!»

— Теперь он будет меня бояться, а остальное уже пойдет как по маслу, — объявил он, останавливаясь и переводя дыхание, в то время как громадный тигр, весь дрожа, пятился от него к решеткам арены. — Давайте, ребята, передохнем минут пять!

Опустив одно из железных кресел и прикрепив

его к полу, Мулькачи подготовил все для дрессировки. Рожденный и выросший в джунглях, тигр должен был научиться сидеть в кресле — забавное и трагическое подражание человеку. Но Мулькачи не считал еще свое дело законченным. Урок страха следовало повторить и глубоко внедрить в сознание тигра.

Подойдя на безопасное расстояние к Бен-Болту, он щелкнул его бичом по носу. Затем повторил этот маневр еще раз. Он повторял его множество раз, — несметное множество раз. Куда бы Бен-Болт ни отвернул голову, бич всегда настигал ее и щелкал по обращенному в сплошную рану носу. Мулькачи обращался с бичом с ловкостью циркового наездника, и бич безошибочно щелкал, ударял и впивался в наболевшее место, куда бы Бен-Болт ни пытался спрятать голову.

Боль становилась нестерпимой, и Бен-Болт высоко подпрыгнул в воздух, но только затем, чтобы снова быть отброшенным стоящими снаружи людьми, удерживающими его за привязанную к ошейнику веревку. Ярость, бешенство и жажда разрушения были выбиты из распаленного мозга тигра, и он познал страх — снова и снова страх, ужасный и унизительный, перед этим маленьким истязавшим его человечком.

Только теперь Мулькачи приступил к дрессировке. Он громко ударил рукояткой бича по железному креслу, привлекая к нему внимание зверя, затем стегнул его бичом по носу. Одновременно с этим один из стоявших снаружи помощников ткнул его через решетку железными вилами в бок, заставляя отойти от решетки и приблизиться к креслу. Тигр пополз вперед, но затем снова отступил обратно к решетке. Мулькачи снова ударил по креслу, стегнул Бен-Болта по носу, и снова помощник ткнул его железными вилами в бок, заставляя подойти к креслу. Это продолжалось бесконечно долго — четверть часа, полчаса, час; ведь человеческие создания обладают терпением богов, а Бен-Болт был всего-навсего диким зверем. Так укрощают тигров. Укрощенное животное — это сломленное животное. Что-то внутри его надламывается, и оно согласно проделывать разные штуки перед оплачивающей это зрелище публикой.

Мулькачи велел одному из помощников пройти к нему на арену. Раз нельзя заставать тигра просто сесть на кресло, надо прибегнуть к другим мерам. Веревка, обвязанная вокруг шеи Бен-Болта, была передана наверх и пропущена через блок. По сигналу Мулькачи десять человек нава-

лилось на веревку. Рыча, отбиваясь и задыхаясь, полуобезумев от страха при этом новом насилии, Бен-Болт был медленно подтянут за шею вверх, пока его задние лапы не отделились от пола. Напоминая собой повешенного за шею человека, он крутился в воздухе, бился и карабкался, пока ему хватало дыхания, а затем начал задыхаться. Он весь сворачивался в клубок, чуть-чуть не завязывался узлом — так гибки были его дивные мускулы.

Блок на роликах передвигался по верхней решетке, и помощники ухватили Бен-Болта за хвост и по воздуху перенесли на кресло. Едва его беспомощное тело коснулось кресла, как веревки были отпущены, и Бен-Болт очутился сидящим на кресле. Голова его шла кругом. Но в ту же секунду он спрыгнул на пол и получил удар рукояткой бича по носу и выстрел холостым зарядом прямо в ноздрю. Он чуть не сошел с ума от боли и страха. Одним прыжком он хотел обратиться в бегство, но раздался приказ Мулькачи: «Поднять его!» — и он снова был поднят за шею на воздух и начал задыхаться.

Его снова приподняли за хвост, опять ткнули вилами в грудь и на полном ходу спустили на кресло. Падение было настолько неожиданным,

что он бешено рванулся и всей тяжестью тела рухнул на живот. Сила удара окончательно, казалось, выбила из него дух. Глаза помутнели и потеряли всякий блеск и выражение. Он задыхался, его голова болталась со стороны на сторону. Пена показалась из его пасти, кровь текла из носа.

— Поднять его! — крикнул Мулькачи.

И Бен-Болта, бешено отбивавшегося от стягивающей горло веревки, снова медленно подтянули вверх. Поднявшись на дыбы, он с таким неистовством раскачивался во все стороны, что когда его задние лапы отделились от пола, он, как громадный маятник, раскачивался по арене. Но его снова бросили на кресло, и на одну долю секунды он принял положение сидящего в кресле человека. Затем он издал нечленораздельный вой и соскочил на пол.

Этот звук нельзя было назвать рычанием, ворчанием или обозначить каким-нибудь другим словом. Это был вопль существа, внутри которого что-то надломилось. Он едва-едва не схватил Мулькачи, но тот выпустил ему в другую ноздрю холостой заряд, а стоявшие у веревки люди с такой силой отбросили его назад, что едва не переломили ему шею.

На этот раз он опустился на кресло, как мешок, и опускался до тех пор, пока не согнулся пополам, и его громадная рыжая голова не опустилась и он не очутился на полу без сознания. Черный, распухший язык свисал у него из пасти. Несколько ведер воды привели его в чувство. Он вздохнул и застонал. На этом первый урок был закончен.

— Все в порядке, — говорил Мулькачи, по мере того как шла дрессировка. — Побольше терпения и труда, и мы заставим его проделать все, что нам нужно. Я его держу в руках. Он меня боится. Весь вопрос во времени, а затраченное время только повышает цену такого зверя.

Ни в первый день, ни во второй и ни в третий был Бен-Болт по-настоящему сломлен. Но к концу второй недели все было кончено. Пришел день, когда Мулькачи ударял рукояткой бича по креслу, помощник из-за решетки тыкал Бен-Болта железными вилами в бок, и тигр, потерявший свою царственную осанку, жалкий, как побитая кошка, пробирался к креслу и усаживался на нем, как человек. Теперь он был «воспитанным» тигром. Вид его — эта трагическая карикатура на человека — многими зрителями рассматривался и рассматривается как «воспитательное» зрелище.

Второй случай, случай с Сент-Элиасом, был более труден и обернулся не в пользу Мулькачи. Мулькачи сорвался, правда, все в один голос утверждали, что неудача была неизбежна. Сент-Элиас, чудовищный медведь с Аляски, был добродушен, весел и по-своему не лишен юмора. Но он был своеволен, и его упрямство соответствовало его размерам. Его можно было *убедить* выполнить какой-нибудь трюк; одного он не терпел — *принуждения*. Но в цирке и на сцене, где номера должны исполняться в назначенный час, нет места убеждению. Животное должно исполнить свой номер, и исполнить его быстро. Публика не потерпит задержки и не станет ждать, пока дрессировщик убедит строптивое или расшалившееся животное исполнить оплаченный ею трюк.

Итак, Сент-Элиасу насильно навязали первый урок. Но этот урок оказался последним, и Сент-Элиасу никогда не пришлось выйти из своей клетки на арену для дрессировки.

Захватив петлями лапы Сент-Элиаса, помощники протащили их между прутьями решетки, а голову тугой петлей притянули к прутьям. Затем приступили к «маникюру». Его громадные когти были вырезаны вместе с мясом. Этим занимались

помощники, стоявшие снаружи клетки. Затем Мулькачи, бывший внутри, проткнул ему ноздрю. Эта операция не так проста, как кажется с первого взгляда. Отверстие пришлось просверлить. Просунув инструмент в громадную ноздрю, Мулькачи вырезал кружок живого мяса. Мулькачи знал, как управляться с медведями. Чтобы заставить медведя повиноваться, надо ухватиться за какое-нибудь чувствительное место. Уши, нос и глаза — самые чувствительные места, но глаза исключаются, и человеку приходится завладеть ушами или носом зверя.

Через прорезанное отверстие Мулькачи немедленно продел металлическое кольцо и привязал к нему длинную веревку. Теперь в продолжение всей жизни Сент-Элиас всегда будет покорен человеку, потянувшему за эту веревку. Его судьба предопределена, и вся жизнь заранее рассчитана. Он навсегда, до конца своих дней, до самого последнего вздоха будет пленником и рабом этой веревки и кольца в носу.

Петли были сняты, и Сент-Элиас, в пределах своей клетки, очутился на свободе и мог ознакомиться с продетым в его нос кольцом. Встав на задние лапы, он рыча принялся ощупывать передними лапами нос. Дотронуться до носа было

трудно. Боль жгла огнем. Но он рвал свою ноздрю, словно его ужалила пчела во время экспедиции за медом. Он вырвал мешавший ему предмет, прорвав всю ноздрю, превратив круглое отверстие в зияющую рану.

Мулькачи выругался. «Тут сам черт себе ногу сломит», — сказал он. Снова на лапы медведя были наброшены петли. Снова беспомощного Сент-Элиаса подтянули к прутьям решетки и снова прорезали ему отверстие в носу. На этот раз операции подверглась другая ноздря. И черт сломил себе ногу. Как и в первый раз, Сент-Элиас, освободившись от пут, вырвал кольцо, прорвав и вторую ноздрю.

Мулькачи был взбешен. «Будь же благоразумен», — укорял он медведя. Очевидно, по его мнению, благоразумие состояло в прободении хряща носовой перегородки — таким образом кольцо проходило через обе ноздри. Но Сент-Элиас не был благоразумен. В противоположность Бен-Болту он не был так слаб, не имел таких чересчур натянутых нервов, ничего расшатанного, что могло надломиться. Освобожденный от веревки, он вырвал кольцо и с ним полноса. Мулькачи прорезал ему правое ухо. Сент-Элиас прорвал правое ухо, обратив его в клочья. Муль-

качи прорезал ему левое ухо. И левое ухо было прорвано тем же манером. Тогда Мулькачи сдался и уступил. Он жаловался:

— Мы побеждены. Мы не можем причинить ему боль.

Позже, когда взгляд Мулькачи падал на сидящего в своей клетке медведя, он неизменно ворчал:

— Самое неблагоразумное животное на свете. Я ничего не мог с ним поделать.

Глава XXXIV

Дело происходило в «Орфеуме», Окленд, Калифорния. Гарлей Кеннан только протянул руку под кресло за шляпой, как жена остановила его:

— Что ты, это ведь не антракт. В программе стоит еще один номер.

— Номер с собаками, — отвечал он, и этим все было сказано; он обычно выходил, пока на сцене выступали дрессированные животные.

Вилла Кеннан мельком заглянула в программу.

— Да, правда, — сказала она и затем прибавила: — Но это поющая собака. Собака-Карузо. Они подчеркивают, что собака будет на сцене одна. Посидим разок, сравним его с нашим Джерри.

— Несчастный пес, из которого вымучивают вой, — проворчал Гарлей.

— Но ведь он один на сцене, — настаивала она. — Да кроме того, если нам будет тяжело на него смотреть, мы всегда успеем выйти. Я выйду с тобой. Но мне хочется послушать, насколько Джерри поет лучше, чем эта собака. Тут в программе сказано, что это тоже ирландский терьер.

Итак, Гарлей Кеннан остался. Вымазанные

жженой пробкой комедианты окончили свой номер и три раза выступили на бис. Затем занавес поднялся над совершенно пустой сценой. Ирландский терьер вышел спокойно из-за кулис, спокойно подошел к рампе и поглядел на дирижера. Программа не лгала — он был на сцене один.

Оркестр сыграл вступительные такты «Баюшки-баю». Собака зевнула и уселась. Оркестру было приказано повторять вступительные такты, пока собака на них не отзовется, а затем уже играть всю пьеску. При третьем повторении собака открыла пасть и запела. Этот звук нельзя было назвать воем — он был слишком мягок и мелодичен. Тайна этого пения заключалась не только в ритме — нет, собака пела эту песенку, как по нотам, и ни разу не сфальшивила.

Но Вилла Кеннан едва прислушивалась к ней.

— Далеко до него нашему Джерри, — прошептал ей Гарлей.

— Послушай, — сказала она напряженным шепотом. — Ты никогда раньше не встречал эту собаку?

Гарлей отрицательно покачал головой.

— Ты видел ее, — настаивала она. — Посмотри на это сморщенное ухо. Подумай! Подумай хорошенько! Вспомни!

Но Гарлей все еще качал головой.

— Вспомни Соломоновы острова, вспомни «Ариэль». Вспомни, как мы вернулись с Малаиты, где мы подобрали Джерри, в Тулаги. У Джерри был брат, он сторожил негров на какой-то шхуне.

— И его звали Майклом, — продолжай.

— У него было такое же точно сморщенное ухо, — быстро шептала она. — Он был весь лохматый. Он был брат Джерри. Их отца и мать звали Терренс и Бидди в Мериндже. Джерри — наш «певец-глупыш». И этот пес поет. И у него сморщенное ухо! И его зовут — Майкл!

— Это невероятно, — сказал Гарлей.

— Только тогда и стоит жить, когда в жизни случается невероятное, — ответила она. — И вот перед нами как раз такой случай. Я убеждена в этом.

Мужское начало в Гарлее отвергало возможность этого факта, а женское начало в Вилле настаивало на том, что невероятное свершилось.

Тем временем собака на сцене запела английский гимн.

— Вот видишь, я права, — удовлетворенно сказала Вилла. — Ни один американец в Америке не станет учить собаку английскому гимну. Собака сперва принадлежала англичанину, и он-то и

обучил ее. Соломоновы острова находятся в британском владении.

— Соломоновы острова очень далеко отсюда, — улыбнулся он. — Но меня поражает это ухо. Я припоминаю теперь. Я вспоминаю, как мы бродили по берегу Тулаги с Джерри и как его брат приехал на вельботе со шхуны «Эжени». И у его брата было как раз такое сморщенное ухо.

— Вспомни-ка еще! — прибавила Вилла. — Сколько мы с тобой видели поющих собак? Только одну — Джерри. Очевидно, поющие собаки — большая редкость. В той же семье скорее встретишь один тип. Бидди и Терренс породили Джерри. А это Майкл!

— Это был мохнатый пес со сморщенным ухом, — вспомнил Гарлей. — Я ясно вижу, как он стоял на вельботе и как бегал по берегу, бок о бок с Джерри.

— Если ты увидишь, как Джерри бегает с ним рядом, убедишься ли ты окончательно в этом? — спросила она.

— Это был их номер, а до них это проделывали Терренс и Бидди, — согласился он с ней. — Но от Соломоновых островов до Соединенных Штатов путь не близкий.

— Но Джерри же проделал его, — отвечала

она. — И раз Джерри с Соломоновых островов приехал в Калифорнию, то что же удивительного в том, что и Майкл проделал этот путь? Послушай его!

Собака на сцене пела на бис «Мой дом, мой дом». Затем на шумные аплодисменты появился Джекоб Гендерсон и стал раскланиваться с публикой. Вилла и Гарлей с минуту молчали.

Затем Вилла без всякого повода заявила:

— А я сижу и искренне благодарю судьбу за одну вещь.

Он ждал.

— За то, что мы так безобразно богаты, — закончила она свою мысль.

— Это значит, что ты хочешь во что бы то ни стало получить эту собаку и получишь ее, потому что я в состоянии тебе это удовольствие доставить, — поддразнил он ее.

— Потому что ты не в состоянии отказать мне в нем, — отвечала она. — Ты видишь, что это брат Джерри. По крайней мере, должен же ты смутно это чувствовать…

— Да, конечно, — кивнул он головой. — Невозможное иногда оказывается возможным, и весьма вероятно, что мы стоим как раз перед таким явлением. Невероятно, чтобы это был Майкл,

но, с другой стороны, что мешает этому псу быть Майклом. Пройдем за кулисы и выясним всю эту историю!

«Опять агенты Общества защиты животных от жестокого обращения», — подумал Джекоб Гендерсон, когда Вилла и Гарлей, в сопровождении директора театра, вошли в его уборную. Майкл дремал, лежа на стуле, и не обратил на вошедших ни малейшего внимания. Пока Гарлей толковал с Гендерсоном, Вилла рассматривала Майкла. Майкл едва приоткрыл глаза, а затем снова закрыл их. Слишком много горечи накопилось в нем, и слишком он был подавлен, чтобы ласково и приветливо отнестись к людям, которые приходили, трепали его по голове, говорили разные глупости и шли своим путем дальше, навсегда исчезая из его жизни.

Вилла Кеннан, разочарованная таким холодным приемом, оставила его на минуту в покое и прислушалась к тому, что Гендерсон рассказывал о своей собаке. Дрессировщик Гарри Дель Мар подобрал эту собаку где-то на побережье Тихого океана. Всего вероятнее, что это случилось в Сан-Франциско. Он забрал собаку с собой, но погиб от несчастного случая в Нью-Йорке, не успев сообщить, в чем заключается ее специальность. Вот

и все, если не считать двух тысяч долларов, уплаченных Гендерсоном некоему Гаррису Коллинзу, причем он, Гендерсон, считает эту покупку самой выгодной сделкой своей жизни.

Вилла повернулась обратно к собаке.

— Майкл, — позвала она, понизив голос до шепота.

Глаза Майкла приоткрылись, уши дрогнули, и все тело затрепетало.

— Майкл, — повторила она.

Теперь Майкл поднял голову, насторожил уши и широко раскрытыми глазами поглядел на нее. Он со времени Тулаги не слыхал этого имени. Через годы и моря донеслось до него это слово из его прежней жизни. Действие было мгновенным, и сразу со звуками имени нахлынули на Майкла воспоминания. Он снова увидел «Эжени» и капитана Келлара — капитан Келлар последний называл его так, — затем увидел мистера Хаггина, Дерби и Боба с плантации Мериндж, Бидди и Терренса, затем среди теней исчезнувшего прошлого вынырнул его брат Джерри.

Но разве это прошлое исчезло? Имя, пропавшее на годы, вернулось к нему. Оно вошло в эту комнату с этими людьми. Он не рассуждал об этом. Но его поступки доказывали, что ход его

рассуждений был именно таков.

Он соскочил со стула, подбежал к Вилле и обнюхал ее руку, пока она ласкала его. Затем он узнал ее — и обезумел. Он скакал по комнате, обнюхал пол под умывальником и во всех углах комнаты. Как бешеный, кинулся он к ней обратно и громко заскулил, когда она попыталась приласкать его. В следующую минуту он, все еще одержимый безумием, отскочил от нее и, продолжая скулить, скакал по комнате.

Джекоб Гендерсон поглядел на него с легким неудовольствием.

— Он никогда еще так не бесновался, — сказал он. — Это очень спокойный пес. Может, это у него какой-нибудь припадок начинается, хотя до сих пор у него ничего подобного не было.

Никто ничего не понял. Даже Вилла Кеннан не поняла его. Но Майкл знал, в чем дело. Он искал этот исчезнувший мир, обрушившийся на него при звуке его прежнего имени. Раз вернулось к нему из небытия имя, и вернулась эта женщина, встреченная как-то на берегу Тулаги, значит — и все остальное из времени Тулаги могло вернуться из небытия обратно. Ведь стояла же она перед ним, облеченная плотью, и звала его, лаская, по имени — значит, и капитан Келлар, и мистер

Хаггин, и Джерри могут оказаться здесь, в этой комнате или же за этой дверью.

Он подбежал к двери и, громко заскулив, царапал ее.

— Может быть, он ищет кого-нибудь за дверью, — сказал Джекоб Гендерсон, открывая ему дверь.

И Майкл действительно искал. Он был уверен, что за этой дверью разлился Тихий океан и что шхуны и пароходы, рифы и острова, люди и животные, знакомые ему по прежней жизни, ворвутся к нему в эту комнату.

Но прошлого за дверью не оказалось. Снаружи в коридоре было лишь обычное повседневное настоящее. Он печально вернулся к женщине, называвшей его по имени и приласкавшей его. Она-то во всяком случае была реальна. Затем он осторожно обнюхал Гарлея и признал его за человека с палубы «Ариэля» и берегов Тулаги и снова взволновался.

— О Гарлей, я уверена, что это он, — вскричала Вилла. — Разве ты не можешь испытать его? Устрой ему испытание!

— Но как? — раздумывал Гарлей. — Он, очевидно, узнал свое имя. Оно волнует его. И хотя он никогда не был с нами хорошо знаком, но,

похоже, нас вспомнил, и наше присутствие тоже волнует его. Если бы он мог сказать нам…

— О, скажи! Скажи, милый! — умоляла Вилла Майкла, охватив его голову руками и раскачивая ее взад и вперед.

— Осторожнее, сударыня, — предупредил ее Джекоб Гендерсон, — это очень угрюмый пес, и он никому не позволяет таких вольностей.

— Но мне-то он позволит, — полуистерически засмеялась она. — Он меня знает, Гарлей! — Новая мысль мелькнула в ее уме, и она отпустила Майкла. — Я знаю, как испытать его. Послушай меня. Помнишь, Джерри был натаскан на негров до того, как попал к нам. И Майкл был натаскан на негров. Поговори с ним на морском жаргоне. Сделай вид, будто сердишься на какого-то негра, и посмотрим, как он себя будет вести.

— Мне трудновато будет вспомнить морской жаргон, — сказал Гарлей, кивком головы одобряя ее мысль.

— Я пока что отвлеку его, — быстро сказала она.

Вилла уселась и, нагнувшись к Майклу, обвила его голову руками и спрятала ее у себя на груди, затем принялась раскачивать его и тихонько напевать, как обычно делала это с Джерри. Майкл

нисколько не рассердился на эту вольность и, как и Джерри, отозвался на ее пение и тихонько стал подвывать ей. Она глазами подала Гарлею знак.

— Честное слово! — начал тот сердитым тоном. — Какой черт твой торчит тут место? Мой сердит твой очень!

Услышав эти слова, Майкл весь ощетинился и, освободившись от обнимавших его рук, с рычанием кружился по комнате, отыскивая негра, который, очевидно, только что вошел сюда и чем-то рассердил белого бога. Но никакого негра в комнате не оказалось. Майкл, все еще ощетинившись, посмотрел на дверь. Гарлей тоже посмотрел на дверь, и Майкл уже нисколько не сомневался в том, что за дверью стоит чернокожий с Соломоновых островов.

— Эй, Майкл! — закричал Гарлей. — Прогони черного прочь!

С грозным рычанием Майкл бросился к двери. Его ярость и сила удара были так велики, что щеколда отлетела и дверь распахнулась. Он ожидал увидеть за дверью человека, и пустота показалась ему страшной; он весь поник, и голова его шла кругом от обманчивых теней прошлого, раздражавших и возбуждавших его душу.

— А теперь, — сказал Гарлей Гендерсону, — по-

говорим о деле.

Глава XXXV

Когда поезд подошел к станции Глен Эллен в Лунной долине, Гарлей Кеннан сам через боковую дверь багажного вагона принял Майкла и опустил его на землю. Майкл первый раз ездил по железной дороге без клетки. В Окленде ему только надели ошейник и цепочку и посадили в багажный вагон. В ожидавшем их автомобиле он увидел Виллу Кеннан, и, когда цепочка была снята, он уселся на сиденье между ней и Гарлеем.

Машина мчалась по дороге, огибавшей склоны Сономы, но Майкл едва смотрел на леса и открывавшиеся далекие просеки. Он провел три года в Соединенных Штатах, как узник в одиночном заключении. Его уделом были клетка и цепочка, тесные помещения, багажные вагоны и платформы вокзалов. Ближе всего он подходил к природе в те часы, когда Джекоб Гендерсон, сидя в каком-нибудь парке за изучением Сведенборга, привязывал его к своей скамейке. Таким образом, деревья, холмы и поля перестали существовать для Майкла. Они были столь же недоступны, как синева неба.

— Тебе, видно, это все не очень-то нравится, а,

Майкл? — заметил Гарлей.

При звуках прежнего имени Майкл повернул голову, прижал уши назад и ткнулся носом в плечо Гарлея.

— Он очень сдержан в выражении своих чувств, — решила Вилла. — Вот уже прямая противоположность Джерри.

— Подожди судить до их встречи, — заранее улыбнулся Гарлей. — Джерри будет бесноваться за двоих.

— Если они только узнают друг друга после стольких лет, — сказала Вилла. — Я сомневаюсь, чтобы они узнали.

— Но ведь вспомнили же они друг друга в Тулаги, — отвечал он. — А они расстались крохотными щенками и встретились уже взрослыми псами. Вспомни, как они лаяли и носились по берегу. Майкл был самым буйным и невыносимым. Он шумел вдвое больше, чем Джерри.

— Но он возмужал и теперь стал очень сдержан.

— За три года он мог научиться сдержанности, — настаивал Гарлей.

Но Вилла покачала головой.

Когда машина подкатила к дому и Гарлей первым выскочил на землю, раздался радостный

визг и лай; Майклу показалось, что он уже где-то слышал этот голос. Но лай из радостного превратился в подозрительный и ревнивый, едва Джерри почуял запах другой собаки на ласкавшей его руке Гарлея. В следующее мгновение он увидел в лимузине своего соперника и прыгнул на него. Майкл зарычал, прыгнул ему навстречу, и оба они покатились по дну автомобиля.

Ирландский терьер при всяких обстоятельствах слушается голоса своего хозяина, и Майкл и Джерри сразу отскочили друг от друга, едва раздался голос Гарлея Кеннана. Очутившись на земле, они не предпринимали новых атак, ограничиваясь глухим рычанием. Эти стычки продолжались несколько секунд, и они не успели признать друг друга, пока не оказались на земле.

Они все еще были напряжены, и шерсть стояла на них дыбом, но уже начали пофыркивать.

— Они узнали друг друга! — вскричала Вилла. — Подождем, посмотрим, что они будут делать.

Что касается Майкла, то он нисколько не удивился возвращению Джерри из небытия. Эти вещи начали случаться и сами по себе ничего особенного собой не представляли. Поразила его лишь связь событий. Если эти люди, встреченные

им когда-то в Тулаги и его брат Джерри вернулись из небытия, значит, мог вернуться и вернется его обожаемый баталер.

Но, отвечая Джерри, Майкл фыркнул и осмотрелся кругом в поисках баталера. Дружеский привет выражался у Джерри желанием вместе побегать. Он в виде приглашения залаял, сделал с полдюжины прыжков, затем прискакал обратно и передней лапой, играя, ударил Майкла, чтобы увлечь его за собой.

Майкл столько лет не бегал на свободе с другими собаками, что сначала не понял приглашения Джерри. Но довольство и дружелюбие в собачьем царстве обычно принимали именно эту форму, а к Майклу они перешли по наследству. Джерри снова ударил его лапой, залаял и помчался, увлекая за собой Майкла. Майкл невольно последовал за ним. Но он не лаял и, едва сделав с полдюжины прыжков, остановился и поглядел на Виллу и Гарлея, как бы испрашивая разрешение.

— Валяй, Майкл! — сердечно воскликнул Гарлей, поворачиваясь и протягивая руку, чтобы помочь Вилле сойти с автомобиля.

Майкл поскакал прочь, смутно испытывая радость носиться плечом к плечу с Джерри. Но Джерри был более рад, он бешено гнался, наска-

кивал на Майкла, извивался всем телом, шевелил ушами и визжал и лаял вовсю. Итак, Джерри лаял, Майкл же не издавал ни звука.

— Прежде он лаял, — сказала Вилла.

— Гораздо больше, чем Джерри, — прибавил Гарлей.

— Значит, они выбили у него лай, — заключила она. — Ему, очевидно, приходилось очень плохо, если он разучился лаять.

Зеленая калифорнийская весна переходила в красно-бурое лето, и Джерри, вечно бегавший по горам и долам, ознакомил Майкла с самыми отдаленными участками ранчо Кеннана.

А Майкл, следуя всюду за Джерри, постоянно искал чего-то и никак не мог найти.

— Он все время ищет. Все кого-то разыскивает, — говорил Гарлей, обращаясь к Вилле. — Этого существа нет в живых. Здесь его нет. Но кого же это он постоянно разыскивает?

Это был баталер, и Майкл никогда не нашел его. Небытие скрыло его и не хотело вернуть Майклу; но если бы он проделал десятидневное путешествие по Тихому океану до Маркизских островов, он нашел бы там баталера, а с ним и Квэка и Бывшего моряка. Они беззаботно жили втроем — в земном раю — на берегу Тайохаэ.

Вокруг их крытой тростником хижины, приютившейся под высокими деревьями, Майкл встретил бы множество всевозможных животных — тут были и кошки, и котята, и свиньи, ослы и пони, и даже обезьянка, но ни собак, ни какаду здесь не было. Дэг Доутри в резких выражениях раз навсегда заявил, что ни о каких собаках не может быть и речи…

Однако Майкл не оставлял надежды найти баталера и, бегая по горам, карабкаясь или скатываясь в глубокие каньоны, постоянно ожидал и был готов увидеть перед собой баталера или уловить незабываемый запах, который приведет его к богу.

— Постоянно, постоянно чего-то ищет, кого-то разыскивает, — нараспев повторял Гарлей Кеннан, провожая Виллу и наблюдая за бесконечными поисками Майкла. — Джерри выслеживает кроликов или лисицу, но ты замечаешь, что они нисколько не занимают Майкла? Он ведет себя так, словно потерял бесценное сокровище и не знает, ни где оно потеряно, ни где его следует искать.

Майкл многому научился у Джерри и узнал теперь жизнь лесов и полей. Он никогда не принимал участия в играх, и единственной его

забавой были гонки с Джерри. Время игр для него прошло. Нельзя сказать, чтобы он был угрюм или подавлен годами, проведенными на сцене или в школе Гарриса Коллинза, но он был необычайно степенен и сдержан. Веселье и жизнерадостность покинули его. Как старая рана на плече, нанесенная ему когтями леопарда, давала себя чувствовать в холодную и сырую погоду, так и в его сознании запечатлелись все пережитые испытания. Он любил Джерри, радовался его обществу, и ему нравилось носиться с ним по лугам и долам. Но инициатива всегда принадлежала Джерри — он шумел и лаял, преследуя какую-нибудь дичь, негодуя выходил из себя при виде белки, скакавшей по ветвям на высоте сорока футов. Майкл смотрел и прислушивался к этой игре, но сам в ней участия не принимал.

Так же спокойно и со стороны наблюдал он за игрой в драку между Джерри и Вождем Норманнов, громадным першеронским жеребцом. Это была лишь игра, и Джерри был верным другом Вождя Норманнов, но громадный конь, прижимая уши и раскрыв пасть, преследовал Джерри; как безумные, носились они по двору, гоняясь друг за другом, проделывая все это шутя, без всяких враждебных намерений. Но никакие приглаше-

ния Джерри не могли заставить Майкла принять в этой игре участие. Он довольствовался тем, что, сидя в сторонке, наблюдал за играющими.

«Зачем играть?» — как бы спрашивал Майкл, из которого давно выбили охоту играть.

Однако, когда дело доходило до настоящей работы, он оказывался впереди Джерри. По случаю какой-то повальной болезни скота посторонним собакам доступ на ранчо Кеннанов был запрещен. Майклу не пришлось долго объяснять в чем дело, и бродячим собакам от него пощады не было. Он не лаял и не рычал: безмолвно кидался на них, кусал, опрокидывал в пыль и выгонял за пределы ранчо. Это напоминало ему охоту на негров, это была его служба белым богам, которых он любил и которые у него эту службу требовали.

Он не испытывал к Вилле и Гарлею такой безумной, беззаветной страсти, как к баталеру, но он любил их искренней и сдержанной любовью. Он не выражал своих чувств восторженным визгом и не извивался в избытке чувств всем телом. Это он предоставлял Джерри. Но он всегда радовался обществу Виллы и Гарлея, и ему нравилось, когда они, приласкав Джерри, ласкали и его. Самыми счастливыми в его жизни были те часы, которые они проводили все вместе у камина; он усажи-

вался поближе к ним, положив голову на колени Виллы или Гарлея, и время от времени чья-нибудь ласкающая рука опускалась на его голову или теребила его сморщенное ухо.

Джерри любил играть с детьми, попадавшими в дом Кеннанов, но Майкл терпел детей лишь до тех пор, пока они оставляли его в покое. А когда они становились фамильярными, угрожающе рычал, шерсть на его шее становилась дыбом, он вырывался из их рук и важно уходил.

— Я никак не могу этого понять, — говорила нередко Вилла. — Он был бесконечно игрив и весел, постоянно готов на какую-нибудь шалость. Он был гораздо глупее Джерри и возбуждался легче, а уж шуму от него было несравненно больше. Если бы он умел говорить, много, верно, мог бы он нам порассказать ужасного о своей жизни за это время — от Тулаги до «Орфеума».

— Возможно, что это лишь слабый намек на то, что ему пришлось пережить, — отвечал Гарлей, указывая на плечо Майкла, раненное леопардом в тот день, когда погибли эрдель Джек и маленькая зеленая обезьянка Сара.

— Он прекрасно лаял, я помню, что он лаял, — продолжала Вилла. — Почему он больше не лает?

И Гарлей, указывая на раненое плечо Майкла, говорил:

— Вот тебе ответ, и возможно, что найдутся еще сотни других ран, мы только их не видим.

Но время шло, и они снова услыхали лай Майкла, и не один раз, а дважды. И оба раза явились лишь залогом другого, более серьезного испытания, когда Майкл и без лая сумел на деле показать свою любовь к людям, спасших его от клетки и рампы и даровавшим ему свободу Лунной долины.

Пока же в бесконечных гонках с Джерри он изучил ранчо вдоль и поперек, начиная от птичьего двора и утиного пруда и кончая вершиной Сономы. Он узнал, в какое время года и в каких местах водятся дикие олени и когда они совершают набеги на плодовые сады и виноградники; он знал, когда они прячутся в глубоких расщелинах и скрываются в тайниках, знал, когда они появляются на открытых прогалинах и обнаженных склонах холмов и вступают в драку друг с другом. Под руководством Джерри, следуя за ним повсюду, Майкл узнал нравы и обычаи лисиц, ласок и енотов, а также кошачьих хорьков, совмещающих в себе все характерные особенности кошек, енотов и ласок. Он познакомился с птицами,

вьющими гнезда на земле, и усвоил разницу в правах луговой и лесной куропатки и фазана. Он знал о присутствии горного льва задолго до того, как этим львом был зарезан первый теленок. Лев спустился на ранчо из Мендосино, и его встреча с Майклом окончилась для Майкла весьма плачевно. Израненный и окровавленный вернулся он домой, и тогда Гарлей Кеннан понял, что это неспроста, а на следующий день поехал с винтовкой по следам зверя. Майкл знал о ранчо больше, чем знал Гарлей Кеннан. Гарлей постоянно отрицал присутствие змей в своим ранчо, а Майкл в самой гуще лесной чащи, покрывающей Сономy, знал такую расщелину, где целое семейство гремучих змей пряталось в зимнее время и грелось на солнышке летом.

Глава XXXVI

Зима в Лунной долине была прелестна. Последние лилии увяли среди сожженных солнцем лугов, и калифорнийское жаркое лето задремало и скрылось в пурпурных туманах безветренных дней.

Итак, Майкл лаял дважды. Впервые это случилось, когда Гарлей Кеннан верхом на горячем жеребце пытался заставить своего скакуна прыгнуть через узкий поток. Вилла уже была по другую сторону потока и, натянув поводья, смотрела на них, ожидая окончания первого урока. Майкл тоже ждал, но держался при этом ближе к Гарлею. Сначала он улегся на землю у самого берега и старался отдышаться после быстрого бега. Майкл плохо знал лошадей, и вскоре страх за Гарлея заставил его вскочить на ноги.

Гарлей очень мягко и терпеливо пытался убедить жеребца прыгнуть через поток. Он не натягивал поводьев и не повышал голоса, но животное всячески противилось прыжку и от волнения покрылось потом и пеной. Молодая трава была помята, и земля кругом взрыта его копытами. Конь настолько боялся потока, что,

подъехав галопом к берегу, внезапно остановился и припал к земле, затем поднялся на дыбы. Это было слишком для Майкла.

Когда конь опустился передними ногами на землю, Майкл подскочил к его голове и залаял. В его лае были порицание и угроза; конь снова поднялся на дыбы, и тогда Майкл высоко подпрыгнул в воздухе, но челюсти его сомкнулись, не успев вцепиться в морду коня.

Вилла прискакала обратно по склону противоположного берега.

— Милосердный Боже! — вскричала она. — Послушай только! Он еще не разучился лаять!

— Ему кажется, что жеребец хочет меня погубить, — сказал Гарлей. — Он угрожает ему. Он прекрасно знает, как это делается, и прочел моему жеребцу целую проповедь.

— Если Майкл хватит его за нос, то это будет посерьезнее проповеди, — предупредила Вилла. — Осторожнее, Гарлей, или Майкл перестарается.

— Ну, Майкл, ложись и не волнуйся, — приказал Гарлей. — Уверяю тебя, что все идет, как полагается. Все в порядке. Ложись!

Майкл покорно лег, но все существо его протестовало: он не спускал глаз с коня, и все мускулы

его подобрались и напряглись, готовые к прыжку на случай, если поведение коня будет угрожать жизни Гарлея.

— Я не могу уступить ему, а то он никогда не выучится прыгать, — сказал Гарлей жене, поворачивая коня, чтобы отъехать на некоторое расстояние от потока. — Я добьюсь своего или мы вместе покатимся в воду!

Он во весь опор прискакал обратно, и конь, против своей воли, не будучи в силах остановиться, высоко прыгнул, чтобы избежать страшного потока, и очутился на другой стороне.

В следующий раз Майкл залаял тогда, когда Гарлей на том же горячем коне пытался закрыть калитку на отвесном склоне горной лесной дороги. Видя грозящую его господину опасность, Майкл старался сдержаться, но в конце концов не выдержал, подскочил к голове коня и неистово залаял.

— Как бы там ни было, но его лай помог мне, — утверждал Гарлей, когда ему удалось справиться с калиткой. — Очевидно, Майкл заявил, что покажет ему, как не слушаться хозяина.

— Во всяком случае, он разговаривает, — смеялась Вилла. — Хотя и не отличается особой разговорчивостью.

Но Майкл больше никогда не разговаривал. Лишь в этих двух случаях он прибегнул к лаю, чтобы оградить своего господина от угрожавшей опасности. Он никогда не лаял на луну, не отзывался на эхо холмов и не преследовал лаем ни людей, ни животных. Слышное на ранчо эхо было для Джерри неистощимым источником вокальных упражнений. Пока Джерри заливался лаем, Майкл со скучающим выражением ложился и выжидал, когда этот дуэт окончится. Он не лаял, даже нападая на чужих собак, пробегавших по ранчо.

— Он не боится, как опытный старый вояка, — заметил Гарлей, наблюдая за его борьбой с чужой собакой. — Он сохраняет полное хладнокровие. Драка ничуть его не возбуждает.

— Он постарел раньше времени, — сказала Вилла. — В нем не осталось охоты ни к игре, ни к разговору. Но я все-таки знаю, что он любит меня и тебя…

— Не болтая много об этом, — закончил за нее муж.

— Эта любовь светится в его спокойных глазах, — прибавила она.

— Он напоминает мне одного из участников экспедиции лейтенанта Грили, — согласился

он. — Тот был одним из горсточки уцелевших. Он прошел через столько испытаний, что бывал так же сдержан, как Майкл, и так же молчалив. Он казался неинтересным большинству людей, не умеющих его понять. А дело обстояло как раз наоборот. Они были неинтересны ему. Они так мало знали о жизни, что последнее слово всегда оставалось за ним. Из него трудно было вытащить слово. Он не разучился говорить, но не видел смысла в том, чтобы говорить, когда никто его не понимал. Он стал угрюм и замкнут от горечи жизненных испытаний. Но достаточно было взглянуть на него, чтобы понять: этот человек побывал в тысяче преисподен и прошел через тысячу ледяных смертей. В его глазах было то же спокойствие, что и в глазах Майкла. И та же мудрость. Я бы, кажется, все отдал, чтобы узнать, как было сломано его плечо. Очевидно, это был тигр или лев.

Как горный лев, встреченный Майклом на горе, человек блуждал по зарослям и чащам Мендосино, следовал по суровым горным тропам, а по ночам пересекал возделанные долины, избегая встреч с людьми. Как горный лев, человек этот был врагом всех людей, и все люди были его врагами. Его жизнь шла неправильным путем, и он

причинил людям больше зла, чем лев, который убивает телят, чтобы утолить свой голод. Как горный лев, человек этот был убийцей. Но его приметы и описания его злодеяний были помещены во всех газетах, и люди интересовались им гораздо больше, чем львом. Лев резал телят на горных пастбищах. Но человек с целью грабежа зарезал целую семью — начальника почтовой конторы, его жену и троих детей, живших в квартире над почтовой конторой в горной деревушке Чисхольм.

Человек в течение двух недель скрывался от своих преследователей. Он только что перебрался через широкую возделанную долину Санта-Роса и очутился на горе Сонома. Целых два дня он отдыхал и отсыпался на самом неприступном участке ранчо Кеннана. У него был с собой кофе, взятый им с места последнего грабежа. В пищу ему пошла одна из ангорских коз Гарлея Кеннана. От усталости и истощения он проспал сорок восемь часов подряд, просыпаясь время от времени и жадно пожирая мясо или выпивая неимоверное количество кофе, безразлично, холодного или горячего, а затем снова погружался в тяжелый, полный кошмарных видений сон.

Тем временем цивилизация, пользуясь своими

организациями и хитроумными изобретениями, настигла его. Электричество окружило его тесным кольцом. Телефон нагнал его в диких каньонах горы Сонома, а на горах расположились посты полиции и отряды вооруженных фермеров. Убийца пугал их больше, чем горный лев. Телефон на ранчо Кеннана и на других ранчо, прилегающих к Сономе, не переставал звонить, передавая всевозможные распоряжения о поимке убийцы.

Полиция шарила по горе, и человек был вынужден среди бела дня сойти в Лунную долину, чтобы взобраться на гору, отделяющую ее от долины Напа. Гарлей Кеннан выехал тем временем верхом на своем чистокровном жеребце. Он не преследовал человека, убившего начальника почтовой конторы и его семью в Чисхольме. Он хорошо знал, что эта гора кишела преследователями — недаром двадцать человек их переночевало накануне на его ранчо. Итак, встреча Гарлея Кеннана с убийцей была совершенно непредусмотренной и случайной.

Для убийцы встреча была уже не первой за эти дни. Минувшей ночью он заметил костры полицейских постов в лесу. На рассвете, пытаясь спуститься по направлению к Петалуме, он

встретил не менее пяти отрядов вооруженных винтовками и карабинами фермеров. Скрываясь, преследуемый по пятам фермерами, он попал в толпу мальчишек из Глен Эллена и Калиенте. Им не удалось подстрелить его, так как их ружья годились лишь для охоты на белок и ланей, но все же его спина была усеяна дробинками, которые, застряв под кожей, раздражали его до бешенства.

Сбегая по склону ущелья, он попал в стадо короткорогих быков. Испуганные появлением человека, они сбили его с ног и, перепрыгивая через него в паническом бегстве, сломали копытами его винтовку. В полном отчаянии, безоружный, помятый копытами быков, с горящими поверхностными ранами на спине, он обошел гору по тропинке диких зверей, затем перебрался через два каньона и начал спускаться в третий, руководствуясь следами лошадиных копыт.

Спускаясь по этой тропе, он встретил поднимавшегося верхом в гору репортера. Репортер — ну что ж, он был, как все городские репортеры, — знал лишь обычаи и нравы города и никогда не участвовал в охоте на человека. Кляча, взятая им напрокат в долине, была разбита на все ноги, заморена и давно потеряла бодрость и

силу духа. Она совершенно спокойно отнеслась к тому, что сидевшего на ней всадника стащил с ее спины выскочивший из-за крутого поворота тропы незнакомец с диким лицом и безумным взглядом. Репортер ударил нападавшего хлыстом. После этого репортеру в первый раз в жизни пришлось испытать на собственной шкуре, что представляют собой те трепки, которые он так охотно описывал в ранние дни своего репортерства, повествуя о матросских стычках и о правах посетителей матросских кабачков.

К великому своему разочарованию, человек увидел, что все оружие репортера состояло из карандаша и пачки бумаги. Не найдя оружия, он дополнительной трепкой выразил на репортере свое разочарование. Затем, оставив избитую жертву оплакивать среди папоротников свое поражение, он уселся на его клячу и, погоняя ее репортерским хлыстом, продолжал спускаться вниз по тропе.

Гарлей Кеннан, сопровождаемый обеими собаками, выехал на свою утреннюю прогулку. Как всегда, Джерри, увлеченный выслеживанием зверей, убежал далеко вперед. Майкл, следовавший по пятам за конем своего господина, не понял, в чем дело, когда разразилась катастрофа. Но и

сам Гарлей тоже ничего не понял. Откос круто поднимался над тропинкой, и вдруг с высоты восьми футов, через живую изгородь зарослей мансаниты, на Гарлея, спокойно объезжавшего своего коня, обрушилось что-то чудовищное и непонятное. Взглянув наверх, он увидел наездника, обрушивающегося на него сверху на разбитой и упирающейся изо всех сил кляче. Потянув лошадь за поводья, принуждая ее отскочить в сторону, чтобы избежать этой лавины, Гарлей Кеннан успел заметить оцарапанную кожу, беспорядок одежды, горящие диким огнем глаза, лохматую бороду и изнуренный вид преследуемого людьми человека.

Кляча вполне благоразумно упиралась и не хотела прыгать вниз со склона, она хорошо знала, что ее разбитые, ревматические ноги не выдержат такого прыжка. Она зарылась копытами в поросший мхом крутой откос и прыгнула лишь затем, чтобы избежать падения. Все же она ударилась плечом о плечо скакавшего внизу жеребца и опрокинула его. Гарлей Кеннан при падении сломал себе ногу, а у коня, дергавшегося на месте падения, был сломан хребет.

К новому и величайшему разочарованию, человек, преследуемый целым вооруженным

краем, не нашел никакого оружия и на своей последней жертве. Соскочив со своей клячи, он, зарычав от бешенства и разочарования, ударил беззащитного Кеннана в бок. Он было поднял ногу для второго удара, но тут Майкл вцепился зубами в его икру.

С проклятием отдернул человек ногу, и зубы Майкла порвали его штаны и поранили ногу.

— Молодец, Майкл! — похвалил его Гарлей, беспомощно лежавший под конем. — Эй, Майкл! — крикнул он, возвращаясь к морскому жаргону. — Прогнать белый парень к черту прочь!

— Я тебе за это башку расшибу, — заскрежетал зубами человек.

Дикарь по поступкам и словам, он едва удерживался от слез. Долгое преследование, злоба его и злоба охотившихся за ним людей сломили его силу сопротивления. Он был окружен врагами. Даже дети были против него и изрешетили дробью его спину, молодые бычки топтали его ногами и сломали его винтовку. Все были в заговоре против него. А тут еще собака укусила его ногу. Он шел прямо к смерти. Никогда еще это не было ему так ясно. Все было против него. Им овладело истерическое желание рыдать, а истерия в отчаявшемся человеке обычно выливается в дикие,

ужасные поступки. Не имея никаких к этому оснований, он готов был выполнить свою угрозу и убить Гарлея Кеннана. Неважно, что Гарлей Кеннан лично ему никакого вреда не причинил. Наоборот, это он напал на Кеннана, сбросил его с коня на землю и по его вине тот сломал ногу. Но Гарлей Кеннан был человек, а весь человеческий род был ему ненавистен. Ему как-то смутно казалось, что, убивая Кеннана, он мстит за себя всему человеческому роду. Умирая, он хотел потащить за собой всех, кого только было возможно.

Прежде чем он успел ударить лежащего на земле Кеннана, Майкл снова кинулся на него. Снова, но уже на другой ноге пострадали его икра и штаны. Пинком в грудь ему удалось подбросить Майкла в воздух, и тот полетел вниз по склону. По несчастью, Майкл не достиг земли. Пролетев через кусты мансаниты, он попал прямо в ветви и застрял в них, зажатый посередине туловища, на высоте ярда от земли.

— Теперь, — угрюмо заявил человек, обращаясь к Гарлею, — я исполню свое обещание и расшибу тебе башку.

— Ведь я вам ничего не сделал, — вступил с ним в переговоры Гарлей. — Я не боюсь быть убитым, но хотелось бы знать, за что меня убивают.

— Вы все преследуете меня, — зарычал, приближаясь к нему, человек. — Я знаю вашу породу. Вы все гонитесь за мной, а я не могу отомстить вам. Я все на тебе вымещу.

Кеннан прекрасно отдавал себе отчет в серьезности положения. Он был совершенно беспомощен, и безумный убийца собирался покончить с ним и покончить самым ужасным образом. Майкл висел головой вниз в кустах мансаниты, туловище его было стиснуто ветвями, словно в капкане, он отчаянно бился, но не мог поспеть к нему на помощь.

Первый удар был направлен в лицо, которое, однако, Гарлей защитил руками; прежде чем убийца успел ударить его вторично, на месте происшествия появился Джерри. Он не нуждался в поощрениях или указаниях своего господина. Он ринулся на убийцу и, вцепившись зубами в его пояс, тяжестью своего тела чуть не стащил его на землю.

С возрастающим бешенством человек набросился на Джерри. Решительно весь мир был против него. Собаки сыпались на него откуда-то сверху. Вдруг его тонкий слух уловил доносившиеся со склонов Сономы крики и призывы преследователей. Эти звуки отвлекли его и за-

ставили переменить намерения. Именно с этой стороны грозила смерть, и именно от этих людей должен был он спасаться. Еще раз ударив рычащего Джерри, он вскочил на клячу репортера, не проявлявшую никаких признаков волнения и продолжавшую стоять совершенно спокойно на том месте, где он с нее спрыгнул.

Кляча нехотя пошла галопом, и Джерри, рыча от ярости, последовал за ней.

— Ничего, Майкл, — утешал Майкла Гарлей. — Не волнуйся! Не повреди только себя! Беда миновала. Кто-нибудь должен скоро подойти к нам и освободить нас обоих!

Но более слабая из двух образовавших вилку веток надломилась, и Майкл слетел на землю; одно мгновение он почти стоял на голове. В следующий миг он уже был на ногах и помчался по направлению лая Джерри. Лай Джерри перешел в острый болезненный визг, и это только окрылило Майкла. По дороге он увидел Джерри, беспомощно валявшегося на земле. Кляча в своем неуклюжем галопе оступилась, чуть не упала и, пытаясь удержаться на ногах, наступила на переднюю лапу Джерри и раздавила ее.

Обернувшись назад и увидев Майкла, человек решил, что на него напала какая-то новая соба-

ка. Но собак он не боялся. Ведь только люди со своими винтовками и карабинами несли с собой окончательную гибель. Все же боль в окровавленных и пораненных Джерри и Майклом ногах заставляла его ненавидеть всех.

«Опять собаки», — с горечью подумал он, наклоняясь и вытягивая хлыстом по морде Майкла.

К его удивлению, собака не отступила перед ударом и не стала визжать или выть от боли. Она не лаяла, не рычала и не ворчала. Она подскочила к нему, словно никакого удара не было и хлыста не существовало. Когда Майкл вцепился зубами в его правую ногу, он снова вытянул его хлыстом. Удар пришелся между носом и глазами собаки. Ослепленный ударом, Майкл упал на землю, но, оправившись, громадными скачками последовал за всадником.

Тут человек отметил одну особенность. Наклоняясь близко к Майклу, он увидел, что Майкл принимает удар, не закрывая глаз. Он не уклонялся и не избегал ударов и, не моргая, принимал их. Человеку стало жутко. Он еще никогда не встречал таких собак. Майкл подскочил снова, и человек снова ударил его хлыстом — и зловещее и непонятное ему явление повторилось. Не уклоняясь, не моргнув глазом, собака приняла удар.

Тогда человека обуял неведомый ему до сих пор страх. Был ли это конец после всего пережитого? Неужели этому терьеру, в мертвом молчании скачущему и вонзающему в него клыки, суждено погубить его? Он не был уверен в том, что это настоящая собака. Не могло существовать на свете собаки, которая принимала бы полновесные удары хлыста, не пытаясь увернуться или их избежать.

Человек дважды сбивал Майкла хорошо рассчитанным ударом по носу. Но так же уверенно и молча собака возвращалась. Человек уже не пытался победить свой страх и бил каблуками бока клячи, колотил по голове и хлестал по животу, пока она не загалопировала так, как не галопировала годами. Теперь апатичной клячей овладел страх. Это не был страх перед собакой — она знала, что это только собака, — это был страх перед всадником. В прежние времена ее колени были разбиты и ноги испорчены пьяными всадниками, бравшими ее напрокат из конюшни. Теперь ей вновь приходилось иметь дело с таким пьяным всадником — лошадь чувствовала состояние человека, — сдавливавшим каблуками ее старые ребра и безжалостно колотившим ее по морде, ушам и носу.

Кляча при всем желании не могла бежать быстрее или перегнать Майкла, но все же редко допускала его вцепиться зубами в ноги человека. Каждый прыжок неизменно встречался с хлыстом, отклонявшим его от цели. Хотя челюсти Майкла сжимались в угрожающей близости к ноге человека, но он каждый раз снова падал на землю, и ему приходилось подниматься и со всех ног лететь за охваченным страхом человеком на бешено галопирующей лошади.

Энрико Пикколомини видел всю эту сцену и сам участвовал в ее финале; эта история была единственным крупным событием в его жизни и дала ему материал для рассказов до конца его дней. Энрико Пикколомини был дровосеком на ранчо Кеннана. Стоя на холме, с которого видна была дорога, он услыхал сначала стук лошадиных копыт и звуки ударов хлыста. Затем он увидел борьбу человека с собакой. Прямо перед собой, на расстоянии двадцати футов, он увидел собаку, молча прыгнувшую прямо под направленный ей в морду удар хлыста и вцепившуюся зубами в ногу всадника. Он увидел, как собака, падая на землю, тяжестью своего тела чуть не стащила человека с седла. Он увидел, как человек, пытаясь удержаться, уцепился за поводья. Но кляча,

поднявшись на дыбы, спотыкалась и шаталась из стороны в сторону, и окончательно потерявший равновесие человек очутился на земле вслед за собакой.

— А затем они оба, словно две собаки, покатились по земле, — годы спустя рассказывал Пикколомини, сидя за стаканом вина в своей маленькой гостинице в Глен Эллен. — Пес выпустил ногу упавшего и прыгнул к его горлу. А затем человек подмял его под себя и сам схватил его за горло. Он обеими руками — вот так — сжимал горло собаки. А собака ни звука. Она ни одного звука не издала ни до того, ни после. Человек сжал ей горло, и она уже не могла лаять. Но это не такой пес. Он все равно не станет лаять. А лошадь стоит да поглядывает на них, да еще и кашляет. Все это выглядело очень странно.

А человек выглядел, как помешанный. Только сумасшедший и может сделать то, что он делал. Я видел, как он скалил зубы, словно собака, и кусал псу лапы, вот и все, что он только мог достать зубами. А когда он кусал псу нос, тот кусал ему щеки. И человек и пес дрались, как черти, пес царапался задними лапами, как кошка. Он когтями разорвал рубашку на груди человека и царапал ему задними лапами грудь, пока вся она

не покрылась кровью. А человек выглядел, как горный лев! И он все время выл, как горный лев. Это была дьявольская схватка.

А пес принадлежал мистеру Кеннану — он хороший человек, и я работаю у него уже два года. Чего же мне стоять и смотреть, как какой-то парень собирается укокошить собаку мистера Кеннана. Парень борется, как горный лев. Я сбегаю вниз по холму, но я очень торопился и забыл свой топор. Я сбежал вниз — расстояние было, как от этой двери до той — футов двадцать или тридцать, не больше. А парень уж почти покончил с псом. Язык повис, а глаза словно паутиной затянуло, но он все еще царапал лапами грудь человека, а человек все выл, как горный лев.

Что же я могу поделать? Я позабыл взять с собой топор. Человек сейчас добьет собаку. Я ищу камня побольше. Камней кругом никаких нет. Я ищу палки. Но нигде не видать никакой палки. А человек добивает собаку. Я расскажу вам, что я сделал. Я не дурак. Я треснул парня. На мне были очень тяжелые сапоги — нет, они не были похожи на то, что я ношу теперь. Это были сапоги для работы, с толстыми подошвами, и они были подбиты железными гвоздями. Я дал парню раз в шею, пониже уха, вот здесь как раз. Я только

раз и ударил. Это был хороший удар. Его было достаточно. Я хорошо знаю, куда метить — как раз пониже уха.

И парень выпустил пса. Он закрыл глаза, открыл рот и тихонько лежал на земле. А пес перевел дух. А затем к нему вернулись силы, и вот он снова хочет кинуться на парня. Но я говорю «нельзя», хотя и сам очень боюсь пса. И парень начинает приходить в себя. Он открывает глаза и смотрит на меня так свирепо, как горный лев. И в горле у него те же звуки, что у горного льва. А я боюсь его и боюсь пса. Что же мне делать? Я ведь позабыл наверху свой топор… Я расскажу вам, что я сделал, — я снова ударил его пониже уха. Затем я беру свой пояс и свой платок и связываю его. Я связываю его руки. Я связываю его ноги. И все время я повторяю «нельзя» псу и приказываю ему оставить парня в покое. А пес глядит на нас. Он понимает, что я на его стороне и что я связываю парня. И он не кусает меня, хотя я очень боюсь его. Этот пес — страшный пес. Разве я этого не знаю? Разве я не видел, как он стащил сильного, здорового парня с седла?

А затем появились другие люди. Они все была вооружены винтовками, карабинами, револьверами. И я сначала подумал, что в Соединенных

Штатах с судом не медлят. Я только что ударил парня в голову, и вот уже — раз, два, три — появляются люди с револьверами и суют меня в тюрьму за то, что я ударил парня по голове. Сначала я ничего не понимал. Все эти люди сердились на меня. Они ругалась и говорили мне в лицо всякие гадости, но не арестовывали меня. Вот оно что! Я начал соображать, в чем дело. Вот они что-то хлопочут о каких-то трех тысячах долларов. Я будто бы ограбил их на три тысячи долларов. Это неправда. Я им так и сказал, что никогда ни у кого не украл и цента. Тогда они все засмеялись. После того мне стало легче на душе, и я сообразил, в чем дело. Эти три тысячи были обещаны правительством в награду за поимку того парня, которого я связал моим поясом и платком.

Так-то я и перестал работать на мастера Кеннана. Я теперь сам богатый человек. Три тысяча долларов достались мне, и мистер Кеннан лично следил за тем, чтобы правительство выплатило мне эти деньги и чтобы все эти вооруженные люди не забрали этих денег себе. Подумать только, — все за то, что я ударил по голове парня, похожего на горного льва! Вот это судьба! Это по-американски! И я был очень счастлив и рад, что уехал из Италии и поступил дровосеком на

ранчо мистера Кеннана. А на эти три тысячи я выстроил эту маленькую гостиницу в Глен Эллен. Я знаю, что гостиница — это прибыльное дело. Разве у моего отца не было гостиницы в Неаполе, когда я еще был малышом? Теперь обе мои дочери обучаются в университете. У меня есть собственный автомобиль…

— Милостивый Боже, все ранчо, кажется, обратилось в лазарет! — вскричала два дня спустя Вилла, выходя на широкую террасу, где лежали Гарлей и Джерри. У Гарлея нога была в лубках, а лапа Джерри — в гипсе. — Поглядите на Майкла, — продолжала она. — Кости переломаны не только у вас обоих. Я только что разглядела, что если у Майкла нос еще цел, то это просто чудо, потому что он получил достаточно ударов по носу. Я ему целый час накладывала горячие компрессы. Поглядите на него!

Майкл последовал ее приглашению и вошел на террасу. Он, дружески пофыркивая, обнюхал своим обезображенным, распухшим носом Джерри, помахал в виде приветствия обрубком хвоста Гарлею, и Гарлей ласково положил ему руку на голову.

— Видно, этот парень здорово лупил его по носу, — сказал Гарлей. — Никколомини видел, как

он лупил его хлыстом, а раз Майкл прыгал прямо на него, то естественно, что удары приходилась как раз по носу!

— И Пикколомини говорит, что он ни разу не пикнул, а все продолжал бежать за ним и прыгать, — восторженно продолжала Вилла. — Подумай только! Такой небольшой песик, как Майкл, стаскивает с седла страшного убийцу, которого не могли поймать целые отряды вооруженных людей!

— Насколько нам известно, он сделал для нас больше, чем это, — спокойно заметил Гарлей. — Если бы не Майкл и не Джерри — если бы не они оба, — я думаю, что этот безумец действительно разбил бы мне голову, как обещал.

— Да благословит их Небо! — вскричала Вилла, блестя глазами, и протянула мужу руку для сердечного рукопожатия. — Еще не сказано последнее слово о чудесах, на какие способны собаки, — прибавила она и, сморгнув с ресниц непрошеную влагу, овладела собой.

— Последнее слово о собаках никогда не будет сказано, — сказал Гарлей, пожимая ее руку и помогая ей сесть.

— Вот поэтому мы сейчас тебе кое-что споем, — улыбнулась она, — Джерри, Майкл и я. Мы

упражнялись тайком, чтобы устроить тебе сюрприз. Лежи смирно и слушай. Это псалом. Только не смейся. Это совершенно серьезно.

Она нагнулась, притянула к себе Майкла и обеими руками охватила его голову; носом он уткнулся в ее волосы.

— Внимательней, Джерри! — крикнула она голосом учителя, призывающего учеников к порядку. Джерри повернул голову, посмотрел на нее, улыбнулся ей глазами и ждал.

Вилла запела псалом, но очень скоро собаки присоединили к ее голосу свой мягкий, мелодичный вой — если только можно назвать воем эти нежные, музыкальные звуки, и все, канувшее давно в *небытие*, всплыло в памяти поющих собак, и они, через *небытие*, вернулись в страну *иного* мира и снова мчались с утерянной стаей по долам и горам, не забывая в то же время о настоящем и о присутствии двуногого божества — Виллы, поющей с ними и любящей их.

— Я не вижу причины, почему бы нам не составить квартет, — заметил Гарлей Кеннан, присоединяя свой голос к поющим.

КОММЕНТАРИИ

Повести «Джерри-островитянин» и «Майкл — брат Джерри» (их называют часто романами) были написаны Д. Лондоном в 1915 году и вышли в журнале «Космополитэн мэгэзин» в 1917-м, то есть после ухода писателя из жизни. В том же году появились их отдельные издания.

Тема дилогии отнюдь не нова, читатель хорошо помнит произведения автора, родственные этому повествованию, — это и «Белый Клык (1903) и «Зов предков» (1906), но проблема — аспект и звучание самого произведения достаточно ново и даже оригинально. Джек Лондон — сын своего времени. Он только более откровенен, чем его предшественники. Ему, как и С. Есенину, жалко «бездомных собак», но еще более жалко самих аборигенов, которые этих собак безбожно пожирают во время пира из «собачьего мяса». Но главное — они так же истребляют и друг друга, не говоря уж о белых завоевателях. Можно ли мириться с таким положением, если маланезийскую девушку можно выменять за невзрачную свинью (девушку, в конце концов, съели свои)?

Писатель никак не собирается идеализировать белых колонизаторов, лепить из них некое подобие Миклухо-Маклая.

Народ этот, при некоторых отличиях в типах культуры и образования, даже характерах, достаточно прагматичен и беспощаден. Туземцы нужны «покорителям новых земель» отнюдь не для благополучия дикарей. Их хотят приучить, как скот, как рабов нового времени, безропотно вкалывать на плантациях за пищу, выплачивая в конце договорного срока (три года) жалкие гроши, а львиную долю последних забирают вожди собственных племен этих несчастных, часто те, кто своим приказом и определил их в невообразимое униженное состояние, швырнув в условия полного бесправия и произвола. Такое ощущение конфликтности повествования не покидает читателя ни на минуту.

Остается лишь снабдить его подходящим сюжетом. И сюжет такой сразу находится.

Полугодовалого аристократического щенка ирландского терьера Джерри один из администраторов на плантации Мериндж, добрейший мистер Том Хаггин, отдает в виде подарка своему другу — отважному и добрейшему капитану, направляющемуся на Маркизские острова с по-

четной миссией — доставить на родину, то есть на Соломоновы острова, отработавших свой срок папуасов и набрать новую партию «обратных» рабов, договорившись об этом за определенный аванс и подношения вождям местных племен. Ведь все теперь делается законно — по договору. Двадцатый век!

Эта часть Соломоновых островов пользуется дурной славой. Совсем недавно в соседнем с племенем Сомо — Ано-Ано — вспыхнул мятеж и шхуна вербовщиков была зверски уничтожена.

Понятливый щенок, никогда еще не бывавший на корабле, оплаканный своей собачьей матерью Бидди и своим братом Майклом, должен будет скрасить суровый быт добрейшего шкипера и белого Бога (в глазах Джерри) во время опасных штормов и, как следует ожидать, не столь любезных приемов со стороны местных туземцев, хотя капитан доставит им родственников и заработанные последними деньги. Он выполняет чисто служебную и благородную в какой-то части миссию.

Цель поездки шкипера и его команды — сугубо прагматическая. Капитан Хорн не деспот, недаром он выменял на свинью меланезийскую девицу, отнюдь не красавицу, чтобы спасти ей

жизнь — на невольничьем рынке ее продавали на убой. Возвращающиеся на родину и вкусившие белой цивилизации папуасы подшучивают над ней — капитан-де специально ее откармливает, чтобы потом «как-кай» — то есть съесть. И та наивно верит в правоту их слов, пытаясь держать себя в тощем теле и тем самым продлить свою никому не нужную жизнь. Вот она южная экзотика и даже горький туземный юмор. Девица тем не менее обречена, хотя и погибнет она от своих соотечественников-людоедов. Христиане уже давно отказались от таких «блюд».

Но капитан Ван Хорн не станет изучать обычаи, верования и табу местных туземцев, кого-то утешать или интересоваться возникновением атолл и даже причиной гибели коралловых рифов, реликтовыми растениями и животными и вообще разводить чайные церемонии. Ему не до этого. Он должен тут держать ухо востро.

Всякое современное литературно-художественное повествование должно иметь еще и некую духовную составляющую. На эмоционально-непосредственном уровне ее воплощают у Джека Лондона существа не очень развитые — дикари, животные. В данном случае Джерри со своим наивным восприятием как раз и более чем уме-

стен. Он скрашивает рассказ о суровых буднях колонизаторов и меланезийцев.

Но Лондон прекрасно знает, что у таких будто бы примитивных созданий интуиция куда более развита, чем у современных образованных людей. Но как бы там ни было, писатель — сын своего времени, потому наряду с острейшими и чрезвычайными событиями он воссоздает и психологию современных ему людей, их духовность на разных уровнях, вплоть до логико-философского мышления.

Изображение среды и обстановки неизменно связано с характерами персонажей. И тут немало объединяющих их психологических начал.

Ничем как будто не привлекательный злобный вождь Башти, убивший и высушивший голову собственного отца и съевший одну из своих жен, — стратег племени и философ. Он умеет считать.

Карательная экспедиция англичан, обрушившая свой гнев на дикарей соседнего племени, убила всего лишь несколько десятков свиней и срубила какое-то количество пальмовых деревьев, после чего удалилась восвояси. Дикари спасались в лесах.

Башти это намотал себе на ус и рассчитал, что

захват корабля выгоден для его племени. Свиней можно зажарить и съесть, устроить даже веселый дикарский пир, деревья — сжечь, а мякоть кокосовых пальм высушить на копру и продать тем же белым за хорошую цену. Так оно по существу и случилось.

Башти — философ-практик особого типа, он даже доморощенный генетик. Для укрепления своего положения ему нужны злые и преданные собаки, а дикие отличаются трусостью и неверностью человеку — норовят махнуть при первом случае в лес. Это и спасает предназначенного уже на пир из собачьего мяса породистого щенка Джерри. На щенка накладывается табу неприкосновенности.

…Джерри, оставшись в одиночестве, в тропическом лесу случайно нападает на след белых людей — супругов Кеннанов.

Эти путешественники ведут себя свободно и раскованно, даже не подозревая, какой опасности они подвергаются на острове Сомо. Супруги чересчур расслабились. Когда Джерри уже приближается к судну и он замечен, пес едва не становится жертвой польстившейся на него хищной акулы. И только меткий выстрел Гарлея из ружья, увидевшего опасный и острый спинной

плавник морского чудовища, спасает Джерри жизнь. Но пес не остается в долгу.

Когда опасный преступник, туземный убийца, скрывающийся от правосудия, покушается на жизнь простодушно купающейся Виллы в небольшом озерке, чтобы завладеть ее головой, умный пес бросается ему на шею и едва не перегрызает сонную артерию. Макавао замешкался, и его довольно современное ружье выстрелило в воздух. Преступника удается связать и доставить английскому комиссару в Тулаги.

И тут уже на острове Тулаги белые с помощью своего индуктивно-дедуктивного метода и в присутствии английского комиссара установили картину разыгравшейся недавно драмы на Сомо…

Сторонние будто бы и чересчур светские наблюдатели — супруги Кеннаны оказываются втянутыми в кровавые события. Им суждено выступить против атавизма и недостойного обращения с людьми и с животными. В знак благодарности за свое спасение эти люди устраивают Джерри встречу с его родным собачьим «братом Майклом». Собачьи братья не виделись с тех пор, как Джерри покинул плантацию Мериндж на острове Изабеллы. Джерри заслужил такую

встречу. Узнав друг друга и побегав вместе, породистые псы трудно расстаются — с печальным воем — так когда-то завывала их мать Бидди, под аккомпанемент еще не окрепшего Майкла, прощаясь со своим щенком Джерри.

Второе произведение этой своеобразной дилогии — «Майкл, брат Джерри» безусловно ощутимо связано с первой частью. И эта связь многообразна и «многоканальна». В момент написания этих обоих произведений Джек Лондон уже получил достаточно широкую известность своим призывом к мировой общественности создавать «Общества защиты животных». Слухи о таком важном начинании докатились и до России. Не только Есенин, всегда любивший «братьев наших меньших», но и Маяковский, никого особенно не любивший, кроме Ленина и политики партии, создал все же «Хорошее отношение к лошадям» (1918). И это лучшее его стихотворение тех лихих лет.

В публицистическом предисловии ко второй повести Джек Лондон прямо и непосредственно раскрывает важность такой гуманистической проблемы. В предисловии он пишет о «свирепой жестокости», которой отличаются дрессировщики, вызывая выступлениями своих подопечных

восторг у простодушной публики. Писатель предлагает игнорировать их выступления. Эти же мотивы звучат и в самой повести, а напоминания о постоянной жестокости, жестокосердии (к тому же не одних дрессировщиков, а и изготовителей сывороток и вакцин, просто любителей поиздеваться или поохотиться на невинных созданий) пронизывают насквозь его произведения, превращаются во впечатляющие сцены, приводящие к трагедии людей, покушающихся на все живое от праздности, дурного воспитания или — в погоне за выгодным заработком. И все это и сегодня, когда ежедневно вымирают навсегда десятки видов реликтовых созданий, не утрачивает своей актуальности. Почти сто лет назад писатель забил тревогу, а в некоторых странах мира «Общества защиты животных» все еще не созданы и в уголовных кодексах этих стран до сих пор нет статьи, преследующей мучителей божьих тварей — браконьеров, торговцев живым товаром и прочей публики такого рода, которую великолепно представил Джек Лондон в своей дилогии, особенно во второй ее части «Майкл — брат Джерри».

Таким образом, проблема, волнующая писателя и заключающая в себе противоречие немалой

силы, вынесена писателем и в предисловие и затем подтверждена развитием событий и доказательством своей важности самим художественным (а в некоторых случаях и откровенно публицистическим) текстом. Описательный очерк «дополняется» авторскими комментариями, яркой личностью писателя-публициста, а также мнением его персонажей — представителей порою иной культуры, иной социальной группы, что также характерно для Лондона. Но главное — логика ярких «образов и картин» и ее функциональная роль в структуре самого произведения. Сюжет, характеры, ситуации, ощущение читателем цели и смысла изображаемого, мастерство композиции, соразмерность глав и эпизодов — вот что тщательно продумывал и над чем работал такой одаренный профессионал, как Джек Лондон.

Сюжет тут изначально прост. Подросший уже достаточно (ему около двух лет) Майкл помогает капитану и команде вести охоту «за неграми» в морском пространстве от Новой Гвинеи до Австралии — на многочисленных в этом районе океана обитаемых островах. В обязанности ирландского породистого терьера входило вовремя предупреждать белых об опасности,

преследовать полинезийцев и австралийцев, скрывающихся от закона. И нечему удивляться, если этого добродушного и умного пса так натаскали — в духе колониальной политики времени: гибель нескольких суден заставляла плантаторов и капитанов вербовочных шхун принимать жесткие меры.

Однако капитан вербовочного судна, прогуливаясь в Тулаги по набережной с Майклом, забыл своего пса на берегу. Этим воспользовался «не чистый на руку», но почти образцовый во всех других отношениях, если не считать чрезмерного употребления им пива, стюард с другого корабля Дэг Доутри и доставил щенка тайком в свою каюту — с целью заработать на нем в недалеком будущем — при стоянке в первом же порту. Потерявшийся в городе пес, боготворивший всякого белого человека, не особенно и сопротивлялся. Сказывалось его однобокое воспитание. Он думал, что его-то пытаются привести и доставить на корабль к капитану Келлару. Но не тут-то было. Дэг искренне любит украденного им пса Майкла. Однако дальнейшие события складываются так, что Майкл теряет своего нового хозяина, причем из-за человеческой подлости.

Основной сюжет, конечно, связан с судьбой

Майкла. Но и развитие его сюжетной линии невозможно без человеческого окружения. К тому же для данной повести — это самая важная ее часть.

Здесь те же два параллельных ряда персонажей. Животные у писателя порой изображаются в сравнении с человеческими типами и выглядят намного лучше, чем люди. Очень трогателен здесь даже беззащитный говорящий попугай какаду по прозвищу Кокки, а также непосредственная и не в меру болтливая, как истеричная женщина, зеленая обезьянка Сара, решительно бросившаяся в самый критический момент в морду разъяренного леопарда, чем спасла жизнь своему любимому компаньону — ирландскому псу, но погибла сама.

Можно понять и горе самки кита, у которой китенка пристрелил гнусный ростовщик. За эту гнусность взбесившаяся китиха, как мы помним, разнесла в пух и прах шхуну, на которой и путешествовал в поисках золота этот скверный человечишко. Месть разъяренного животного, даже с точки зрения одураченных отпетых мошенников, здесь совершенно оправдана. Она существенна не только для перелома сюжета, но не менее важна для нравственной характеристи-

ки участников авантюрной экспедиции.

Читателю понятна и агрессия взбесившегося в неволе циркового леопарда, готового в чудовищном помутнении сознания расправиться и с дрессировщиками, и с другими животными, в первую очередь с собаками, которые играют роль посредников между человеком и зверем, защищая белого бога. Майкл едва не стал жертвой пятнистого короля бега, но его спасла взбалмошная обезьянка Сара, пожертвовав своей жизнью. Немалое впечатление на читателя производит и процесс укрощения бенгальского красавца тигра. Но если тигру — путем подвешивания и «покалывания» вилами под ребра — удалось сломать всякое желание сопротивляться, то огромный камчатский медведь предпочел остаться без носа, то и дело вырывая из ноздрей очередные вставляемые ему кольца, бессознательно предпочитая зверинец цирку. Лондон разоблачает лицемерие шталмейстеров, вещающих сладко о наступившем рае между зверями и публикой, об обожании четвероногими артистами своих дрессировщиков, о любви к ним. Но за этим стоит жестокость, насилие и лицемерие.

Многие дворовые собаки живут в стационарных и передвижных цирковых балаганах недолго

— они как жалкие статисты вполне заменяемы и практически ничего не стоят. Это живая ветошь, о неё можно вытереть ноги. И такое отношение вызывает у писателя совершенно оправданный гнев и возмущение. В издевательстве над животными проявляется и высвечивается нравственное падение самого земного царя — ожесточенного жизнью человека. И вряд ли оно может быть остановлено.

Судьба бросает Майкла из рук в руки.

Лишь неожиданное вмешательство тех же супругов Кеннанов и созданного ими «Общества защиты животных» освобождает одаренного пса от надругательств и издевательств и сводит его с собственным собачьим братом Джерри, которого им удалось вырвать из рук племени Сомо. Теперь уже и Майкла они вырывают из узкого пространства тесной железной клетки и дарят ему свободу на просторном ранчо в знаменитой Солнечной долине в Калифорнии… Собачья затаенная мечта сбывается.

Небольшая группа персонажей, представленная супругами, их детьми и дровосеком Пикколомини, играет тут немалую роль. Роль этой группы в развитии событий и их осмыслении трудно переоценить. Это важнейшее

сюжетно-композиционное звено повествования, которое формирует — и с немалыми усилиями — финал всей дилогии. Кеннаны, персонажи во многом автобиографические, не подверженные вкусам и увлечениям толпы, мыслят глубже и видят дальше своих современников. Их действия и особенно разговоры о жизни — существенная часть повествования, поскольку с ее помощью персонифицируется сознание нравственного человека времени. Образы людей, выделяющихся в обществе тупых исполнителей приказов, людей, слепо живущих по предложенному стандарту, дикарей, культурно не развитых, не говоря уж о бесчисленных разновидностях мошенников и проходимцев, особенно важны.

Многие усилия писателя, в том числе и по защите животных, не пропали даром.

Его страстный призыв все же не остался гласом вопиющего в пустыне. Общества помощи домашним и бродячим животным все же начали создаваться. И как писала в своих воспоминаниях жена писателя, в Америке той поры появился созданный председателем Массачусетского общества Ф. Х. Роуэллом, выступающего против жестокого обращения с животными, клуб Джека Лондона (Чармиан Лондон (1922). Вскоре по-

явился и английский филиал этого клуба под протекторатом Королевского общества защиты животных.

К середине 20-х годов таких организаций (клубов), по свидетельству дочери писателя Джоан Лондон, насчитывалось во всем мире до 40 000. Многие страны включили в свои уголовно-административные кодексы статьи, карающие штрафом или более суровым наказанием жестокое обращение с животными. В наше время французская актриса Брижит Бардо решительно выступила против женских меховых изделий. Ныне ее поддерживают известные голливудские дивы, сбрасывающие публично свои беличьи и ягуаровые шубки и раздеваясь, как в стриптизе: так публика может охотнее и получше раскошелиться в пользу бедных животных. Однако более солидный и весомый вклад в дело защиты окружающей среды вносит международная организация «Гринпис».

Спасение планеты Земля и ее растительного покрова, населяющих ее существ, особенно полезных, — уже не только спасение человеческой цивилизации, а спасение и самого человека как вида, с его пестрым живым сообществом, если даже мыслить в узкой гуманитарной плоскости.

Весь мир этим серьезно обеспокоен. И нам надо благодарить писателей-мыслителей, указавших на глобальную важность такой проблемы. Ведь они были всего лишь гуманистами и художниками.